

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Сатиры и Юмора России



Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Пэффи



Юмора России



Юмора



Юмора России



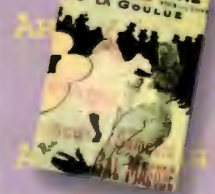
Юмора России XX века



Антология Сатиры



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Менс  
Орнебо  
Граммис  
Мевдосмен

Менс  
слеседу  
род  
слеседу } Подденис.

Нарано интерф. Градвенон.

Телавний францис на фран. зхр.

Модинас  
Менс, мис, род, мисф.

Надсуд  
Александров  
Булгарская <sup>каждо</sup>  
вагоны <sup>различные</sup>  
Морфиз

26.  
Апрель  
~~1875~~ 1875.  
С. Петербург

Из журналов "Север"  
в 1901 году  
Окончена Литература  
миссия, Книга Талм.  
П. Ланг.

Н. А. Тиберс  
18 февраля 1906 г.

Менс  
Орнефо  
Граммис  
Меддосмен

Менс  
елмекы  
род  
елмекы } Введенис.

Нараме мифеф. Ордосмен.

Теламе францис кох фидо. мифе.

Модинас  
Менс, мифе, род, мифе.





*А*нтология Сатиры и Юмора России XX века



Меркел

*А*нтология Сатиры и Юмора России XX века

---

*Пэффи*

---

«ЭКСМО-Пресс» 2001

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
Т 97

## АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА Тэффи

Серия основана в 2000 году

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Игорь Иртеньев,  
проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,  
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,  
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта  
Юрий Кушак

Составитель тома и автор предисловия — И.А.Мазнин

Оформление тома — Лев Яковлев

Благодарим сотрудников Отдела рукописей  
Государственной публичной библиотеки  
имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург)  
за помощь в подборе иллюстративного материала

Подготовка макета — творческое объединение  
«Черная курица» при Фонде Ролана Быкова

Тэффи

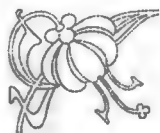
Т 97 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 12. —  
М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 544 с., илл.

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-007474-3 (Т.12)  
ISBN 5-04-003950-6

© Мазнин И.А., составление, 2001  
© Яковлев Л.Г., оформление, 2001





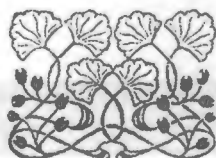
## Содержание

Игорь Мазнин. Какую воду кони пьют	9
Вместо автобиографии	
Как я стала писательницей	12
Псевдоним	14
<b>Тонкая психология</b>	
Рассказы. 1904–1918	
Смех	21
Человекообразные	26
Взамен политики	32
Брошечка	36
Ревность	42
Жизнь и воротник	47
Нянькина сказка про кобылью голову	51
Утешитель	56
За стеной	59
Тонкая психология	68
К теории флирта	73
Предсказатель прошлого	77
Антей	81
Святой стыд	85
Причины и следствия	90
Дураки	95
Сокровище земли	99
Свои и чужие	105
Легенда и жизнь	109

Сила воли	113
Ничтожные и светлые	115
Маляр	115
Тонкая штучка	124
Пар	128
Весна	132
Демоническая женщина	135
Учительница	139
Летом	143
Явдоха	149
Сватовство	154
Кокаин	158
Из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»	
Древняя история	165
Чудесная жизнь	
Рассказы. 1920 – 1951	
«Ке фер?»	207
Ностальгия	211
Свои и чужие	214
Вспоминаем	217
Маркита	221
Валя	228
О русском языке	231
Комитет	235
Доктор Коробка	239
Тригорий Петрович	242
Первое апреля	246
О душах больших и малых	250
Три правды	254
Весна весны	259
Джентльмен	266
Флирт	272

Жильцы белого света	279
Выбор креста	286
Мудрый человек	295
Психологический факт	301
Рюлина мама	307
О нежности	312
Кошки	322
Трубка	328
Без слов	335
Наш быт	341
Еще о них	349
Встречи	356
Самоотверженная любовь	365
О вечной любви	368
Чудесная жизнь	374
Чудо весны	378
В весенний праздник	382
Жестокая весна	386
Сердце	391
<b>Прочтите детям</b>	
Саул	397
<b>Мои современники</b>	
Аркадий Аверченко	443
Леонид Андреев	454
Бальмонт	458
Зинаида Тippiус	370
А.И. Куприн	482
Федор Сологуб	494
Алексей Толстой	511
<b>Тэффи глазами друзей</b>	
Воспоминания	
Ирина Одоевцева. О Тэффи	525

Зинаида Шаховская. Тэффи 538  
Книги Н.А. Тэффи (прижизненные издания) 543







## Какую воду кони пьют

Смеяться умеет только добро, но не всегда оно смеется по-доброму. Если бы добро смеялось только по-доброму, у нас не было бы сатиры и мы бы не говорили, что смех — это оружие борьбы со злом. Потому что само добро не может быть оружием... Смех — единственное оружие добра.

Феликс КРИВИН

**Н**адежда Александровна Бучинская,

урожденная Лохвицкая, сестра поэтессы Мирры Лохвицкой, вошедшая в русскую литературу под именем Тэффи, родилась 26 апреля (7 мая) 1872 года в Петербурге, в родовой дворянской семье. Ее отец был известным профессором-правоведом, адвокатом и криминалистом, читавшим лекции во многих учебных заведениях империи. Что же касается матери, француженки по происхождению (девичья фамилия — Ноэр), то о ней известно лишь, что она любила поэзию, хорошо знала французскую и русскую литературу и воспитывала своих детей, как писала об этом сама Тэффи, «по-стариковски — всех вместе и на один лад», с индивидуальностью при этом не справляясь и ничего от них особенного не ожидая. Поэтому, может быть, «особенное» и получилось, если вспомнить, что не было в России начала нашего века сестер более знаменитых, чем сестры Лохвицкие. — «эротической» поэтессы Мирры, дважды удостоенной Пушкинской премии, и «юмористки» Надежды, в чьих произведениях и впрямь было много смешного, но и немало невеселого, как и у всякого по-настоящему серьезного и большого писателя. А то, что Надежда Тэффи, постоянный автор «Сатирикона» и других периодических изданий, — писатель серьезный и действительно большой, стало ясно в 1910 году, когда один за другим вышли два сборника ее «Юмористических рассказов» и книга стихов «Семь огней», которые раз и навсегда принесли ей любовь многочисленных читателей. Как тех, над кем она иронизировала и смеялась, так и того, «самого главного», а именно — государя императора Николая II, над которым иронизировать и смеяться, по крайней мере публично, не позволялось. Само собой разумеется, что полюбили Тэффи и придворные самодержца, тем более что демонстрировать эту любовь в скором времени стало куда как легко: для этого достаточно было пользоваться духами «Тэффи» и лакомиться

конфетами того же названия... Так к Тэффи пришли любовь и слава, которые сопутствовали ей всю жизнь:

Вы звените, звените, колечки мои,  
Тешьте сердце веселой забавою!  
Я колечком одним обручилась любви,  
А другим повенчалась со славою...

Неизменно доброжелательно относилась к Тэффи и литературная критика, отмечавшая и разнообразие ее рассказов, и умение их автора брать сюжеты едва ли не отовсюду, и неистощимость ее мягкого юмора, и тонкую наблюдательность, и многие другие достоинства. Очень хорошо, а порою и просто замечательно — что в художнической среде встречается крайне редко — относились к Тэффи и ее прославленные современники: Александр Аверченко и Саша Черный, Иван Бунин и Александр Куприн, Леонид Андреев и Алексей Толстой, ценившие писательницу за безукоризненность языка, строгость реализма, за его глубину и своеобразие и, конечно, за смех-радость, «который сам по себе... благо». Для них не существовало приклеившегося к ней однобокого ярлыка «юмористики», который однажды весьма возмутил Власа Дорошевича, когда он услышал разговор о том, что хотя рассказы Тэффи по-прежнему остроумны, а вот «внутреннего веселья» доставляют все меньше и меньше. «Оставьте Тэффи в покое! — воскликнул «король фельетона». — Пусть пишет о чем хочет и как хочет! Нельзя на арабском скакуне воду возить!»

И Тэффи писала о чем хотела и как хотела, а тоныше всего и пронзительнее всего — о детях и любви, о детстве и нежности. Именно эти рассказы о детях и любви, о детстве и нежности, которые есть почти в каждом сборнике писательницы, стали ее подлинными шедеврами и составили ее бесценный вклад в русскую прозу XX века. И вовсе не случайно то, что две лучшие книги Тэффи, созданные ею уже в эмиграции, называются «О нежности» и «Всё о любви»... Да, только нежность и любовь, включающие в себя чувство сердечной симпатии ко всему живому, делали смех Тэффи над ближним смехом действительно ближнего, даже если тот, над кем она смеялась, был сущностно далек ей и тосклив, «как заяц, забившийся от собак в можжевелник», или являл собою тот тип «дурака набитого», который руководствуется в своей внешне благополучной, а внутренне убогой жизни всего тремя аксиомами: «здоровье дороже всего», «были бы деньги» и «с какой стати»...

А теперь обратимся к размышлениям Тэффи о единстве любви, которыми она поделилась со своими друзьями на одном из заседаний «Зеленой Лампы» — литературно-художественного кружка, созданного в Париже Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским:

«Авва Дорофей говорил: Вселенная — это круг. Центр круга, срединная точка его — Бог. От этого центра идут к окружности радиусы — это пути души. Чем ближе друг к другу, тем ближе к Богу.

И вот на том предпоследнем взлете по радиусу любви, на котором витают в блаженном экстазе души праведников, — на этом взлете близко друг другу всякая любовь. Оттого и видят праведники душу волка и медведя, и цветка, и кузнечика. Каждую душу, где любовь. И общаются с нею. Там, в этой сфере, падают все перегородки. Туда тянутся и восходят по радиусам любви и восторженная монахиня со стигматами на руках, и темный содомский грешник, если душа его вдохновенно тосковала и плакала и слезами омыла одежды свои, тянется и старушонка с убогой геранькой, и брат святого Франциска зайчик, прильнувший к нему, и раб Божий одуванчик, и раба Божия фиалка, все по радиусам любви многими путями к Единому, к центру, к Богу...»

Вот такую — мудрой и веселой, доброй и ироничной, сердечной и смешной, отзывчивой и саркастичной — была она, замечательная русская писательница Тэффи, умершая 6 октября 1952 года в Париже, после тридцати двух лет жизни вне Родины, в которой блюстители дум еще и сегодня не жалуют их властителей. Но такова уж мутная вода их бытия, в которой они, блюстители дум, только и могут ловить свою золотую рыбку удачи. «Но такой воды, — писала Тэффи, — кони не пьют. Такую воду, — предупреждала она, — пьют кроткие овцы да выучные животные». Запомним это...

Игорь МАЗНИН





## Вместо автобиографии

### Как я стала писательницей

**К**ак я начала

свою литературную деятельность?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо «зарыться в глубь веков».

В нашей семье все дети писали стихи. Писали втайне друг от друга стихи лирические, сочиняли вместе стихи юмористические, иногда экспромтные.

Помню как сейчас: входит самая старшая сестра в нашу классную комнату и говорит:

— Зуб заострился, режет язык.

Другая сестра уловила в этой фразе стихотворный размер, подхватывает:

— К такой боли я не привык.

Тотчас все настраиваются, оживляются.

— Можно бы воском его залечить,

— Но как же я буду горячее пить? — спрашивает чей-то голос.

— И как же я буду говядину жрать? — раздается из другого угла.

— Ведь не обязаны все меня ждать! — заканчивает то-ненький голосок младшей сестры.

Стихи сочиняли мы все. Конечно, и я.

Но в первый раз увидела я свое произведение в печати, когда мне было лет тринадцать.

Это была ода, написанная мною на юбилей гимназии, в которой я в то время училась.

Ода была чрезвычайно пышная. Заканчивалась она словами:

И пусть грядущим поколениям,  
Как нам, сияет правды свет,  
Здесь, в этом храме просвещения,  
Еще на много, много лет.

Вот этим самым «храмом просвещения» дома донимала меня сестра.



— Надя! Лентяйка! Что же ты не идешь в свой храм просвещения? Там сияет правды свет, а ты сидишь дома! Очень некрасиво с твоей стороны.

Допекали долго.

Таков был мой самый первый шаг на литературном поприще.

Второй шаг был таков: сочинили мы с сестрой пресмешную песенку о Фульском короле, пародию на песню Маргариты из «Фауста».

Решили ее напечатать.

Совсем сейчас не помню, что это была за редакция, куда мы пошли. Помню только, что над головой редактора висело на стене птичье чучело.

Это поразившее наше воображение обстоятельство отразилось в стихах:

Над редактором висело  
Птичье чучело,  
На редактора глядело,  
Глаза пучило.

Стихотворения нашего редактор не принял и все спрашивал: «Кто вас послал?» А потом сказал: «Передайте, что не годится». Очевидно, не верил, что две испуганные девчонки, которых ждала в передней старая нянюшка, и есть авторы.

Таков был мой второй шаг.

Третий, и окончательный, шаг был сделан, собственно говоря, не мной самой, а, если так можно выразиться, за меня шагнули.

Взяли мое стихотворение и отнесли его в иллюстрированный журнал\*, не говоря мне об этом ни слова. А потом принесли номер журнала, где стихотворение напечатано, что очень меня рассердило. Я тогда печататься не хотела, потому что одна из моих старших сестер, Мирра Лохвицкая, уже давно и с успехом печатала свои стихи. Мне казалось чем-то смешным, если все мы полезем в литературу. Между прочим, так оно и вышло. Кроме Мирры (Марии), другая моя сестра, Варвара, под псевдонимом Мюргит, помещала свои очерки в «Новом времени», а пьесы ее шли в «Кривом Зеркале», а самая млад-

\*Речь идет о стихотворении «Мне снился сон безумный и прекрасный», опубликованном в журнале «Север» (1901, № 35, подпись — Надежда Лохвицкая).

шая, Елена, тоже оказалась автором нескольких талантливых пьес, шедших в разных театрах.

Итак — я была недовольна. Но когда мне прислали из редакции гонорар — это произвело на меня самое отрадное впечатление. Впечатление это я пожелала повторить и написала целый фельетон в стихах, в котором с веселой беззастенчивостью молодого языка хватала зубами за самые торжественные ноги, шествующие по устланному вянущими лаврами пути.

О фельетоне заговорили. Кто смеялся, кто возмущался, кто ликовал. Был «бум». Редакция попросила продолжать. Большая газета\* пригласила сотрудничать. Остальное ясно.

## Псевдоним

Меня часто спрашивают о происхождении моего псевдонима. Действительно — почему вдруг «Тэффи»? Что за собачья кличка? Недаром в России многие из читателей «Русского слова» давали это имя своим фоксам и левреткам.

Почему русская женщина подписывает свои произведения каким-то англоязычным словом?

Уж если захотела взять псевдоним, можно было выбрать что-нибудь более звонкое или по крайней мере с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец. Это все намеки на некие политические страдания и располагает к себе читателя.

Кроме того, женщины-писательницы часто выбирают себе мужской псевдоним. Это очень умно и осторожно. К дамам принято относиться с легкой усмешечкой и даже недоверием:

— И где это она понахваталась?

— Это, наверное, за нее муж пишет.

Была писательница Марко Вовчок, талантливая романистка и общественная деятельница, подписывалась «Вережский», талантливая поэтесса подписывает свои критические статьи «Антон Крайний». Все это, повторяю, имеет свой *raison d'être*. Умно и красиво. Но «Тэффи» — что за ерунда?

---

\*Газета «Биржевые ведомости», печатавшая произведения Тэффи с 1904 года.

Так вот, хочу честно объяснить, как это все произошло. Происхождение этого литературного имени относится к первым шагам моей литературной деятельности. Я тогда только что напечатала два-три стихотворения, подписанные моим настоящим именем, и написала одноактную пьеску, а как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все крутом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не только не поставят, но никогда и не прочтут.

— Ну кому из директоров театра охота читать всякую дребедень, когда уже написаны «Гамлет» и «Ревизор»? А тем более дамскую стряпню!

Вот тут я и призадумалась. Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, — ни то ни ее.

Но — что? Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливые.

За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. И уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный, и вдобавок такой, которому везло, — значит, самой судьбой за идеального дурака признанный.

Звали его Степан, а домашние называли его Стеффи. Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнался), я решила подписать пьеску свою «Тэффи» и, будь что будет, послала ее прямо в дирекцию Суворинского театра. Никому ни о чем не рассказывала, потому что уверена была в провале моего предприятия.

Прошло месяца два. О пьеске своей я почти забыла и из всего затем сделала только назидательный вывод, что не всегда и дураки приносят счастье.

Но вот читаю как-то «Новое время» — и вижу нечто. «Принята к постановке в Малом Театре одноактная пьеса Тэффи «Женский вопрос».

Первое, что я испытала, — безумный испуг. Второе — безграничное отчаяние.

Я сразу вдруг поняла, что пьеска моя непроходимый вздор, что она глупа, скучна, что под псевдонимом долго не спрячешься, что пьеса, конечно, провалится с

треском и покрывает меня позором на всю жизнь. И как быть, я не знала, и посоветоваться ни с кем не могла.

И тут еще с ужасом вспомнила, что, посылая рукопись, пометила имя и адрес отправителя. Хорошо, если они подумают, что это я по просьбе автора отослала пакет, — а если догадаются, тогда что?

Но долго раздумывать не пришлось. На другой же день почта принесла мне официальное письмо, в котором сообщалось, что пьеса моя пойдет такого-то числа, а репетиции начнутся тогда-то, и я приглашалась на них присутствовать.

Итак — все открыто. Пути к отступлению отрезаны. Я провалилась на самое дно, и так как страшнее в этом деле уже ничего не было, то можно было обдумать положение.

Почему, собственно говоря, я решила, что пьеса так уж плоха? Если бы была плоха, ее бы не приняли. Тут, конечно, большую роль сыграло счастье моего дурака, чье имя я взяла. Подпишись я Кантом или Спинозой, наверное, пьесу бы отвергли.

Надо взять себя в руки и пойти на репетицию, а то они меня еще через полицию потребуют.

Пошла. Режиссировал Евтихий Карпов, человек старого закала, новшеств никаких не признававший.

— Павильончик, три двери, роль назубок и шпаль ее лицом к публике.

Встретил он меня покровительственно:

— Автор? Ну ладно. Садитесь и сидите тихо.

Нужно ли прибавлять, что я сидела тихо. А на сцене шла репетиция. Молодая актриса, Гринева (я иногда встречаю ее сейчас в Париже. Она так мало изменилась, что смотрю на нее с замиранием сердца, как тогда...). Гринева играла главную роль. В руках у нее был свернутый комочком носовой платок, который она все время прижимала ко рту — это была мода того сезона у молодых актрис.

— Не бурчи под нос! — кричал Карпов. — Лицом к публике! Роли не знаешь! Роли не знаешь!

— Я знаю роли! — обиженно говорила Гринева.

— Знаешь? Ну ладно. Суфлер! Молчать! Пусть жарит без суфлера, на постном масле!

Карпов был плохой психолог. Никакая роль в голове не удержится после такой остротки.



Какой ужас, какой ужас, думала я. Зачем я написала эту ужасную пьесу! Зачем послала ее в театр! Мучают актеров, заставляют их учить назубок придуманную мною ахинею. А потом пьеса провалится, и газеты напишут: «Стыдно серьезному театру заниматься таким вздором, когда народ голодает». А потом, когда я пойду в воскресенье к бабушке завтракать, она посмотрит на меня строго и скажет: «До нас дошли слухи о твоих историях. Надеюсь, что это неверно».

Я все-таки ходила на репетиции. Очень удивляло меня, что актеры дружелюбно со мной здороваются — я думала, что все они должны меня ненавидеть и презирать. Карпов хохотал:

— Несчастный автор чахнет и худеет с каждым днем.

«Несчастный автор» молчал и старался не заплакать. И вот наступило неотвратимое. Наступил день спектакля. Идти или не идти?

Решила идти, но залезть куда-нибудь в последние ряды, чтобы никто меня и не видел. Карпов ведь такой энергичный. Если пьеса провалится, он может высунуться из-за кулис и прямо закричать мне: «Пошла вон, дура!»

Пьеску мою пристегнули к какой-то длинной и нудной четырехактной скучище начинающего автора. Публика зевала, скучала, посвистывала. И вот, после финального свиста и антракта, взвился, как говорится, занавес, и затарантили мои персонажи.

«Какой ужас! Какой срам!» — думала я.

Но публика засмеялась раз, засмеялась два и пошла веселиться. Я живо забыла, что я автор, и хохотала вместе со всеми, когда комическая старуха Яблочкина, изображавшая женщину-генерала, маршировала по сцене в мундире и играла на губах военные сигналы. Актеры вообще были хорошие и разыграли пьеску на славу.

— Автора! — закричали из публики. — Автора!

Как быть?

Подняли занавес. Актеры кланялись. Показывали, что ищут автора.

Я вскочила с места, пошла в коридор по направлению к кулисам. В это время занавес уже опустили, и я повернула назад. Но публика снова звала автора, и снова поднялся занавес, и актеры кланялись, и кто-то громко кричал на сцене: «Да где же автор?», и я опять кинулась к кулисам, но занавес снова опустили. Продолжалась эта бе-

готня моя по коридору до тех пор, пока кто-то лохматый (впоследствии оказалось, что это А.Р. Кутель) не схватил меня за руку и не заорал:

— Да вот же она, черт возьми!

Но в это время занавес, поднятый в шестой раз, опустился окончательно, и публика стала расходиться.

На другой день я в первый раз в жизни беседовала с посетившим меня журналистом. Меня интервьюировали:

— Над чем вы сейчас работаете?

— Я шью туфли для куклы моей племянницы...

— Гм... вот как! А что означает ваш псевдоним?

— Это... имя одного дур... то есть такая фамилия...

— А мне сказали, что это из Киплинга.

Я спасена! Я спасена! Я спасена! Действительно, у Киплинга есть такое имя. Да, наконец, в «Трильби»\* и песенка такая есть:

Taffy was a wale-man

Taffy was a tlief...

Сразу все вспомнилось — ну да, конечно, из Киплинга! В газетах появился мой портрет с подписью «Taffy». Кончено. Отступления не было.

Так и осталось.



---

\* «Трильби» — пьеса Г. Ге (1868—1942) по одноименному роману Ш. дю Морье.

# Тонкая ПСИХОЛОГИЯ

## Рассказы. 1904—1918

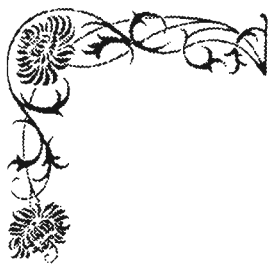


*Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщины, берущейся за перо. Но Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи. Не женщину-писательницу, а писателя большого, глубокого и своеобразного.*

*Саша ЧЕРНЫЙ*







## Смех

И высшее чудо на свете,  
Великий источник утех —  
Блаженно-невинные дети.  
Их тихий и радостный смех..

СОЛОГУБ

Скучно! Бесконечно тянется



зимний вечер.

Тускло горит лампа.

За шкафом скребется мышь.

О, как мне хочется солнца, тепла, смеха! Плавное — смеха!

Я начинаю искать его в своих воспоминаниях, искать в книгах, но не нахожу. Я читаю смешные слова, сознаю, что они смешны, но смеяться не могу.

Смех очень капризен. Он неожиданно может уйти от человека и потом вдруг неожиданно вернуться, иногда даже в очень несчастные минуты жизни. Он очень капризен.

Тайна его происхождения еще никем не угадана. Психическое зарождение его вполне индивидуально и толкуется различно. Одни говорят, что смех вызывается сознанием своего превосходства, другие думают, что все неожиданно некрасивое действует смехотворно.

Физически смех проявляется очень странно: сокращается диафрагма, легкие сильно выбрасывают воздух, приходят в движение мускулы лица...

Состояние это доставляет людям большое удовольствие, и они всегда готовы искать его, отдавать время и деньги для того, чтобы им пользоваться.

Много людей и много специальных учреждений и заведений существуют тем, что занимаются производством смеха: потребители для него всегда находятся.

В больших городах строят театры — «Фарсы» и «Буфы», в цирк приглашаются клоуны, на вечера — рассказ-

чики, в газеты — юмористические фельетонисты: издаются специальные журналы, рисуются картины — карикатуры. Все это для производства смеха, для того, чтобы сокращалась человеческая диафрагма. Производство смеха — дело далеко не легкое. Многим доводилось видеть рассказчиков, умирающих от смеха по поводу собственного остроумия, тогда как слушатели только с недоумением переглядываются. Выдумать смешное очень трудно. Иногда все психические данные налицо — а смеха нет. Диафрагма не сокращается, легкие спокойны — юморист провалился. Смех ценится дорого. В былые времена только у царей и вельмож бывали в доме шуты, увеселявшие своих господ. Теперь смех стал крупнее, и люди собираются вместе, чтобы похохотать.

Кроме специалистов, производством смеха занимаются также и любители. Они предаются этому делу бескорыстно, с неумолимостью и неотступностью фанатиков, часто на горе себе и другим. Есть целые семьи, неустанно острящие.

Исторически смех эволюционирует. Юмористические новеллы XVI столетия никого в наше время не заставят даже улыбнуться. Карикатурные произведения Рабле вызывают чувство отвращения. Даже шекспировские шутки не кажутся нам смешными. Диафрагма нового века требует совсем других раздражений.

Однако, смех не у всех наций в одинаковой чести. Русские смеются мало и относятся к этому занятию презрительно. Русский потребитель пользуется чаще всего заграничным смехом: смехопроизводство в России на самой низкой степени развития. Смех должен быть и тонкий, и не пошлый, и глубокий; смех должен быть острый и должен задеть кого-нибудь, чтобы в переливах и вибрациях его чувствовались капельки крови. Только при этих условиях запрыгает русская диафрагма.

Французы смеются часто, но смех их глуп. Главную радость находят они в том, что в их языке очень мало слов и каждое выражение имеет несколько значений. Французы играют словами, а не мыслью, и остроты их в переводе теряют соль и смысл. Немецкие «вицы»\* очень

---

\*От нем. Witz — шутка, острота.

тяжелы, но доброкачественны и солидны. То, что называется «не ладно скроен, да крепко сшит». В противоположность французам, немецкое остроумие редко касается легкомысленных любовных сюжетов. У немцев процветают карикатуры и остроты на политической почве. Все это сложено очень добротнo и передается по наследству от отца к сыну и часто подправляется и подчищается, принаравливаясь к новым общественным деятелям и событиям. Добрая немецкая острота долго не портится и выдерживает по полсотни лет.

Но больше всех смеются и почтительнее всех относятся к смеху англичане. Они сами говорят, что на континенте так смеяться не умеют. Английский смех легкий, веселый, безобидный. Он никого не заденет и не затронет. Наибольший импорт смеха в Россию идет из Англии: Диккенс, Джером К. Джером. (Кстати, что означает это «К», никто достоверно не знает. Одни говорят, что это сокращенное «Клапка», другие — что «Куки»... Но так как ни то ни другое слово ровно ничего для русского слуха не значит, то вопрос и остается невыясненным. И зачем ему это сокращение? Ведь не поленился два раза «Джером» выписать — что, пожалуй, и лишнее, — а тут вдруг такая интрига.)

Английский смех носит всегда хороший, семейный характер. Объектом своим он избирает разные глупые истории с толстыми старичками, собаками, лошадьми и даже неодушевленными предметами. Англичанин острит не торопясь, так сказать, смакуя, и обследует «осмеиваемое» со всех сторон. В английском смехе чувствуются спокойствие, сытость, самодовольство и полное отсутствие какой-либо нервозности. Он прост и здоров. Американский смех, представителем которого является у нас Марк Твен, носит тот же характер.

Италия, кажется, не смеется совсем. Декамерон — итальянская улыбка XVI века. С тех пор не слышно ничего. Может быть, итальянцы и смеются под шумок, но смех свой сохраняют для домашнего обихода и за границу не экспортируют.

Поляки смеются много, но чаще всего собственному остроумию. Остроты их всегда вертятся на почве светской любезности и носят полиняло-рыцарский характер.

В польской литературе юмористов мало. Сенкевич только в маленьком рассказе «Ta trzecia» вдался немножко в эту область.

О японцах ничего не известно.

Китайцы смеются в большой кулак, но с нами каламбурами не делятся...

Таково приблизительно «расовое» подразделение смеха.

\*\*\*

Но есть еще одно подразделение, тоже не последней важности, — подразделение звуковое.

Вспомните, как смеются ваши знакомые или случайные встречные, с которыми вам пришлось похохотать. А если нет у вас личных наблюдений, то я сообщу вам свои, которые можете потом проверить. Они «с ручательством» (как говорят в Гостином дворе про гнилые перчатки).

«Ха-ха-ха!» — смех открытый, смелый, с полным сознанием твоего права на существование. Этим смехом смеются генералы, старые дядюшки, от которых ждут наследства, и уездные исправники. Из женщин — только актрисы на ролях комических старух.

«Хо-хо-хо!» — смех зловещий, ничего доброго не предвещающий. После него всегда следует ожидать фразу: «Однако!» Или: «Да кто же это вам позволил?» Диафрагму подобный смех сотрясает очень мало. Смеются таким звуком недовольные начальники и карточные игроки, сделавшие искусственный ревенс на козырях. Женщины так никогда не смеются.

«Хе-хе-хе!» — смех подлый. Диафрагма почти спокойна, и психических причин почти нет. Это смех низшего перед высшим, смех без веселья, от страха или от подлости. Это единственный смех, который имеет цель. Так смеются в классе, когда сострит немецкий учитель, и чиновники перед начальством. У женщин же этот смех имеет совершенно особое значение: в замедленном темпе он в большом ходу у пожилых «гранддам» и означает снисхождение с сознанием собственного достоинства.

«Хи-хи-хи!» — смех застенчивый, преимущественно женский. «Хи-хи-хи — как вам не стыдно!»

Так смеются еще сельские учителя из семинаристов и школьники, подстроившие кому-нибудь гадость.



\*\*\*

Таковы звуковые подразделения смеха. Но есть еще смех «беззвучного бешенства». Им смеются герои Пшебышевского.

Есть еще какой-то «смех сквозь слезы»... Есть смех — сущая бестолочь. Например, «она х-хо-ххо-тала» Лишина.

Есть смех шекспировских злодеев и братьев-разбойников, почти беззвучный, угадываемый только по неестественно ослабленному рту и сотрясению плеч.

Ах, много, много разного смеха на свете... Но есть один, при воспоминании о котором становится жить теплее.

Этот смех без причины, самоцельный, и тихий, и звонкий, весь — сияние, весь — светлая радость бытия. Он звенит в сердце серебряным колокольчиком, зовет и будит уснувшую душу, и все, кто слышит его, начинают тихо и радостно улыбаться.

И старые одинокие люди, которых жизнь закрутила и отбросила далеко от живого счастья, вспоминают об этом смехе в длинные зимние вечера, и не слышат, как скребется за шкафом мышь, и не видят, что гаснет тусклая лампа, и смотрят, улыбаясь, в темноту надвигающейся ночи.

Так смеются... лампа моя гаснет... так смеются маленькие кудрявые дети...





## Предисловие

**В**от как началось.

«Сказал Бог: сотворю человека по образу Нашему и по подобию Нашему»

(Бытие I, 26).

И стало так. Стал жить и множиться человек, передавая от отца к сыну, от предков к потомкам живую горящую душу — дыхание Божье.

Вечно было в нем искание Бога и в признании, и в отрицании, и не меркнул в нем дух Божий вовеки.

Путь человека был путь творчества. Для него он рождался, и цель его жизни была в нем. По преемству духа Божия он продолжал созидание мира.

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ея, скотов и гадов и зверей земных по роду их»

(Бытие I, 24)

И стало так.

Затрепетало влажное, еще не отвердевшее тело земное, и закопошилось в нем желание жизни движущимися мерцающими точками — коловратками.

Коловратки наполнили моря и реки, всю воду земную, и стали искать, как им овладеть жизнью и укрепиться в ней.

Они обратились в аннелид, в кольчатых червей, в девятиглазых, с дрожащими чуткими усиками, осязающими малейшее дыхание смерти.

Они обратились в гадов, амфибий, и выползали на берег, и жадно ощупывали землю перепончатыми лапами, и припадали к ней чешуйчатой грудью. И снова искали жизнь и овладевали ею.

Одни отрастили себе крылья и поднялись на воздух, другие поползли по земле, третьи заострили свои позвонки и укрепились на лапах.

И все стали приспособляться, и бороться, и жить.

И вот после многовековой работы первый усовершенствовавшийся гад принял вид существа человекообразного. Он пошел к людям и стал жить с ними. Он учуял, что без человека ему больше жить нельзя, что человек поведет его за собой в царство духа, куда человекообразному доступа не было. Это было выгодно и давало жизнь. У человекообразных не было прежних чутких усиков, но чутье осталось.

\*\*\*

Люди смешались с человекообразными. Заключали с ними браки, имели общих детей. Среди детей одной и той же семьи приходится часто встречать маленьких людей и маленьких человекообразных. И они считаются братьями.

Но есть семьи чистых людей и чистых человекообразных.

Последние многочисленнее, потому что человекообразное сохранило свою быстроразмножаемость еще со времени кольчатого девятиглазого периода. Оно и теперь овладевает жизнью посредством количества и интенсивности своего жизнежелания.

\*\*\*

Человекообразные разделяются на две категории: человекообразные высшего порядка и человекообразные низшего порядка.

Первые до того приспособились к духовной жизни, так хорошо имитируют различные проявления человеческого разума, что для многих поверхностных наблюдателей могут сойти за умных и талантливых людей.

Но творчества у человекообразных быть не может, потому что у них нет великого Начала. В этом их главная мука. Они охватывают жизнь своими лапами, крыльями, руками, жадно ощупывают и вбирают ее, но творить не могут.

Они любят все творческое, и имя каждого гения окружено венком из имен человекообразных.

Из них выходят чудные библиографы, добросовестные критики, усердные компиляторы и биографы, искусные версификаторы.

Они любят чужое творчество и сладострастно трутся около него.

Переписать стихи поэта, написать некролог о знакомом философе или, что еще отраднее, личные воспоминания о талантливом человеке, в которых можно писать «мы», сочетать в одном свое имя с именем гения.

Сладостная радость жужелицы, которая думает об ангеле: «Мы летаем!..»

В последнее время стали появляться странные, жуткие книги.

Их читают, хвалят, но удивляются. В них все. И внешняя оригинальность мысли, и мастерская форма изложения. Стихи со всеми признаками принадлежности их к модной школе. Но чего-то в них не хватает.

В чем дело? Это приспособившиеся к новому движению человекообразные стали упражняться.

\*\*\*

Человекообразные низшего порядка менее восприимчивы.

Они все еще ощупывают землю и множатся, своим количеством овладевая жизнью.

Они любят приобретать вещи, всякие осязаемые твердые куски, деньги.

Деньги они копят не сознательно, как человек, желающий власти, а упрямо и тупо, по инстинкту завладевания предметами.

Они очень много едят и очень серьезно относятся ко всяким жизненным процессам. Если вы вечером где-нибудь в обществе скажете: «Я сегодня еще не обедал», — вы увидите, как все человекообразные повернут к вам головы.

\*\*\*

Человекообразное любит труд. Труд — это его инстинкт. Только трудом может оно добиться существования человеческого, и оно трудится само и заставляет других трудиться в помощь себе.

Одна мгновенная творческая мысль гения перекидывает человечество на несколько веков вперед по той гигантской дороге, по которой должно пробраться челове-

кообразное при помощи перепончатых лап, тяжелых крыл, кольчатых извивов и труда бесконечного. Но оно идет всегда по той же дороге, вслед за человеком, и все, что брошено гением во внешнюю земную жизнь, делается достоянием человекообразного.

\*\*\*

Человекообразное движется медленно, усваивает с трудом и раз приобретенное отдает и меняет неохотно.

Человек ищет, заблуждается, решается, создает закон — синтез своего искания и опыта.

Человекообразное, приспособляясь, принимает закон, и, когда человек, найдя новое, лучшее, разрушает старое, человекообразное только после долгой борьбы отцепляется от принятого. Оно всегда последнее во всех поворотах пути истории.

Там, где человек принимает и выбирает, человекообразное трудится и приспособляется.

\*\*\*

Человекообразное не понимает смеха.

Оно ненавидит смех, как печать Бога на лице души человеческой.

В оправдание себе оно оклеветало смех, назвало его пошлостью и указывает на то, что смеются даже двухмесячные младенцы. Человекообразное не понимает, что есть гримаса смеха, мускульное бессознательное сокращение, встречающееся даже у собак, и есть истинный, сознательный и не всем доступный духовный смех, порождаемый неуловимо сложными и глубокими процессами.

Когда люди видят что-нибудь уклоняющееся от истинного, предначертанного, уклоняющееся неожиданно некрасиво, жалко, ничтожно, и они постигают это уклонение, душой их овладевает бурная экстазная радость, торжество духа, знающего истинное и прекрасное. Вот психическое зарождение смеха.

У человекообразного, земнорожденного, нет духа и нет торжества его — и человекообразное ненавидит смех.

Вспомните: в смеющейся толпе всегда мелькают недоуменно-тревожные лица. Кто-то спешит заглушить

смех, переменить разговор. Вспомните: сверкают злые глаза и сжимаются побледневшие губы...

Некоторые породы человекообразных, отличающиеся особой приспособленностью, уловили и усвоили внешний симптом и проявление смеха. И они смеются.

Скажите такому человекообразному: «Слушайте! Вот смешной анекдот» — и оно сейчас же сократит мускулы лица и издаст смеховые звуки.

Такие человекообразные смеются очень часто, чаще самых веселых людей, но всегда странно — или не узнав еще причины, или без причины, или позже общего смеха.

В театре — на представлении веселого водевиля или фарса — прислушайтесь: после каждой шутки вы услышите два взрыва смеха. Сначала засмеются люди, за ними — человекообразные.

\*\*\*

Человекообразное не знает любви. Ему знакомо только простое, не индивидуализирующее половое чувство. Чувство это, грубое и острое, обычно у человекообразных — как инстинкт завладения землей и жизнью. Во имя его человекообразное жертвует многим, страдает и называет это своей любовью. Любовь эта исчезает у него, как только исполнит свое назначение, то есть даст ему возможность размножиться. Человекообразное любит вступать в брак и блюсти семейные законы.

Детей они ласкают мало. Больше «воспитывают». О жене говорят: «Она должна любить мужа». Нарушение супружеской верности осуждают строже, чем люди, как и вообще нарушение всякого закона. Боятся, что, испортив старое, придется снова приспособляться.

Человекообразные страстно любят учить. Из них многие выходят в учителя, в профессора. Уча, они торжествуют. Говоря чужие слова ученикам, они представляют себе, что это их слова, ими созданные.

\*\*\*

За последнее время они размножились. Есть неоспоримые приметы. Появились их книги в большом количестве. Появились кружки. Почти вокруг каждого сколько-

нибудь выдающегося человека сейчас же образуется кружок, школа. Это все стараются человекообразные.

Они притворяются теперь великолепно, усвоили себе все ухватки настоящего человека. Они лезут в политику, стараются пострадать за идею, выдумывают новые слова или дико сочетают старые, плачут перед Сикстинской Мадонной и даже притворяются развратниками.

Они стали выдумывать оригинальности. Они крепнут все более и более и скоро задавят людей, завладеют землей. Уже много раз приходилось человеку преклоняться перед их волей, и теперь уже можно думать, что они сговорились и не повернут больше за человеком, а будут стоять на месте и его остановят. А может быть, прикончат с ним и пойдут назад отдыхать.

Многие из них уже мечтают и поговаривают о хвостах и лапах...





## Взамен политики

Конст. Эрбергу

Если обедать.

Глава семьи, отставной капитан, с обвисшими, словно мокрыми, усами и круглыми, удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды и он еще не может прийти в себя.

Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим.

Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:

— А где же Петька?

— Бог их знает, где они валандаются, — отвечала жена. — В гимназию палкой не выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.

Жилец усмехнулся и вставил слово:

— Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.

— Э нет, миленький мой, — выпучил глаза капитан. — С этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-нибудь за границу.

— А вы что же изволите изобретать?

— Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, мало ли еще вещей не изобретено! Ну, например, скажем, изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро в положенный час аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А?



— Папочка, — сказала дочь, — да ведь это просто будильник.

Капитан удивился и замолчал.

— Да, вы действительно правы, — тактично заметил жилец. — От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает.

В комнату влетел краснощекий третьеклассник-гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал:

— Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка?

— Господи помилуй! С ума сошел! Где тебя носит! Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный.

— Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?

— Ну, давай тарелку: я тебе котлету положу.

— Отчего кот-лета, а не кошка-зима? — деловито спросил гимназист и подал тарелку.

— Его, верно, сегодня выпороли, — догадался отец.

— Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? — запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист.

— Нет, видели вы дурака?! — возмущался удивленный капитан.

— Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? — спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией.

— Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился!..

— Петя, постой, Петя! — крикнула вдруг сестра. — Скажи, отчего говорят д-верь, а не говорят д-сомневайся? А?

Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил:

— А отчего пан-талоны, а не хам-купоны?

Жилец захихикал:

— Хам-купоны... А вы не находите, Иван Степаныч, что это занятно? Хам-купоны!..

Но капитан совсем растерялся.

— Сонечка! — жалобно сказал он жене. — Выгони этого... Петьку из-за стола! Прошу тебя, ради меня.

— Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Папочка тебе приказывает выйти из-за стола. Марш к себе в комнату! Сладкого не получишь!

Гимназист надулся:

— Я ничего худого не делаю... У нас весь класс так говорит... Что ж, я один за всех отдувайся!..

— Нечего, нечего! Сказано — иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди у себя!

Пимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери. Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул и, глотая слезы, поговорил:

— Это подло — так относиться к родственникам... Я не виноват... Отчего вино-ват, а не пиво-ват?!

Несколько минут все молчали.

Затем дочь сказала:

— Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопок.

— Ах, да уж перестань хоть ты-то! — замахала на нее мать. — Слава богу, не маленькая...

Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал.

— Ха-ха! Это замечательно, — ликовал жилец. — А я тоже придумал: отчего живу-зем, а не помер-зем. А? Это, понимаете, по-французски. Живузем. Значит «я вас люблю». Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. Конечно, я не специалист-лингвист...

— Ха-ха! — заливалась дочка. — А почему Дуб-ровин\*, а не осина-одинакова?..

Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно она к чему-то прислушивалась:

— Постой, Сашенька! Постой минутку. Как это... Вот опять забыла...

Она смотрела на потолок и моргала глазами:

— Ах да! Почему сатана... нет... почему дьявол... нет, не так!..

Капитан уставился на нее в ужасе:

— Чего ты лаешься?

— Постой! Постой! Не перебивай. Да! Почему говорят чертить, а не дьяволить?

— Ох, мама! Мама! Ха-ха-ха! А отчего «па-почка», а не...

— Пошла вон, Александра! Молчать! — крикнул капитан и выскочил из-за стола.

\*Дубровин А. И. (1855—1918) — врач, один из членов Союза русского народа.

Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала ему с горничной две записочки. Одну в девять часов: «Отчего обни-мать, а не обни-отец?» Другую — в одиннадцать: «Отчего руб-ашка, а не девяносто девять копеек-ашка?»

На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра.

— Отчего... отчего... — шептал он в полудремоте.

Вдруг кто-то тихо постучал в дверь. Никто не ответил, но стук повторился. Жилец встал, закутался в одеяло.

— Ай-ай! Что за шалости! — тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад.

Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руках, стоял капитан.

Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови.

— Виноват, — сказал он. — Я не буду беспокоить... Я на минутку... Я придумал...

— Что? Что? Изобретение? Неужели?

— Я придумал: отчего чер-нила, а не чер-какой-нибудь другой реки? Нет... у меня как-то иначе... лучше выходило... А впрочем, виноват... Я, может быть, беспокоил... Так, не спалось — заглянул на огонек...

Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.





Супруги Шариковы поссорились.

из-за актрисы Крутомирской, которая была так глупа, что даже не умела отличать женского голоса от мужского и однажды, позвонив Шарикову по телефону, закричала прямо в ухо подошедшей на звонок супруге его:

— Дорогой Гамлет! Ваши ласки горят в моем организме бесконечным числом огней!

Шарикову в тот же вечер приготовили постель в кабинете, а утром жена прислала ему вместе с кофе записку:

«Ни в какие объяснения вступать не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. Анастасия Шарикова».

Так как самому Шарикову, собственно говоря, тоже ни в какие объяснения вступать не хотелось, то он и не настаивал, а только старался несколько дней не показываться жене на глаза. Уходил рано на службу, обедал в ресторане, а вечера проводил с актрисой Крутомирской, часто интригуя ее загадочной фразой:

— Мы с вами все равно прокляты и можем искать спасения только друг в друге.

Крутомирская восклицала:

— Гамлет! В вас много искренности! Отчего вы не пошли на сцену?

Так мирно протекло несколько дней, и вот однажды утром, а именно в пятницу десятого числа, одеваясь, Шариков увидел на полу около дивана, на котором он спал, маленькую брошечку с красноватым камешком.

Шариков поднял брошечку, рассматривал и думал:

«У жены такой вещицы нет. Это я знаю наверное. Следовательно, я сам вытряхнул ее из своего платья. Нет ли там еще чего?» Он старательно вытряс сюртук, вывернул все карманы.

Откуда она взялась?

И вдруг он лукаво усмехнулся и подмигнул себе левым глазом.

Дело было ясное: брошечку сунула ему в карман сама Крутомирская, желая подшутить. Остроумные люди часто так шутят — подсунут кому-нибудь свою вещь, а потом говорят: «А ну-ка, где мой портсигар или часы? А ну-ка, обобщем-ка Ивана Семеныча».

Найдут и хохочут. Это очень смешно.

Вечером Шариков вошел в уборную Крутомирской и, лукаво улыбаясь, подал ей брошечку, завернутую в бумагу:

— Позвольте вам преподнести, хе-хе!

— Ну к чему это! Зачем вы беспокоитесь? — деликатничала актриса, развертывая подарок. Но когда развернула и рассмотрела, вдруг бросила его на стол и надула губы. — Я вас не понимаю! Это, очевидно, шутка! Подарите эту дрянь вашей горничной. Я не ношу серебряной дряни с фальшивым стеклом.

— С фальшивым стекло-ом? — удивился Шариков. — Да ведь это же ваша брошка! И разве бывает фальшивое стекло?

Крутомирская заплакала и одновременно затопала ногами — из двух ролей зараз:

— Я всегда знала, что я для вас ничтожество! Но я не позволю играть честью женщины!.. Берите эту гадость! Берите! Я не хочу до нее дотрагиваться — она, может быть, ядовитая!

Сколько ни убеждал ее Шариков в благородстве своих намерений, Крутомирская выгнала его вон.

Уходя, Шариков еще надеялся, что все это уладится, но услышал пущенное вдогонку: «Туда же! Нашелся Гамлет! Чинуш несчастный!»

Тут он потерял надежду.

На другой день надежда воскресла без всякой причины, сама собой, и он снова поехал к Крутомирской. Но та не приняла его. Он сам слышал, как сказали:

— Шариков? Не принимать!

И сказал это — что хуже всего — мужской голос. На третий день Шариков пришел к обеду домой и сказал жене:

— Милая! Я знаю, что ты святая, а я подлец. Но нужно же понимать человеческую душу!

— Ладно! — сказала жена. — Я уже четыре раза понимала человеческую душу! Да-с! В сентябре понимала, когда с бонной снюхались, и у Поповых на даче понимала, и в прошлом году, когда Маруськино письмо нашли. Нечего, нечего! И из-за Анны Петровны тоже понимала. Ну а теперь баста!

Шариков сложил руки, точно шел к причастию, и сказал кротко:

— Только на этот раз прости! Наточка! За прошлые раза не прошу! За прошлые не прощай. Бог с тобой! Я действительно был подлецом, но теперь клянусь тебе, что все кончено.

— Все кончено? А это что?

И, вынув из кармана загадочную брошечку, она поднесла ее к самому носу Шарикова. И, с достоинством повернувшись, прибавила:

— Я попросила бы вас не приносить по крайней мере домой вещественных доказательств вашей невиновности, ха-ха!.. Я нашла это в вашем сюртуке. Возьмите эту дрянь, она жжет мне руки!

Шариков покорно спрятал брошечку в жилетный карман и целую ночь думал о ней. А утром решительными шагами пошел к жене.

— Я все понимаю, — сказал он. — Вы хотите развода. Я согласен.

— Я тоже согласна! — неожиданно обрадовалась жена.

Шариков удивился:

— Вы любите другого?

— Может быть.

Шариков засопел носом:

— Он на вас никогда не женится.

— Нет, женится!

— Хотел бы я видеть... Ха-ха!

— Во всяком случае, вас это не касается.

Шариков вспылил:

— Позвольте! Муж моей жены меня не касается. Нет, каково? А?

Помолчали.

— Во всяком случае, я согласен. Но перед тем как мы расстанемся окончательно, мне хотелось бы выяснить один вопрос. Скажите, кто у вас был в пятницу вечером?

Шарикова чуть-чуть покраснела и ответила неестественно честным тоном:

— Очень просто: заходил Чибисов на одну минутку. Только спросил, где ты, и сейчас же ушел. Даже не раздевался ничуть.

— А не в кабинете ли на диване сидел Чибисов? — медленно проскандировал Шариков, проницательно щуря глаза.

— А что?

— Тогда все ясно. Брошка, которую вы мне тыкали в нос, принадлежит Чибисову. Он ее здесь потерял.

— Что за вздор! Он брошек не носит! Он мужчина.

— На себе не носит, а кому-нибудь носит и дарит. Какой-нибудь актрисе, которая никогда и Гамлета-то в глаза не видала. Ха-ха! Он ей брошки носит, а она его чинушом ругает. Дело очень известное! Ха-ха! Можете передать ему это сокровище.

Он швырнул брошку на стол и вышел.

Шарикова долго плакала. От одиннадцати до без четверти два. Затем запаковала брошечку в коробку из-под духов и написала письмо.

«Объяснений никаких не желаю. Все слишком ясно и слишком гнушно.

Взглянув на посылаемый вам предмет, вы поймете, что мне все известно.

Я с горечью вспоминаю слова поэта:

Так вот где таилась погибель моя:  
Мне смертью кость угрожала.

В данном случае кость — это вы. Хотя, конечно, ни о какой смерти не может быть и речи. Я испытываю стыд за свою ошибку, но смерти я не испытываю. Прощайте. Кланяйтесь от меня той, которая едет на «Гамлета», зашпиливаясь брошкой в полтинник.

Вы поняли намек?

Забудь, если можешь!

А».

Ответ на письмо пришел в тот же вечер. Шарикова читала его круглыми от бешенства глазами.

«Милостивая государыня! Ваше истерическое послание я прочел и пользуюсь случаем, чтобы откланяться. Вы облегчили мне тяжелую развязку. Присланную вами, очевидно, чтобы оскорбить меня, штуку я отдал швейцарихе. Sic transit Catilina\*. Евгений Чибисов».

Шарикова горько усмехнулась и спросила сама себя, указывая на письмо:

— И это они называют любовью?

Хотя никто этого письма любовью не называл. Потом позвала горничную:

— Где барин?

Горничная была чем-то расстроена и даже заплакала.

— Уехадчи! — отвечала она. — Уложили чемодан и дворнику велели отметить.

— А-а! Хорошо! Пусты! А ты чего плачешь?

Горничная сморщилась, закрыла рот рукой и запричитала. Сначала слышно было только «вяу-вяу», потом и слова:

— ...Из-за дряни, прости господи, из-за полтинниной человека истребил... ил...

— Кто?

— Да жених мой — Митрий, приказчик. Он, барыня-голубушка, подарил мне брошечку, а она и пропади. Уж я искала, искала, с ног сбилась, да, видно, лихой человек скрал. А Митрий кричит: «Растеряха ты! Я думал, у тебя капитал скоплен, а разве у растерях капитал бывает». На деньги мои зарился... вяу-вяу!

— Какую брошечку? — похолодев, спросила Шарикова.

— Обыкновенную, с красненьким, быдто с леденцом, чтоб ей лопнуть!

— Что же это?

Шарикова так долго стояла, выпучив глаза на горничную, что та даже испугалась и притихла.

Шарикова думала:

«Так хорошо жили, все было шито-крыто, и жизнь была полна. И вот свалилась нам на голову эта окаянная брошка и точно ключом все открыла. Теперь ни мужа, ни

---

\*Так уходит Катилина (лат.). Катилина Луций Сергей (108—62 до н.э.) — римский патриций, организатор заговора с целью свержения республиканской власти: был изобличен Цицероном.



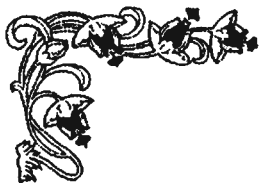
Чибисова. И Феньку жених бросил. И зачем это все? Как все это опять закрыть? Как быть?»

И так как совершенно не знала, как быть, то топнула ногой и крикнула на горничную:

— Пошла вон, дура!

А впрочем, больше ведь ничего не оставалось!





С самого утра

было как-то тревожно.

Началась тревога с того, что утром вместо обычных белых чулок подали какие-то мутно-голубые и нянька ворчала, что прачка все белье пересинила.

— Статочное ли дело этакое белье подавать. А туда же, «Матрена Карповна!» Нет, коли ты себя Матреной Карповной зовешь, так должна понимать, что делаешь, а не валять зря!

Лиза сидела на кровати и разглядывала свои худые длинные ноги, которыми она вот уже семь лет шагает по Божьему свету.

Смотрит на голубые чулки и думает:

«Нехорошие чулки. Смертный цвет. Будет мне беда!»

Потом, вместо няньки, стала ее причесывать горничная Корнелька с масляной головой, масляными руками и хитрыми масляными глазами.

Корнелька драла гребнем волосы больно-пребольно, но Лиза считала унижительным для себя хныкать при ней и только кряхтела.

— Отчего у вас руки масляные?

Корнелька повернула несколько раз свою красную короткую руку, словно любуясь ею:

— Это у меня ручки от работы так блестят. Я до работы прилежна, вот и ручки блестят.

\*\*\*

У террасы, под старой липой, на маленькой глиняной печурке нянька варила варенье.

Кухаркина девчонка Стешка помогала, подкладывала щепок в печурку, бегала за ложкой, за тарелкой, отгоняла веткой мух от тазаика.

Нянька поощряла девчонку и подзадоривала:

— Молодец, Стеша! Ну что за умница эта Стеша. Вот она мне сейчас и холодненькой водички принесет. Пойди, Стеша, принеси водички. Этой Стеше прямо цены нет.

Лиза ходила вокруг липы, перелезала через толстые ее корни. Между корнями было много занятного. В одном уголку жил дохлый жук. Крылья у него были сухие, как шелуха, что бывает внутри кедрового орешка.

Лиза перевернула его палочкой сначала на спину, потом снова на брюшко, но он не испугался и не убежал. Совсем был дохлый и жил спокойно.

В другом уголку натянута была паутина, а в ней лежала крошечная муха.

Паутинка, верно, была мушиным гамаком.

В третьем углу сидела божья коровка и думала про свои дела.

Лиза подняла ее палочкой и понесла к мухе познакомиться, но божья коровка по дороге вдруг раскололась пополам, раздвинула крылья и улетела.

Нянька застучала ложкой по тарелке, снимая накипь с варенья.

— Нянюшка, дайте мне пеночек! — попросила Лиза. Нянька была красная и сердитая.

Сдувала муху с верхней губы, но муха точно прилипла к влажному лицу и переползала то на нос, то на щеку.

— Пойди, пойди! Нечего тут вертеться! Какие тебе пеночки, еще и не вскипело. Другая сидела бы в детской, картинки бы смотрела. Видишь, няне некогда. У, непоседа! Стеш, умница, подложи щепочек! Молодец у меня Стеша.

Лиза смотрела, как Стеша, мелко семена босыми ногами, принесла щепок и старательно подсовывала их в печурку.

Косичка у Стешки была тоненькая, перевязанная грязной голубой тряпчочкой, а шея под косичкой темная, худая, как палка.

«Это она нарочно так старается, — думала Лиза. — Нарочно. Воображает, что она и вправду умная. А няня просто так говорит».

Стешка поднялась, няня погладила ее по голове и сказала:

— Спасибо, Стешенька. Ужо дам тебе пеночек.

У Лизы вдруг громко-громко застучало в висках. Она легла животом на скамейку и, болтая ногами в «смертных» чулках, сказала, злобно улыбаясь вздрагивающими губами:

— А я не пойду отсюда! Не хочу и не пойду!

Нянька обернулась и всплеснула руками:

— Ну что это, ей-богу, за наказание! Сегодня чистое платье надели, а она его по грязной скамейке валяет. Как есть все загваздала! Да уйдешь ты отсюда или нет?

— Не хочу и не пойду!

Нянька хотела что-то сказать, но в это время поднялась на варенье густая белая пена.

— Ах ты господи! Варенье уйдет.

Она кинулась к тазу, а Лиза, поднявшись, демонстративно запела и заскакала прочь на одной ножке.

Она уже вышла из-под липы, когда встретила Стешку, несшую ягоды на блюде.

Стешка шагала осторожно — нарочно, чтобы показать Лизе, что она умница.

Лиза подошла к ней и, задыхаясь, сказала шепотом:

— Пошла вон! Пошла вон, дура!

Стешка сделала испуганное лицо, нарочно, чтобы няня заметила, и, ускорив шаг, пошла под липу.

Лиза побежала в густые заросли крыжовника, повалилась в траву и громко всхлипнула.

Теперь вся жизнь ее была разбита.

Она лежала и, закрыв глаза, видела тонкую Стешкину косичку, и грязную голубую тряпочку-завязушку, и худую Стешкину шею, черную, как палка.

А няня гладит ее и приговаривает: «Умница, Стешенька! Вот ужо я тебе пеночек дам!»

— Пе-еночек! Пе-еночек! — шепчет Лиза, и каждый раз от этого слова делается так больно, так горько, что слезы текут из глаз прямо в уши.

— Пе-еночек!

А ведь может и так быть, что пойдет Стешка за щепками да и померет. Вот все и поправится!

Нет, не поправится. Няня жалеть станет. Скажет: «Вот была умница да и померла. Лучше бы Лиза померла».

И снова слезы текут прямо в уши.

Нечего сказать, нашла умницу! Необразованную. Я учусь. Я по-французски умею: жэ, тю а, иль а, вузавэ, нузавэ... Я вырасту большая, выйду замуж за генерала, приеду сюда, скажу: «Это что за девчонка? Выгоните ее вон, она украла мою голубую тряпку себе в косу».

Лизе стало уже немножко легче, да вдруг вспомнились пеночки.

Нет! Ничего этого не будет! Теперь всему конец.

Она и домой не пойдет. К чему?

Она ляжет вот так на спину, как прачка Марья, когда померла. Закроет глаза и будет лежать тихо-тихо.

Увидит Бог и пошлет ангелов за ее душенькой.

Прилетят ангелы, крылышками зашуршат — фрр... и понесут ее душеньку высоко-высоко.

А дома сядут обедать, и все будут удивляться:

— Что это с Лизой?

— Отчего это Лиза ничего не ест?

— Отчего это наша Лиза стала такая бледная?

А она все молчит и ни на кого не смотрит. А мама вдруг и догадается!

— Да как же, — скажет, — вы не понимаете? Ведь это она умерла!

Лиза сидит тихо, умиленно вздыхает, смотрит на свои тонкие ноги в чулках «смертного» цвета. Вот и умерла она, вот и умерла.

Гудит что-то, гудит все ближе, ближе... и вдруг — бац, прямо Лизе в лоб. Это толстый майский жук, пьяный от солнца, налетел, ударился и сам свалился.

Лиза вскочила и бросилась бежать.

— Няня! Няня-а! Меня жук ударил! Жук дерется!

Няня испугалась, смотрит ласково.

— Чего ты, глупенькая? И знаку никакого нету. Это тебе так показалось. Присядь, умница, присядь на скамеечку, вот я тебе сейчас пеночек дам, хороших пеночек. Хочешь? А?

«Пе-еночек! Пе-еночек!» — засмеялось что-то у Лизы глубоко в самой душе, которую не успели унести Божьи ангелы.

— Няня, я никогда не помру? Правда? Буду много супу есть, молоко пить и не помру. Правда?





## Жизнь и воротник

**Ч**еловек только воображает,



что беспредельно властвует над вещами.

Иногда самая невзрачная вещьца вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.

Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.

Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник с продернутой в него желтой ленточкой.

Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое, необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно.

Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила.

Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег.

Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль.

Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.

Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути?

Олечка заложила серебро и браслетку.

На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер.

На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок.

Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:

— Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого.

Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.

Следующие дни были еще тяжелее.

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.

— Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник.

Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.

Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода.

Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал.

Так дело шло все хуже и хуже.

Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?



Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми, и не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие — ни за что на свете.

Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал.

Однажды ее пригласили на вечер.

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево.

За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу.

Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил:

— Только-то?

Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала: «Господи! Куда я попала?!»

После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился, прежде чем Олечка успела сообразить, в чем дело.

Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:

— Моя дорогая!

А воротник пошло захихикал в ответ. Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.

Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул:

— Только-то?

Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в кабинет.

— Да ведь здесь нет никакой музыки! — возмущалась Олечка.

Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.

Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж.

Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола.

— Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была?

Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию:

— Где была? Со студентом болталась!

Честный муж пошатнулся:

— Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?

— Деньги? Профукала!

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела.

Да и знала ли она это дурацкое слово — «профукала»? Она ли это сказала?

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.

Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке.

Кроткая Олечка служит в банке.

Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь».

— А где воротник? — спросите вы.

— А я-то почему знаю, — отвечу я. — Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте.

Эх, жизнь!





# Нянькина сказка про кобылью голову

— Ну а вы какого мнения

относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? — спросила я у своей соседки по five o'clock'у.

— Как вам сказать!.. Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. А это было бы так забавно. Маленькие романы... Сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подсказка... Да, это очень увлекательно! Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее! И, знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал: «Nous avons, vous avons, ils ont»...\* или еще того хуже! Такие воспоминания очень расхолаживают.

— Все это вздор! — перебила ее хозяйка дома. — Не в этом суть! Главное, на что должно быть обращено внимание родителей и воспитателей, — это развитие в детях фантазии.

— Однако? — удивился хозяин и пожевал губами, очевидно, собираясь сострить.

— Finissez! Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянька — вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.

— Pardon! — вставила моя соседка. — Вы что-то сказали о поэтах... Я не совсем поняла.

— Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да! Простой русской няньке! Лучший наш поэт, Пушкин, по его же собственному признанию, был вдох-

\*Мы имеем, вы имеете, они имеют (фр.).

новлен нянькой на свои лучшие произведения. Вспомните, как отзывался о ней Пушкин: «Голубка дряхлая моя... голубка дряхлая моя... сокровища мои на дне твоём таятся...»

— Pardon, — вмешался молодой человек, приподняв голову над сухарницей, — это как будто к чернильнице...

— Что за вздор! Разве чернильница может нянчить! И все эти дивные произведения! «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин» — ведь всему этому научила его нянька!

— Неужели и «Евгений Онегин»? — усомнилась моя соседка.

— Удивительно! — мечтательно сказал хозяин дома. — Такая дивная музыка... И все это нянька!

— Finissez!\* Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки.

— Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна! — заметила моя соседка. — Я знала одного дантиста... Так он ужасно много о себе воображал... То есть я не то хотела сказать...

Она слегка покраснела и замолчала.

— А сколько возни было с этими боннами! Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван Андреич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала? Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в три часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреич стал в клуб ездить, а я потихоньку к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь, положительно, сама не понимаю, как она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели!

— Говорят, есть такие флюиды... — вставил хозяин, сделав умное лицо.

— Finissez! Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошаадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто дети на извозчике едут. Не знаю, может быть, дру-

---

\*Перестаньте! (фр.)

гим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение. Тем более я — мать.

Мы не спорили, и она продолжала:

— Прихожу я раз в детскую, вижу — Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом как прислушалась — господи, что такое! Ушам своим не верю. «*Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebel*!»\* — выводят своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла.

В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома.

— А-а! Вот и отлично! Теперь шесть часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку в жанре... в жанре... как его? Их еще два брата...

— Карл и Франц Мор, — подсказал молодой человек.

— Да, — согласилась было хозяйка, но тотчас спохватилась: — Ах нет, на «Д»...

— Решке, что ли? — помог муж.

— *Finissez!* В жанре... в жанре Маковского.

— Так вот, картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня садится на ковер, дети вокруг. *C'est poetique*. Так что же, пойдемте?

Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа и, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию.

В детской действительно было полутемно. Горела только зеленая лампадка. И тихо.

Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тянучи рассказывал:

— В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был старик со старухой, старые-престарые, и детей у них не было.

Вот погоревал старик, погоревал, да и пошел в лес дрова рубить.

Рубит, рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобыля голова.

---

\* Вильгельм спит у своей новой возлюбленной (нем.).

«Здравствуй, — говорит, — папаша!»

Испугался мужик, однако делать нечего.

«Какой, — говорит, — я тебе, кобылья голова, папаша!»

«Такой, что ве́ди меня к себе в избу жить».

Потужил мужик, потужил, однако видит — делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой.

Подкатилась кобылья голова под лавку, три года жила. пила-ела, мужика папашей звала.

Как на третий год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику:

«Папаша, а папаша, я жениться хочу!»

Испугался мужик, однако делать нечего.

«На ком же ты, — спрашивает, — кобылья голова, жениться хочешь?»

«А так что, — говорит, — иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку».

Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец.

А во дворце царская дочка жила. Красавица-раскрасавица. Носик у ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны.

И живет она богато-богатеюще.

Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, ест она масло параванское, пряником непечатным закусывает.

А платье на ней с тремя оборками и манчестером отделано.

А во дворце-то палаты огромные, ни пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит.

А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по пятьсот человек ночует.

Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать.

Потужил царь, потужил, однако видит — делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову.

Стали свадьбу играть, пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил со своего царского плеча лапотки новехонькие да кафтан золоченый на бумазее стеганный, и палаты каменные, и пирога кромку.

Пошел старик к своей старухе. Стали они жить-поживать да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало!

— C'est fantastique! — хрюкнул молодой человек, зажав рот рукой.





## Мишеньку арестовали

Маменька и тетенька сидят за чаем и обсуждают обстоятельства дела.

— Пустяки, -- говорит тетенька. — Мне сам господин околоточный надзиратель сказал, что все это ерунда. Добро бы, говорит, студент, а то гимназист-третьеклассник. Пожучат да и выпустят.

— Пожучить надо, — покорно соглашается маменька.

— А потом тоже — и пистолет-то ведь старый, его и зарядить нельзя. Это всякий может понять, что, не зарядивши, не выпалишь.

— Ох, Мишенька, Мишенька! Чужало твое сердце. Он, Верушка, как эту пистоль-то завел, так сам три ночи заснуть не мог. Каждую минутку встанет да посмотрит, как эта пистоль-то лежит. Не повернулась ли, значит, к нему дыркой. Я ему говорю: «Брось ты ее, отдай, у кого взял». И бросить нельзя — товарищи велели.

— Так ведь оно не заряжено?

— Не заряжено-то оно не заряжено, да Мишенька говорит, что в газетах читал, будто как нагреется пистоль от солнца, так и выстрелит; и заряжать, значит, не надо. В Америке будто нагрелась да ночью целую семью и ухлопала.

— Да солнца-то ведь ночью не бывает, — сомневается тетенька.

— Мало что не бывает. За день разогреется, а ночью и палит.

— Не спорю, а только много и врут газеты-то. Вот на-медни Степанида Петровна тоже в газете вычитала, будто на Петербургской стороне продается лисья шуба за шестнадцать рублей. Ну статочное ли дело? Чтобы лисья шуба...



— Врут, конечно, врут. Им что!.. Им все равно. Что угодно напишут.

Дверь неожиданно с треском распаивается. Входит гимназист — Мишин товарищ. Щеки у него пухлые, губы надуты и выражение лица злое.

— Здравствуйте! Я зашел... Вообще считаю своим долгом успокоить. Волноваться вам, в сущности, нечего. Тем более что вы, наверно, были подготовлены...

У маменьки лицо вытягивается. Тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые косточки.

— Можете, значит, отнестись к факту спокойно. Климат в Сибири очень хорош, особенно полезен для слабых. Это вам каждая медицина скажет.

Тетенька роняет ложку. У маменьки глаза делаются совсем круглыми, с белыми ободочками.

— Вот видите, как вы волнуетесь, — с упреком говорит гимназист.

— Можно ли так... из-за пустяков. Скажите лучше, были ли найдены при обыске ком-пром... прометирующие личность вещи?

— Ох, господи, — застонала маменька, — пистоль эту окаянную да еще газетку какую-то!

— Газету? Вы говорите — газету? Гм... Осложняется... Но волноваться вам совершенно незачем.

— Может быть, газета-то и не к тому... — робко вмешивается тетенька. — Потому он на газету-то только глазом метнул, да и завернул в нее пистолет. Может быть...

Гимназист криво усмехнулся, и тетенька осеклась.

— Гм... Ну, словом, вы не должны тревожиться. Газета. Гм... Тем более что тюремный режим очень хорошо действует на здоровье. Это даже в медицине написано. Замкнутый образ жизни, отсутствие раздражающих впечатлений — все это хорошо сохраняет... сохраняет нервные волокна... Каледонские каторжники отличаются долговечностью. Михаил может дотянуть до глубокой старости. Вам как матерям это должно быть приятно.

— Голубчик, — вся затряслась маменька, — голубчик! Не томи! Говори, говори все, что знаешь. Уж лучше сразу!..

— Сразу! Сразу, — всхлинула тетенька. — Не надо нас готавливать... Мы тверды...

— Говори, святая владычица.

Гимназист пожал плечами:

— Я вас положительно не понимаю. Ведь ничего же нет серьезного. Нужно же быть рассудительными. Ну, газета, ну, револьвер. Что за беда! Револьвер, гм... Вооруженное сопротивление властям при нарушении судебной обязанности... В прошлом году, говорят, расстреляли одного учителя за то, что тот очки носил. Ей-богу! Ему говорят: снимите очки. А он говорит: я, мол, ничего не могу невооруженным глазом. Вот его за вооружение глаз и расстреляли. Что же касается Михаила, то само собой разумеется, что револьвер будет посерьезнее очков. Да и то, собственно говоря, пустяки, если принять во внимание процент рождаемости...

Маменька, дико вскрикнув, откидывается на спинку дивана. Тетенька хватается за голову и начинает громко выть.

В дверь просовывается голова кухарки.

— Ну разве можно так волноваться! Ай, как стыдно! — ласково журит гимназист.

Кухарка голосит: и на кого ты нас...

— Ну-с, я вечером опять зайду, — говорит гимназист и, взяв фуражку, уходит с видом человека, удачно исполнившего тяжелый долг.





**Кулич** положительно не удался.

Кривой, с наплывшей сверху коркой, облепленный миндалинами, он был похож на старый, гнилой мухомор, разбухший от осеннего дождя. Даже воткнутая в него пышная бумажная роза не придала ему желанной стройности. Она низко свесила свою алую головку, словно рассматривая большую заплатку, украшавшую серую чайную скатерть, и еще более подчеркивала кособокость своего пьедестала.

Да, кулич не удался. Но все точно молча сговорились не придавать значения этому обстоятельству. Да оно и вполне понятно: мадам Шранк как хозяйке дома невыгодно было бы указывать на недостатки своего угощения, мадам Лазенская была гостьей, приглашенной разговляться, и, как водится, должна была все находить превосходным. Что же касается кухарки Аннушки, то уж ей положительно не было никакого расчета обращать внимание на свою собственную оплошность.

Прочее же угощение не оставляло желать ничего лучшего: нарезанная маленькими кусочками ветчина, чередуясь с ломтиками копченой колбасы, изображала на тарелке двухцветную звезду. Жареная курица, раскинувшись в самой незащитной позе, показывала, что она начинена рисом. Маленькая сырная пасха была на вид довольно неказиста, но зато так благоухала ванилью, что нос мадам Лазенской сам собой поворачивался в ее сторону. Выкрашенные в яркие цвета яйца оживляли всю картину.

Мадам Лазенская уже давно была не прочь приступить к закуске. Она старалась из приличия не смотреть на стол, но все ее маленькое острое личико со взбитыми жиденькими волосами и грязной лиловой ленточкой на

сморщенной шее выражало напряженное ожидание. Приподняв безволосые, подчеркнутые спичкой брови, она то с интересом разглядывала покрытую вязаной салфеткой этажерку, которую видела ежедневно в продолжение девяти лет, то, опустив глаза и собрав в комочек беззубый рот, скромно теребила обшитый рваным кружевом носовой платочек.

Хозяйка, толстая брюнетка с отвисшими, как у сердитого бульдога, щеками, важно ходит вокруг стола, разглаживая серый вышитый передник на своем круглом животе. Она прекрасно понимает состояние мадам Лазенской, питавшейся весь пост печеным картофелем без масла, но напускное равнодушие сердит ее, и она нарочно томит свою гостью.

— Еще рано, — гудит ее могучий бас. — Еще в колокол не ударили.

Она говорит с сильным немецким акцентом, выставляя вперед толстую верхнюю губу, украшенную черными усиками.

Гостья молча теребит платочек, затем заводит разговор на посторонние темы:

— Завтра, наверно, получу письмо от Митеньки. Он мне всегда на Пасху присылает денег.

— И глупо делает. Все равно на духи растратите. Кокетка!

Мадам Лазенская заискивающе смеется, сложив рот трубочкой, чтобы скрыть отсутствие передних зубов:

— Хю-хю-хю! Ах, какая вы насмешница!

— Я правду говорю, — гудит поощренная хозяйка. — К вам в комнату войдешь — как палкой по носу. И банки, и склянки, и флаконы, и одеколоны — настоящая обсерватория.

— Хю-хю-хю! — свистит гостья, бросая кокетливый взгляд на этажерку. — Женщина должна благоухать. Тонкие духи действуют на сердце... Я люблю тонкие духи! Нужно понимать. Вербена — запах легкий и сладкий; амбр-рояль — густой. Возьмите две капельки амбре, одну капельку вербены — и получите дух настоящий... настоящий. — Она пожевала губами, ища слова. — Земной и небесный. А то возьмите основной дух Трефль инкарнат, пряный, точно с корицей, да в него на три

капли одну — белого ириса... С ума сойдете! Прямо с ума сойдете!

— Зачем мне с ума сходить, — иронизирует мадам Шранк. — Я лучше схожу к Ралле, куплю цветочный одеколон.

— Или возьмите нежную Икзору, — не слушая, продолжает фантазировать мадам Лазенская, — а к ней подложите одну каплю тяжелого Фужеру...

— Я всяко ж больше всего люблю ландыш, — перебивает ее густой бас хозяйки, решившей, что пора наконец показать, что и она кое-что в духах смыслит.

— Ландыш? — удивляется гостья. — Вы любите ландыш? Хю-хю-хю! Ради бога, никому не говорите, что вы любите ландыш! Ах, боже мой! Да вас засмеют! Хю-хю-хю! Ландыш! Пошлость какая!

— Ах, ах! Какие нежности! — обижается мадам Шранк. — Как все это важно! Ума большого не вижу, чтобы морить себя голодом — на духи деньги копить! Ужасная прелесть — аромат на три комнаты, а лицо с кулачок.

Мадам Лазенская, низко нагнув голову, отчищает ногтем какое-то пятнышко на своей кофточке. Видны только большие ярко-малиновые уши.

— Пора, — заявляет наконец хозяйка, усаживаясь за стол. — Аннушка! Тащи кофей!

Мадам Шранк звонков в комнатах не признавала. Голос ее гудел, как китайский гонг, и был слышен одинаково хорошо во всех углах и закоулках маленькой квартирки. Часто случалось, что она, прибирая в передней, ворчит, а кухарка из кухни подает ей во весь голос реплики. Для того чтобы разговаривать с мадам Шранк, вовсе не нужно было находиться с ней в одной комнате.

— Тащи скорей!

Вдали раздался грохот упавшей кочерги, визг собачонки, и в дверях показалась мощная фигура Аннушки, в ярко-красной кофте, стянутой старым офицерским поясом. Натертые ради праздника свеклой круглые щеки соперничали колоритом с лежавшими на блюде пасхальными яйцами. Волосы грязно-серого цвета были жирно напозажены и взбиты в высокую прическу, увенчанную розеткой из гофрированной зеленой бумажки с аптечного пузырька. Скромно опустив глаза, словно стыдясь сво-

ей собственной красоты, поставила Аннушка поднос с кофейником и чашками.

— Надень передник, чучело! — мрачно загудела мадам Шранк. — Кто тебе позволил воронье гнездо на голове завивать? Взгляните, мадам Лазенская, как она себе щеки нащипала! Га-га-га!

— Хю-хю-хю! — свистит птицей мадам Лазенская.

— И неправда, и не думала щипать, — оправдывается Аннушка, осторожно водя по лицу рукавом платья. — Ей-богу! Вон образ-то на стене... Ей-богу, от жары. Кулич пекла, куру жарила... В кухне такое воспаление.

Она уходит, сердито хлопнув дверью.

— Каково! — возмущается хозяйка. — Нельзя слова сказать! Это называется прислуга! Накрасится, волосы размочалит, и не подступись к ней. И каждое воскресенье так. Как все уйдут — сейчас щеки намажет, офицерский кушак напялит — и давай обедню петь. А я нарочно вернусь, открою дверь своим ключом и все в передней слушаю. Часа два поет во все горло: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Ревет, как бык. Прямо у меня все нервы трещат. Еще какой-нибудь дурак квартирант подумает, что это я так пою...

— Жалко Дашу, — вставляет мадам Лазенская, — та была гораздо скромнее.

— Н-ну! Каждый день новый уважатель. Все у них уважатели на уме!

Мадам Лазенская мнется и молчит.

— Удивительное дело, — продолжает хозяйка, разрезывая курицу. — Все у них уважатели. Ну, Аннушка, та по крайней мере со двора не ходит..

— Завтра пойду, — раздается вопль из кухни. — Хоть зарежьте, пойду... Перед людьми стыдно! И так старший дворник проходу не дает. Когда же ты, говорит, ведьма, со двора пойдешь? Первый раз, говорит, такого черта вижу, что никогда со двора не ходит.

— Каково! — удивляется хозяйка. — Куда же ты пойдешь, у тебя здесь никого нет?

— Мало ли куда... На кладбище пойду на какое-нибудь. У нас в деревне, как праздник, все на кладбище идут. Нашли тоже дуру — не знаю я, куда идти! Почище других знаю!

— Перестань орать, у меня от тебя нервы трещат!

Мадам Шранк подходит к буфету и, повернувшись спиной к мадам Лазенской, что-то переставляет, тихо звеня рюмками. Затем слегка откидывает голову назад и, заперев буфет, возвращается на место, смущенно покашливая. Гостья все время внимательно рассматривает этажерку.

Она давно знакома с этим маленьким маневром и знает, что, проделав его, мадам Шранк становится необыкновенно патриотичной и любит говорить о Германии, которой никогда и в глаза не видала, так как родилась и выросла в Петербурге. Мадам Лазенская в таких случаях немножко обижается за Россию и старается змять разговор. Противоречить она не смеет, чувствуя себя всегда немножко виноватой перед своей усатой собеседницей. Дело в том, что, занимая у мадам Шранк крошечную комнатку, она часто не может заплатить за нее в срок, и мадам Шранк снисходительно допускает рассрочку.

— Подобной прислуги в Берлине не бывает, — укоризненно говорит хозяйка, отправляя в рот большой кусок ветчины.

Гостья молчит, подбирая вилкой рис. Мадам Шранк долго придумывает, что бы ей сказать неприятного:

— Вы что молчите? Верно, мечтаете, какие духи на Митенькины деньги покупать будете? Охота ему посылать! Есть еще на свете глупые сыновья! После вас ведь ему ничего не останется. А что от отца осталось, то вы в три года успели фю-ю по ветру...

Лицо мадам Лазенской покрывается пятнами.

— Знаете, мадам Шранк, — быстро перебивает она. — Я сегодня видела красное сукно, точно такого цвета, как у меня амазонка была. Помните, я вам рассказывала? Ну, точь-в-точь, точь-в-точь...

— Еще бы вам не знать амазонку, когда вы в три года двадцать тысяч с офицерами верхом проскакали.

— Хю-хю-хю! — лебезит гостья, желая умиловить обличительницу.

— Вы чего смеетесь?

— Так, я вспомнила смешное, — пугается мадам Лазенская, — вы вчера рассказали про того старика...

Лицо мадам Шранк медленно растягивается в улыбку глаза щурятся, углы рта глубоко въезжают в мягкие щеки.

— Го-го-го! «Позвольте, сударыня, вас проводить...» Оборачиваюсь: господа! Ножки тоненькие, еле стоит, обеими руками за палку держится... Нос синий — весь бровь седой... «Вы? Меня провожать? Вам нужно скорей домой бежать». Он на меня глаза выпучил, ничего не понимает... «Бегите, — говорю, — домой — нам умирать пора, скорей бегите!» Га-га-га! А он как заплевался — га-га-га! — ужасно рассердился.

— Ох, перестаньте! Хю-хю-хю! Ох, вы меня уморите! Хю-хю-хю! Ах, уж эта мне мадам Шранк, всегда что-нибудь!..

— Скорей, говорю, торопитесь. Всяко ж неприятно, если на улице...

— Ох! Хю-хю-хю!..

— Ну перестаньте, мадам Лазенская! С вас вся пудра обсыпалась.

Обе дамы, несмотря на десятилетнее совместное сожительство, никогда не звали друг друга по имени. Как-то одна из родственниц мадам Шранк спросила у нее, как имя ее жилички, и та, к своему собственному удивлению, призналась, что никогда не полюбопытствовала узнать об этом.

— Ах, эти мужчины! — томно вздыхает мадам Лазенская. — Мне Лизавета Ивановна рассказывала...

— Все врет ваша Лизавета Ивановна, — вдруг вспыхивает порохом хозяйка. — И ничего она рассказывать не может на своем чухонском языке. Сегодня увязалась со мной в мясную, руками машет, кричит, мне перед прохожими стыдно. Переходим через улицу, я говорю: «Идите скорее» — а она как завизжит: «Не могу скорей, на меня лошади наступили». Прямо срам! Ну сказала бы: «Извините, мадам Шранк, я нахожусь в большом толпа лошадей». Столько лет живет в Петербурге, говорить не умеет. Чухонка!

Мадам Лазенской очень хочется попробовать колбасы, но она боится заявить о своем желании, когда хозяйка так расстроена, и снова меняет тему разговора:

— Да, эти мужчины прямо такие... такие...



Мадам Шранк настораживается, как дрозд, которому подсвистнули знакомый мотив:

— Скушайте колбасы! Что вы так мало? Всяко ж мужчины презабавный народ. Был у меня один нахлебник — молодой, красивый, адмирала сын. Он сам из Харькова, в Петербург приехал экзамен на генерала держать на штатского... У вас, говорит, мадам Шранк, на щеках розы лепестки...

— Он при мне, кажется, не приходил?

— Нет, он года за два до вас был. Га-га!.. Розы лепестки!

— Чудное средство от морщин — помада «Крем-симон», — некстати вставляет мадам Лазенская. — Вы попробуйте, мадам Шранк. Это прямо удивительно, как она действует на кожу! Я всю жизнь ничего, кроме «Крем-симон», не употребляла. Каждое утро и каждый вечер немножко на ватку и потом вот так втирать... Вы непременно должны...

— Га-га-га! — добродушно колышется хозяйка. — Если бы вы мне не сказали, что вы ее употребляете, может быть, я бы и попробовала. А уж как предупредили — покорно благодарю. Уж больше морщин, как на вашем лице, никогда в жизни не видывала! Ей-богу, мадам Лазенская, уж вы не обижайтесь, — никогда в жизни!

Гостья краснеет и криво улыбается.

— И всяко ж вы транжирка, — продолжает хозяйка. — Деньги нельзя на всякие там симоны да ликарпоны тратить. Деньги нужно копить. Вот когда муж был жив да у меня в ушах бриллианты с кулак болтались, поверьте — совсем иначе ко мне люди относились. Что ни скажу — все умно было. Теперь небось никто не кричит про мой ум, а как вспомню, так и тогда все одни глупости говорила. Деньги — великое дело. Будь у вас деньги, вы бы тоже умнее всех были, и полковники бы у вас в гостях сидели, и приз бы за красоту получили.

Мадам Лазенская, расцветая кокетливо-смущенной улыбкой, оправляет на шее лиловую ленточку, а мадам Шранк снова подходит к буфету и звенит рюмками...

— У нас в Берлине умеют деньги ценить. У нас в Берлине все умеют. Откуда на Невском электрические фонари? От немцев! Откуда дома большие? Немцы выстрои-

ли. И материи, и шелк, и всякие науки — история, география — все от немцев, все они выдумали!

Мадам Лазенская краснеет и бледнеет. Ей хочется возразить, но она не знает, что сказать, и, кроме того, она еще не попробовала пасхи, а после политических споров приличие требовало удалиться в свою комнату.

— Как у вас искусно сделана эта розочка в куличе, прямо хочется понюхать, — говорит она дрожащими губами.

Мадам Шранк, зловеще помолчав, вдруг сообщает:

— Лизаветы Ивановны жилец читал в газетах, что в Берлине было большое землетрясение. Очень большое. У русских никогда не бывает землетрясения.

Это было слишком много даже для мадам Лазенской. Она вдруг вся задрожала и покрасилась красными пятнами.

— Неправда! Неправда! — закричала она тоненьким, прерывающимся визгом. — В России несколько раз было землетрясение. В Верном было...

— Это не считается, — деланно спокойным басом говорит хозяйка, — это за Балканским морем, это уже не натуральная Россия...

— Неправда! — судорожно трясет кулачком мадам Лазенская. — Это вы нарочно... Вы думаете, что я бедная, так у меня нет отечества!.. Стыдно вам! Все знают, что у русских было землетрясение! Это нечестно! Вы все врете! Вы про старика уж пятый год рассказываете и всегда говорите, что это на днях было. Стыдно вам!

Она вскочила и, быстро затопав каблучками, натыкаясь на стулья, побежала в свою каморку и заперлась на крючок.

В каморке было тихо, и через открытую форточку вместе с крепким и влажным запахом весны протяжно вливался тихий гул пасхального благовеста. Он томил и тревожил душу, как отзвук далекой чужой радости, и тихо колебал воздух глубокими тяжелыми волнами.

За окном стена, начинающаяся где-то далеко внизу, уходила высоко в тусклое небо — бесконечная, гладкая, серая...

В каморке было тихо, и никто не мешал мадам Лазенской выплакаться. Она плакала долго, низко опустив го-

лову и упершись локтями в подоконник. Потом, когда слезы иссякли и чувство острой обиды притупилось и успокоилось, она встала, подошла к комоду и, выдвинув верхний ящик, вытащила завернутый в шелковую тряпочку флакон. Она осторожно вынула пробку и медленно потянулась носом вперед, вдыхая содержимое вздрагивающими ноздрями. Затем снова заботливо завернула флакон и тихо и ласково, словно спеленутого ребенка, уложила его на прежнее место.

Медленно, еще дрожащей после волнения рукой придвинула она коробочку с пудрой и, обтерев пуховой лицо, развесила на спинке стула мокрый носовой платочек, тщательно расправив рваные кружевца.

— Аннушка, — загудел вдали голос мадам Шранк, — скажи мадам Лазенской, пусть идет пить кофе, когда у нее дурь пройдет. Я не могу всю ночь ждать. Здесь вот пасхи кусок. Остальное снесу на холод. Я спать иду. У меня у самой нервы трещат.

Сердце мадам Лазенской громко застучало. Она знает, что Аннушка давно спит и что хозяйка говорит нарочно для того, чтобы она, Лазенская, услышала.

Она тихонько подкрадывается к двери и прислушивается, выжидая ухода мадам Шранк, чтобы выйти в столовую.

Стена за окном чуть-чуть розовеет под первыми алыми лучами восходящего солнца. Рассветный живой ветерок дерзко стукнул форточкой и, пробежав легкой струйкой, колыхнул сохнувший на стуле платочек.





# Тонкая психология

Вере Томилиной

До отхода поезда

оставалось еще восемь минут.

Пан Гуслинский уютно устроился в маленьком купе второго класса, осмотрел свой профиль в карманное зеркальце и выглянул в окно.

Пан Гуслинский был коммивояжер по профессии, но по призванию — донжуан чистейшей воды. Развозя по всем городам Российской империи образцы оптических стекол, он, в сущности, заботился только об одном — как бы сокрушить на своем пути побольше сердец. Для этого святого дела он не щадил ни времени, ни труда, зачастую без всякой для себя выгоды или удовольствия.

В тех городах, где ему приходилось бывать только от поезда до поезда, часа два-три, он губил женщин, не слезая с извозчика. Чуть-чуть прищурит глаза, подкрутит правый ус, подожмет губы и взглянет.

И как взглянет! Это трудно объяснить, но... словом, когда он предлагал купцам образцы своих оптических стекол, он глядел совершенно иначе.

С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось что-то странное. Они сначала смотрели изумленно, почти испуганно, затем закрывали рот рукой и начинали хохотать, подталкивая локтем своих спутников.

А пан Гуслинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже намечал вскользь другую и губил тоже.

«Ну эта уже не забудет! — думал он. — И эта имеет себе тоже! Вот я преспокойно проехал мимо, а они там преспокойно сходят с ума».

При более близком и более долгом знакомстве пан Гуслинский вместе с чарами своих внешних качеств, конечно, пускал в оборот и обаяние своей духовной личности.

Результаты получались потрясающие: три раза женился он гражданским браком и был раз двенадцать бит — в разных городах и различными предметами.

В Лодзи — машинкой для снятия сапог, в Киеве — палкой, в Житомире — копченой колбасой, в Конотопе (от поезда до поезда) — самоварной трубой, в Чернигове — сапогом, в Минске — палкой из-под копченого сига, в Вильне — футляром для скрипки, в Варшаве — бутылкой, в Калише — суповой ложкой и, наконец, в Могилеве — запросто кулаком.

\*\*\*

Зверь, как известно, бежит на ловца, хотя, следуя природным инстинктам, должен был бы делать как раз противоположное.

Едва выглянул пан Гуслинский в окошко, как мимо платформы быстрым шагом прошла молодая дама очень привлекательной наружности, но прошла она так скоро, что даже не заметила томного взора и не успела погибнуть.

Пан Гуслинский высунул голову.

«Эге! Да она преспокойно торопится на поезд! Поедем, следовательно, вместе. Ну что ж — пусть себе!»

Судьба дамы была решена. Когда поезд двинулся, пан Гуслинский осмотрел свой профиль, подкрутил ус и прошелся по вагонам.

Хорошенькая дама ехала тоже во втором классе, с толстощеким двенадцатилетним кадетиком. На Гуслинского она не обратила ни малейшего внимания, несмотря на то что он расшаркался и сказал «пардон» с чисто парижским шиком.

На станциях пан Гуслинский выходил на платформу и становился в профиль против окна, у которого сидела дама. Но дама не показывалась. Смотрел на Гуслинского один толстый кадет и жевал яблоки. Томные взгляды донжуана гасли на круглых кадетских щеках.

Пан призадумался:

«Здесь придется немножко заняться тонкой психологией. Иначе ничего не добьешься! Я лично не люблю материнства в женщине. Это очень животная черта. Но раз женщина так обожает своего ребенка, что все время кор-

мит яблоками, чтоб ему лопнуть, то это дает мне ключ к ее сердцу. Нужно завладевать любовью ребенка, и мать будет поймана».

И он стал завладевать.

Купил на полустанке пару яблок и подал в окно кадету:

— Вы любите плоды, молодой человек? Я уж это себе заметил, хе-хе! Пожалуйста, покушайте, хе-хе! Очень приятно быть полезным молодому путешественнику!

— Мерси! — мрачно сказал кадет и, вытерев яблоко обшлагом, выкусил добрую половину.

Поезд двинулся, и Гуслинский еле успел вскочить. «Я действую, между прочим, как осел. Что толку, что мальчишка слопал яблоко? С ними должен быть я сам, а не яблоко. Преспокойно пересяду».

— Пардон! У меня там такая теснота! Можете себе представить — я пошел на станцию покушать, возвращаюсь, а мое место преспокойно занято. Может быть, разрешите? Я здесь устроюсь, рядом с молодым человеком, хе-хе!

Дама пожала плечом:

— Пожалуйста! Мне-то что!

И, вынув книжку, стала читать.

— Ну, молодой человек, мы теперь с вами непременно подружимся. Вы далеко едете?

— В Петраков, — буркнул кадет.

Гуслинский так и подпрыгнул:

— Боже ж мой! Да это прямо знаменитое совпадение. Я тоже преспокойно еду в Петраков! Значит, всю ночь мы проведем вместе и еще почти весь день! Нет, видали вы что подобное!

Кадет отнесся к «знаменитому совпадению» очень сухо и угрюмо молчал.

— Вы любите приключения, молодой человек? Я обожаю! Со мной всегда необычайные вещи. Вы разрешите поделиться с вами?

Кадет молчал. Дама читала. Гуслинский задумался:

«Зачем она его родила? Только мешает! При нем ей преспокойно неловко смотреть на меня. Но погоди! Сердце матери отпирается при помощи сына!»

Он откашлялся и вдохновенно зафантазировал:

— Так вот, был со мной такой случай. В Лодзи влюбляется в меня одна дама и преспокойно сходит с ума. Муж ее врывается ко мне с револьвером и преспокойно кричит, что убьет меня из ревности. Ну-с, молодой человек, как вам нравится такое положение? А? Тем более что я был уже почти обручен с девицею из высшей аристократии. Она даже имеет свой магазин. Ну, я, как рыцарь, не мог никого компроментировать, в ужасе подбежал к окну и преспокойно бросаюсь с первого этажа. А тот убийца смотрит на меня сверху! Понимаете ужас! Лежу на тротуаре, а сверху — преспокойно убийца. Выбора никакого! Я убежал и позвал городского.

Дама подняла голову:

— Что вы за вздор рассказываете мальчику!

И опять углубилась в чтение. Пан Гуслинский ликовал: «Эге! Начинается! Уже заговорила!»

— Я есть хочу! — сказал кадет. — Скоро ли станция?

— Есть хотите? Великолепно, молодой человек! Сейчас небольшая остановка, и я сбегая вам за бутербродами. Вот и отлично! Вы любите вашу мамашу? Мамашу надо любить!

Кадет мрачно съел восемь бутербродов. Потом Гуслинский бегал для него за водой, а на большой станции повел ужинать и все уговаривал любить мамашу.

— Ваша мамаша — это нечто замечательное! Если она захочет, то может каждого скокетничать! Уверю вас!

Кадет глядел удивленно бараньими глазами и ел за четверых.

— Будем торопиться, молодой человек, а то мамаша, наверное, уже беспокоится, — томился донжуан.

Когда вернулись в вагон, оказалось, что мамаша уже улеглась спать, закрывшись с головой пледом.

«Эге! Ну да все равно, завтра еще целый день. Отдала сына в надежные руки, чтоб он себе лопнул, а сама преспокойно спит. Зато завтра будет благодарность. Хотя вот уже этот жирный парень объел меня на три рубля шестьдесят копеек. Ложитесь, молодой человек! Кладите ноги прямо на меня! Ничего, ничего, мне не тяжело. Штаны я потом очищу бензином. Вот так! Молодцом!»

Кадет спал крепко и только изредка сквозь сон лягал пана Гуслинского под ложечку. Но тот шел на все и задремал только к утру.

Проснувшись на рассвете, вдруг заметил, что поезд стоит, а мамаша куда-то пропала. Встревоженный Гуслинский высвободился из-под кадетовых ног и высунулся в окно. Что такое? Она стоит на платформе и около нее чемодан... Что такое? Бьет третий звонок.

— Сударыня! Что вы делаете? Сейчас поезд тронется! Третий звонок! Вы преспокойно останетесь!

Кондуктор свистнул, стукнули буфера.

— Да мы уже трогаемся! — надрывался Гуслинский, забыв всякую томность глаз.

Поезд двинулся. Гуслинский вдруг вспомнил о кадете:

— Сына забыли! Сына! Сына!

Дама досадливо махнула рукой и отвернулась.

Гуслинский схватил кадета за плечо.

— Мамаша ушла! Мамаша вылезла! Что же это такое! — вопил он.

Кадет захныкал:

— Чего вы меня трясете! Какая мамаша? Моя мамаша в Петракове.

Гуслинский даже сел:

— А как же... а эта дама? Мы же ее называли мамашей, или я преспокойно сошел с ума! А?

— Гм... — хныкал кадет. — Я не называл! Я ее не знаю! Это вы называли. Я думал, что она ваша мамаша, что вы ее так называете... Я не виноват... И не надо мне ваших яблок, не на-а-да...

Пан Гуслинский вытер лоб платком, встал, взял свой чемодан:

— Паскудный обжора! Вы! Выйдет из вас шулер, когда подрастете. Преспокойно. Св-винья!

И, хлопнув дверью, вышел на площадку.







## Жтеории флирта

### Так называемый флирт

мертвого сезона начинается обыкновенно — как, должно быть, каждому известно — в середине июня и длится до середины августа. Иногда (очень редко) захватывает первые числа сентября.

Арена «флирта мертвого сезона» — преимущественно Летний сад.

Ходят по боковым дорожкам. Только для первого и второго rendez-vous допустима большая аллея. Далее пользоваться ею считается уже бестактным.

«Она» никогда не должна приходить на rendez-vous первая. Если же это и случится по оплошности, то нужно поскорее уйти или куда-нибудь спрятаться.

Нельзя также подходить к условленному месту прямой дорогой, так, чтобы ожидающий мог видеть вашу фигуру издали. В большинстве случаев это бывает крайне невыгодно. Кто может быть вполне ответствен за свою походку? А разные маленькие случайности вроде расшалившегося младенца, который на полном ходу ткнулся вам головой в колена или угодил мячиком в шляпу? Кто гарантирован от этого?

Да и если все сойдет благополучно, то попробуйте-ка пройти сотни полторы шагов, соблюдая все законы грации, сохраняя легкость, изящество, скромность, легкую кокетливость и вместе с тем сдержанность, элегантность и простоту.

Сидящему гораздо легче.

Если он мужчина — он читает газету или «нервно курит папиросу за папиросой».

Если женщина — задумчиво чертит по песку зонтиком или, грустно поникнув, смотрит, как догорает закат. Очень недурно также ощипывать лепестки цветка.

Цветы можно всегда купить по сходной цене тут же, около сада, но признаваться в этом нельзя. Нужно делать вид, что они самого загадочного происхождения.

Итак, дама не должна приходить первая. Кроме того случая, когда она желает устроить сцену ревности. Тогда это не только разрешается, но даже вменяется в обязанность.

— А я уже хотела уходить...

— Боже мой! Отчего же?

— Я ждала вас почти полчаса.

— Но ведь вы назначили в три, а теперь еще без пяти минут...

— Конечно, вы всегда окажетесь правы...

— Но ведь часы...

— Часы здесь ни при чем...

Вот прекрасная интродукция, которая рекомендуется всем в подобных случаях.

Дальше уже легко. Можно прямо сказать:

— Ах да... Между прочим, я хотела у вас спросить, кто та дама... и т.д.

Это выходит очень хорошо.

Еще одно важное замечание: сцены ревности всегда устраиваются в Таврическом саду. Отнюдь не в Летнем. Почему? А я почему знаю — потому! Так уж принято. Не нами заведено, не нами и кончится.

Да, кроме того, попробуйте-ка в Летнем! Ничего не выйдет.

Таврический специально приноврвлен. Там и печальные дорожки, и тихие пруды («Я желаю только покоя!...»), и вид на Государственную Думу («...и я еще мог надеяться!...»).

Да вообще лучше Таврического сада на этот предмет не выдумаешь.

Одно плохо: в Таврическом саду всегда страшно хочется спать. Для бурной сцены это условие неподходящее. Для меланхолической — великолепно.

Если вам удастся зевнуть совершенно незаметно, то вы можете поднять на «него» или на «нее» свои «изумленные глаза, полные слез», и посмотреть с упреком.

Если же вы ненароком зевнете слишком уж откровенно, то вы можете, скорбно и кротко улыбнувшись, сказать: «Это нервное».

Вообще флиртующим рекомендуется и к самым неэстетическим явлениям своего обихода приурочивать слово «нервное». Это всегда очень облагораживает.

У вас, например, сильный насморк, и вы чихаете, как кошка на лежанке. Чиханье, не правда ли, всегда почему-то принимается как явление очень комического разряда. Даже сам чихнувший всегда смущенно улыбается, точно хочет сказать: «Вот видите, я смеюсь, я понимаю, что это очень смешно, и вовсе не требую от вас уважения к моему поступку!»

Чиханье для флирта было бы губительным. Но вот тут-то и может спасти вовремя сказанное: «Ах! Это нервное!»

В некоторых случаях особо интенсивного флирта даже флюс можно отнести к разряду нервных заболеваний. И вам поверят. Добросовестный флиртер непременно поверит.

Ликвидировать «флирты мертвого сезона» можно двояко. И в Летнем саду, и в Таврическом. В Летнем проще и изящнее. В Таврическом нуднее, затяжнее, но эффектнее. Можно и поплакать, «поднять глаза, полные слез»...

При прощании в Летнем саду очень рекомендуется остановиться около урны и, обернувшись, окинуть последний раз грустным взором заветную аллею. Это выходит очень хорошо. Урна, смерть, вечность, умирающая любовь, и вы в полуобороте, шляпа в ракурсе... Этот момент не скоро забудется. Затем быстро повернитесь к выходу и смешайтесь с толпой.

Не вздумайте только, бога ради, торговаться с извозчиком. Помните, что вам глядят вслед. Уж лучше, понунав голову, идите через цепной мост (ах, он также сбросил свои сладкие цепи!..). Идите, не оборачиваясь, вплоть до Пантелеймоновской. Там уже можете купить Гала Петера и откусить кусочек.

Считаю нужным прибавить к сведению господ флиртеров, что теперь совсем вышло из моды при каждой встрече говорить:

— Ах! Это вы?

Теперь уже все понимают, что раз условлено встретиться, то ничего нет и удивительного, что человек пришел в назначенное время в назначенное место.

Кроме того, если в разгар флирта вы неожиданно на-толкнетесь на какого-нибудь старого приятеля, то вовсе не обязательно при этом восклицание:

— Ах! Сегодня день неожиданных встреч. Только что встретила с... (имярек софлиртующего), а теперь вот с вами!

Когда-то это было очень ловко и тонко. Теперь никуда не годится.

Старо и глупо.





### «На основании точнейших

данных науки хиромантии предсказываю настоящее, прошедшее и будущее. Даю советы о пропавших вещах, неудачах в браке и способы разбогатеть».

Далее следовал адрес и часы приема: от 9 утра до 11 вечера.

«Нужно пойти, — подумала я. — А то живешь — ничего не знаешь. Пойду, хоть прошлое узнаю».

Разыскала дом. Спросила у швейцара.

— У нас таких нет, — отвечал он. — Прежде действительно жил тут дворник, умел зубы лечить. Пошепчет в рот — зуб и пройдет. Многим помогал. А теперь он на Фонтанке, а какой номер дому, я знать не могу, потому что с меня этого не спрашивается. А если вам знать требуется, где квартира номер тридцать два, так прямо вам скажу, что во дворе, налево, шестой этаж.

Я пошла во двор, налево, в шестой этаж.

Лестница была корявая и грязная. Кошки владели ею беспредельно. Они шныряли вверх и вниз, кричали как бешеные и вообще широко пользовались своими правами. Дверь, за которой предсказывают прошлое, была обита грязной клеенкой и украшена нелепым звонком, болтавшимся прямо снаружи.

Кто-то открыл мне и быстро шмыгнул в другую комнату.

— Пожалте-с сюда! — тихо заблеял простуженный голос.

Я пожаловала.

Комната была маленькая, в одно голое окно. Железная кровать, закрытая вместо одеяла газетной бумагой, два стула и ломберный стол. Над столом прикреплен булавкой к стене лист бумаги с нарисованной на ней пятерней.

Хозяин стоял и грустно меня разглядывал. Он был очень маленький, с очень большим флюсом, перевязанным черным платком, торчащим на затылке двумя заячьими ушами.

— А, понимаю! — сказал он вдруг и улыбнулся, сколько позволял флюс. — Понимаю!.. Вас, вероятно, прислала ко мне графиня Изнарская?

— Нет, — удивилась я.

— Ну, в таком случае, княгиня Издорская?

— И не княгиня.

Он не был поражен таким ответом и как будто даже ждал его. Выслушал с интересом и спросил еще, словно для очистки совести:

— В таком случае, наверное, баронесса Изконская. — И тут же прибавил с достоинством: — Это все мои клиентки. И полковник Иванов — вы знаете полковника Иванова? — тоже приходил советоваться со мной, когда у него украли чайную ложку. Чистейшего серебра. С пробой. По пробе все и искали сначала... Чем могу служить? Настоящее, прошедшее или будущее? Позвольте вашу левую ручку. Которая у вас левая? Ах да, виноват, эта. Они, знаете, так похожи, что даже мы, специалисты, часто путаем. Позвольте рассмотреть линии. Гм... да. Я этого ожидал! Вы проживете до девяноста... да, совершенно верно, до девяноста трех лет и умрете от самой пустой и безопасной болезни... от отравления карболовой кислотой. Остерегайтесь пить карболовую кислоту в преклонных летах!

— Благодарю вас! — сказала я. — Только я больше интересуюсь другим вопросом...

— Понимаю! — перебил он. — Для того чтобы я понял, достаточно самого легкого намека. Вас беспокоит мысль о той вещи, которая у вас пропала на днях!

Я стала вспоминать, что у меня пропало: булавка от шляпы, последний номер журнала «Аполлон», перчатка с правой руки...

— Эта вещь была вам дорога и необходима — я вижу это по линиям вашего указательного пальца.

Положительно, он намекал на перчатку. Она была действительно очень нужна, и я, разыскивая ее, полезла даже под шкаф и стукнула лоб.

— Вам бы хотелось знать, где теперь эта вещь! — пророческим голосом продолжал хиромант.

— Да! О-очень!..

— Она вам возвращена не будет. Но благодаря ей будет спасено от голода целое семейство. И оно будет благословлять ваше имя, даже не зная его!

— Несчастные!

— Теперь скажу вам о вашем прошлом. Вы были больны.

Я молчала.

— Не очень сильно.

Я молчала.

— И довольно давно. Еще в детстве.

Я молчала.

— Но несерьезная болезнь. Я же говорю, что несерьезная, — оправдывался он. — Так, какие-то пустяки! Голова, что ли, болела... и недолго. Что там! Какой-нибудь час. И еще должен вам сказать, что в вашей жизни сыграли некоторую роль ваши родители: проще скажу — мать и отец. А еще мне открыто на основании ваших линий, что у вас очень щедрая натура. Если вы только заметите, что человеку нужны деньги, уже вы сейчас все ему отдадите.

Мы помолчали некоторое время — он вопросительно, я отрицательно.

Потом он захотел огорчить меня. Он поднял голову вверх и, трясая заячьими ушами, ехидно сказал:

— Замуж вы никогда не выйдете!

— Ну, это положим!

— Как «положим»! Мне по линиям шестого сустава безымянного пальца...

— Врет вам шестой сустав. Я давно замужем.

Заячьи уши уныло опустились.

— Я в этом смысле и говорил. Раз вы замужем, так как же вам еще раз выходить. Тем более что даже смерть вашего мужа не обозначена на ваших суставах. Он доживет до девяноста двух лет и умрет от такого пустяка, что вы даже и не заметите. Но для вашего мужа очень опасны пожары. В огне он очень легко загорается...

— Благодарю вас, мы будем осторожны.

— И вообще, остерегайтесь всяческих несчастий — это мой вам совет. Ушибы, увечья, заразные болезни...

ни, потеря глаза, рук, ног и прочих конечностей, со смертельным исходом, — все это для вас чрезвычайно вредно. Это все, что я могу вам сказать на основании научных исследований вашей руки, называемых хиромантией. Один рубль.

Я заплатила, поблагодарила и вышла. Он стоял на лестнице: одно заячье ухо — вверх, точно прислушивалось к моим шагам, другое упало вниз, безнадежное. Он долго смотрел мне вслед.

— Поблагодарите от меня графиню Задольскую! — вдруг крикнул он сверху.

— Что-о? — подняла я голову.

— Баронессу... за рекомендацию. И княжну тоже...

Слегка прищутив глаза, он гордым взглядом окинул двух пегих кошек, примостившихся у самого порога. Вы, мол, твари, понимаете, кого пред собой видите?

— Непременно! — ответила я.

Я понимала, что раз нас слушают посторонние, то нужно быть деликатной.

Кошки переглянулись.







**С**колько ни хлопотал

Иван Петрович, отпуск ему дали только в начале июля.

Семья давно уже была в деревне, и Иван Петрович рвался туда всей душой.

Сидя в вагоне, он набрасывал в записной книжке:

«Я жажду коснуться земли. Припасть к ней всей грудью. Впитать в себя ее соки и, как Антей, набравшись от этого общения новых сил, кинуться снова в битву».

«Битвой» Иван Петрович называл хлопоты о переводе на другое место с высшим окладом.

Так размышляя, подъехал он к последней станции. Было уже часов одиннадцать вечера.

На платформе ждал его высланный навстречу кучер.

— А барыня? А барышня? Захворали, что ли? Отчего не встретили?

— Оне уж спать полягали! — ответил кучер равнодушно.

— Как странно! Так рано! Встают, верно, в шесть...

Сел в коляску.

Всю дорогу строил планы новой жизни:

«Вставать, конечно, не позже шести. Хорошо иногда и встретить солнце с женой и свояченицей... Прямо с постели — в воду. Вода в речке холодная... бррр... На весь день юн и свеж. Затем стакан молока с черным хлебом и верховая прогулка. Если дождь, надел плащ и — марш. Затем легкий завтрак. Потом работать, работать, работать! Перед обедом — игра с детьми в крокет. После легкого обеда — прогулка совместная с детьми. Организуем

---

\* Антей — в греческой мифологии сын Посейдона и Геи, ливийский великан, вызывал всех чужестранцев на поединок и убивал их, черпая силы в прикосновении к матери-земле. Победен Гераклом, задушившим Антея раньше, чем тот успел коснуться земли.

пикники... Потом легкий ужин, чтение — и на боковую. Роскошь! Сколько за это время прочтешь, как поправишь организм!»

До усадьбы не больше шести верст. Приехали быстро.  
— Не беспокойте барыню. Пусть спит.

Устроился в кабинете. Выпил чаю. Заснул.

Утром вскочил, взглянул на часы. Половина двенадцатого. Ну, да ведь не начинать же с первого дня.

Пусть пройдет дорожная усталость. Оделся, пошел в столовую. Вся семья за столом.

Пьют чай, едят ветчину.

— Это что же? Легкий завтрак?

— Нет. Чай пьем. Только что встали.

— Что же это с вами?

— Да так.

— Отчего вчера не встретили?

— Это после ужина-то да шесть верст трястись! Съешь кусочек ветчины. До обеда еще полтора часа.

— Так рано обедаете?

— Нельзя позже. Не дотерпеть.

Иван Петрович посмотрел пристально на жену, на свояченицу, на детей. И больше ничего не спрашивал.

Лица у всех были круглые, глаза припухшие, рот в масле. Жевали бутерброды, а глазами намечали себе новые куски на блюде.

— А вы запаслись каким-нибудь чтением?

Жена сконфузилась:

— Есть «Нива». От покойной тетушки.

— «Нива»?

— Ну да. Чего же тут особенного? Вот Лиза «Сергея Горбатова» читает.

— Гм... Может быть, пойдем пройтись?

— Теперь не стоит. Сейчас накрывать будут. Лучше после обеда.

— После обеда жарко, — сказала свояченица.

— Ну, вечером. Торопиться некуда.

— Ну, ладно. Я после обеда с детками в крокет поиграю. Необходимо хоть маленькое физическое движение.

Дети посмотрели на него припухшими глазами недоверчиво.

Потом сели обедать. Ели серьезно и долго. Говорили о какой-то курице, которую где-то ели с какими-то грибами. В разговоре приняли участие и дети, и нянька.

Потом горничная, служившая еще покойной тетушке, очень живо и ярко рассказала, как тетушка фаршировала индюка.

Иван Петрович злился. Изредка пытался заводить разговор о театре, литературе, городских новостях. Ему отвечали вскользь и снова возвращались к знакомой курице и тетушкиному индюку.

Сразу после обеда он ушел в свою комнату разбирать вещи. Стал просматривать книги, в глазах зарябило так странно и приятно. Затем пришла откуда-то очень симпатичная курица, села на диван и закурила папиросу.

Разбудил его голос жены, предлагавшей ему раков.

— Каких раков? Почему вдруг раков?

— Очень просто. Сейчас принес мужик, я и велела сварить. Лиза любит.

Иван Петрович, еще плохо соображая, пошел в столовую. Там сидела свояченица и ела раков.

— Ну, как это можно? — возмутился Иван Петрович. — Ведь только что обедали!

Но сел за стол и загляделся. Сваяченица ела раков артистически. Надломит клешню, обсосет, очистит шейку, поперчит, оботрет корочкой скорлупку...

Три минуты смотрел он, на четвертой на выдержал. С тихим стоном протянул руку и выбрал рака покрупнее...

В пять часов пили чай, ели простоквашу, ягоды и варенец. Отдыхали на балконе, ужинали поплотнее и отправились спать.

— Завтра после верховой езды поиграю с детками в крокет, — сказал Иван Петрович, зевая.

Вечером занес в книжечку:

«У меня мало общего с женой. Из хрупкого существа, полного интеллигентных порывов, она обратилась в жвачное животное. Я чувствую себя, как связанный орел, у которого висят на крыльях жена, дети и своячени...»

Он заснул.

Конеч июля.

— Чего вы тянете с обедом? — ворчит Иван Петрович. — Уже без четверти час! Ни о чем не подумают.

— Ты бы успел еще выкупаться, — говорит жена. — Сам же кричал, что хочешь купаться.

— Покорно благодарю. По этой жарнице в гору переть! Купайся сама. Что же, обед скоро? Прикажи пока хоть яичницу сделать, что ли. Не могу я голодать. Мне это вредно. Я поправляться приехал, а ты меня как лошадь тренируешь. Где Лиза?

— «Ниву» читает.

— Опять с книгой! Безобразие. Летом отдыхать надо, поправляться, а не над книгой сохнуть. Начитается зимой. Хоть бы раков принесли, что ли. После обеда и закусить нечем будет. Ни о чем не подумают.

— После обеда ты, кажется, хотел пикник устроить, — говорит жена.

— Пикник? Кто ж в такую жару пикники устраивает? Для пикника нужен серенький денек. Осенью хорошо. Да мне, кроме того, еще работы много. Нужно еще вещи разобрать. До сих пор не успел, все некогда было.

— А вечером, папочка, в крокет будем играть?

— Ну чего пристали? Видите, отцу некогда. Уж не маленькие. Пора бы понимать.

— Глаша, горничная, говорит, что у тетушки жила кухарка, которая умела печь новгородские лепешки, — рассказывает жена.

— Да что ты? Неужели? И вкусные?

— Очень. С картофелем, с морковкой.

— И с морковкой? Быть не может! И что же, с маслом или как?

Вечером Иван Петрович заносил в книжку:

«...буквально ничего общего. Где ее любовь? Куда девалась ее страсть? Третий день сижу без простокваши! Не может понять, что я труженик и должен, как Антей, коснувшись земли, набраться новых сил».



**С** утра сильно качало.

Потом обогнули какой-то мыс, и сразу стало легче, а к обеду уже все пассажиры выползли из своих кают и только делились впечатлениями.

Толстый бессарабский помещик пил сельтерскую с коньяком и, бросая кругом презрительные взгляды, рассказывал:

— Я всегда героически переносу качку. Нужно только правильно сесть — вот так. Затем положить оба локтя на стол и стараться ни о чем не думать. Я всегда героически переносу. Но главное — это правильно сесть.

Совет его не пользовался успехом. Все помнили, как несколько часов тому назад два дюжих лакея волокли его под руки то вверх на палубу, то вниз с палубы и он вопил не своим голосом:

— Ой, братцы, ой, где же здесь равновесие!

Очевидно, правильно сесть было очень трудно. После обеда, когда жара спала, пассажиры первого класса собрались на палубе и мирно беседовали.

Герой помещик ушел отдыхать, и общество оказалось почти исключительно дамским: девять дам и один студент.

Были здесь дамы и молодые, и старые, и нарядные, и уютные, но между ними резко выделялись три, молчаливо признанные всеми «аристократками». Они были нестары и недурны собой, одеты изящно, вели себя сдержанно и старались держаться особняком. Они и здесь сидели несколько поодаль и в общий разговор не вступали.

К группе беседующих вскоре присоединился и сам капитан.

Это был толстый весельчак, остряк и хохотало. От смеха весь трясся, пучил глаза, и в горле у него что-то щелкало.

— Эге! Да мы здесь в дамской компании! Господин студент, вы себе прогуляйтесь по верхней палубе, а мы, женщины, поболтаем.

Студент сконфузился — он был вообще совсем какой-то белоглазый и тихенький, — сделал несколько шагов и сел на соседнюю скамейку.

— Ну-с, — сказал капитан деловито, — теперь я хочу рассказать вам историйку, которая случилась с одним моим приятелем, тоже капитаном парохода.

История оказалась просто анекдотом, и довольно неприличным. Дамы немножко сконфузились, но, когда одна из них, молодая купчиха, искренне засмеялась, стали смеяться и другие. Студент на соседней скамейке закрывал рот обеими ладонями.

Капитан был очень доволен. Покраснел и даже весь вспотел, точно анекдот ударил ему в голову.

— Ну-с, а теперь я вам расскажу, что произошло с одним дядюшкой, который покупал имение на имя племянницы. Это факт! Можете смело верить.

Новый анекдот оказался таков, что дамы долгое время только руками отмахивались, а студент ушел на кор-му и там тихонько захрюкал.

Но сам капитан хохотал так искренне, и в горле у него так вкусно что-то щелкало, что долго крепиться было нельзя, и дамы прыснули тоже.

За рассказом о дядюшке последовала повесть о дьячке и купчихе, затем о двух старухах, о прянике, о железнодорожном «зайце», о еврейке и мышеловке, все смешнее и смешнее, все забористее и забористее.

Дамы совсем расслабили от смеха, как-то распарились и осели. Смеясь, уже выговаривали не «ха-ха» и не «хи-хи», а охали и стонали, утирая слезы.

Студент сидел уже тут же и так размяк, что хохотал даже при самом начале каждого анекдота, когда еще ничего смешного и сказано не было, брал на веру.

Капитан же был один сплошной кусок мягкого, сочного, трясущегося смеха. Он весь так пропитался своими анекдотами, что они точно брызгали из него, теплые, щекотные. Да и слушать его не надо было, а только смотреть на эти прыгающие щеки, вспотевшие круглые брови, всю эту колыхающуюся искренним смехом тыкву,

чтобы самому почувствовать, как вдруг щеки начинают расплзаться и в груди что-то пищать — хи-ы!

После одного особенно удавшегося анекдота капитан повернулся немножко вправо и увидел компанию «аристократок». Они не смеялись. Они вполголоса сказали что-то друг другу, с недоумением пожали плечами и презрительно поджали губы.

«Жантильничают! — весело подумал капитан. — Ну погодите же! Вот я вам сейчас заверну такую штуку!»

Штука удалась на славу. Купчиху пришлось отпаивать водой. Одна из дам, обняв спинку скамейки, уперлась в нее лбом и выла, словно на могиле любимого человека.

Но те три «аристократки» только переглянулись и снова презрительно опустили глаза.

«И этого мало? Эге! — все еще весело думал капитан. — Скажите какие святоши! Ну так я же вам расскажу про дьячка. Перестанете скромность напускать».

История с дьячком оказалась такова, что даже студент не выдержал. Он вскочил с места, уцепился за борт обеими руками и, как лошадь, рыл палубу копытом.

Одна из дам истерически визгнула по-пороссячи. Остальные плакали и сморкались, и головы у них свисли на сторону.

— Гэ-гэ! — не унимался капитан. — Вы, медам, непременно этот анекдот расскажите своим мужьям. Только не говорите, что капитан вам рассказал. Это неудобно! Это не понравится! Вы прямо скажите, что все это произошло именно с вами. Вот уж тогда наверное понравится! Факт.

Но «аристократки» даже не шевельнулись.

«Так я же вас! — взвинчивался капитан. — Какие равноапостольные хари, скажите пожалуйста! Лицемерки! Только веселье портят».

Он все-таки как-то смутился и уже без прежнего аппетита рассказал еще один анекдот.

Слушательницы все равно уже плохо понимали, в чем дело, и только тихо стонали в ответ.

Когда рассказчик смолк, «аристократки» демонстративно поднялись и скрылись в свою каюту.

Все общество несколько сконфузилось.

— Уж больно важничают! — сказала купчиха. — Добродетель свою оказывают.

— Ужасно нам нужно! — подхватила другая дама.

— И не поклонились даже! Это чтоб подчеркнуть, что им за нас совестно, что мы такие гадости слушали.

Все разошлись быстро и, скрывая друг от друга свою смущенность, перебрасывались деловыми замечаниями насчет духоты, качки и маршрутов.

Капитан пошел на мостик и, отослав помощника спать, стал у руля.

На душе у него было худо и становилось еще хуже. Никогда ничего подобного он еще не испытывал.

«Старые дуры, чертовки! — думал он. — Ну, положим, я был не прав. Зачем рассказывать такие гадости женщинам? Женщин нужно уважать, потому что из них впоследствии выходят наши матери. А я еще про дьячка!»

Стало так тошно, что пришлось выпить коньяку.

«И те тоже хороши! Квохчут, как индюшки. Интеллигентные женщины! Дома мужья, дети, а они тут всякие мерзости смакуют! И я тоже хорош! Про мышеловку при дамах! При да-а-мах! Ведь это пьяному городовому и то совестно такую гниль слушать! У-уф!»

Он вздохнул, томился и в первый раз в жизни испытывал угрызения совести.

— Да, мне стыдно, — говорил он себе после бессонной ночи и бутылки коньяку. — Но что же из этого? Это только доказывает, что я не свинья... Что я могу испытывать святой стыд и могу уважать женщину, из которой впоследствии получается моя мать. Нельзя быть идиотической свиньей. Если ты грязен и из тебя прут анекдоты, то смотри, перед кем ты сидишь! И раз ты оскорбил цинизмом настоящую высокую женщину, то купи вино!

Он взял ванну, причем, вопреки обыкновению, очень деликатно выругал матроса — только скотиной и подлой душой, надел все чистое, хотел даже надушиться, но совсем забыл, как это делается, да и совестно стало.

«Эх ты! Туда же! Еще франтовство на уме в такую-то минуту».

Побледневший и точно осунувшийся, вышел он в столовую, где все ожидали его с завтраком.



Сделав общий поклон, он решительными шагами пошел прямо к «аристократкам» и сказал:

— Сударыни! Верьте искренности! Я так подавлен тем, что позволил себе вчера! Ради бога! Исключительно по необдуманности. Простите меня, я старый морской волк! Я грубый человек в силу привычки! Да-с! Но я понимаю, что подобный цинизм... женщина... при уважении...

— Да вы о чем? — с недоумением спросила одна из «аристократок».

— Простите! Простите, что я осмелился вчера при вас рассказывать!

Он чуть не плакал. Вчерашние хохотуны отворачивались друг от друга, сгорая со стыда. Бессарабский герой растерянно хлопал глазами. Минута была торжественная.

— Ах вот что! — сообразила вдруг «аристократка». — Да мы ничуть не в претензии! Просто мы были недовольны, что вы ни одного анекдота не рассказали правильно.

— Да, да! — подхватила другая. — Насчет еврейки вы весь конец перепутали. И про дьячка...

— Про дьячка, — перебила третья, — вы все испортили. Это вовсе не он был под кроватью, а сам муж. В этом-то и есть все смешное...

— Как же вы беретесь рассказывать и ничего толком не знаете! — пожурила его старшая.

Капитан повернулся, втянул голову в плечи и, весь поджавшись, как напроказивший сеттер, тихо вышел из комнаты.





**Каких только лекций**

не читали на белом свете! И о богостроительстве, и о Шантеклере в жизни, и о Вербицкой\* в кулинарном искусстве, и о вреде самоубийства среди детей школьного возраста, и о туберкулине, и о женском вопросе.

Очень превосходный оратор, говоря о прогрессе женского движения, воскликнул:

— Женщина всюду и всюду вытесняет мужчину! Женщина и в школе, и в академии, женщина и в родильных домах!

Речь эта вызвала немало волнений среди наших суффражисток, и они подняли даже вопрос об уступке своих прав мужчине касательно последнего пункта.

Многие удивлялись и в печати даже высмеивали это обилие лекций.

— Для кого, — говорили, — все это? Кому нужно мнение какого-нибудь Семена Семеновича о Шопене или об эротизме у статских советников?

Другие отстаивали идею лекторства, находили, что это приучает людей шевелить мозгами и рассуждать логически.

Вот об этом-то последнем пункте мне и хочется поговорить пообстоятельнее.

Ну не глупо ли приучать людей рассуждать логически, когда теперь уже достоверно дознано, что ни одно следствие из своей причины вытекать не может?

Прежде — в былые, правильные времена — вытекало. А теперь — кончено дело.

Поэтому человек, правильно рассуждающий и на основании таковых рассуждений поступающий, вечно бу-

---

\* Вербицкая А.А. (1861—1928) — русская писательница, чьи романы пользовались огромной популярностью

дет путаться во всей этой неразберихе, отыскивая начало начал и концы концов.

Жить на свете вообще трудно, а за последнее время, когда следствие перестало вытекать из своих причин и причины вместо своих следствий выводят, точно ворона кукушечьи яйца, нечто совсем иной породы, жизнь стала мучительной бестолочью.

Ну чего проще: вы, уходя из дому, бросаете взгляд в окошко. Видите, что идет дождь.

Ваша культурная голова начинает свою логическую работу.

Она думает:

а) Идет дождь.

б) От дождя спасает зонтик.

Ergo, возьму свой зонтик и спасусь от дождя.

Ха-ха! Это вы так думаете. А на самом деле выйдет, что вы забудете ваш зонтик в Гостинном дворе и потом четыре часа подряд будете бегать под проливным дождем из магазина в магазин, спрашивая, не здесь ли вы его оставили. Потом простудитесь и, умирая, пролепечете детям:

— Вместо наследства, дорогие мои, оставляю вам хороший совет: никогда в дождливую погоду не ходите под зонтиком.

Конечно, потом про вас будут распускать слухи, что перед смертью вы окончательно свихнулись, но вы-то будете знать, что были правы.

Бойтесь правильно рассуждать!

Одна моя знакомая, женщина семейная, пожилая и спокойная, которой ничто не мешало рассуждать правильно, чуть не сошла с ума, видя, к каким результатам это приводит.

У женщины этой жила в Полтаве тетка, обладающая небольшим, но доходным и приятным хуторком Чернобульбы.

Как-то вышеописанная рассудительная женщина, всю жизнь точившая зубы на тетку Чернобульбы, сказала мужу следующую, вполне правильную в смысле логических требований фразу:

— а) Старухи любят почтительных родственников.

б) Напишу тетке Александре почтительное письмо. Ergo, она меня и полюбит.

Муж одобрил рассудительную женщину и сказал:

— Напиши ей что-нибудь интересное. Старухам не нравится, когда все только о здоровье да о делах. Опиши ей, как мы устраивали пикник и готовили польский бигос под открытым небом.

Сказано — сделано.

Почтительное письмо с описанием изготовления польского бигоса отослано.

Чего бы, кажется, теперь ожидать?

Ожидать взрыва теткой любви.

А знаете, что из этого вышло?

Вышло то, что в Костромской губернии, в Кологривском уезде баба-кухарка больно-пребольно выпорола сестриноного мальчишку.

Вот и разберись тут. Вот и ищите нити! Письмо почтительного содержания в Полтаве — а парня порют в Костроме!

Ну таких ли результатов добивалась рассудительная женщина, когда так правильно, по пунктам, конструировала свою мысль? Ну не страшно ли после этого жить на свете?

Вот вы, может быть, теперь читаете эту мистическую повесть в Ялте, а за этот самый ваш поступок где-нибудь в Архангельске сельский учитель объелся тухлой рыбой!

Не удивляйтесь! Раз следствия не вытекают из своих причин, а причины не рожают своих следствий, а, напротив того, совершенно посторонние, то почему бы и не объесться сельскому учителю?

Однако хочу рассказать дальше про рассудительную женщину.

Когда тетка получила ее письмо, это последнее произвело на нее самое приятное впечатление. И почувствовала тетка, что нужно что-то сделать. Она была стара и от природы глупа, поэтому и не догадалась, что нужно написать племяннице и завещать ей Чарнобульбы.

А так как душа требовала какого-то подвига, то тетка принялась писать своей старой приятельнице в Костромскую губернию и изливать душу насчет того, как интересно готовить бигос под открытым небом. Так старуха отвела свою душу и зажила в прежнем спокойствии.

Приятельница же ее, прочтя письмо за обедом, сильно рассердилась на кухарку за пережаренного гуся.

— Вон, — кричала она, — люди, которые самые несчастные и даже крова над головой не имеют, ухитряются стряпать под открытым небом! А вы, мазурики, только хозяйское добро растатыриваете!

Кухарка, женщина нервная, обиды снести не могла и, поймав на огороде луцившего без спросу горох сестрина мальчишку, тут же его и выпорола!

Какова историйка!

Как бы для того, чтобы доказать самой себе, какая она нелогичная дура, судьба устроила следующую шутку.

Рассудительная женщина имела еще одну тетку с мужниной стороны, Таисию, с сельцом Лисьи Ноги.

Вот и случилось так, что почтительная племянница забыла, которой из теток написала она почтительное письмо про бигос.

Муж, человек занятой и рассеянный, стал уверять, что Таисии с Лисьими Ногами, и посоветовал написать такое же и Александре. Не ломать же себе голову над сюжетами! На всех теток разнообразия не напасешься.

Сказано — сделано. Отослано снова в Чарнобульбы письмо про пикник с бигосом.

Казалось бы, одинаковая причина должна породить и одинаковое следствие. Вы думаете, что костромского парня опять выпороли?

Ха-ха! Ничуть не бывало! Это вы так думаете, а на самом деле благодаря тому письму совершенно посторонний старик подарил своему кучеру пятьсот рублей.

Логично?

Получила тетка Александра второе письмо про пикник — и обиделась:

— И все-то у них дурь в голове! Пикники да микники! Нет чтобы о старухином здоровье толком порасспросить.

Тетка знала, что такого и слова нет — «микники», но, как старуха богатая, позволяла себе порою много лишнего.

Присутствовавший при чтении письма сосед, старик одинокий, вернувшись домой, позвал преданного ему кучера и сказал:

— Я тебе, Вавила, все состояние завещаю со временем, а у меня в банке пятьсот рублей чистоганом да до-

мишко. Только ты меня береги и родственников, буде такие объявятся, гони со двора метлой. Потому у них только на уме, что пикники да микники. Еще отравят.

И кучер получил 500 рублей.

Я могла бы привести еще несколько примеров в доказательство истинности моего открытия, но мне кажется, что достаточно и вышеприведенной истории, чтобы волосы ваши поднялись дыбом.

Я и сама в ужасе и не знаю, как быть дальше.

На всякий случай буду жить спустя рукава. И вам строго завещаю: режьте всегда, не примеривши ни одного раза, вместо прежних семи.

Отвечайте всегда не подумавши.

Никогда не смотрите себе под ноги.

Ну, с богом! Начинаем!





**Н**а первый взгляд кажется,

будто все понимают, что такое дурак и почему дурак чем дурнее, тем круглее.

Однако если прислушаешься и приглядишься — поймешь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновенного глупого или бестолкового человека.

— Вот дурак, — говорят люди. — Вечно у него пустяки в голове!

Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове!

В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается прежде всего по своей величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветреным и поступать необдуманно — дурак постоянно все обсуждает; обсудив, поступает соответственно и, поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе.

Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно. Дурак всегда рассуждает.

Простой человек, умный или глупый, безразлично, скажет:

— Погода сегодня скверная — ну да все равно, пойду погуляю.

А дурак рассудит:

— Погода скверная, но я пойду погулять. А почему я пойду? А потому, что дома сидеть весь день вредно. А почему вредно? А просто потому, что вредно.

Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закрутит.

При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак — это зародыш конца мира.

Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: и в науке, и в искусстве — и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит.

— Что такое? Какие там вопросы?

Сам он давно уже на все ответил и закруглился. В рассуждениях и закруглениях дураку служат опорой три аксиомы и один постулат. Аксиомы:

1) Здоровье дороже всего.

2) Были бы деньги.

3) С какой стати?

Постулат:

Так уж надо.

Где не помогают первые, там всегда вывезет последний.

Дураки обыкновенно хорошо устраиваются в жизни. От постоянного рассуждения лица у них приобретают с годами глубокое и вдумчивое выражение. Они любят отпускать большую бороду, работают усердно, пишут красивым почерком.

— Солидный человек. Не вертопрах, — говорят о дураке. — Только что-то в нем такое... Слишком серьезен, что ли?

Убедясь на практике, что вся мудрость земли им постигнута, дурак принимает на себя хлопотливую и неблагодарную обязанность — учить других. Никто так много и усердно не советует, как дурак. И это от всей души, потому что, приходя в соприкосновение с людьми, он все время находится в состоянии тяжелого недоумения:

— Чего они все путают, мечутся, суетятся, когда все так ясно и кругло? Видно, не понимают; нужно им объяснить.

— Что такое? О чем вы горюете? Жена застрелилась? Ну так это же очень глупо с ее стороны. Если бы пуля, не дай бог, попала ей в глаз, она бы могла повредить себе зрение. Боже упаси! Здоровье дороже всего!

— Ваш брат помешался от несчастной любви? Он меня прямо удивляет. Я бы ни за что не помешался. С какой стати? Были бы деньги!



Один лично мне знакомый дурак, самой совершенной, будто по циркулю выведенной, круглой формы, специализировался исключительно в вопросах семейной жизни.

— Каждый человек должен жениться. А почему? А потому, что нужно оставить после себя потомство. А почему нужно потомство? А так уж нужно. И все должны жениться на немках.

— Почему уж на немках? — спрашивали у него.

— Да так уж нужно.

— Да ведь этак, пожалуй, и немок на всех не хватит.

Тогда дурак обижался:

— Конечно, все можно обратить в смешную сторону.

Дурак этот жил постоянно в Петербурге, и жена его решила отдать своих дочек в один из петербургских институтов. Дурак воспротивился:

— Гораздо лучше отдать их в Москву. А почему? А потому, что их там очень удобно будет навещать. Сел вечером в вагон, поехал, утром приехал и навестил. А в Петербурге когда еще соберешься!

В обществе дураки — народ удобный. Они знают, что барышням нужно делать комплименты, хозяйке нужно сказать: «А вы все хлопчете», — и, кроме того, никаких неожиданностей дурак вам не преподнесет.

— Я люблю Шаляпина, — ведет дурак светский разговор. — А почему? А потому, что он хорошо поет. А почему хорошо поет? Потому что у него талант. А почему у него талант? Просто потому, что он талантлив.

Все так кругло, хорошо, удобно. Ни сучка ни задоринки. Подхлестнешь — и покатится.

Дураки часто делают карьеру, и врагов у них нет. Они признаются всеми за дельных и серьезных людей. Иногда дурак и веселится. Но, конечно, в положенное время и в надлежащем месте. Где-нибудь на именинах.

Веселье его заключается в том, что он деловито расскажет какой-нибудь анекдот и тут же объяснит, почему это смешно.

Но он не любит веселиться. Это его роняет в собственных глазах. Все поведение дурака, как и его наружность, так степенно, серьезно и представительно, что его всюду принимают с почетом. Его охотно выбирают в председа-

тели разных обществ, в представители каких-нибудь интересов. Потому что дурак приличен. Вся душа дурака словно облизана широким коровьим языком. Кругло, гладко. Нигде не зацепит.

Дурак глубоко презирает то, чего не знает. Искренне презирает.

— Это чьи стихи сейчас читали?

— Бальмонта.

— Бальмонта? Не знаю. Не слышал такого. Вот Лермонтова читал. А Бальмонта никакого не знаю.

Чувствуется, что виноват Бальмонт, что дурак его не знает.

— Ницше? Не знаю. Я Ницше не читал!

И опять таким тоном, что делается стыдно за Ницше. Большинство дураков читают мало. Но есть особая разновидность, которая всю жизнь учится. Это дураки набитые.

Название это, впрочем, очень неправильное, потому что в дураке, сколько он себя ни набивает, мало что удерживается. Все, что он всасывает глазами, вываливается у него из затылка.

Дураки любят считать себя большими оригиналами и говорят:

— По-моему, музыка иногда очень приятна. Я вообще большой чудак!

Чем культурнее страна, чем спокойнее и обеспеченнее жизнь нации, тем круглее и совершеннее форма ее дураков.

И часто надолго остается нерушим круг, сомкнутый дураком в философии, или в математике, или в политике, или в искусстве. Пока не почувствует кто-нибудь:

— О, как жутко! О, как кругла стала жизни!

И прорвет круг.





**Л**юди очень гордятся,

что в их обиходе существует ложь.

Ее черное могущество прославляют поэты и драматурги.

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — думает коммивояжер, выдавая себя за атташе при французском посольстве.

Но, в сущности, ложь, как бы ни была она велика, или тонка, или умна, — она никогда не выйдет из рамок самых обыденных человеческих поступков, потому что, как и все таковые, она происходит от причины и ведет к цели. Что же тут необычайного?

Гораздо интереснее та удивительная психологическая загадка, которая зовется враньем.

Вранье отличается от лжи, с которой многие профаны во вральном деле его смешивают, тем, что, не неся в себе ни причины, ни цели, в большинстве случаев приносит изобретателю своему только огорчение и позор — словом, чистый убыток.

А отцом лжи считается дьявол. Какого происхождения вранье и кто его батька, никому не известно.

Настоящее, типическое вранье ведется так бестолково, что, сколько ни изучай его, никогда не будешь знать основательно, как и кем именно оно производится.

Врут самые маленькие девочки, лет пяти, врут двенадцатилетние кадеты, врут пожилые дамы, врут статские советники, и все одинаково беспричинно, бессцельно и бессмысленно. Но, как бы неудачно ни было их вранье, можно всегда констатировать необычайно приподнятое и как бы вдохновенное выражение их лиц во время вразного процесса.

Вранье всегда интересовало меня как нечто загадочное и недостижимое для меня; практически я только раз познала его, причем потерпела полное фиаско.

Было мне тогда лет одиннадцать, и училась я в одном из младших классов гимназии. И вот однажды учитель русской словесности, желая, вероятно, узнать, насколько связно могут его ученицы излагать свои мысли в повествовательной форме, спросил:

— Кто из вас может рассказать какое-нибудь приключение из времен самого раннего детства?

Никто не решался.

Тогда учитель вызвал первую ученицу, и после долгих усовещеваний она со слезами на глазах пробормотала, что у нее в детстве было только одно приключение: она съела краски, принадлежавшие старшему брату.

Учитель был недоволен:

— Ну что это за приключение! И главное — что за рассказ! Разве так надо рассказывать? И неужели же никто из целого класса не может припомнить и изложить никакого происшествия из своего детства?

Вот тут-то на меня и накатил великий дух вранья. Прежде чем я сообразила, что со мной делается, я уже стояла перед учителем и, глядя ему прямо в лицо честными глазами, говорила:

— Я могу рассказать.

Учитель обрадовался, долго хвалил меня и ставил всем в пример.

— Ну, а теперь слушаем.

И я начала свой рассказ. Насколько я припоминаю, он был таков:

— Мне было всего два года, когда однажды ночью, проснувшись, я увидела страшное зарево. Наскоро одевшись...

— Да ведь вам всего два года было, как же вы сами оделись? — удивился учитель ловкости гениального ребенка.

— Я всегда спала полуодетая, — любезно пояснила я и продолжала:

— Наскоро одевшись, я выбежала на двор. Горели соседние дома, горящие бревна летали по воздуху...

— Ну-с? — сказал учитель.

Я почувствовала, что с него все еще мало.

— ...летали по воздуху. Вдруг я увидела на земле среди груды обломков лежащего мужика. Он лежал и горел со всех сторон. Тогда я приподняла его за плечи и оттащила в соседний лес; там мужик погасился, а я пошла опять на пожар.

— Ну? — опять сказал учитель.

— Пошла опять, и там огромное бревно упало мне на голову, а я упала в обморок. Вот и все. Больше ничего не помню.

Рассказывая свою повесть, я вся так горела душой в никогда еще не испытанном экстазе, что долго не могла вернуться к прерванной жизни там, на второй скамейке у окна.

Все кругом были очень сконфужены. Учитель тоже. Он был хороший человек, и поэтому ему было так совестно, что он даже уличить меня не мог. Он низко нагнул над классным журналом и, вздыхая, стал задавать уже заданный урок к следующему разу.

Чувствовала себя недурно только я одна. Мне было весело, как-то тепло, и, главное, чувствовалось, что я одна права во всей этой скверной истории.

Только на другой день, когда по отношению подруг я поняла, что дело мое не выгорело, я приуныла, потускнела, и прекрасное вральное вдохновение покинуло меня навсегда.

Как часто, разговаривая с незнакомыми людьми на пароходах, на железной дороге, за табльдотом, думаешь: вот бы теперь приврать что-нибудь повкуснее. Нет! Подрезаны мои крылышки. Слушаю, как врут другие, люблю, завидую горько, а сама не могу. Вот как отравляет душу первое разочарование!

Хорошо врут маленькие девочки.

Одна пятилеточка рассказывала мне, что она знала собачку, «такую бедную, несчастную» — все четыре ножки были у нее оторваны.

И каждый раз, как собачка мимо пробежала, девочка от жалости плакала. Такая бедная была собачка!

— Да как же она бегала, когда у нее ни одной ноги не было? — удивилась я.

Девочка не задумалась ни на минуту:

— А на палочках.

И глаза ее смотрели честно и прямо, и уголки рта чуть-чуть дрожали от жалости к собачке.

Глубокую зависть возбуждала во мне одна добрая провинциальная дама. Врала она бескорыстно, самоотверженно, с неистовством истинного вдохновения и, вероятно, наслаждалась безгранично.

— У меня в гостиной, когда жила в Харькове, были огромные зеркала. Гораздо выше потолка! — рассказывала она и вдруг спрашивала: — Как вы думаете, сколько стоит вот эта мебель, что у меня в будуаре?

— Рублей двести... Не знаю.

— Пятнадцать рублей! — отчеканивает она.

— Быть не может! Два дивана, четыре кресла, три стула!

— Пятнадцать рублей!

Глаза ее горят, и все лицо выражает восторг, доходящий до боли.

— Пятнадцать рублей. Но зато вот этот стул, — она указывает на один из трех, — стоит тридцать пять.

— Но почему же? Ведь он, кажется, такой же, как и другие?

— Да вот подите! На вид такой же, а стоит тридцать пять. Там у него внутри сиденья положена пружина из чистого мельхиора. Они очень неудобны, эти пружины, на них ведь совсем и сидеть нельзя. Чуть сядешь — адская боль.

— Так на что же они тогда, да еще такие дорогие?

— А вот подите!

Она даже вспотела и тяжело дышала, а я думала:

«Ну к чему она так усердствует? Чего добивается? Если она хотела прихвастнуть дорогим стулом, чтобы я позавидовала: вот, мол, какая она богатая, — тогда зачем же было сочинять, что вся мебель стоит пятнадцать рублей? Здесь очевидно не преследовалась цель самовозвеличения или самовосхваления. Откуда же это все? Из какого ключа бьет этот живой источник?»

Встречала я и вранье совсем другого качества — вранье унылое, подавленное. Производил его, и вдобавок в большом количестве, один очень степенный господин, полковник в отставке.

Лицо у него, как у всех вралей-специалистов, носило отпечаток исключительной искренности.

«Это какой-то фанатик правды!» — думалось, глядя на его выпученные глаза и раздутые ноздри.

Врал он так:

— Если яйцо очень долго растирать с сахаром, то оно делается совершенно кислым, оттого что в нем вырабатывается лимонная кислота! Это испробовал один мой товарищ в 1886 году.

Или так:

— В стерлядях масса икры. Бывало, на Волге в 1901 году поймашь крошечную фунтовую стерлядку, вспорешь ее ножом, а в ней фунтов десять свежей икры. Шутка сказать!

Или так:

— Я этого Зелим-хана еще ребенком знал. Придет, бывало, к нам, весь дом разграбит — мальчишка шести лет. Уж я его сколько раз стыдил в 1875 году. «Ну что из тебя, — говорю, — выйдет!» Нет, ни за что не слушался.

Все это рассказывалось так безнадежно уныло, и чувствовалось, что рассказчик до полного отчаяния не верит ни одному своему слову, но перестать не может. Точно он необдуманно подписал с каким-то чертом контракт и вот теперь, выбиваясь из сил, выполняет договор.

Если оборвать этого несчастного — он покраснеет, замолчит и только посмотрит с укором: «За что мучаешь? За что обижаешь? Разве я виноват?»

И стыдно станет.

Ему я никогда не завидовала. Его работа тяжела и не увлекательна. Но опять-таки — откуда она? Зачем? Кто ее заказал?

И делается досадно, что вся эта энергия, для чего-то такой силой вырабатываемая, пропадает даром.

Но верю, что это недолго протянется. Верно, что придет гений, изучит эту энергию, поставит, где нужно, надлежащие приборы и станет эксплуатировать великую вральную силу на пользу и славу человечеству.

Почтенный полковник получит штатное место, и, может быть, энергией его вранья будут вращаться десятки жерновов, водяных турбин и ветряных мельниц.

И дома с мебелью, и девочка с собачкой, и гимназист, уверявший, что в их классе Петров Ч—й такой легкий, что может два часа продержаться на воздухе, и еще сотня безвестных тружеников найдут применение распирающей их силе.

И как знать: еще десять, двадцать лет — и, может быть, бросив ненужное и дорогое электричество, мы будем освещаться, отапливаться и передвигаться при помощи простой вращальной энергии — этого таинственного сокровища земли.

Ах, сколько еще богатств у нас под руками, и мы не умеем овладеть ими!







## Свои и чужие

**В**сех людей по отношению

к нам мы разделяем на «своих» и «чужих».

Свои — это те, о которых мы знаем навверное, сколько им лет и сколько у них денег.

Лета и деньги чужих скрыты от нас вполне и навеки, и если почему-нибудь тайна эта откроется нам — чужие мгновенно превратятся в своих, а это последнее обстоятельство крайне для нас невыгодно, и вот почему: свои считают своей обязанностью непременно резать вам в глаза правду-матку, тогда как чужие должны деликатно привирать.

Чем больше у человека своих, тем больше знает он о себе горьких истин и тем тяжелее ему живется на свете.

Встретите вы, например, на улице чужого человека. Он улыбнется вам приветливо и скажет:

— Какая вы сегодня свеженькая!

А если через три минуты (что за такой короткий срок может в вас измениться?) подойдет свой, он посмотрит на вас презрительно и скажет:

— А у тебя, голубушка, что-то нос вспух. Насморк, что ли?

Если вы больны, от чужих вам только радость и удовольствие: соболезнующие письма, цветы, конфеты.

Свой — первым делом начнет допытываться, где и когда могли вы простудиться, точно это самое главное. Когда наконец, по его мнению, место и время установлены, он начнет вас укорять, зачем вы простудились именно там и тогда:

— Ну как это можно было идти без калош к тете Маше! Это прямо возмутительно — такая беспечность в твои лета!

Кроме того, чужие всегда делают вид, что страшно испуганы вашей болезнью и что придают ей серьезное значение:

— Боже мой, да вы, кажется, кашляете! Это ужасно! У вас, наверное, воспаление легких! Ради бога, созовите консилиум. Этим шутить нельзя! Я, наверное, сегодня всю ночь не засну от беспокойства.

Все это для вас приятно, и, кроме того, больному всегда лестно, когда его ерундовую инфлуэнцу ценою в тридцать семь градусов и одну десятую величают воспалением легких.

Свои ведут себя совсем иначе:

— Скажите пожалуйста! Уж он и в постель завалился! Ну как не стыдно из-за такой ерунды?! Возмутительная мнительность... Ну возьми себя в руки! Подбодрись — стыдно так раскисать!

— Хороша ерунда, когда у меня температура тридцать восемь, — пищите вы, привирая на целый градус.

— Велика важность! — издевается свой. — Люди тиф на ногах переносят, а он из-за тридцати восьми градусов умирать собирается. Возмутительно!

И он будет долго издеваться над вами, припоминая разные забавные истории, когда вы так же томно закатывали глаза и стонали, а через два часа уплетали жареную индейку.

Рассказы эти доведут вас до бешенства и действительно поднимут вашу температуру на тот градус, на который вы ее приврали.

На языке своих это называется «подбодрить больного родственника».

Водить знакомство со своими очень грустно и раздражительно.

Чужие принимают вас весело, делают вид, что рады вашему приходу до экстаза.

Так как вы не должны знать, сколько им лет, то лица у всех у них будут припудрены и моложавы, разговоры веселые, движения живые и бодрые.

А так как вы не должны знать, сколько у них денег, то, чтобы ввести вас в обман, вас будут кормить дорогими и вкусными вещами. По той же причине вас посадят в лучшую комнату с самой красивой мебелью, на какую толь-

ко способны, а спальни с драными занавесками и табуреткой вместо умывальника вам даже и не покажут, как вы ни просите.

Чашки для вас поставят на стол новые, и чайник не с отбитым носом, и салфетку дадут чистую, и разговор заведут для вас приятный — о каком-нибудь вашем таланте, а если его нет — так о вашей новой шляпе, а если и ее нет — так о вашем хорошем характере.

У своих ничего подобного вы не встретите.

Так как все лета и возрасты известны, то все вылезают хмурые и унылые:

— Э-эх, старость не радость. Третий день голова болит.

А потом вспоминают, сколько лет прошло с тех пор, как вы кончили гимназию:

— Ах, время-то как летит! Давно ли, кажется, а уж никак тридцать лет прошло.

Потом, так как вам известно, сколько у них денег, и все равно вас в этом отношении уже не надуешь, то подадут вам чай со вчерашними сухарями и заговорят о цене на говядину, и о старшем дворнике, и о том, что в старой квартире дуло с пола, а в новой дует с потолка, но зато она дороже на десять рублей в месяц.

Чужие по отношению к вам полны самых светлых прогнозов. Все дела и предприятия вам, наверное, великолепно удадутся. Еще бы! С вашим-то умом, да с вашей выдержкой, да с вашей обаятельностью!

Свои, наоборот, заранее оплакивают вас, недоверчиво качают головой и каркают.

У них всегда какие-то тяжелые предчувствия на ваш счет. И, кроме того, зная вашу беспечность, безалаберность, рассеянность и неумение ладить с людьми, они могут вам доказать, как дважды два — четыре, что вас ждут большие неприятности и очень печальные последствия, если вы вовремя не одумаетесь и не выкинете из головы дурацкой затеи.

Сознание, насколько чужие приятнее своих, мало-помалу проникает в массы, и я уже два раза имела случай убедиться в этом.

Однажды — это было в вагоне — какой-то желчный господин закричал на своего соседа:

— Чего вы развалились-то! Нужно же соображать, что другому тоже место нужно. Если вы невоспитанный человек, так вы должны ездить в собачьем вагоне, а не в пассажирском. Имейте это в виду!

А сосед ответил ему на это:

— Удивительное дело! Видите меня первый раз в жизни, а кричите на меня, точно я вам родной брат! Черт знает что такое!

Второй раз я слышала, как одна молодая дама хвалила своего мужа и говорила:

— Вот мы женаты уже четыре года, а он всегда милый, вежливый, внимательный, точно чужой!

И слушатели не удивлялись странной похвале. Не удивляюсь и я.





## Колдунья Годеруна

### 1. Легенда

была прекрасна. Когда она выходила из своего лесного шалаша, смолкали затихшие птицы и странно загорались меж ветвей звериные очи.

Годеруна была прекрасна.

Однажды ночью шла она по берегу черного озера, скликала своих лебедей и вдруг увидела сидящего под деревом юношу. Одежды его были богаты и шиты золотом, драгоценный венчик украшал его голову, но грудь юноши не подымалась дыханием. Бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды.

И полюбила Годеруна мертвого.

Опрыскала его наговорной водой, натерла заклетыми травами и три ночи читала над ним заклинания.

На четвертую ночь встал мертвый, поклонился колдунье Годеруне и сказал:

— Прости меня, прекрасная, и благодарю тебя.

И взяла его Годеруна за руку и сказала:

— Живи у меня, мертвый царевич, и будь со мной, потому что я полюбила тебя.

И пошел за ней царевич, и был всегда с нею, но не подымалась грудь его дыханием, бледно было лицо и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды.

Никогда не смотрел он на Годеруну, а когда обращалась она к нему с ласкою, отвечал всегда только «прости меня» и «благодарю тебя». И говорила ему Годеруна с тоскою и мукою:

— Разве не оживила я тебя, мертвый царевич?

— Благодарю тебя, — отвечал царевич.

— Так отчего же не смотришь ты на меня?

— Прости меня, — отвечал царевич.

— Разве не прекрасна я? Когда пляшу я на лунной заре, волки лесные вьются вокруг меня, приплясывая, и медведи рычат от радости, и цветы ночные раскрывают свои венчики от любви ко мне. Ты один не смотришь на меня.

И пошла Годеруна к лесной Кикиморе, рассказала ей все про мертвого царевича и про любовную печаль свою.

Подумала Кикимора и закричала:

— Умер твой царевич оттого, что надышался у черного озера лебединой тоской. Если хочешь, чтобы он полюбил тебя, возьми золотой кувшинчик и плачь над ним три ночи. В первую ночь оплачь молодость свою, а во вторую — красоту, а в третью ночь оплачь свою жизнь; собери слезы в золотой кувшинчик и отнеси своему мертвому.

Проплакала Годеруна три ночи, собрала слезы в золотой кувшинчик и пошла к царевичу.

Сидел царевич тихо под деревом, не подымалась дыханием грудь его, бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды.

Подавала ему Годеруна золотой кувшинчик:

— Вот тебе, мертвый царевич, все, что у меня есть: красота, молодость и жизнь. Возьми все, потому что я люблю тебя.

И, отдав ему кувшинчик, умерла Годеруна, но, умирая, видела, как грудь его поднялась дыханием, и вспыхнуло лицо, и сверкнули глаза не звездным огнем. И еще услышала Годеруна, как сказал он:

— Я люблю тебя!

\*\*\*

На жертвенной крови вырастает любовь.

## 2. Жизнь

Марья Ивановна была очень недурна собой. Когда она танцевала у Лимониных «па д'эспань» с поручиком Чубковым, все в восторге аплодировали, и даже игроки бросили свои карты и выползли из кабинета хозяина, чтобы полюбоваться на приятное зрелище.

Однажды ночью встретила она за ужином у Лягуновых странного молодого человека. Он сидел тихо, одетый во фрак от Тедески, грудь его не подымалась дыханием, лицо было бледно, и в глазах его, широко открытых, играли экономические лампочки электрической люстры.

— Кто это?

— Это Куликов Иван Иванович.

Она пригласила его к себе и поила чаем с птифурами, и кормила ужином с омарами, и играла на рояле новый тустеп, припевая так звонко и радостно, что даже из соседней квартиры присылали просить, нельзя ли потише.

Куликов молчал и говорил только «пардон» и «мерси». Тогда пошла Марья Ивановна к приятельнице своей, старрой кикиморе Антонине Павловне, и рассказала ей все об Иване Ивановиче и о любовной печали своей.

— Что делать мне? И пою, и играю, и ужин заказываю, а он сидит как сыч, и, кроме «пардон» да «мерси», ничего из него не выжмешь.

Подумала кикимора и закричала:

— Знаю я твоего Куликова. Это он в клубе доверительские деньги продул, оттого и сидит как сыч. Все знаю. Он уж к Софье Павловне занимать подъезжал и мне тоже намеки закидывал. Ну да с меня, знаешь, не много вытянешь. А если ты действительно такая дура, что он тебе нравится, так поправь ему делишки — он живо отмякнет.

Позвала Марья Ивановна Куликова.

Сидел Куликов на диване, и не подымалась дыханием грудь его, бледно было лицо, и в глазах его, широко раскрытых, отражаясь, играли экономические лампочки электрической люстры.

Сидел как сыч.

И сказала ему Марья Ивановна:

— Сегодня утром прогнала я своего управляющего, и некому теперь управлять моим домом на Коломенской. Как бы я рада была, если бы вы взяли это на себя. Делать, собственно говоря, ничего не нужно — всем заведует старший дворник. Вы бы только раза два в год проехали бы по Коломенской, чтобы посмотреть, стоит ли еще дом на своем месте или уже провалился. А жалованья получали бы три тысячи.

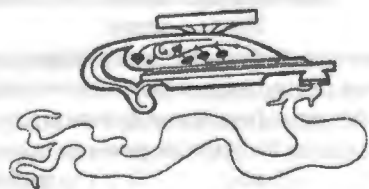
— Пять? — переспросил Куликов, и лампы в глазах его странно мигнули.

— Пять! — покраснев, ответила Марья Ивановна и замерла. Но, замирая, видела, как грудь его поднялась дыханием, и вспыхнуло лицо его, и сверкнули глаза не экономическим светом. И еще услышала Марья Ивановна, как сказал он:

— Я совсем и забыл сказать вам... Маруся, я люблю тебя!..

\*\*\*

На жертвенной крови вырастает любовь.







**И**ван Матвеич. печально

распустив губы, с покорной тоской смотрел, как докторский молоточек, упруго отскакивая, пощелкивает его по толстым бокам.

— Н-да, — сказал доктор и отошел от Ивана Матвеича. — Пить нельзя, вот что. Много пьете?

— Одну рюмку перед завтраком и две перед обедом. Коньяк, — печально и искренно отвечал пациент.

— Н-да. Все это придется бросить. Вон у вас печень-то где. Разве так можно?

Иван Матвеич посмотрел, куда указывал доктор, увидел свой толстый бок, раскрытый и беззащитный, и молча вздохнул.

— Это, конечно, пустяки, — продолжал доктор. — Раз у вас есть сила воли, вам, конечно, ничего не будет стоить бросить эту привычку.

— Да, что касается силы воли, так этого добра у меня не занимать статьи!

— Вот и отлично. Пропишу вам порошочки, попринимаете их недельки две, а там зайдите показаться. Спасибо, спасибо, напрасно беспокоитесь.

Иван Матвеич шел по улице и думал:

«Печень не на месте. Не на своем, значит, месте. Дело дрянь. Но раз есть сила воли, то все перебороть можно — и печень, и не печень. А бутылку как раз сегодня допил — вот, значит, сам перст судьбы указывает».

На углу у самого дома Иван Матвеич загляделся в окно фруктовой лавки.

«Что у них здесь? Ликеры. Ну кому, спрашивается, нужны натошак ликеры? Выставили, дурачье. А это что? Коньяк! Меня все равно не соблазнишь. У кого есть сила воли, тот, братец ты мой, ничего не боится. Я даже больше сделаю: зайду, куплю бутылку и домой ее отнесу. Да-с! Вот так раз! Потому что раз у человека есть сила воли...»

Придя домой, он сейчас же запер коньяк в буфет и сел обедать. Налил супу и задумался:

«В буфет поставил... Нет, я больше сделаю: я на стол поставлю, вот что я сделаю. Поставлю да еще и откупорю. Потому что раз у человека есть сила воли, братец ты мой, то ты ему хоть на нос коньяку налей, он и не шелохнется».

Откупорил бутылку. Посидел, поглядел, подумал. Поболтал ложкой в тарелке и вдруг решил:

«Нет, я больше сделаю: я вот возьму да и налью в рюмку. Мало того! Я даже выпью одну рюмку, вот что я сделаю. Почему бы мне не выпить? Раз у человека есть сила воли и он во всякий момент может остановиться, то ему даже приятно сделать над собой маленький опыт».

Он выпил рюмку, выпучил глаза, с удивлением огляделся кругом, проглотил ложки две супу и сказал решительно:

— Нет, я даже больше сделаю: я вторую рюмку выпью.

Выпил вторую, усмехнулся, подмигнул:

— Нет, я даже больше сделаю. Я сделаю то, чего никогда не делал: я третью рюмку выпью. И странно было бы не выпить. Во-первых, приятно — это раз. Во-вторых, если у меня есть сила воли и я всегда могу остановиться вовремя, то чего же мне бояться? Почему, например, я не могу выпить четвертую рюмку? Я больше сделаю — я две подряд выпью, вот что я сделаю. А потом еще велю коньяку принести. Вот. Потому что раз у человека есть сила воли...

Вечером завернувший на огонек приятель был несказанно удивлен представшей перед ним картиной: Иван Матвеич сидел в столовой на полу и, смотря в упор на ножку стола, грозил ей пальцем и говорил с чувством, толково и вразумительно:

— Может быть, ты, братец мой, не можешь, а я могу! Я напился — я это сознаю. Мало того, я сделаю даже еще больше — я теперь буду каждый день напиваться. А почему? А потому, что когда у человека есть в наличности сила воли... сил-ла воли, то он может пить и ему ничего не страшно. А у меня, братец ты мой, сила воли есть, а раз у меня есть сила воли, следовательно...



## Ничтожные и светлые

**М**аленькая учительница

села Недомаровки переписывала с черновика письмо.

Она очень волновалась, и лицо у нее было жалкое и восторженное.

— Нет, он не будет смеяться надо мной! — шептала она, сжимая виски вымазанными в чернилах пальцами. — Такой великий, такой светлый человек. Он один может понять мою душу и мои стремления. Мне ответа не надо. Пусть только прочтет обо мне, о маленькой и несчастной. Я, конечно, ничтожество. Он — солнце, а я — трава, которую солнце вращивает, — но разве трава не имеет права написать письмо, если это хоть немножко облегчит ее страдания?

Она перечитала написанное, тщательно выделила запятыми все придаточные предложения, перекрестилась и наклеила марку:

— Будь что будет! Петербург... его высокоблагородию писателю Андрею Бахмачеву, редакция журнала «Земля и Воздух».

\*\*\*

В ресторане «Амстердам» было так накурено, что стоящий за стойкою буфетчик казался порою отдаленным от земли голубыми облаками, как Мадонна Рафаэля.

Бахмачев, Козин и Фейнберг пили коньяк и беседовали. Тема разговора была самая захватывающая. Волновала она всех одинаково, потому что все трое были писатели, а тема касалась и искусства, и литературы одновременно. Одним словом, говорили они о том, что актриса Лазуреводская, по-видимому, изменяет актеру Мохову с рецензентом Фриском.

— Болван Мохов! — говорил Бахмачев. — Отколотил бы ее хорошенько, так живо бы все Фриски из головы выскочили.

— Ну, это могло бы ее привлечь к Мохову только в том случае, если она садистка! — заметил Фейнберг.

— При чем тут «садистка»? — спросил Козин.

— Ну да, в том смысле, что если бы ей побои доставляли удовольствие.

— Так это, милый мой, называется «мазохистка». Берешься рассуждать, сам не знаешь о чем!

— Ну положим, — обиделся Фейнберг. — Ты уж воображаешь, что ты один всякие гадости знаешь.

— Да уж побольше вас знаю! — злобно прищурил глаза Козин.

— Плюньте, господа, — успокоил приятелей Бахмачев. — Кто усомнится в вашей эрудиции! А где Стукин?

— Не знаю, что-то не видно его.

— Он вчера так безобразно напился, — рассказывал Бахмачев, — что прямо невозможно было с ним разговаривать. Я, положим, тоже был пьян, но, во всяком случае, не до такой степени.

— Он уверяет, между прочим, что ты свою «Идиллию» у Мопассана стянул.

— Что-о? Я-а? У Мопассана-а? — весь вытянулся Бахмачев. — Что же общего? Откуда? Пусть, наконец, укажет то место.

— Уж я не знаю. Говорит, что у Мопассана.

— Ничего подобного! Я даже никогда Мопассана и не читал.

— Вот Иволгин — молодец, — вставил Фейнберг. — По десяти раз тот же фельетон печатает. Сделает другое заглавие, изменит начало, изменит конец — и готово. Я, говорит, теперь на проценты со старых вещей живу. Один фельетон регулярно каждую весну печатает. Это, говорит, мой кормилец этот фельетон.

— Ну, десять раз трудно, — сказал задумчиво Бахмачев. — А по два раза и мне приходилось.

— Закажем что-нибудь еще? — предложил Козин. — Жалко, что теперь не лето, — я ботвинью люблю.

— Я закажу поросенка, — решил Бахмачев и вдруг весь оживился и подозвал лакея:

— Слушай-ка, милый мой! Дай ты мне поросенка с кашей. Только чтобы жиррррный был и хрустел. Непременно, чтобы жиррррный и чтобы хрустел. Понял?

Лакей уже отошел исполнить заказ, а Бахмачев еще долго блуждал глазами и не вступал в общий разговор, и все лицо у него выражало, как он поглощен одной мыслью.

Кто так поглощен мыслью, тому в конце концов трудно становится душевное одиночество. Он повернулся к Козину и поделился сомнением:

— А как ты думаешь, найдется у них хороший поросяенок?

Козин вместо ответа оглядел зал и сказал, зевая:

— Не стоит сюда ходить. Ни одной женщины! Это уж не «Амстердам», а «Амстермужчин». Ха-ха!

А Бахмачев деловито нахмурился и спросил:

— А правда, что балетная Вилкина живет с Гвоздиным?

\*\*\*

Бахмачев вернулся домой поздно, нашел присланные из редакции корректуры и письмо.

Корректуру отложил, письмо, зевая, распечатал:

«Не сердитесь, что я осмелилась написать вам, — я, маленькая сельская учительница, вам, великому и светлому. Я знаю, что я очень ничтожная и должна трудом искупать дерзость, что смею жить на свете. А я еще ропщу, хочу лучшей жизни и утром, когда бывает угар от самовара, плачу со злости.

Я бы хотела хоть разок в жизни невидимкою побывать около вас и только послушать, когда вы с вашими друзьями собираетесь, чтобы горячо и пламенно говорить, как нужно учить нас, маленьких и ничтожных, лучшей светлой жизни.

Я бы только послушала и потом уже, не жалея ни о чем, умерла.

Учительница Савелкина».

Бахмачев сложил письмо и написал на нем красным карандашом:

«Можно использовать для рождественского рассказа».



# Маляр

(Загадка бытия)

Тебе, пришедшему ко мне

на рассвете дня,

Тебе, озарившему мое тусклое время,

Тебе, рыжему маляру с коричневой бородавкой,

Посвящаю я, благодарная, эти строки.

\*\*\*

Он пришел действительно рано, часов в девять утра. Вид у него был деловой, озабоченный. Говорил он веско, слегка прищуривал глаза и проникал взглядом до самого дна души собеседника. Губы его большого редкозубого рта слегка кривились презрительной улыбкой существа высшего.

— Аксинья говорила — нужно вам двери покрасить. Эти, что ли? — спросил он меня.

— Да, голубчик. Вот здесь, в передней, шесть дверей. Нужно их выкрасить красной краской в цвет обоев. Понимаете?

Он презрительно усмехнулся:

— Я вас очень понимаю.

И, прищурив глаз, посмотрел на дно моей души. Я слегка смутилась. Никто не любит, когда его очень понимают.

— Так вот, не можете ли вы сейчас приняться за дело?

— Сейчас?

Он усмехнулся и отвернул лицо, чтобы не обидеть меня явной насмешкой:

— Нет, барыня. Сейчас нельзя.

— Отчего же?

Ему, видимо, неприятно было объяснять тонкости своего ремесла перед существом, вряд ли способным понять его. И, вздохнув, он сказал:

— Теперича десятый час. А в двенадцать я пойду обедать. А там то да се, смотришь, и шесть часов, а в шесть я должен шабашить. Приду завтра в семь, тогда и управлюсь.

— А вы хорошо краску подберете?

— Да уж будьте спокойны. Потрафим.

На другое утро, проснувшись, услышала я тихое пение:

— «Последний нонешний дене-очек...»

Оделась, вышла в переднюю.

Маляр мазал дверь бледно-розовой краской.

— Это что же, голубчик, верно, грунт?

Он презрительно усмехнулся:

— Нет, это не грунт, а окраска. Это уж так и останется.

— Да зачем же? Ведь я просила красную, под цвет обоев.

— Вот эту самую краску вы и хотели.

Я на минутку закрыла глаза и обдумала свое положение. Оно было довольно скверное.

Неужели я вчера сошла с ума и заказала розовые двери?

— Голубчик, — робко сказала я. — Насколько мне помнится, я просила красные, а не розовые.

— Энтю и есть красные, только от белил они кажутся светлее. А без белил, так они совсем красные были бы.

— Так зачем же вы белила кладете?

Он смерил меня с ног до головы и обратно. Усмехнулся и сказал:

— Нам без белил нельзя.

— Отчего?

— Да оттого, что мы без белил не можем.

— Да что же: краска не пристанет или что?

— Да нет! Какое там не пристанет. Где же это слыхано, чтобы масляная краска да не пристала. Очень даже вполне пристанет.

— Так красьте без белил.

— Нет, этого мы не можем!

— Да что вы, присягу, что ли, принимали без белил не красить?

Он горько задумался, тряхнул головой и сказал:

— Ну, хорошо. Я покрашу без белил. А как вам не понравится, тогда что?

— Не бойтесь, понравится.

Он тоскливо поднял брови и вдруг, взглянув мне прямо на дно души, сказал едко:

— Сурику вам хочется, вот чего!

— Что? Чего? — испугалась я.

— Сурику! Я еще вчерась понял. Только сурику вы никак не можете.

— Почему? Что? Почему же я не могу сурику?

— Не можете вы. Тут бакан нужен.

— Так берите бакан.

— А мне за бакан от хозяина буча будет. Бакан восемь гривен фунт.

— Вот вам восемь гривен, только купите краску в цвет.

Он вздохнул, взял деньги и ушел.

Вернулся он только в половине шестого, чтобы сообщить мне, что теперь он «должен шабашить», и ушел.

«Последний нонешний дене-очек» разбудил меня утром.

Маляр мазал дверь тусклой светло-коричневой краской и посмотрел на меня с упреком.

— Это что же... грунт? — с робкой надеждой спросила я.

— Нет-с, барыня, это уж не грунт. Это та самая краска, которую вы хотели!

— Так отчего же она такая белая?

— Белая-то? А белая она известно отчего — от белил.

— Да зачем же вы опять белил намешали? Красили бы без белил.

— Без белил? — печально удивился он. — Нет, барыня, без белил мы не можем.

— Да почему же?

— А как вам не понравится, тогда что?

— Послушайте, — сказала я, стараясь быть спокойной. — Ведь я вас что просила? Я просила выкрасить двери красной краской. А вы что делаете? Вы красите их светло-коричневой. Поняли?

— Как не понять. Очень даже понимаю. Слава богу, не первый год малярией занимаюсь! Краска эта самая настоящая, которую вы хотели. Только как вам нужно шесть дверей, так я на шесть дверей белил и намешал.



— Голубчик! Да ведь она коричневая. А мне нужно красную, вот такую, как обои. Поняли?

— Я все понял. Я давно понял. Сурику вам хочется, вот что!

— Ну, так и давайте сурику.

Он потупился и замолчал.

— В чем же дело? Я не понимаю. Если он дорого стоит, я приплачу.

— Нет, какое там дорого. Привенник фунт. Уж коли это вам дорого, так уж я и не знаю.

Он выразил всем лицом, не исключая и бородавки, презрение к моей жадности. Но я не дала ему долго торжествовать:

— Вот вам деньги. Купите сурику.

Он вздохнул, взял деньги:

— Только сурик надо будет завтра начинать. Потому теперь скоро обед, а там то да се и шесть часов. А в шесть часов я должен шабашить.

— Ну, бог с вами. Приходите завтра.

— «Последний нонешний дене-очек...»

Он мазал дверь тускло-желтой мазью и торжествовал:

— Я же говорил, что не пондравится.

— Отчего же она такая светлая? — спросила я, и смутная догадка сжала мое сердце.

— Светлая?

Он удивлялся моей бестолковости:

— Светлая? Да от белил же!

Я села прямо на ведро с краской и долго молчала. Молчал и он.

Какой-то мыслитель сказал, что есть особая красота в молчании очень близких людей.

Он очнулся первый:

— Можно кобальту к ей подбавить.

— Кобальту? — чуть слышно переспросила я и сама не узнала своего голоса.

— Ну да. Кобальту. Синего.

— Синего? Зачем же синего?

— А грязнее будет.

Я встала и молча вышла. А он пошел шабашить.

На следующее утро я встала рано, раньше, чем он пришел. Пошла в переднюю и стала ждать.

Было около шести утра. Меня слегка знобило, щеки горели и руки тряслись. Кажется, охотники на тетеревином току испытывают нечто подобное.

Наконец он пришел.

Он шел, деловито сдвинув рыжие брови. Он нес большое ведро белил.

— Стой! — крикнула я. — Это что?

— А белила.

— Ставьте тут за дверь. Давайте краску сюда. Это сурик?

— Сурик.

— Это бакан?

— Бакан.

— Мешайте вместе.

Он взглянул на меня, как смотрят на забравшего власть идиота: куражся, мол, до поры, до времени. Несмотря поболтал кистью.

— Видите этот цвет? — спросила я.

— Вижу. Ну?

— Ну вот этим цветом вы мне и выкрасите все шесть дверей.

— Ладно, — усмехнулся он. — А как вам не понравится, тогда что с вами заведем? А?

— Красьте двери этим цветом, слышите? — твердо сказала я и вся задрожала. — Это я вам заказываю. Поняли?

— Ладно, — презрительно скривился он и вдруг деловито направился к ведру с белилами.

— Куда-а! — закричала я не своим голосом.

Он даже руками развел от удивления:

— Да за белилами же!

С тех пор прошла неделя. Двери выкрасил другой маляр, выкрасил в настоящий цвет, но это не радует меня.

Я отравлена.

Я целые дни сижу одна и мысленно беседую с ним, с рыжим, бородавчатым.

— Голубчик, — говорю я, — почему же вы не можете без белил?

Он молчит, и жуткая мистическая тайна окутывает это молчание.

Ему — о слабое утешение! — ему, неизъяснимому, озарившему странной загадкой мое тусклое время, непонятно зачем пришедшему, неведомо куда ушедшему, рыжему маляру с коричневой бородавкой, посвящаю я эти строки.

И как перед тайной, равной тайне смерти, склоняюсь и благоговейно шепчу:

— Я ни-че-го не по-ни-маю.





## Дело Николая Ардальоныча

было на мази.

Задержки никакой не ожидалось, тем более что у Николая Ардальоныча была в министерстве рука — свой человек, друг и приятель, гимназический товарищ Лаврюша Мигунов.

— Дорогой мой! — говорил Лаврюша. — Я для тебя все сделаю, будь спокоен. Тебе сейчас что нужно? Тебе нужно получить ассигновку. Ну ты ее и получишь.

— Не задержали бы только, — беспокоился Николай Ардальоныч. — Мне главное — получить ассигновку сейчас же, иначе я сел.

— Почему же ты сядешь? Дорогой мой! А я-то для чего же существую на свете? Ассигновка целиком зависит от генерала, а генерал мне доверяет слепо. Кроме того, дело твое — дело чистое, честное и для министерства выгодное. Чего же тебе волноваться?

— Я сам знаю, что дело чистое, да ведь вот, говорят, что без взятки нигде ничего не проведешь, а я взятки никому не давал.

— Это покойный Купфер взятки брал, а с тех пор как я на его месте, ты сам понимаешь, об этом и речи быть не может. Генерал — честнейший человек, очень щепетильный и чрезвычайно подозрительный. Ну, да ты сам увидишь. Приходи завтра к двенадцати. Но прошу об одном: никто в министерстве не должен знать, что мы с тобой друзья. Не то сейчас пойдут разговоры, что вот, мол, Мигунов за своих старается. Еще подумают, что я материально заинтересован.

На другое утро Николай Ардальоныч в самом радужном настроении пришел в министерство.

— Здравствуй, Лаврюша!

Мигунов весь вспыхнул, покосился во все стороны и прошептал, не глядя на приятеля:

— Ради бога, молчи! Ни слова! Выйдем в коридор.

Николай Ардальоныч удивился. Вышел в коридор.

Минуты через две прибежал Лаврюша:

— Ну можно ли так! Ведь ты все дело погубишь! «Лаврюша! Здравствуй!» Ну какой я тебе тут «Лаврюша»? Ты меня знать не знаешь.

Николай Ардальоныч даже обиделся:

— Да что, ты меня стыдишься, что ли? Что же, я не могу быть с тобой знакомым?

Лаврюша тоскливо поднял брови:

— Господи! Ну как ты не понимаешь? Я, может быть, в душе горжусь знакомством с тобой, но пойми, что здесь не должны об этом знать.

— Право, можно подумать, что ты какую-нибудь подлость сделал ради меня. Ну, будь откровенен: тебе пришлось твоему генералу наплести что-нибудь?

— Боже упаси! Вот на прошлой неделе дали Иванову ассигновку — так я прямо советовал генералу не упускать этого дела. Искренне и чистосердечно советовал. Потому что я человек честный и своему делу предан. С Ивановым я лично ничем не связан. Я и рекомендовал как честный человек. А, согласись сам, как же я могу рекомендовать твое дело, когда я всей душой желаю тебе успеха? Ведь если генерал об этом догадается, согласись сам, ведь это верный провал. Тише... кто-то идет.

Лаврюша отскочил и, сделав неестественно равнодушное лицо, стал ковырять ногтем стенку.

Мимо прошел какой-то чиновник и несколько раз с удивлением обернулся.

Лаврюша посмотрел на Николая Ардальоныча и вздохнул:

— Что делать, Коля! Я все-таки надеюсь, что все обойдется благополучно. Теперь иди к нему, а я пройду другой дверью.

Генерал принял Николая Ардальоныча с распростертыми объятиями:

— Поздравляю, от души поздравляю. Очень, очень интересно. Мы вам без лишних проволочек сейчас и ас-

сигновочку напишем. Лаврентий Иваныч! Вот нужно вашему приятелю ассигновочку написать...

Лаврюша подошел к столу бледный, с бегающими глазами.

— К-какому при... приятелю? — залепетал он.

— Как — какому? — удивился генерал. — Да вот господину Вербину. Ведь вы, помнится, говорили, что он ваш друг.

— Н-ничего п-подобного, — задрожал Лаврюша. — Я его не знаю... Я не знаком... Я пошутил.

Генерал удивленно посмотрел на Лаврюшу.

Лаврюша, бледный, с дрожащими губами и бегающими глазами, стоял подлец подлецом.

— Seriously? — спросил генерал. — Ну, значит, я что-нибудь спутал. Тем не менее нужно будет написать господину Вербину ассигновку.

Лаврюша побледнел еще больше и сказал твердо:

— Нет, Андрей Петрович, мы эту ассигновку выдать сейчас не можем. Тут у господина Вербина не хватает кое-каких расчетов. Нужно, чтобы он сначала представил все расчеты, и тут еще следует одну копию...

— Пустяки, — сказал генерал, — ассигновку можно выдать сегодня, а расчет мы потом присоединим к делу. Ведь там же все ясно!

— Нет! — тоскливо упорствовал Лаврюша. — Это будет не по правилам. Этого мы сделать не можем.

Генерал усмехнулся и обратился к Николаю Ардадьоничу:

— Уж простите, господин Вербин. Видите, какие у меня чиновники — строгие формалисты! Придется вам сначала представить все, что нужно, по форме...

— Ваше превосходительство! — взметнулся Николай Ардадьонич.

Тот развел руками:

— Не могу! Видите, какие они у меня строгие.

А Лаврюша ел приятеля глазами, и зрачки его кричали: «Молчи! Молчи!»

В коридоре Лаврюша нагнал его:

— Ты не сердись! Я сделал все, что мог.

— Спасибо тебе! — шипел Николай Ардадьонич. — Без тебя бы я ассигновку получил...

— Дорогой мой! Но ведь зато ему теперь и в голову не придет, что в душе я горой за тебя. Сознайся, что я тонкая штучка!

А генерал в это время говорил своему помощнику:

— Знаете, не понравился мне сегодня наш Лаврентий Иваныч. Оч-чень не понравился! Странно он себя вел с этим своим приятелем. Шушукался в коридоре, потом отрекся от всякого знакомства. Что-то некрасивое.

— Вероятно, хотел взятку сорвать, да не выгорело, вот он потом со злости и подгадил, — предположил генеральский помощник.

— Н-да... Что-то некрасивое. Нужно будет попросить, чтобы этого бойкого юношу убрали от нас куда-нибудь подальше. Он, очевидно, тонкая штучка!





**В** театре было темно.

Освещена была только сцена, где шла репетиция.

В партере маленькими группами темнелись актеры, ожидающие своей очереди.

Они еле различали друг друга, говорили шепотом и ежились в своих надетых внакидку шубах.

Гранд-кокет Арвидова щурила сонные глаза, зевала, переспрашивала — «гм?» и забывала отвечать. Она легла в девять часов утра, а в десять ее уже подняли.

Под рукой Арвидовой, между ее локтем и муфтой, блестя и гасли две близко посаженные круглые пуговицы.

— Ага, и Тяпка с вами? — спросил актер Мраков и погладил пальцем между круглыми пуговицами.

Там оказалась мягкая шелковистая шерсть, и холодный влажный носик ткнул актера в руку.

— Тяпочка! Тяпочка! Репетировать пришла?

— Невозможно ее дома оставлять — визжит без меня целый день и не ест ничего.

— А уж вам жалко! Какое нежное сердце! Столько народу погубило, а собачонку жаль.

— Боюсь, что околеет.

— Ну и околеет — не велика беда. Муки ада для нее не существуют. У нее вместо души пар. Пуфф! — и готово.

— Лучше я ее продам, — деловито заметила Арвидова. — Это порода дорогая, чего же ей пропадать.

Собачка забеспокоилась, тихо пискнула и спрятала голову за спиной актрисы.

— Арвидова! На сцену! — зычно рявкнул помощник режиссера.

Арвидова вскочила, запахнула шубку и пошла по мосткам, перекинутым через пустой оркестр.

За ней, у самых ее ног, катился, чуть позвякивая крошечными бубенчиками, темный клубочек.



— Вы входите, простирая руки к Жозефу. Ну!

Арвидова вытянула руки и шагнула вперед.

— Не так, не так! — остановил режиссер. — Ведь вы же умоляете его — значит, больше движения, рвитесь вперед. Еще раз сначала.

Арвидова вернулась на прежнее место, снова вытянула руки и сделала вперед два шага.

Тихо позвякивая, собачка вернулась вместе с нею и вместе снова выбежала.

— Лицо! Лицо! Оберните же лицо к тому, с кем вы говорите! Нельзя же смотреть в партер, когда вас сейчас любовник резать будет. Ну-с.

— «Жозеф, я не виновата!» — загудела из суфлерской будки голова в вышитой ермолке.

— Жозеф, я не виновата! — тоном обиженной институтки повторяла Арвидова, и в тоске заметалась собачка у ее ног.

Драма развертывалась.

Сонная, ленивая героиня медленно поворачивала лицо, похожее на телячью котлету, которой фантазия повара придала форму красивого женского лица.

— Шевелитесь, Арвидова, шевелитесь! Вы догадываетесь о ловушке. Сердитесь же, черт возьми!

— «Я знаю, на что вы способны», — гудит суфлер.

— Я знаю, на что вы подобны.

— «Способны».

— ...На что вы способны, — невозмутимо поправляется Арвидова и топает ногой. — Я ненавижу вас!

— Ррр... — поднялась шерсть на спине Тяпки. — Ррр...

Она вся насторожилась и следила за каждым шагом своей госпожи.

— Что теперь будет со мной! — воскликнула при помощи суфлера Арвидова и, бросившись в кресло, зарыдала.

Тяпка вся задрожала и тихо, чуть слышно повизгивала. Она плакала тоже.

— Нет, не то! — остановил режиссер. — Разве так рыдают! Вздрагивайте плечами. Вот так! Вот так! Вот так!

Арвидова подняла свое сонное лицо, бросилась снова в кресло и снова зарыдала, и тихо, не переставая, визжала собачка.

— Довольно этих сцен, — заорал, перекрикивая суфлера, что было довольно трудно, актер Затаканов и, бросившись к рыдавшей, стал бешено трясти ее за плечи.

— Ррр! — зарычала Тяпка.

— Ты убьешь меня! — вскрикнула Арвидова.

Тяпка, маленькая, всклокоченная, нелепая, как обезумевшая от ужаса коричневая шерстяная рукавица, бросилась с громким отчаянным визгом на Затаканова, подпрыгнула, упала и вдруг вцепилась крошечными своими зубками в башмак актера.

Вошедший в роль Затаканов не прервал своей реплики и только лягнул ногой.

Собачка отлетела далеко и, стукнувшись мордой о край суфлерской будки, пролежала несколько мгновений ошеломленная. Поднялась медленно, постояла, опустив голову.

Между тем Арвидова уже поднялась во весь рост и, упав в объятия актера Затаканова, вопила:

— Так ты любишь меня, Жозеф! О счастье! Ты любишь!

И она обнимала Затаканова, и целовала его мимо уха, прямо в воздух, и смеялась неудавшимся счастливым смехом.

Тяпка на минутку оторопела и вдруг поняла и, тихо взвизгнув, кинулась к обнимающейся парочке. Она, видимо, отшибла бок, потому что хромала обеими левыми лапами, но тем не менее прыгала вокруг и лаяла коротким счастливым лаем и так сильно виляла хвостом, что даже все тело у нее вихлялось из стороны в сторону.

Своим безумным энтузиазмом, своей восторженной, бьющей через край радостью она дала все, чего не хватало главной героине, и так как участвовала в картине сама, то общее впечатление получилось то, какого требовал режиссер.

— Ничего, — сказал он автору. — Можно не отнимать роли у Арвидовой, она с ней, пожалуй, справится. Последнюю сценку она провела даже с огоньком. Удивляюсь, но должен признать, что она может иногда сыграть с душой.

Арвидова пообедала в ресторане с поручиком Барским.

Тяпка оставалась дома, прыгала на подоконник, слушала, шевеля ушами, шумы и шорохи, обнюхивала порог и визжала.

Вернувшись, Арвидова бросила Тяпке шоколадинку, которую Тяпка взяла из вежливости и потихоньку засунула под диван — она не ела шоколада.

Арвидова легла отдохнуть до спектакля и быстро заснула.

Тупое лицо ее с приоткрытым ртом, казалось, внимательно прислушивалось и удивлялось собственному храпу.

На ковре у дивана свернулась колечком Тяпка.

Она долго укладывалась, кружилась на месте — у нее болел бок. Потом уснула и вздрагивала во сне и тихо, сдавленно лаяла одним горлом, переживая снова и вечно все муки любви — нечеловеческой, преданной, робкой и самозабвенной.





От черной шляпы

глаза казались больше и печальнее и лицо бледнее.

А может быть, она действительно побледнела оттого, что ей было жаль Бориса Николаевича, милого Бобика, красивого, веселого Бобика, который так глупо застрелился.

Говорят, что он проигрался и положение его было безвыходно.

А может быть, и не оттого...

Она помнит, как несколько дней назад он приходил к ней, всего несколько дней назад, в сущности, почти накануне смерти, и говорил:

— Лада моя! Солнечная моя! Хочу посмотреть в ваши глаза!

Она нагнулась к зеркалу и сама посмотрела себе в глаза:

— Лада моя! Солнечная моя! Бобик, ведь ты так называл меня! Милый Бобик...

Глаза сделались вдруг бледнее, прозрачнее, как драгоценный камень, опущенный на дно стакана. Они заплакали.

Тогда она осторожно вытерла их кончиком платка, надела перчатки и пошла на панихиду.

Вечер был совсем весенний, немного душный, беспокойный. В такие вечера все спешат куда-то, потому что кажется, будто где-то ждет весенняя радость, только нужно найти ее. Тревожно спешат и спрашивают встречные глаза: «Не ты ли? Не ты ли знаешь об этом?»

Недалеко от дома, где лежал простреленный притихший Бобик, женщина в черной шляпе, которую он называл «моя Лада», зашла в цветочный магазин:

— Дайте мне белых лилий. Вот этих. Почему они?

Хохлатый парень метнулся к вазе:

— По рублю-с. С бутонами-с.

И испуганно покосился на сидевшую в кассе хозяйку: кажись, мол, не продешевил.

— Как дорого, — сказала «Лада».

Пахло влажными, умирающими цветами. Но они еще жили. Порою чуть шевелилась та или другая веточка — это разметывал свои лепестки новый созревший бутон. А когда кто-то хлопнул входной дверью, высокая кружевная сирень вся вздрогнула, как нервная женщина, и долго тихо дрожала и не могла успокоиться.

— Дайте мне четыре цветка, — сказала «Лада». — Нет, дайте шесть.

Она вспомнила, как он сказал ей: «Солнечная моя». «Я куплю ему шесть лилий, потому что я люблю его. Ну да, я люблю тебя, глупый Бобик! Зачем, зачем ты это сделал?»

Она вышла и, развернув тонкую бумагу, вдыхала теплый томный запах тепличной лилии.

— Простите, я, кажется, толкнул вас!

Молодое веселое лицо так близко около нее. Смеющиеся глаза играют, спрашивают что-то.

«Лада» оскорблена. В такую минуту! Она идет на панихиду... Она перешла на другую сторону улицы, но настроение было разбито. «Как называл ты меня, Бобик милый? Ты говорил мне: «Лада моя! Солнечная моя!» Ведь ты так говорил мне? И я никогда не забуду этих слов».

— Простите! Вы, кажется, уронили платок!

Те же смеющиеся глаза, теперь немного смущенные и упрямые. Он — студент. Он протягивает к ней грубый, свернутый в комочек платок, и так ясно, что он только что вытащил его из собственного кармана, что она невольно улыбается. Его глаза смеются откровенно и дерзко:

— Ну я так и думал, что он не ваш. И у меня на это были кое-какие данные.

Он поспешно сует платок себе в карман:

— Вы не сердитесь на меня?

Она, конечно, сердится. Это так грубо — приставать на улице! Но он еще что-то говорит:

— Дело в том, что я не мог не подойти к вам. Если бы я не подошел, я бы никогда потом не простил себе этого. Никогда.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать?

Она завернула свои лилии в бумагу, и опустила их, и смотрит в чужие смеющиеся глаза.

— Оттого, что вы необычайная! Такую, как вы, можно встретить только раз в жизни. Может быть, вы и сама такая только раз в жизни, только сейчас. Разве я смел не остановиться? Разве я смел не сказать всего этого?

«Нужно засмеяться и сказать, что он декадент», — думает «Лада», но не смеется и не говорит ничего, только смотрит и улыбается.

— Вы спешите куда-нибудь? — спрашивает он снова.

— Да. На панихиду. Вот этот подъезд.

— На панихиду — это, значит, недолго. Я буду ждать вас.

— Не надо.

— Нет, надо. Разве вы не понимаете, что это надо! Вы как лилия! Вы неповторимая... Я буду ждать.

Она поднялась по лестнице, дошла до квартиры, где двери были открыты и молча стояли темные фигуры, склоненные над тихими огоньками дрожащих свеч...

«Ах, Бобик! — вспомнила она. — Бобик милый, я люблю тебя! Что ты наделал!»

Но душа ее не слышала этих слов, и она повторила снова:

«Бобик, я люблю тебя! Бобик мой! Как называл ты меня, милый? Ты говорил мне: «Вы как лилия! Вы неповторимая». Ведь ты так говорил мне. И я никогда не забуду этих слов».





## Демоническая женщина

### Демоническая женщина

отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для цианистого кали, который ей непременно пришлют в следующий вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке.

Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу — на лоб или на шею, кольцо — на большой палец, часы — на ногу.

За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест.

— К чему?

Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большею частью она актриса.

Иногда просто разведенная жена.

Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать.

— К чему?

У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза.

Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:

— Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.

Церковь ночью заперта.

Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но она уже утасла. Она знает, что она проклята, что спасения нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф.

— К чему?

Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе.

И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе. Она никому не читает их.

— К чему?

Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился — последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она наконец согласится опубликовать свои произведения.

Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе.

— К чему?

А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова:

«Возвр.», «К возвр.».

— Я видел в вашем окне свет часов в пять утра.

— Да, я работала.

— Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для нас!

— К чему?

За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.

— Марья Николаевна, — говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-нибудь ином месте. — Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина.

Демоническая закрывает глаза рукою и заговорит истерически:

— Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я третьего дня пила и завтра... да, и завтра я буду пить! Я хочу, хочу, хочу вина!



Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелиятся.

— Пьет.

— Какая загадочная!

— И завтра, говорит, пить буду...

Начнет закусывать простая женщина, скажет:

— Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук.

Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит:

— Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я хочу. Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее... больше... больше, смотрите все... я ем селедку!

В сущности, что случилось?

Просто разыгрался аппетит и потянуло на соленькое! А какой эффект!

— Вы слышали? Вы слышали?

— Не надо оставлять ее одну сегодня ночью.

— ?

— А то, что она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, которое ей принесут во вторник...

Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами:

— Мне, собственно говоря, ненадолго... всего только двадцать пять рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе... я смогу...

Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными, полузакрытыми глазами:

— Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня, смотрите на меня... Я хочу — вы слышите? — я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же — вы слышите? — сейчас же двадцать пять рублей. Я этого хочу. Слышите? Хочу. Чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно двадцать пять рублей. Я хочу! Я твввары!.. Теперь идите...

идите... не оборачиваясь, уходите скорей, скорей... Ха-ха-ха!

Истерический смех должен потрясть все ее существо, даже оба существа — ее и его.

— Скорей... скорей, не оборачиваясь... уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь... Ха-ха-ха!

И он «потрясется» своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи.

— Вы знаете, она сегодня была такая странная... загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался.

— Да. Здесь чувствуется тайна.

— Может быть... она полюбила меня...

— ?

— Тайна!





**Я** видела ее давно, лет десять

назад, и, вероятно, никогда бы о ней не вспомнила — уж очень мало в нашей городской обстановке такого, что могло бы о ней напомнить.

Итак, видела я ее давно, лет десять назад, в захолустном уездном городке, на вечере у земского врача.

Вернее сказать, не на вечере, а просто вечером, потому что гостей врач не звал, да и не мог звать, так как вся обстановка его парадной комнаты заключалась в большом столе, под которым сидели трое детей.

— Там детям веселее, а нашим ногам теплее, — говорил врач.

В соответствующее время — часов около восьми вечера — дети с громким ревом убирались из-под стола в детскую, вокруг стола ставились табуретки, а на стол — самовар, накрошенная огромными кусками булка и сахар в лавочном мешке.

Пили чай и разговаривали, а так как в природе в это время был вечер, то, следовательно, был он и в квартире доктора.

Кроме хозяев и меня сидели еще двое: городской учитель Пенкин и сельская учительница Лизанька Бабина.

Учитель Пенкин был замкнутый, неразговорчивый, точно заспанный, человек. Кроме служебных занятий предавался он еще, и очень деятельно, сборам к давно задуманной поездке в Париж. На что был нужен Пенкину Париж — до сих пор понять не могу, хотя думаю об этом с тех пор десять лет.

Готовился он к этому путешествию очень своеобразно: он зубрил французский словарь Макарова. Прямо все слова подряд.

— Ну-ка, Василий Петрович, — говорили ему, — много ли назубрили?

— Уже до буквы «п» дошел, — сонно, но честно отвечал Пенкин. — «Пегас. Пего. Пегуз. Пень...»

— Пень? Да это как будто по-русски.

— Нет, то другое «пень», французское.

— А что же это значит-то?

— А значение слов я потом буду заучивать, когда докончу весь словарь. Теперь немного осталось. Уже до «п» дошел. А там накоплю денег, да и марш. Прямо в Париж.

Произносил Пенкин французские слова так смачно по-русски, что самое обыкновенное слово мгновенно теряло свое французское значение и приобретало новое, игриво-загадочное.

Тут познакомилась я и с учительницей Лизанькой Бабиной.

Бабина окончила одну из петербургских гимназий и даже пробыла год на педагогических курсах. Потом взяла место земской учительницы и просвещала молодежь в восьмидесяти верстах от города, в деревушке Кукозере, куда в продолжение трех четвертей года ни проезде, ни проходу не было.

Зимой с шиком ездили в розвальнях. Осенью и весной совсем не ездили, а летом учительница приезжала в город на смычке.

Услышав это, я по наивности подумала, что на смычке от скрипки, и никак не могла понять, что за странный способ передвижения. Уж тогда бы удобнее было сесть верхом на саму скрипку.

Потом объяснили мне, что смычком называется следующее сооружение: к лошади прикрепляются длинные оглобли, концы которых связаны и приблизительно на аршин от земли соединены перекладиной. На эту перекладину садится учительница Лизанька и скачет по кочкам «чрез пень, чрез колоду, чрез высокую изгороду». Где колесу не пройти, там проскачут только ведьма на помеле да учительница Лизанька на смычке.

Смычок о гнилые пни стучается, поддает, пружинит, подбрасывает. Лизанька подтянет потуже старый ременный кушак, «чтоб не все внутри переболталось», и скачет.

Скачет она в город только по одному делу — за жалованием. Жалование полагается получать раз в месяц, но ездить за ним приходится раза два, потому что денег в земстве нет. Но в земстве есть потребительская лавочка.

— Вы бы, Бабина, взяли жалование сахаром, — предлагают ей. — У нас сахару много.

— Да что мне с вашим сахаром делать-то? Я говядины хочу.

— Говядины у нас, извините, про вас не припасено. А сахар, непрактичная вы девица, мужикам продать можно.

— Мужика-ам? Са-ахар? Да у нас в Кукозере мужики и соль-то только во сне видят.

Садится на смычок, подтягивает кушак потуже и скачет домой «чрез пень, чрез колоду, чрез высокую изгороду».

Иногда в городе зайдет к доктору. Подивуется на роскошь городской жизни, на накромянную булку, на троих детей под столом. Но больше молчит, потому что доктор и докторша — люди, следящие за жизнью, все знают, читают журна-алы! А Лизанька одичала.

Слушает учителя Пенкина, который дошел до буквы «п» и не сегодня-завтра накопит денег — и айда в Париж. Слушает и вспоминает, как сама года три тому назад собиралась в Швейцарию. Даже сшила себе по совету людей опытных ситцевые шаровары, чтобы удобнее было ходить по горам. Шаровары она сносила, надевая для поездок на смычке. Мечту о загранице почти сносила тоже, так как она стала ветхая и прозрачная, и шевелит ее Лизанька только в городе, в гостях у доктора.

Сидит Лизанька, пьет чай. Желтая, отекаящая какая-то, руки красные.

Смотрю на нее.

Говорит с увлечением только о своем деле, веруя в важность своей задачи, в нужность своего подвига. Даже верит, что завтра утром жалование получит.

Странная она какая-то — глупенькая, что ли.

Но докторша сегодня настроена скептически. Она только что прочла в журнале необычайно талантливое произведение какого-то нового эстета. Теперь ведь и в журналах стали печатать новых эстетов.

Докторша набила в рот булки и заговорила о красоте:

— Н-да, Лизанькина жизнь безобразная, и человек даже не имеет права уродовать сознательно свою жизнь. Этим она уродует и природу, следовательно, идет против Бога, ну да, конечно, Бога в смысле эстетическом... Что? А? Да вот прочтите сами в последней книжке...

Лизанька протестует. Она невежда.

— И это говорите вы! — возмущается докторша. — Вы! Бывшая курсистка! Как вам не стыдно? Ведь ваша жизнь унижительна. Последний мужик вашей последней деревушки живет лучше, чем вы, уже потому, что у него есть к этой собачей жизни привычка, а вы — курсистка, барышня.

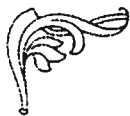
Лизанька вдруг вскочила. Желтое лицо вспыхнуло, и глаза загорелись:

— Нет, я так думаю и буду так думать. И труд мой нужен, и жизнь моя красива, и подвиг мой свят.

Потом она вдруг побледнела, словно устала, и прибавила тихо-тихо:

— А если я хоть на одну минуту перестану так думать, то ведь я не смогу дожить до завтрашнего утра.





## Русский человек любит

критиковать и мрачно философствовать.

Иностранец, тот, ежели не в духе, придерется к жене, выразит неудовольствие современными модами, ругнет порядки и в крайнем случае, если очень уж печень разыграется, осудит правительство, и то не очень пространно, а вскользь, не забирая глубоко, между двумя аперитивами и вполне в пределах благоразумия.

Русский человек не то. Русский человек даже в самом обычном своем настроении, если выдалась ему минутка свободная, особенно после принятия пищи, да подвернулась пара незаткнутых ушей — он и пошел. И сюжеты выбирает самые неуютные: загробную жизнь, мировое благо, вырождение человечества. А то метнет его в буддизм, о котором ни он сам, ни слушатель ничего не знают, и начнет наворачивать. И все мрачно, и все он не одобряет и ни во что не верит.

Послушаешь — за все мироздание совестно станет, так все неладно скроено.

И все это, так я думаю, происходит оттого, что очень любят русские люди не любить. Очень им блаженно и сладко — не любить. Иной и добрый человек, и мягкий, а скучно ему в его доброте и мягкости, и только и есть ему радости, когда можно невзлюбить кого-нибудь — тут он расцветет, расправится и отойдет от нудности жития.

\*\*\*

Это — вилла в окрестностях Парижа, занятая русским пансиончиком.

Конечно, вилла, но была она «виллой в окрестностях Парижа» только до прошлого года, пока не оборудовала

ее под пансион мадам Яроменко. С тех пор она стала не виллой, а дачей в окрестностях Тамбова. Потому что в каком жардене какой виллы услышите вы звонкие слова:

— Манька, где крынка? А-а? Под кадушкой?

Или приглушенный осуждающий басок:

— Каждый день котлеты, это уж чересчур. Ну сделай для разнообразия хоть сырники, что ли. За двадцать два франка можно требовать более внимания к столу.

\*\*\*

После завтрака на маленькой терраске душно. Из кухонного окна доносится последнее замирание теплого лукового духа.

Гулять по дороге — жарко. Идти в лесок — лень. Сидеть на душной террасе — значит сознательно располагать себя к мрачной философии и пересмотру мировых задач. Но что поделаешь.

Саблуков сидит под кадкой с лавром. Напротив него, под другой кадкой с другим лавром, сидит Петрусов. Оба долго слушают, как за закрытой ставней второго этажа ревет переписчицын ребенок.

— Счастливая пора! — говорит Петрусов и вздыхает.

— Это какая же? — иронически спрашивает Саблуков.

— Детство, миленький мой, детство. Неповторимое и невозвратное.

Саблуков фыркнул:

— Это детство-то счастливое? Очевидно, вас Володькин рев навел на эти сладкие мысли. Такой счастливец, два часа ревет, точно с него шкуру дерут.

— Ну знаете, горе этого возраста. Спать его укладывают, вот он и плачет.

— Да не все ли равно, от чего именно человек в отчаяние пришел. Кинулся бы на вас какой-нибудь верзила и насильно бы завалил — очень бы вы обрадовались? Нет, милый мой, скажу я вам, самая окаянная полоса жизни — это хваленое детство. Подзатыльники, тычки, щелчки, этого нельзя, того нельзя, ешь всякую дрянь, что получше — то вредно, говорить не смей, ногами не болтай, не кричи, не стучи. Каторга! И как они



только все вниз головой да в воду не прыгают, удивляться надо.

— А ласка, а любовь, которыми они окружены? Ведь это потом всю жизнь вспоминаешь, — вставил Петрусов и снова вздохнул.

— Это что его по лицу грязными лапами треплют да маслят поцелуями кто ни попало? Вас бы так помяли, были бы вы довольны? Какая-нибудь старая бабка на вас бы беззубым ртом «тпрунюшка-тютюнюшка». Брр... жуть берет. А подрастут — учиться изволь. И какой только белиберды в них не заколачивают.

Чу, попалась птичка, стой!  
Не уйдешь из сети.

Ну какому, скажите честно, положи руку на сердце, — какому нормальному человеку пригодится в жизни такая «птичка, стой»? Ну кому это нужно? А то еще какой-то господин изложил стихами, как птенцы вылупились и улетели, — и чего их все так на птиц тянет? Помните, наверное, и вы зубрили:

И целый-то день щебетуны,  
Как дети, вели разговор.  
Далеко, далеко, далеко!

Черт знает, что такое! Прямо срам! И кончается форменной ерундой:

Далеко, далеко, далеко!  
О, если бы крылья и мне...

Почему вдруг крылья нормальному человеку? Нормальный человек, если хочет куда-нибудь съездить, покупает билет законным порядком. А тут — все время ничего не делает, у окошка торчит, «щепетуны-лепетуны», а как платить за билет — подавай ему крылья. Распущенность и бесстыдство!

— Ну, знаете, так тоже нельзя, — остановил его Петрусов. — Вы так совсем поэзию отрицаете. Стихи — вещь хорошая, особенно для молодежи. И в поэзии всегда поэт этак как-нибудь мечтает. Помните?

Дайте мне чертог высокий  
И кругом зеленый сад.

— Как не помнить, ха-ха! — мрачно засмеялся Саблуков.

Чтоб в тени его широкой  
Зрел янтарный виноград.

Отлично помню. Чтобы виноград зрел в тени. Ловко выдумал! Почему не как у людей, не на солнце? Нет, раз он поэт, так подавай ему все особенное. Ну остальное понятно: и девицу, и собственных лошадей, и мраморные залы — кто от этого откажется? Но заключение, самый финал очень странный. Поэт выражает желание проскакать разок по полю и что ему не надо счастья. Позвольте: дом есть — раз. Поле есть — два. Сад есть, с виноградником, но в тени — три. Девица с лошастью — четыре. Чего же ему еще? От какого же он счастья отказывается?

Ничего не понять, а ребенок зубри. А не знаешь, как этот франт хотел скакать, — не получишь аттестата зрелости.

Саблуков сердито помолчал и заговорил снова:

— И ведь не только отечественные стихи зубрили, нам и иностранные вдалбливали. Помните «Лесного царя»? Какая возмутительная штука! Я еще мальчишкой был, думал — что-то, мол, тут какое-то неладное! Подумайте сами: едет папаша на коне и везет сына под холодной мглой. Ладно. Под мглой, так под мглой — его дело. И вот за ними мчится старый черт — лесной царь. Бородища по ветру, брови седые. Пусть.

И что же он, этот самый старый леший, говорит? Что он делает? Прельщает мальчишку.

Дитя, я пленился твоей красотой, —  
Неволей иль волей, а будешь ты мой.

Ну скажите откровенно, положи руку на сердце, — это нормально? Это прилично? Ну я понимаю, там в сказках Мороз Красный Нос влюбился в девицу-красавицу — так ведь не в мальчишку же! А этот бородатый дядя, изволите ли видеть, «неволей иль волей, а будешь ты мой». А де-

ти должны это учить наизусть. И глупо же до чего, послушайте только:

Родимый, лесной царь со мной говорит.  
Он золото, перлы и радость сулит.

Это мальчишке — перлы! Ну на что мальчишке перлы! Ну, положи руку на сердце, ведь глупо! Мальчишке сулить надо коньки, велосипед, булку с колбасой. Вот что мальчишке сулить надо. А то вдруг «перлы!» Выдумают тоже.

— Это перевод, — сказал Петрусов. — В подлиннике, кажется, не так. В подлиннике что-то насчет его муттер, что у нее золотое платье.

— Еще того пуще! Ну какое дело мальчишке, какие у старой ведьмы туалеты? Сам-то лесной царь — дядя не молоденький, а мамаше, наверное, лет под сто. Тьфу! Поэтическая фантазия! Ты мне красоту покажи, а не то что! Сулит мальчишке старую лешачиху. А папенька скачет и ничего не слышит.

— Это намек, что родители всегда обо всем узнают последние и не знают, что у них за спиной делается.

Саблуков нахмурил брови и понизил голос:

— Нет, миленький мой, здесь похуже. Здесь хотели дискредитировать идею. Какую? Идею царя. Вот, мол, какими делами цари занимаются. Живут в перлах и безобразничают. Большевизм, дорогой мой. Большевистская пропаганда. А вся эта «хладная мгла», которая мчит-ся! Это все соус, чтобы не сразу в глаза бросалось. Большевизм, друг мой!

— Эка куда хватили! — недоверчиво сказал Петрусов.

— Да, да, да! Нечего «эка». Тут уж не «эка». И все у нас так. Помню, актрисы на концертах декламировали:

И день и ночь ее воспоминанье гложет,  
Как злой палач, как милый властелин.

Я еще тогда обратил внимание. «Позвольте, — говорю распорядителям, — какой же это милый властелин, который гложет?» Это, говорят, у Апухтина, а мы ни при чем. Ни при чем! Не надо допускать. А вы тоже скажете — «эка!» Вот и погубили Россию. И радуйтесь.

— Ну это, вы знаете, уж...

— Ничего не знаю и знать не хочу, — оборвал Саблуков. — И вообще на эти темы с вами говорить не желаю. У меня еще есть идеалы в душе.

Саблуков встал.

Гулять по дороге — жарко. Идти в лесок — лень.

Он снова опустился на место. Посопел и сказал мрачно:

— А не думаете ли вы, положив руку на сердце, что вся Европа летит к черту?

«Началось!» — подумал Петрусов.

Но гулять по дороге было жарко, а идти в лесок было лень, поэтому он вздохнул и ответил кротко:

— Разве?

И закрыл глаза.





**В**оскресенье Трифон,

мельников работник, едучи из села, завернул в лощину к Явдохиной хатке, отдал старухе письмо:

— От сына з вармии.

Старуха, тощая, длинная, спина дугой, стояла, глаза выпучила и моргала, а письмо не брала:

— А може, и не мне?

— Почтарь сказал — Явдохе Лесниковой. Бери. От сына з вармии.

Тогда старуха взяла и долго переворачивала письмо и ощупывала шершавыми пальцами с обломанными ногтями:

— А ты почитай, може, и не мне.

Трифон тоже пощупал письмо и опять отдал его:

— Та ж я неграмотный. У село пойдешь, у селе прочтут. Так и уехал.

Явдоха постояла еще около хатки, поморгала.

Хатка была маленькая, вросла в землю до самого оконца с радужными стеклами-осколышками. А старуха длинная, не по хатке старуха, оттого, видно, судьба и пригнула ей спину — не оставаться же на улице.

Поморгала Явдоха, вошла в хатку и заткнула письмо за черный образ.

Потом пошла к кабану.

Кабан жил в дырявой пуньке, прилепившейся к хатке, так что ночью Явдоха всегда слышала, когда кабан чесал бок о стенку.

И думала любовно:

«Чешишь, чешишь! Вот слопают тебя на Божье порожденье, так уж тогда не почешешься».

И во имя кабана подымалась она утром, напяливала на левую руку толстую холщовую рукавицу и жала ста-

рым, истонченным в нитку серпом крепкую волокнистую крапиву, что росла при дороге.

Днем пасла кабана в лощине, вечером загоняла в пуньку и громко ругала, как настоящая баба, у которой настоящее, налаженное хозяйство и все, слава богу, как следует.

Сына не видала давно. Сын работал в городе, далеко. Теперь вот письмо прислал «з вармии». Значит, забрали, значит, на войне. Значит, денег к празднику не пришлет. Значит, хлеба не будет.

Пошла Явдоха к кабану, поморгала и сказала:

— Сын у меня, Панас. Прислал письмо з вармии.

После этого стало ей спокойнее. Но с вечера долго не спалось, а под утро загудела дорога тяжелыми шагами.

Встала старуха, посмотрела в щелку — идут солдаты, много-много, серые, тихие, молчат. «Куда? что? чего молчат? чего тихие?..»

Жутко стало. Легла, с головой покрылась, а как солнце встало, собралась в село.

Вышла, длинная, тощая, посмотрела кругом, поморгала. Вот здесь ночью солдаты шли. Вся дорога, липкая, вязкая, была словно ступой истолочена, и трава придорожная к земле прибита.

«Подыптали кабанову крапивку. Усе подыптали!»

Пошла. Месила грязь тощими ногами и деревянной клюкой восемь верст.

На селе праздник был: плели девки венок для кривой Ганки, просватанной за Никанора, Хроменкова сына. Сам Никанор на войну шел, а старикам Хроменкам работница в дом нужна. Убьют Никанора, тогда уж работницы не найти. Вот и плетут девки кривой Ганке венок.

В хате у Ганки душно. Пахнет кислым хлебом и кислой овчиной.

Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпочные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню.

Лица у них свирепые, ноздри раздутые, поют, словно работу работают. А песня полевая, раздольная, с поля на поле, далеко слышная. Здесь сбита, смята в тесной хате,

гудит, бьется о малюсенькие, заплывшие глиной окошки, и нет ей выхода. А столпившиеся вокруг бабы и парни только щурятся, будто им ветер в глаза дует.

— Гой! Гэй! Го-о-о! Гой! Гай! Го-о-о!

Ревут басом, и какие бы слова ни выговаривали, все выходит будто «гой-гэй-го-о-о!». Уж очень гудят.

Потискалась Явдоха в дверях. Какая-то баба обернулась на нее.

— У меня сын, Панас, — сказала Явдоха. — Сын письмо прислал з вармии.

Баба ничего не ответила, а может, и не слыхала: уж очень девки гудели.

Явдоха стала ждать. Примостилась в уголочке.

Вдруг девки замолчали — сразу, точно подавились, и у самых дверей закрипела простуженным петухом скрипка, и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен. Толпа отгиснулась к двери, на средину хаты вышли две девки, плоскогрудые, с выпяченными животами, в прямых, не суживающихся к талии корсетах. Обнялись и пошли, притоптывая и подпрыгивая, словно спотыкаясь. Обошли круг два раза.

Раздвинув толпу, вышел парень, откинул масляные пряди светлых волос, присел и пошел кругом, то вытягивая, то загибая корявыми лапотными ногами. Будто не плясал, а просто неуклюже и жалко полз калека-урод, который и рад бы встать, да не может.

Обошел круг, выпрямился и втиснулся в толпу. И вдруг запросили все:

— Бабка Сахфея, поскачи! Бабка Сахфея, поскачи!

Небольшая старушонка в теплом платке, повязанном чалмой, сердито отмахивалась, трясла головой — ни за что не пойдет.

— И чего они к старой лезут? — удивлялись те, что не знали.

А те, что знали, кричали:

— Бабка Сахфея, поскачи!

И вдруг бабка сморщилась, засмеялась, повернулась к образу:

— Ну ладно. Дайте у иконы попроситься.

Перекрестилась, низко-низко иконе поклонилась и сказала три раза:

— Прости меня, Боже, прости меня, Боже, прости меня, Боже!

Повернулась, усмехнулась:

— Замолила грех.

Да и было что замаливать! Как подбоченилась, как подмигнула, как головой вздернула — и-их!

Выскочил долговязый парень, закремделял лапотными ногами. Да на него никто и не смотрит. На Сахфею смотрят. Вот сейчас и не пляшет она, а только стоит, ждет своей очереди, ждет, пока парень до нее допрыгнет. Пляшет-то, значит, парень, а она только ждет, а вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделяет лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровинка переливается. На него и смотреть не надо, только на нее. А вот дошел черед — повернулась, взметнулась и пошла — и-их!

Знала старуха, что делала, как перед иконой «прощалась». Уж за такой грех строго на том свете спросится.

А Явдоха сидела, в уголку затиснутая, ничего ей видно не было, да и не нужно видеть, чего там!

Отдохнула, пробралась в сенцы.

В сенцах стоял жених Никанор и дразнил щепкой собаку.

— Никанор! Ты, може, грамотный? От мне сын Панас з вармии письмо прислал.

Жених помялся немного — не хотелось прерывать интересное дело. Помялся, бросил щепку, взял старухино письмо. Надорвал уголок, заглянул глазом, потом осторожно засунул палец и разорвал конверт.

— Это действительно письмо. Слушай, что ли: «Теньке Явдокии низко кланяюсь и от Господа здоровья. Мы все идем походом, все идем, очень устали. Но не очень. Сын ваш Апанасий приказал долго жить. Может быть, он ранен, но ты не надейся, потому что он приказал долго жить. Известный вам Филипп Мельников». Все.

— Пилип? — переспросила старуха.

— Пилип.

Потом подумала и опять спросила:

— Ранен-то кто? Пилип?

— А кто его знает. Может, и Пилип. Где там разберешь. Народу много набили. Война.



— Война, — соглашалась старуха. — А може, ты еще считаешь?

— Таперь нема часу. Приходи в воскресенье, опять считаю.

— Ин приду. Приду в воскресенье.

Спрятала письмо за пазуху, сунула нос в избу.

— Ну чаво? — отстранил ее локтем парень, тот самый, что плясал, как урод-калека. — Чаво?

— От сынка, от Панаса, письмо у меня з вармии. Пилип Мельников чи ранен, чи не ранен. Народу много набили. Война.

А вечером подходила к своей хатке, скользя по расшлепанной дороге, и думала две думы — печальную и спокойную.

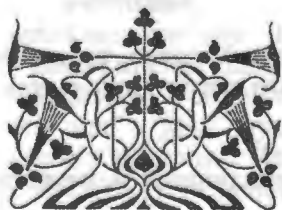
Печальная была:

«Подыптали кабанову крапивку».

А спокойная:

«Прислал Панас письмо, пришлет и денег. Пришлет денег, куплю хлеба».

А больше ничего не было.





Она подмазала брови и губы,

причесала волосы гладко, чтобы четко выделился профиль, и надела темно-красное платье, потому что для своей Каточки, для своей милой подружки, готова была на все.

Коренев — эстет. Коренев и разговаривать не станет с вульгарно причесанной и пошло одетой женщиной.

А нужно его заставить не только разговаривать, но внимательно вслушаться в ее советы и доводы. Вслушаться и послушаться.

Она волновалась. Смотрела в зеркало, репетировала наиболее ответственные фразы.

— Вы должны это сделать! — говорила она сама себе в зеркало и властно сдвигала подмазанные брови. — Вы должны сделать Каточку своей женой. Любовь одной рукой дает нам права, а другой — накладывает на нас обязанности... Нет, положительно, лицо должно быть при этом бледнее!

Она долго и тщательно втирала пудру, подправляла кисточкой брови и снова репетировала:

— Любовь одной рукой дает права, а другой...

Теперь лучше.

Как это все трудно! Но, милая Каточка, ты можешь быть спокойна. Ты доверила свою судьбу другу умному и опытному.

Наконец!

Коренев пришел очень оживленный и немножко удивленный.

— Вы меня очень обрадовали, милая Лидочка, вашей запиской, но очень удивили обещанием какого-то серьезного разговора. В чем же дело?

Она повернулась в профиль, властно сдвинула брови и сказала твердо:

— Владимир Михайлович! Любовь одной рукой дает вам права, а другой накладывает...

— Как? — удивился Корнев. — Другой рукой накладывает...

— Не перебивайте меня! — вспыхнула Лидочка. — Другой рукой накладывает обязанности.

Корнев подумал, потом взял собеседницу за обе руки и поцеловал сначала одну, потом другую.

— Я всегда знал, что вы хорошая и серьезная женщина. Только почему вы говорите со мной, точно миссионер с эфиопом? В чем я провинился?

Лидочка растерялась:

— Нет, Вовочка, вы не провинились; только вы очень легкомысленный человек, и я боюсь за судьбу моего друга.

Лицо Корнева сделалось серьезным:

— В чем дело, Лидочка, говорите прямо. Речь идет, очевидно, о Каточке?

— Да, вы угадали. Я лучший друг Каточки. Я дала ей слово, что никому ничего не скажу. И я сдержу клятву. Вы знаете, что Каточка уехала к тетке в Киев?

— В Киев? Когда? Зачем?

— Вчера. Уехала от вас. И я поклялась, что не открою вам места ее пребывания, и я не открою.

— Да ведь вы же сказали, что она в Киеве.

— Разве? Ну это я так, вскользь.

— Послушайте, Лидочка, не мучьте меня! Скажите мне правду — в чем дело? Уверяю вас, что для меня это очень серьезно.

Он даже побледнел. Лидочка посмотрела на него с некоторым недоумением: «Неужели он действительно серьезно любит эту Катюшку-вертушку?»

— Извольте, я скажу вам правду, — торжественно ответила она. — Мой друг, Каточка Леженева, любит вас серьезно и искренно. На легкий флирт она неспособна. Она рождена быть женой и матерью, а вы рвете ее сердце и относитесь к ней легкомысленно. И вот она решила бежать от вас и там, в уединении, или забыть вас, или...

Она зловеще замолчала. Он схватил ее за руки:

— Лидочка! Ради бога! Что вы говорите! Ведь я же люблю ее!

— Может быть, — иронически скривила губы Лидочка. — Может быть, и любите, но не той любовью, какую заслуживает такая женщина.

— Но ведь это же недоразумение! Я люблю ее очень серьезно. Я собирался просить ее руки.

— Неужели? — совершенно некстати удивилась Лидочка.

— Да! Да! Я считаю Каточку очень серьезной и умной девушкой...

— Ну относительно этого я, положим, с вами не согласна. В гимназии она еле плелась. На выпускном экзамене ответила, что Герострат был конь Александра Македонского. Нет, уж будем откровенны — умной ее никак нельзя назвать. Я могу это сказать, потому что я лучший ее друг.

— Я, конечно, не спору, — замялся Корнев, — но у нее такая серьезная и глубокая душа, какой я не встречал у современных женщин.

Лидочка вспыхнула. Кому приятно выслушивать такие вещи?

— Серьезная, ха-ха! За новую шляпку душу продаст!

— Ну что вы говорите! Конечно, она любит все красивое, как всякое талантливое существо.

— Это Каточка-то талантливая? Каточка, которая с трудом одним пальцем на рояле тренькает. «Мадам Люлю-у! Я вас люблю-у!» Как моторный гудок. Ха-ха! Ну и удивили же вы меня!

— Так вы не находите ее талантливой? — опечалился Корнев. — Что ж, может быть, вы и правы. Когда смотришь на такое очаровательное личико, как у нее, то невольно приписываешь ему какие-нибудь душевные качества. У нее очаровательная внешность. Она так выделяется между всеми своими приятельницами. Такая изящная красота! Акварельная какая-то!

Лидочка даже побледнела: «Вот идиот какой нашелся! Прямо какой-то бешеный».

— Ну знаете, Владимир Михайлович, можно быть смешным, но не до такой степени! У Каточки — изящная красота! Конечно, когда она вымажет на себя четыре банки краски всех цветов, так трудно не сделаться акварелью. А вы бы посмотрели на нее утром, пока она не успела еще наvertеть на себя фальшивые подкладки да на-

кладки. То-то бы удивились! Мне вы можете верить. Я ее лучший друг и знаю все ее тайны.

Коренев притих и долго молчал.

— Лидия Николаевна, — сказал он наконец. — Не щадите меня, она, скажите мне правду, — она поручила вам поговорить со мною?

— Нет!.. то есть да. Я дала слово не выдавать ее, но ведь вы же ей не скажете об этом! Это было бы неловко, раз я ее лучший друг.

— Та-ак. Значит, она все-таки любит меня? Значит, она, несмотря на свое легкомыслие и э-э-э... ограниченность, способна на искреннее и серьезное чувство в наш век, когда женщины...

— Ах, перестаньте, Вовочка! Ну что вы наивничаете! Каждая барышня старается так или иначе выйти замуж. Точно вы не понимаете. Каточка — мой лучший друг, и я, конечно, не позволю сказать о ней ничего дурного, но само собой разумеется...

— Позвольте, Лидочка? А как же вы намекали как будто даже на самоубийство с ее стороны. Или мне это показалось?

— Ну конечно, показалось.

Оба помолчали. Лидочка глубоко вздохнула и сказала с печалью и состраданием:

— Ну что же, милый друг, ведь придется вам жениться, ничего не поделаешь.

Коренев тоже вздохнул:

— Я ничего не имею против брака вообще. Боюсь только, что мы с Каточкой мало подходим друг другу. Ну да свет не клином сошелся.

Он ушел печальный, но спокойный.

Лидочка долго улыбалась себе в зеркало, тоже печальная, но спокойная.

— Милая Каточка! Я сделала все, что могла! Но ведь этот Коренев — такой упорный идиот!





**Ш**елков и сердился, и смеялся,

и убеждал — ничто не помогало. Актриса Моретти, подерживаемая своей подругой Сонечкой, упорно долбила одно и то же.

— Никогда не поверим, — пищала Сонечка.

— Чтобы вы, такой испорченный человек, да вдруг не пробовали кокаину!

— Да честное же слово! Клянусь вам! Никогда!

— Сам клянется, а у самого глаза смеются!

— Слушайте, Шелков, — решительно запищала Сонечка и даже взяла Шелкова за рукав. — Слушайте — мы все равно отсюда не уйдем, пока вы не дадите нам понюхать кокаину.

— Не уйдете? — не на шутку испугался Шелков. — Ну это, знаете, действительно жестоко с вашей стороны. Да с чего вы взяли, что у меня эта мерзость есть?

— Сам говорит «мерзость», а сам улыбается. Нечего! Нечего!

— Да кто же вам сказал?

— Да мне вот Сонечка сказала, — честно ответила актриса.

— Вы? — выпучил на Сонечку глаза Шелков.

— Ну да, я! Что же тут особенного? Раз я вполне уверена, что у вас кокаин есть. Мы и решили прямо пойти к вам.

— Да, да. Она хотела сначала по телефону справиться, да я решила, что лучше прямо прийти, потребовать, да и все тут. По телефону вы бы, наверное, как-нибудь отвернулись, а теперь уж мы вас не выпустим.

Шелков развел руками, встал, походил по комнате:

— А знаете, что я придумал! Я непременно раздобуду для вас кокаина и сейчас же сообщу вам об этом по телефону или, еще лучше, прямо пошлю вам.

— Не пройдет! Не пройдет! — завизжали обе подружки. — Скажите какой ловкий! Это чтоб отделаться от нас! Да ни за что, ни за что мы не уйдем. Уж раз мы решили сегодня попробовать — мы своего добьемся.

Шелков задумался и вдруг улыбнулся, точно сообразил что-то. Потом подошел к Моретти, взял ее за руки и сказал искренне и нежно:

— Дорогая моя. Раз вы этого требуете — хорошо. Я вам дам попробовать кокаину. Но пока не поздно, одумайтесь.

— Ни за что! Ни за что!

— Мы не маленькие! Нечего за нас бояться.

— Во-первых, это разрушает организм. Во-вторых, вызывает ужасные галлюцинации, кошмары, ужасы, о которых потом страшно будет вспомнить.

— Ну вот еще, пустяки! Ничего — мы не боимся.

— Ну, дорогие мои, — вздохнул Шелков, — я сделал все, что от меня зависело, чтобы отговорить вас. Теперь я умываю руки и слагаю с себя всякую ответственность!

Он решительными шагами пошел к себе в спальню, долго рылся в туалетном столе.

«Господи! Вот не везет-то! Хоть бы мелу кусочек, что ли, найти...»

Прошел в ванную. Там на полочке увидел две коробки. В одной оказался зубной порошок, в другой — борная. Призадумался.

«Попробуем сначала порошок».

Всыпал щепотку в бумажку.

— Он дивный человек! — шептала в это время актриса Моретти своей подруге Сонечке. — Благородный и великодушный. Обрати внимание на его ресницы и на зубы.

— Ах, я уже давно на все обратила внимание.

Шелков вернулся мрачный и решительный. Молча посмотрел на подруг, и ему вдруг жалко стало хорошенького носика Моретти.

— Мы начнем с Сонечки, — решил он. — Кокаин у меня старый, может быть, уже выдохся. Пусть сначала одна из вас попробует, как он действует. Пожалуйста, Сонечка, вот прилягте в это кресло. Так. Теперь возьмите эту щепотку зубного... то есть кокаину — его так называ-

ют: «зубной кокаин», потому что... потому что он очень сильный. Ну-с, спокойно. Втягивайте в себя. Глубже! Глубже!

Сонечка втянула, ахнула, чихнула и вскочила на ноги:

— Ай! Отчего так холодно в носу? Точно мята!

Шелков покачал головой, сочувственно и печально:

— Да, у многих начинается именно с этого ощущения.

Сидите спокойно.

— Не могу! Прямо нос пухнет.

— Ну вот. Я так и знал! Это начались галлюцинации.

Сидите тихо. Ради бога — сидите тихо, закройте глаза и постарайтесь забыться, или я ни за что не ручаюсь.

Сонечка села, закрыла глаза и открыла рот. Лицо у нее было сосредоточенное и испуганное.

— Давайте же и мне скорее! — засуетилась актриса Моретти.

— Дорогая моя! Одумайтесь, пока не поздно. Посмотрите, что делается с Сонечкиным носом!

— Все равно, я иду на все! Раз я для этого пришла, уж я не отступлю.

Шелков вздохнул и пошел снова в ванную.

«Дам ей борной. И дезинфекция, и нос не вздуется».

— Дорогая моя, — сказал он, передавая актрисе порошок. — Помните, что я отговаривал вас.

Моретти втянула порошок, томно улыбнулась и закрыла глаза:

— О, какое блаженство...

— Блаженство? — удивился Шелков. — Кто бы подумал! Впрочем, это всегда бывает у очень нервных людей. Не волнуйтесь, это скоро пройдет.

— О, какое блаженство, — стонала Моретти. — Дорогой мой! Уведите меня в другую комнату... я не могу видеть, как Сонечка разинула рот... Это мне мешает забыться.

Шелков помог актрисе встать. Она еле держалась на ногах и если не упала, то только потому, что вовремя догадалась обвить шею Шелкова обеими руками.

Он опустил ее на маленький диванчик.

— О дорогой мой. Мне душно! Расстегните мне воротник... Ах! Я ведь почти ничего не сознаю из того, что я говорю... Ах, я ведь в обмороке. Нет, нет... обнимите меня



покрепче... Мне чудится, будто мимо нас порхают какие-то птички и будто мимо нас цветут какие-то васильки... Здесь пуговики, а не кнопки, они совсем просто расстегиваются. Ах... я ведь совсем ничего не сознаю.

\*\*\*

Сонечка ушла домой, не дождавшись подруги, и оставила на столе записку:

«Спешу промыть нос. Нахожу, что нюхать кокаин — занятие действительно безнравственное. Соня».

\*\*\*

На другое утро актриса Моретти пришла к Шелкову, решительная и официальная.

Шелков встретил ее светски вежливо и любезно:

— Очень рад, милый друг. Какими судьбами...

— Милостивый государы! — строго прервала его актриса. — Я пришла вам сказать, что вы поступили непорядочно.

— Что с вами, дорогой друг? — наивно поднял брови Шелков. — Я вас не понимаю.

— Не понимаете? — фыркнула Моретти. — Так я вам сейчас объясню! Вы поступили низко. Вы знали, какое действие производит кокаин на нервных женщин, и все-таки решились дать мне.

— Ах, милый друг, ведь я же вас предупреждал, что это пренеприятная штука. Вы же сами требовали.

— Да, но вы-то должны были вести себя иначе! Воспользоваться беспомощностью одурманенной женщины — так порядочные люди не поступают.

— Позвольте! Что вы говорите? — снова удивился Шелков. — Я ровно ничего не понимаю. Что я сделал? В чем вы упрекаете меня?

Моретти покраснела, замялась и продолжала уже другим тоном:

— Вы... целовали меня и... обнимали... Вы не имели на это никакого права, зная, что я в бессознательном состоянии. Так обращаться с порядочной женщиной без намерения на ней жениться — это подло! Да!

Шелков оторопел, посмотрел ей прямо в глаза и вдруг весь затрясся от смеха.

— Почему вы смеетесь? — краснея, чуть не плача, лепетала Моретти.

— Ах, дорогая моя! Уморили вы меня! Ну можно ли так пугать. Все ужасы, о которых вы сейчас рассказываете, не что иное, как галлюцинация! Самая обычная галлюцинация, вызванная кокаином.

Моретти притихла и испуганно смотрела на Шелкова:

— Вы думаете?

— Ну конечно! И чудачка же вы! Вы тут тихонько сидели на диванчике и бредили — о каких-то поцелуях не то пуговицах, я толком не разобрал, да, признаюсь, даже не считал порядочным вслушиваться. Мало ли что можно сказать в бреду. Посторонние не должны этого знать.

Моретти слушала с открытым ртом и, только уходя, приостановилась в дверях и смущенно спросила:

— А скажите... бывают от кокаина такие галлюцинации, когда человеку кажется, что он притворяется, что у него галлюцинация?

Шелков дружески хлопнул ее по плечу и сказал весело:

— Ну конечно! Сплошь и рядом! Это самый распространенный вид. Даже в науке известно. Можете справиться у любого профессора.

Моретти вздохнула, посмотрела внимательно в честное, открытое лицо Шелкова, закрыла рот и вышла задумчивая, но спокойная.



# Из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»»

*«Вот уж истинно — неиз-  
менная радость Вы для меня!..  
(Да и действительно, чудесно-  
го сколько от вас бывает!)»*

*Из письма И.БУНИНА  
Тэффи*







# Древняя история

## Предисловие

**Ч**то такое история

как таковая — объяснять незачем, так как это каждому должно быть известно с молоком матери. Но что такое древняя история — об этом нужно сказать несколько слов.

Трудно найти на свете человека, который, хотя бы раз в жизни, выражаясь языком научным, не вляпался бы в какую-нибудь историю. Но как бы давно это с ним ни случилось, тем не менее происшедший казус мы не вправе назвать древней историей. Ибо пред лицом науки все имеет свое строгое подразделение и классификацию.

Скажем короче:

а) древняя история есть такая история, которая произошла чрезвычайно давно;

б) древняя история есть такая история, которая произошла с римлянами, греками, ассирийцами, финикийцами и прочими народами, говорившими на мертворожденных языках.

Все, что касается древнейших времен и о чем мы ровно ничего не знаем, называется периодом доисторическим.

Ученые, хотя и ровно ничего об этом периоде не знают (потому что если бы знали, то его пришлось бы уже назвать историческим), тем не менее разделяют его на три века:

1) каменный, когда люди при помощи бронзы делали себе каменные орудия;

2) бронзовый, когда при помощи камня делали бронзовые орудия;

3) железный, когда при помощи бронзы и камня делали железные орудия.

Вообще изобретения тогда были редки и люди на выдумки были туги; поэтому, чуть что изобретут, — сейчас по имени изобретения называют и свой век.

В наше время это уже немыслимо, потому что каждый день пришлось бы менять веку название: пилюлиарский век, плоскошинный век, синдетиконский век и т.д. и т.д., что немедленно вызвало бы распри и международные войны.

В те времена, о которых ровно ничего не известно, люди жили в шалашах и ели друг друга; затем, окрепнув и развив мозг, стали есть окружающую природу: зверей, птиц, рыб и растения. Потом, разделившись на семьи, начали ограждаться частоколами, через которые сначала в продолжение многих веков переругивались, затем стали драться, затеяли войну, и, таким образом, возникло государство, государственный быт, на котором основывается дальнейшее развитие гражданственности и культуры.

Древние народы разделяются по цвету кожи на черных, белых и желтых.

Белые в свою очередь разделяются на:

1) *арийцев*, произошедших от Ноева сына Иафета и названных так, чтоб не сразу можно было догадаться, от кого они произошли;

2) *семитов* — или не имеющих права жительства и

3) *хамитов*, людей в порядочном обществе не принятых.

Обыкновенно историю делят всегда хронологически от такого-то до такого-то периода. С древней историей так поступить нельзя, потому что, во-первых, никто ничего о ней не знает, а во-вторых, древние народы жили бестолково, мотались из одного места в другое, из одной эпохи в другую, и все это без железных дорог, без порядка, причины и цели. Поэтому учеными людьми придумано рассматривать историю каждого народа отдельно. Иначе так запутаешься, что и не выберешься.

## Восток

### Древний Египет

Египет находится в Африке и славится издавна пирамидами, сфинксами, разлитием Нила и царицей Клеопатрой.

Пирамиды суть здания пирамидальной формы, которые воздвигались фараонами для своего прославления. Фараоны были люди заботливые и не доверяли даже самым близким людям распоряжаться своим трупом по их усмотрению. И едва выйдя из младенческого возраста, фараон уже присматривал себе укромное местечко и начинал строить пирамиду для своего будущего праха.

После смерти тело фараона с большими церемониями потрошили изнутри и набивали ароматами. Снаружи заключали его в раскрашенный футляр, все вместе ставили в саркофаг и помещали внутри пирамиды. От времени то небольшое количество фараона, которое заключалось между ароматами и футляром, высыхало и превращалось в твердую перепонку. Так неизводительно тратили древние монархи народные деньги!

Но судьба справедлива. Не прошло и нескольких десятков тысяч лет, как египетское население вернуло свое благосостояние, торгуя оптом и в розницу бренными трупами своих повелителей, и во многих европейских музеях можно видеть образцы этих сушеных фараонов, прозванных за свою неподвижность мумиями. За особую плату сторожа музеев позволяют посетителям пощелкать мумию пальцем.

Далее, памятниками Египта служат развалины храмов. Более всего сохранилось их на месте древних Фив, прозванных по числу своих двенадцати ворот «стовратными». Теперь, по свидетельству археологов, ворота эти переделаны в арабские деревни. Так иногда великое обращается в полезное!

Памятники Египта часто покрыты письменами, которые разобрать чрезвычайно трудно. Ученые поэтому прозвали их иероглифами.

Жители Египта делились на разные касты. К самой важной касте принадлежали жрецы. Попастъ в жрецы было очень трудно. Для этого нужно было изучать геометрию, до равенства треугольников включительно, и географию, обнимавшую в те времена пространство земного шара не менее шестисот квадратных верст.

Дела жрецам было по горло, потому что, кроме географии, им приходилось еще заниматься и богослужением, а так как богов у египтян было чрезвычайно много, то

иному жрецу подчас за весь день трудно было урвать хоть часок на географию.

В воздании божеских почестей египтяне не были особенно разборчивы. Они обожествляли солнце, корову, Нил, птицу, собаку, луну, кошку, ветер, гиппопотама, землю, мышь, крокодила, змею и многих других домашних и диких зверей. Ввиду этой богомногочисленности, самому осторожному и набожному египтянину ежеминутно приходилось совершать различные кощунства. То наступит кошке на хвост, то цыкнет на священную собаку, то съест в борще святую муху. Народ нервничал, вымирал и вырождался.

Среди фараонов было много замечательных, прославивших себя своими памятниками и автобиографиями, не ожидая этой любезности от потомков.

## Вавилон

Тут же неподалеку находился и Вавилон, известный своим столпотворением.

## Ассирия

Главным городом Ассирии был Ассур, названный так в честь бога Ассура, получавшего, в свою очередь, это имя от главного города Ассура. Где здесь конец, где начало — древние народы по безграмотности разобраться не могли и не оставили никаких памятников, которые могли бы нам помочь в этом недоумении.

Ассирийские цари были очень воинственны и жестоки. Врагов своих поражали более всего своими именами, из которых Ассур-Тиглаф-Абу-Хериб-На-зир-Нипал было самым коротеньким и простеньким. Собственно говоря, это было даже не имя, а сокращенная ласкательная кличка, которую за маленький рост дала юному царю его мамка.

Обычай же ассирийских крестин был таков:

Как только у царя рождался младенец мужского, женского или иного пола, сейчас же специально обученный писарь садился и, взяв в руки клинья, начинал писать на глиняных плитах имя новорожденного. Когда, истомленный трудом, писарь падал мертвым, его сменял другой, и так дальше, до тех пор, пока младенец не достигал зрело-



го возраста. К этому сроку все его имя считалось полностью и правильно написанным до конца.

Цари эти были очень жестоки. Промко выкликая свое имя, они, прежде чем завоюют страну, уже рассаживали ее жителей на колья.

По сохранившимся изображениям современные ученые усматривают, что у ассирийян очень высоко стояло парикмахерское искусство, так как у всех царей бороды завиты ровными, аккуратными локонами.

Если отнестись к этому вопросу еще серьезнее, то можно удивиться еще более, так как видно ясно, что в ассирийские времена не только люди, но и львы не пренебрегали парикмахерскими щипцами. Ибо зверей этих ассирияне изображают всегда с такими же завитыми в локоны гривами и хвостами, как и бороды их царей.

Поистине изучение образцов древней культуры может принести существенную пользу не только людям, но и животным.

Последним ассирийским царем считается, выражаясь сокращенно, Ашур-Адонай-Абан-Нипал. Когда его столицу осадили мидяне, хитрый Ашур велел на площади своего дворца развести костер; затем, сложив на него все свое имущество, влез наверх сам со всеми женами и, застраховавшись, сгорел дотла.

Раздосадованные враги поспешили сдаться.

## Персы

В Иране жили народы, название которых оканчивалось на «яне»: бактрияне и мидяне, кроме персов, которые оканчивались на «сы».

Бактрияне и мидяне быстро утратили свое мужество и предались изнеженности, а у персидского царя Астиага родился внук Кир, основавший персидскую монархию\*.

О молодости Кира Геродот\*\* рассказывает трогательную легенду.

Однажды Астиагу приснилось, что из его дочери выросло дерево. Пораженный неприличностью этого сна, Астиаг велел магам разгадать его. Маги сказали, что сын

\*Кир II Великий (?—530 до н. э.) — первый царь Ахеменидов, завоевавший Мидию, Лидию, часть Средней Азии, покоривший Вавилон и Месопотамию.

\*\*Геродот (ок. 484—425 до н. э.) — греческий историк.

дочери Астиага будет царствовать над целой Азией. Астиаг очень огорчился, так как желал для своего внука более скромной судьбы.

— И через золото слезы льются! — сказал он и поручил своему придворному придушить младенца.

Придворный, которому было и своего дела по горло, передоверил это дельце одному знакомому пастуху. Пастух же по необразованности и халатности все перепутал и, вместо того чтобы придушить, стал ребенка воспитывать.

Когда ребенок подрос и начал играть со сверстниками, то велел однажды выпороть сына одного вельможи. Вельможа пожаловался Астиагу. Астиаг заинтересовался широкой натурой ребенка. Побеседовав с ним и освидетельствовав пострадавшего, он воскликнул:

— Это Кир! Так пороть умеют только в нашем семействе. И Кир упал в объятия деда.

Войдя в возраст, Кир победил царя лидийского Креза\* и стал его жарить на костре. Но во время этой процедуры Крез вдруг воскликнул:

— О Солон, Солон, Солон!\*\*

Это очень удивило мудрого Кира.

— Подобных слов, — признавался он друзьям, — я еще никогда не слышал от жарившихся.

Он поманил Креза к себе и стал расспрашивать, что это значит.

Тогда Крез рассказал, что его посетил греческий мудрец Солон\*\*. Желая пустить мудрецу пыль в глаза, Крез показал ему свои сокровища и, чтобы подразнить, спросил Солона — кого он считает самым счастливым человеком на свете.

Если б Солон был джентльменом, он, конечно, сказал бы: «Вас, ваше величество». Но мудрец был человек простоватый, из недалеких, и ляпнул, что «прежде смерти никто не может сказать про себя, что счастлив».

Так как Крез был царь развитой не по летам, то тотчас понял, что после смерти вообще люди редко разговаривают, так что и тогда похвастаться своим счастьем не придется, и очень на Солона обиделся.

История эта сильно потрясла слабонервного Кира. Он извинился перед Крезом и не стал его дожаривать.

\* Крез (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии, был разбит и взят в плен Киром.

\*\* Солон (ок. 640—560 до н. э.) — афинский политический деятель, поэт, философ. Был причислен к числу семи античных мудрецов.

После Кира царствовал сын его Камбиз\*\*. Камбиз пошел воевать с эфиопами, зашел в пустыню и там, сильно страдая от голода, съел мало-помалу все свое войско. Поняв трудность подобной системы, он поспешил воротиться в Мемфис. Там в это время праздновали открытие нового Аписа\*.

При виде этого здорового, откормленного быка отощавший на человечине царь кинулся на него и собственноручно приколол, а заодно и брата своего Смердиза, который вертелся под ногами.

Этим воспользовался один ловкий маг и, объявив себя Лжесмердизом, немедленно начал царствовать. Персы ликовали.

— Да здравствует наш царь Лжесмердиз! — кричали они.

В это время царь Камбиз, окончательно помешавшийся на говядине, погиб от раны, которую нанес себе сам, желая отведать собственного мяса.

Так умер этот мудрейший из восточных деспотов.

После Камбиза царствовал Дарий Гистасп\*\*, который прославился походом на скифов.

Скифы были очень храбры и жестоки. После сражения устраивали пиршества, во время которых пили и ели из черепов свежеебитых врагов.

Те из воинов, которые не убили ни одного врага, не могли принимать участия в пиршестве за неимением своей посуды и наблюдали издали за торжеством, терзаемые голодом и угрызениями совести.

Узнав о приближении Дария Гистаспа, скифы послали ему лягушку, птицу, мышь и стрелу.

Этими незатейливыми дарами они думали смягчить сердце грозного врага.

Но дело приняло совсем другой оборот.

Один из воинов Дария Гистаспа, которому сильно надоело болтаться за своим повелителем по чужим землям, взялся истолковать истинное значение скифской посылки.

Это значит, что если вы, персы, не будете летать, как птицы, грызть, как мышь, и прыгать, как лягушка, то не вернетесь к себе домой вовеки.

Дарий не умел ни летать, ни прыгать. Он перепугался до смерти и велел поворачивать оглобли.

\* Апис — в египетской религии священный бык.

\*\* Дарий I — персидский царь в 522—486 гг. до н. э. В 514 г. предпринял поход против скифов, вел еще несколько крупных войн.

Дарий Гистасп прославился не только этим походом, но и столь же мудрым правлением, которое вел с таким же успехом, как и военные предприятия.

Древние персы вначале отличались мужеством и простотой нравов. Сыновей своих учили трем предметам:

- 1) ездить верхом;
- 2) стрелять из лука и
- 3) говорить правду.

Молодой человек, не сдавший экзамена по всем этим трем предметам, считался неучем и не принимался на государственную службу.

Но мало-помалу персы стали предаваться изнеженному образу жизни. Перестали ездить верхом, забыли, как нужно стрелять из лука, и, праздно проводя время, резали правду-матку. Вследствие этого огромное Персидское государство стало быстро приходить в упадок.

Прежде персидские юноши ели только хлеб и овощи. Развратясь, они потребовали супу (330 г. до Р. Х.). Этим воспользовался Александр Македонский\* и завоевал Персию.

## Греция

Греция занимает южную часть Балканского полуострова.

Сама природа разделила Грецию на четыре части:

- 1) Северную, которая находится на севере;
- 2) Западную — на западе;
- 3) Восточную — на востоке и, наконец,
- 4) Южную — занимающую юг полуострова. Это оригинальное деление Греции издавна привлекало к ней взоры всей культурной части населения земного шара.

В Греции жили так называемые греки.

Говорили они на мертвом языке и предавались сочинению мифов о богах и героях.

Любимый герой греков был Геркулес\*\*, прославившийся тем, что вычистил Авгиевы конюшни и тем подал грекам незабываемый пример чистоплотности. Кроме того, этот аккуратник убил свою жену и детей.

---

\* Александр III (356—323 до н. э.) — македонский царь с 336 г.

\*\* Геркулес (Геракл) — древнегреческий герой, сын Зевса и Алкмены. Очистка Авгиевых конюшен — шестой из двенадцати подвигов.

Вторым любимым героем греков был Эдип\*, который по рассеянности убил своего отца и женился на своей матери. От этого по всей стране сделалась моровая язва, и все открылось. Эдипу пришлось выколоть себе глаза и отправиться путешествовать с Антигоной.

В Южной Греции произошел миф о Троянской войне, или: «Прекрасная Елена», в трех действиях, с музыкой Оффенбаха.

Дело было вот как: у царя Менелая (комик буфф) была жена, прозванная за красоту и за то, что носила платье с разрезом, Прекрасной Еленой. Ее похитил Парис, что Менелая очень не понравилось. Тогда началась Троянская война.

Война была ужасна. Менелай оказался совсем без голоса, а все прочие герои ввали нещадно.

Тем не менее война эта осталась в памяти благодарного человечества; так, например, фраза жреца Калхаса\*: «Слишком много цветов» — цитируется до сих пор многими фельетонистами не без успеха.

Кончилась война благодаря вмешательству хитроумного Одиссея. Чтоб дать возможность воинам пробраться в Трою, Одиссей сделал деревянного коня и посадил в него воинов, а сам ушел. Трояне, утомленные долгой осадой, не прочь были поиграть деревянной лошадкой, за что и заплатились. В самый разгар игры из лошади вылезли греки и завоевали беспечных врагов.

После разрушения Трои греческие герои вернулись домой, но не на радость себе. Оказалось, что жены их за это время выбрали себе новых героев и предавались измене мужьям, которых и убили немедленно после первых рукопожатий.

Хитроумный Одиссей, предвидя все это, не вернулся прямо домой, а сделал небольшой крюк в десять лет, чтобы дать время жене своей Пенелопе подготовиться к встрече с ним.

Верная Пенелопа ждала его, коротая время со своими женихами.

Женихам очень хотелось на ней жениться, но она рассудила, что гораздо веселее иметь тридцать женихов,

\*Эдип — сын фиванского царя Лая и Иокасты. Не зная своих родителей, женился на собственной матери.

\*\*Калхас — греческий прорицатель, предсказавший продолжительность Троянской войны и др.

чем одного мужа, и надувала несчастных, оттягивая день свадьбы. Днем Пенелопа ткала, ночью порола сотканное, а заодно и сына своего Телемака. История эта кончилась трагически: Одиссей вернулся.

«Илиада» изображает нам военную сторону греческой жизни. «Одиссея» рисует бытовые картины и общественные нравы.

Обе эти поэмы считаются произведениями слепого певца Гомера, имя которого пользовалось в древности столь большим уважением, что семь городов оспаривали честь быть его родиной. Какая разница с судьбой современных нам поэтов, от которых часто не прочь отказаться собственные родители!

На основании «Илиады» и «Одиссеи» о героической Греции мы можем сказать следующее:

Народонаселение Греции разделялось на:

- 1) царей,
- 2) воинов и
- 3) народ.

Каждый исполнял свою функцию. Царь царствовал, воины сражались, а народ «смешанным гулом» выражал свое одобрение или неодобрение двум первым категориям.

Царь, обыкновенно человек небогатый, производил свой род от богов (слабое утешение при пустом казначействе) и поддерживал свое существование более или менее добровольными подарками.

Знатные мужи, окружающие царя, также производили свой род от богов, но уже в более отдаленной степени, так сказать — седьмая вода на киселе.

На войне эти знатные мужи выступали впереди остального войска и отличались пышностью своего вооружения. Сверху их закрывал шлем, посредине — панцирь и со всех — сторон щит. Одетый таким образом, знатный муж ехал в бой на парной колеснице с кучером — спокойно и уютно, как в трамвае.

Сражались все врассыпную, каждый за себя, поэтому даже побежденные могли много и красноречиво рассказывать о своих военных подвигах, которых никто не видал.

Кроме царя, воинов и народа были в Греции еще и рабы, состоящие из бывших царей, бывших воинов и бывшего народа.

Положение женщины у греков было завидное по сравнению с положением ее у восточных народов.

На греческой женщине лежали все заботы о домашнем хозяйстве — пряденье, тканье, мытье белья и прочие разнообразные хлопоты домоводства, тогда как восточные женщины принуждены были проводить время в праздности и гаремных удовольствиях среди докучной роскоши.

Религия греков была политическая, причем боги находились в постоянном общении с людьми, во многих семьях бывали часто и совсем запросто. Иногда боги вели себя легкомысленно и даже неприлично, повергая выдумавших их людей в горестное недоумение.

В одном из древнегреческих молитвенных песнопений, дошедших до наших дней, мы явно слышим скорбную ноту:

Неужели же, боги,  
 Это вас веселит,  
 Когда наша честь  
 Кувырком, кувырком  
 Полетит?!

Понятие о загробной жизни было у греков весьма смутное. Тени грешников отсылались в мрачный Тартар (по-русски — в тартарары). Праведники блаженствовали в Элизиуме, но настолько скудно, что сведущий в этих делах Ахиллес признался откровенно: «Лучше быть на земле поденщиком бедняка, чем царствовать над всеми тенями мертвых». Рассуждение, поразившее своей меркантильностью весь древний мир.

Будущее свое греки узнавали посредством оракулов. Наиболее почитаемый оракул находился в Дельфах. Здесь жрица, так называемая пифия, садилась на так называемый треножник (не следует смешивать ее со статуей Мемнона) и, придя в исступление, произносила бессвязные слова.

Греки, избалованные плавной речью с гекзаметрами, стекались со всех концов Греции послушать бессвязные слова и перетолковать их по-своему.

Судились греки в Амфиктионовом судилище.

Судилище собиралось два раза в год; весенняя сессия была в Дельфах, осенняя — в Фермопилах.

Каждая община посещала в судилище двух присяжных. Присягу эти присяжные придумали очень хитрую. Вместо того чтоб обещать судить по совести, взятку не

братъ, душой не кривить и родственников не выгораживать, они давали следующую присягу: «Клянусь никогда не разрушать города, принадлежащего к союзу Амфиктионову, и никогда не лишать его текучей воды ни в мирное, ни в военное время».

Только и всего!

Но это показывает, какой нечеловеческой силой обладал древнегреческий присяжный. Какому-нибудь, даже самому завалящему, из них ничего не стоило разрушить город или остановить текущую воду. Поэтому понятно, что осторожные греки не приставали к ним с клятвами насчет взяток и прочей ерунды, а старались обезвредить этих зверей в главнейшем.

Летосчисление свое греки вели по самым главным событиям своей общественной жизни, то есть по Олимпийским играм. Игры эти заключались в том, что древнегреческие юноши состязались в силе и ловкости.

Все шло как по маслу, но тут Геродот затеял во время состязаний читать вслух отрывки из своей истории.

Поступок этот возымел надлежащее действие: атлеты расслабли, публика, ломившаяся доселе на Олимпиаду как бешеная, отказалась идти туда даже за деньги, которые щедро сулил ей честолюбивый Геродот. Игры прекратились само собой.

## Спарта

Лакония составляла юго-восточную часть Пелопоннеса и получила свое название от манеры тамошних жителей выражаться лаконически.

Летом в Лаконии было жарко, зимой холодно. Эта необычайная для других стран система климата, по свидетельству историков, способствовала развитию жестокости и энергии в характере жителей.

Главный город Лаконии без всякой причины назывался Спартой.

В Спарте был ров, наполненный водой, чтобы жители могли упражняться в сбрасывании друг друга в воду. Сам город не был огражден стенами: мужество граждан должно было служить ему защитой. Это, конечно, стоило местным отцам города дешевле самого плохого частоколышки.

Спартанцы, хитрые по природе, устроили так, что у них царствовали всегда два царя зараз. Цари грызлись



между собой, оставляя народ в покое. Конец этой вакханалии положил законодатель Ликург\*.

Ликург был царского рода и опекал своего племянника.

При этом он все время тыкал всем в глаза своей справедливостью. Когда терпение окружающих наконец лопнуло, Ликургу посоветовали отправиться путешествовать. Думали, что путешествие разовьет Ликурга и так или иначе повлияет на его справедливость.

Но, как говорится, вместе тошно, а врозь скучно. Не успел Ликург освежиться в обществе египетских жрецов, как соотечественники потребовали его возвращения. Ликург вернулся и утвердил в Спарте свои законы.

После этого, опасаясь слишком горячей благодарности со стороны экспансивного народа, он поспешил себя уморить голодом.

— Зачем предоставлять другим то, что можешь сделать сам! — были его последние слова.

Спартанцы, увидя, что с него взятки гладки, стали воздавать его памяти божеские почести.

Население Спарты делилось на три сословия: спартиатов, перизков и илотов.

Спартиаты были местные аристократы, занимались гимнастикой, ходили голые и вообще задавали тон.

Перизкам гимнастика была запрещена. Вместо того они платили подати.

Хуже всех приходилось илотам, или, по выражению местных остряков, «недозкам». Они обрабатывали поля, ходили воевать и часто восставали на своих господ. Последние, чтобы склонить их на свою сторону, придумали так называемую *криптию*, то есть попросту в известный час убивали всех встречных илотов. Это средство быстро заставило илотов одуматься и зажить в полном довольстве.

Спартанские цари пользовались большим уважением, но не большим кредитом. Народ верил им только на месяц, затем заставлял снова присягать законам республики.

Так как в Спарте царствовало всегда два царя и была притом еще и республика, то все это вместе называлось республикой аристократической.

По законам этой республики спартанцам был предписан самый скромный, по их понятиям, образ жизни. На-

\* Ликург — легендарный законодатель Спарты между IX и первой половиной VIII в. до н. э.

пример, мужчины не имели права обедать дома; они собирались веселой компанией в так называемых ресторанах — обычай, соблюдаемый многими людьми археологической складки и в наше время как пережиток седой старины.

Любимое кушанье их составляла черная похлебка, приготовлявшаяся из свиного отвара, крови, уксуса и соли. Похлебку эту как историческое воспоминание славного прошлого и доселе еще готовят у нас в греческих кухмистерских, где она известна под названием «брандахлыст».

В одежде спартанцы были также очень скромны и просты. Только перед битвой наряжались они в более сложный туалет, состоявший из венка на голове и флейты в правой руке. В обычное же время отказывали себе в этом.

### Воспитание детей

Воспитание детей было очень суровое. Чаще всего их сразу убивали. Это делало их мужественными и стойкими.

Образование они получали самое основательное: их учили не кричать во время порки. В 20 лет спартиат сдавал экзамен по этому предмету на аттестат зрелости. В 30 — он делался супругом, в 60 — освобождался от этой обязанности.

Девушки спартанские занимались гимнастикой и были столь прославлены своей скромностью и добродетелью, что везде богатые люди, старались наперерыв залучить спартанскую девушку в кормилицы для своих детей.

Скромность и уважение к старшим было первым долгом молодых людей.

Самым неприличным у спартанского молодого человека считались его руки. Если он был в плаще, он прятал руки под плащ. Если он был голым, то засовывал их куда ни попало: под скамейку, под куст, под собеседника или, наконец, садился на них сам (900 г. до Р. Х.).

Они с детства приучались говорить лаконически, то есть коротко и сильно. На длинную витиеватую ругань врага спартанец отвечал только: «От дурака слышу».

Женщина в Спарте пользовалась уважением, и ей разрешалось изредка тоже поговорить лаконически, чем она пользовалась, воспитывая детей и заказывая обед кухарке-илотке.

Так, одна спартанка, отдавая щит сыну, сказала лаконически: «С ним или на нем».

А другая, отдавая кухарке петуха для жаренья, сказала лаконически: «Пережаришь — вздую».

Как высокий пример мужественности спартанской женщины приводится следующая история.

Одна женщина, по имени Лэна, зная о противозаконном заговоре, чтобы не выдать случайно имени заговорщиков, откусила себе язык и, выплюнув его, сказала лаконически:

«Милостивые государи и милостивые государыни! Я, нижеподписавшаяся, спартанская женщина, имею честь сказать вам, что если вы думаете, что мы, спартанские женщины, способны на низкие поступки, как-то:

- а) доносы,
- б) сплетню,
- в) выдачу своих сообщников и
- г) клевету,

то вы сильно ошибаетесь и ничего подобного от меня не дождетесь. И пусть странник передаст Спарте, что я выплюнула здесь свой язык, верная законам о гимнастике своего отечества».

Ошеломленные враги вставили в «Лэну» еще одно «э», и она стала Лээна, что значит «Львица».

### Упадок Спарты

Постоянное купание и лаконический разговор сильно ослабили умственные способности спартанцев, и они значительно отстали в развитии от других греков, которые за любовь к гимнастике и спорту прозвали их «спор-танцами».

Спартанцы воевали с мессенянами и однажды так трусили, что послали за помощью к афинянам. Те, вместо воинских орудий, прислали им в помощь поэта Тиртея, заряженного собственными стихами. Услышав его декламацию, враги дрогнули и обратились в бегство. Спартанцы овладели Мессией и завели у себя гегемонию.

### Афины

Вторая знаменитая республика была Афины, оканчивавшаяся мысом Суний.

Богатые залежи мрамора, годного для памятников, естественно породили в Афинах славных мужей и героев.

Все горе Афин-республики, в высшей степени аристократической, заключалось в том, что жители ее делились на *филы*, *димы*, *фратрии* и подразделялись на *паралиев*, *педиаков* и *диакриев*. Кроме того, они делились еще и на *эвпатридов*, *геомаров*, *демиургов* и разную мелочь.

Все это вызывало в народе постоянные волнения и смуты, которыми пользовались верхи общества, разделившиеся на *архонтов*, *эпонимов*, *басилевсов*, *полемархов* и *тесмотетов*, и угнетали народ.

Один богатый эвпатрид, Килон, попытался уладить дело. Но афинский народ отнесся столь недоверчиво к его начинаниям, что Килон, по примеру прочих греческих законодателей, поспешил отправиться путешествовать.

## Солон

Солон, человек небогатый и занимавшийся торговлей, приобрел опытность в путешествиях и потому, не опасаясь дурных для себя последствий, задумал облагодетельствовать страну, написав для нее прочные законы.

Чтобы заслужить доверие граждан, он притворился сумасшедшим и стал писать стихи про остров Саламин, о котором в порядочном греческом обществе говорить было не принято, так как остров этот с большим конфузом для афинян был завоеван Мегарой.

Прием Солон имел успех, и ему поручили составление законов, чем он и воспользовался очень широко, подразделив жителей, кроме всего прочего, еще на *пентакозиомедимнов*, *зогитов* и *тетов* (знаменитых тем, что «роскошные бриллианты, стоящие 4 рубля, продают за 1 рубль только еще неделю»).

На семейный быт Солон также обратил серьезное внимание. Он запретил невесте приносить мужу в приданое более трех платьев, зато потребовал от женщины скромности уже в количестве неограниченном.

Юноши афинские до 16 лет воспитывались дома, а войдя в зрелый возраст, занимались гимнастикой и ум-

ственным образованием, которое было столь легко и приятно, что даже называлось музыкой.

Кроме вышеизложенного, афинским гражданам вменялось в строгую обязанность почитать родителей; при избрании гражданина на какую-либо высокую государственную должность закон предписывал навести предварительную справку, почитает ли он родителей и не ругает ли их, и если ругает, то какими именно словами.

Человек, претендовавший на чин древнегреческого статского советника, должен был выправить свидетельство и о почитательности в отношении своих теток и своячениц. Это порождало массу неудобств и затруднений для замыслов честолюбивого человека. Сплошь и рядом человек принужден был отказываться от министерского портфеля благодаря капризу какого-нибудь старого дедки, торгующего на базаре гнилым рахат-лукумом. Тот покажет, что его недостаточно уважали, и всей карьере капут.

Кроме того, высшие власти должны были постоянно справляться, чем занимаются граждане, и наказывать людей праздных. Часто случалось, что полгорода сидело без сладкого блюда. Вопли несчастных не поддавались описанию.

### Пизистрат и Клисфен

Утвердив свои законы, Солон не замедлил отправиться путешествовать.

Отсутствием его воспользовался его же родственник, местный аристократ Пизистрат, который стал тиранить Афины при помощи своего красноречия.

Вернувшийся Солон тщетно уговаривал его одуматься. Растиранившийся Пизистрат не слушал никаких доводов и делал свое дело.

Прежде всего он заложил в Ломбардии храм Зевса и умер, не внося процентов.

После него унаследовали власть сыновья его Гиппий и Гиппарх, названные так в честь знакомых лошадей (526 г. до Р. Х.). Но их вскоре частью убили, частью изгнали из отечества.

Тут выдвинулся Клисфен — глава народной партии, и заслужил доверие граждан, разделив, их на 10 фил (вместо прежних четырех!) и каждую филу на димы. Мир и

спокойствие не замедлили воцариться в измученной смутами стране.

Кроме того, Клисфен придумал способ отделяться от неприятных граждан посредством тайной подачи голосов, или *остракизма*. Чтобы благодарный народ не успел испробовать это симпатичное нововведение на его же спине, мудрый законодатель отправился путешествовать.

Постоянно делясь на филы, димы и фратрии, Афины быстро ослабели, как ослабела Спарта, не делясь равно никак.

«Куда ни кинь — все клин!» — вздыхали историки.

## Остальная Греция

Второстепенные греческие государства шли той же стезей.

Монархии мало-помалу сменялись более или менее аристократическими республиками. Но и тираны тоже не зевали и время от времени захватывали в руки верховную власть и, отвлекая от себя внимание народа постройками общественных зданий, упрочивали свое положение, а затем, потеряв последнее, отправлялись путешествовать.

Спарта скоро поняла неудобство двух единовременных царей. Во время войны цари, желая выслужиться, оба отправлялись на поле битвы, и если при этом их обоих убивали, то народу приходилось приниматься снова за смуты и междуусобия, выбирая новую пару.

Если же на войну отправлялся только один царь, то второй пользовался случаем, чтоб выкурить своего собрата окончательно и завладеть Спартой безраздельно. Было отчего потерять голову.

### Колонии

Необходимость для законодателей путешествовать, после утверждения каждого нового закона очень оживила Грецию.

Целые толпы законодателей посещали то одну, то другую соседнюю страну, устраивая нечто вроде современных нам экскурсий сельских учителей.

Окрестные страны шли навстречу законодательским нуждам. Они выдавали удешевленные круговые билеты

(Rundreise), делали скидки в гостиницах. Соединенная лодочная компания с ограниченной ответственностью «Мемфис и Меркурий» возила экскурсантов совсем даром и только просила не скандалить и не сочинять во время пути новых законов. Таким образом, греки знакомились с соседними местностями и устраивали себе колонии.

### Поликрат и рыбы штуки

На острове Самосе прославился тиран Поликрат, которого допекали морские рыбы. Какую бы дрянь ни бросил Поликрат в море, рыбы немедленно вытаскивали ее наружу в собственных животах. Раз он бросил в воду крупную золотую монету. На другое же утро ему подали на завтрак жареную семгу. Тиран с жадностью разрезал ее. О ужас! В рыбе лежал его золотой с процентами за одну сутки из двенадцати годовых.

Все это окончилось крупным несчастьем. По словам историков, «незадолго до своей смерти тиран был убит персидским сатрапом».

### Безумец Герострат

Город Эфес был знаменит своим храмом богини Артемиды. Храм этот сжег Герострат, чтобы прославить свое имя. Но греки, узнав, с какой целью было сделано ужасное преступление, решили в наказание предать забвению имя преступника.

Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение:

«Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из чстолюбия храм богини Артемиды».

Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого из них ночью разбудить и спросить: «Кого ты должен забыть?» И он не задумываясь ответил бы: «Безумно-го Герострата».

Так справедливо был наказан преступный чстолюбец.

Из греческих колоний следует еще отметить Сиракузы, жители которых славились слабостью духа и тела.

### Борьба с персами. Мильтиад при Марафоне

Персидский царь Дарий очень любил воевать. В особенности хотелось ему победить афинян. Чтобы не забыть как-нибудь в домашних хлопотах об этих своих врагах, он сам себя раздраживал. Каждый день за обедом прислуга забывала поставить что-нибудь на стол: то хлеб, то соль, то салфетку. Если Дарий делал замечание нерадивым слугам, те хором отвечали ему по его же наущению: «А ты, Дарыюшка, помнишь ли об афинянах?..»

Раздразнив себя до иступления, Дарий послал зятя своего Мардония с войсками завоевать Грецию. Мардоний был разбит и отправился путешествовать, а Дарий набрал новое войско и послал его на Марафон, не сообразив, что на Марафоне водится Мильтиад. О последствиях этого поступка распространяться не будем.

Все греки прославляли имя Мильтиада. Тем не менее жизнь свою пришлось Мильтиаду окончить смертью. При осаде Пароса он был ранен, и за это сограждане приговорили его к штрафу под тем предлогом, что он-де неосторожно обращался со своей кожей, которая принадлежит отечеству.

Не успел Мильтиад закрыть глаза, как в Афинах уже возвысились два мужа — Фемистокл и Аристид.

Фемистокл прославился тем, что лавры Мильтиада не давали ему спать (483 г.). Злые афинские языки уверяли, что просто он прогуливал все ночи напролет и сваливал все на лавры. Ну да бог с ним. Кроме того, Фемистокл знал по имени и отчеству всех именитых граждан, что весьма льстило последним. Письма Фемистокла ставились в образец афинскому юношеству.

«...И еще кланяюсь папеньке моему Олигарху Кимоновичу, и тетеньке Матроне Анемподистовие, и племяннику нашему Каллимаху Мардарионовичу и т. д. и т. д.»

Аристид же предавался исключительно одной справедливости, но столь рьяно, что возбудил законное негодование в согражданах и при помощи ostracism отправился путешествовать (483 г.).

### Леонид при Фермопилах

Царь Ксеркс, преемник Дария Гистаспа, пошел на греков с несметным (тогда еще не умели делать предвари-



тельной сметы) войском. Навел мосты через Геллеспонт, но буря их разрушила. Тогда Ксеркс высек Геллеспонт, и в море тотчас же водворилось спокойствие. После этого розгосечение было немедленно введено во всех учебных заведениях.

Ксеркс подошел к Фермопилам. У греков как раз был в это время праздник, так что заниматься пустяками было некогда. Отправили только спартанского царя Леонида с дюжиной молодцов, чтоб защитить проход.

Ксеркс послал к Леониду с требованием выдать оружие.

Леонид отвечал лаконически:

«Приди и возьми».

Персы пришли и взяли.

### Саламин

Вскоре произошло сражение при Саламине. Ксеркс наблюдал за битвой, сидя на высоком троне.

Увидя, как колотят его персов, восточный деспот кубарем свалился с трона и, потеряв мужество (480 г. до Р. Х.), воротился в Азию.

Затем произошла битва у города Платеи. Оракулы предсказали поражение тому войску, которое первое вступит в бой. Войска стали выжидать. Но спустя десять дней раздался характерный треск. Это лопнуло терпение Мардония (479 г.), и он начал сражение и был разбит на голову и на прочие части тела.

### Времена Гегемонии

Благодаря проискам Фемистокла Гегемония перешла к афинянам. Афиняне посредством ostracism отправили этого любителя гегемонии путешествовать. Фемистокл пошел к персидскому царю Артаксерксу. Тот дал ему большие подарки в надежде воспользоваться его услугами. Но Фемистокл низко обманул доверие деспота. Он принял подарки, но, вместо того чтобы служить, преспокойно отравился.

Вскоре умер и Аристид. Республика похоронила его по первому разряду и дала его дочерям солоновское приданое: три платья и скромность.

## Перикл

После Фемистокла и Аристида в Афинской республике на первый план выступил Перикл, который умел живописно носить свой плащ. Это сильно подняло эстетические стремления Афинян. Под влиянием Перикла город украсили статуями, и в домашний быт греков проникла пышность. Ели они без ножей и вилок, причем женщины не присутствовали, так как зрелище это считалось нескромным.

Почти у каждого человека за обеденным столом сидел какой-нибудь философ. Слушать философские рассуждения за жарким считалось столь же необходимым для древнего грека, как для наших современников — румынский оркестр.

Перикл покровительствовал паукам и ходил к гетере Аспазии заниматься философией.

Вообще философы, даже если они и не были гетерами, пользовались большим почетом. Изречения их записывались на колоннах храма Аполлона в Дельфах.

Лучшие из этих изречений — философа Биаса: «Не делай многих дел», поддержавшее многих лентяев на их природном пути, и философа Фалеса Милетского: «Поручительство принесет тебе заботу», о котором многие вспоминают, дрожащей рукой ставя свой бланк на дружеском векселе.

Перикл умер от моровой язвы. Друзья, собравшиеся у его смертного одра, громко перечисляли его заслуги. Перикл сказал им:

— Вы позабыли самое лучшее: в жизни своей я никогда не заставлял носить траурное платье. Этими словами блестящий красноречивец хотел сказать, что никогда в жизни он не умирал.

## Алкивиад

Алкивиад был известен разгульным образом жизни и, чтоб заслужить доверие граждан, обрубил хвост своей собаке.

Тогда афиняне, как один человек, поручили Алкивиаду начальство над флотом. Алкивиад уже отправился на войну, когда его вернули, заставляя сначала отсидеть за учиненный им перед отъездом уличный скан-

дал. Он бежал в Спарту, потом раскаялся и бежал снова в Афины, потом раскаялся в необдуманном раскаянии и снова бежал в Спарту, потом опять в Афины, потом к персам, потом в Афины, потом снова в Спарту, из Спарты в Афины.

Он бегал как сумасшедший, развивая невероятную скорость и сокрушая все на своем пути. Бесхвостая собака еле поспевала за ним и на пятнадцатом перегоне сдохла (412 г. до Р. Х.) Над ней стоит памятник, на котором спартанцы начертали лаконически: «Странник, я сдохла».

Долго еще носился Алкивиад как бешеный из Спарты в Афины, из Афин к персам. Несчастливого пришлось пристрелить из жалости.

### Сократ

Однажды у афинского ваятеля неожиданно родился сын, прозванный за мудрость и любовь к философии Сократом. Сократ этот не обращал внимания на холод и на жару. Но не такова была жена его Ксантиппа. Грубая и необразованная женщина мерзла во время холодов и распаривалась от жары. Философ относился к недостаткам жены с невозмутимым хладнокровием. Однажды, рассердившись на мужа, Ксантиппа вылила ему на голову ведро с помоями (397 г. до Р. Х.)

Сограждане приговорили Сократа к смерти. Ученики советовали маститому философу отправиться лучше путешествовать. Но тот отказался за старостью лет и стал пить цикуту, пока не умер.

Многие уверяют, что Сократа нельзя ни в чем винить потому-де, что он весь целиком был выдуман своим учеником Платоном. Другие замешивают в эту историю и жену его Ксантиппу (398 г. до Р. Х.).

### Македония

В Македонии жили македонцы. Царь их Филипп Македонский был умный и ловкий правитель. В непрерывных военных предприятиях он потерял глаза, грудь, бок, руки, ноги и горло. Часто трудные положения заставляли его терять и голову, так что храбрый воитель оставал-

ся совсем налегке и управлял народом при помощи одной грудобрюшной преграды, что, однако, не могло остановить его энергии.

Филипп Македонский задумал покорить Грецию и начал свои происки. Против него выступил оратор Демосфен, который, набрав в рот мелких камушков, убедил греков противиться Филиппу, после чего набрал в рот воды. Этот способ объясняться называется филиппиками (346 г. до Р. Х.).

Сын Филиппа был Александр Македонский. Хитрый Александр родился нарочно как раз в ту ночь, когда сжег храм безумный грек Герострат; сделал он это для того, чтоб присоединиться к Геростратовой славе, что ему и удалось вполне.

Александр с детства любил роскошь и излишества и завел себе Буцефала.

Одержав много побед, Александр впал в сильное самовластие. Однажды друг его Клит, спасший его когда-то жизнь, упрекнул его в неблагодарности. Чтобы доказать противное, Александр собственноручно убил Клита.

Вскоре после этого он убил еще кое-кого из своих друзей, боясь упреков в неблагодарности. Та же участь постигла полководца Пармениона, сына его Филона, философа Каллисфена и многих других. Эта невоздержанность в убийстве друзей подорвала здоровье великого завоевателя. Он впал в неумеренность и умер значительно раньше своей смерти.

## Рим

### Географический обзор Италии

Италия по виду похожа на башмак с очень теплым климатом.

### Начало Рима

В Алабалонге царствовал добродушный Нумитор, которого злой Амулий свергнул с престола. Дочь Нумитора, Рею Сильвию, отдали в весталки. Тем не менее Рея родила двух близнецов, которых записала на имя Марса, бога войны, благо с того взятки гладки. Рею за это зарыли в землю, а детей стал воспитывать не то па-

стух, не то волчица. Здесь историки расходятся. Одни говорят, что их вскормил пастух на молоке волчицы, другие — что волчица на пастушьем молоке. Мальчики выросли и, подстрекаемые волчицей, основали город Рим.

Сначала Рим был совсем маленький — аршина в полтора, но затем быстро разросся и обзавелся сенаторами.

Ромул убил Рема. Сенаторы взяли Ромула живьем на небо и утвердили свою власть.

### Общественные учреждения

Народ римский делился на *патрициев*, имевших право пользоваться общественными полями, и *плебеев*, получивших право платить подати.

Кроме того, были еще и пролетарии, о которых распространяться неуместно.

### Братья Тарквиньевы и К°

В Риме последовательно сменилось несколько царей. Один из них — Сервий-Туллий был убит своим зятем Тарквинием, прославившимся своими сыновьями. Сыновья под фирмой «Братья Тарквиньевы и К°» отличались буйным характером и оскорбляли честь местных Лукреций. Недалекий отец гордился своими сыновьями, за что и был прозван Тарквинием Гордым.

В конце концов народ возмутился, изменил царскую власть и выгнал Тарквиния. Он всей фирмой отправился путешествовать. Рим сделался аристократической республикой.

Но Тарквиний долго не хотел примириться со своей долей и ходил на Рим войной. Ему удалось между прочим вооружить против римлян этрусского царя Порсену, но все дело испортил ему некто Муций Сцевола.

Муций решил убить Порсену и пробрался в его лагерь, но по рассеянности убил кого-то другого. Проголодавшись во время этого предприятия, Муций начал готовить себе ужин, но вместо куска говядины по рассеянности сунул в огонь собственную руку.

Царь Порсена потянул носом (502 г. до Р. Х.): «Жареным пахнет!» Пошел на запах и открыл Муция.

— Что ты делаешь, несчастный! — воскликнул потрясенный царь.

— Я готовлю себе ужин, — отвечал лаконически рассеянный молодой человек.

— Неужели ты будешь есть это мясо? — продолжал ужасаться Порсена.

— Разумеется, — с достоинством отвечал Муций, все еще не замечая своей ошибки. — Это любимый завтрак римских туристов.

Порсена пришел в замешательство и отступил с большими потерями.

Но Тарквиний не скоро успокоился. Он продолжал набегать. Римлянам пришлось в конце концов оторвать от плуга Цинцинната. Эта мучительная операция дала хорошие результаты. Враг был усмирен.

Тем не менее войны с Тарквиньевыми сыновьями подорвали благосостояние страны. Плебеи обеднели, ушли на Священную гору и пригрозили, что выстроят свой собственный город, где каждый будет сам себе патриций. Их с трудом успокоили басней о желудке.

Между тем децемвиры написали законы на медных досках. Сначала на десяти, потом для прочности прибавили еще две.

Затем стали пробовать прочность этих законов, и один из законодателей оскорбил Виргинию. Отец Виргинии пытался поправить дело тем, что вонзил дочери нож в сердце, но и это не принесло пользы несчастной. Растерявшиеся плебеи опять ушли на Священную гору. Децемвиры отправились путешествовать.

### Римские гуси и беглецы

Несметные полчища галлов двинулись на Рим. Римские легионы пришли в замешательство и, обратившись в бегство, спрятались в городе Вейх, а остальные римляне легли спать. Галлы воспользовались этим и полезли на Капитолий. И здесь они сделались жертвой своей необразованности. На Капитолии жили гуси, которые, услышав шум, стали гоготать.

— Увы нам! — сказал предводитель варваров, услышав это гоготанье. — Вот уже римляне смеются над нашим поражением.

И тотчас же отступил с большими потерями, унося убитых и раненых.

Увидя, что опасность миновала, римские беглецы вылезли из своих Вей и, стараясь не смотреть на гусей (им было стыдно), сказали несколько бессмертных фраз о чести римского оружия.

После галльского нашествия Рим оказался сильно разоренным. Плебеи снова ушли на Священную гору и снова грозили построить свой город. Дело уладил Манлий Капитолийский, но не успел вовремя отправиться путешествовать и был сброшен с Тарпейской скалы.

Затем были изданы Лициниевы законы. Патриции долго не принимали новых законов, и плебеи много раз ходили на Священную гору слушать басню о желудке.

### Царь Пирр

Пирр — царь эпирский, высадился в Италии с несметным войском под предводительством двадцати боевых слонов. В первой битве потерпели поражение римляне. Но царь Пирр остался этим недоволен.

— Что за честь, когда нечего есть! — воскликнул он. — Еще одна такая победа, и я останусь без войска. Не лучше ли потерпеть поражение, но иметь войска в полном сборе?

Слоны одобрили решение Пирра, и вся компания без особого труда была выгнана из Италии.

### Пунические войны

Желая овладеть Сицилией, римляне вступили в борьбу с Карфагеном. Так началась первая война между римлянами и карфагенянами, прозванная для разнообразия *Пунической*.

Первая победа принадлежала римскому консулу Дунлию. Римляне отблагодарили его по-своему: они постановили, чтобы его всюду сопровождал человек с зажженным факелом и музыкант, игравший на флейте. Эта почесть сильно стесняла Дунлию в его домашнем обиходе и любовных делах. Несчастный быстро впал в ничтожество.

Пример этот пагубно повлиял на других полководцев, так что во время второй *Пунической* войны консулы из

страха заслужить флейту с факелом мужественно отступили перед врагом.

Карфагеняне под предводительством Ганнибала пошли на Рим. Сципион — сын Публия (кто не знает Публия?) с таким пылом отразил пуническое нападение, что получил звание Африканского.

В 146 году Карфаген был разрушен и сожжен. Сципион, родственник Африканского, смотрел на пылающий Карфаген, думал о Риме и декламировал о Трое: так как это было очень сложно и трудно, то он даже заплакал.

### Перемена нравов и Катон

Прочности римского государства немало способствовала умеренность в образе жизни и твердость характера граждан. Они не стыдились труда, и пищу их составляли мясо, рыба, овощи, плоды, птица, пряности, хлеб и вино.

Но с течением времени все это изменилось, и римляне впали в изнеженность нравов. Многие вредные для себя переняли они от греков. Стали изучать греческую философию и ходить в баню (135 г. до Р. Х.).

Против всего этого восстал суровый Катон, но был уличен согражданами, заставшими его за греческим экстампорале.

### Марий и Сулла

На северных границах Италии появились несметные полчища кимбров. Спасать отечество пришел черед Маррию и Сулле.

Марий был очень свиреп, любил простоту обихода, не признавал никакой мебели и сидел всегда прямо на развалинах Карфагена. Он умер в глубокой старости от чрезмерного пьянства.

Не такова была судьба Суллы. Храбрый полководец умер у себя в поместье от невоздержанной жизни.

### Лукулл и Цицерон

Тем временем в Риме выдвинулся своими пирами проконсул Лукулл. Он угощал своих приятелей муравьиными языками, комариными носами, соловьиными ногтя-



ми и прочей мелкой и неудобоваримой снедью и быстро впал в ничтожество.

Рим же едва не сделался жертвой большого заговора, во главе которого стоял обремененный долгами аристократ Катилина, задумавший захватить государство в свои руки.

Против него выступил местный Цицерон и сгубил врага при помощи своего красноречия.

Народ был тогда неприхотлив, и на сердца слушателей действовали даже такие избитые фразы, как... «O tempora, o mores!»\*.

Цицерону поднесли чин «Отца отечества» и приставили к нему человека с флейтой

### Юлий Цезарь и первый триумvirат

Юлий Цезарь по рождению был человек образованный и легко привлекал к себе сердца людей.

Но под его наружностью скрывалось горячее честолюбие. Более всего хотелось ему быть первым в какой-нибудь деревне. Но достичь этого было очень трудно, и он пустил в ход различные происки, чтоб быть первым хоть в Риме. Для этого он вступил в триумvirат с Помпеем и Крассом и, удалившись в Галлию, стал завоевывать расположение своих солдат.

Красс вскоре погиб, и Помпей, мучимый завистью, потребовал возвращения Цезаря в Рим. Цезарь, не желая расставаться с завоеванным расположением солдат, повел последних с собой. Доехав до речки Рубикона, Юлий долго юлил (51—50 гг.) перед ней, наконец сказал: «Жребий брошен» — и полез в воду.

Помпей этого никак не ожидал и быстро впал в ничтожество.

Тогда против Цезаря выступил Катон, потомок того самого Катона, который был уличен за греческой грамматикой. Ему, как и его предку, сильно не повезло. Это было у них фамильное. Он удалился в Утику, где и истек кровью.

Чтоб хоть чем-нибудь отличить его от предка, а заодно и почтить его память, ему дано было прозвище Утического. Слабое утешение для семьи!

\* О времена, о нравы! (лат.)

## Диктатура и смерть Цезаря

Цезарь отпраздновал свои победы и сделался диктатором в Риме.

Он сделал много полезного для страны. Прежде всего преобразовал римский календарь, который пришел в большой беспорядок от неточного времени, так что в иную неделю попадалось четыре понедельника подряд, и все римские сапожники допивались до смерти; а то вдруг пропадет месяца на два двадцатое число, и чиновники, сидя без жалованья, впадали в ничтожество. Новый календарь назван был Юлианским и имел 365 последовательно чередовавшихся дней.

Народ был доволен. Но некто Юний Брут, Цезарев приживальщик, мечтавший завести семь пятниц на неделе, устроил заговор против Цезаря.

Жена Цезаря, видевшая зловещий сон, просила мужа не ходить в сенат, но друзья его сказали, что неприлично манкировать обязанностями из-за женских сновидений. Цезарь пошел. В сенате Кассий, Брут и сенатор по имени просто Каска напали на него. Цезарь вернулся в свой плащ, но, увы, и эта предосторожность не помогла.

Тогда он воскликнул: «И ты, Брут!» По свидетельству историка Плутарха, он при этом подумал: «Мало я тебя, свинью, благодетельствовал, что ты теперь на меня с ножом лезешь!»

Затем он упал к ногам Помпеевой статуи и умер в 44 г. до Р. Х.

## Октавий и второй триумвират

В это время вернулся в Рим племянник и наследник Цезаря Октавий. Наследство, однако, успел уже прихватить друг Цезаря пылкий Антоний, оставив законному наследнику одну старую жилетку. Октавий был, по свидетельству историков, человеком небольшого роста, но тем не менее очень хитрым. Полученную им от пылкого Антония жилетку он немедленно употребил на подарки ветеранам Цезаря, чем и привлек их на свою сторону. Перепала малая толика и престарелому Цицерону, который принялся громить Антония теми же речами, которыми громил некогда Катилину. Опять выехало на сцену «О

tempora, o mores!». Хитрый Октавий льстил старику и говорил, что почитает его за папеньку.

Используя старика, Октавий сбросил маску и вступил в союз с Антонием. К ним примазался еще некто Лепид, и образовался новый триумвират.

Пылкий Антоний вскоре попал в сети египетской царицы Клеопатры и впал в изнеженный образ жизни.

Клеопатра переворачивала его в своих сетях, как револьверскую кильку, и часто, вместо обеда, угощала куском жемчужины в уксусе.

Этим воспользовался хитрый Октавий и пошел на Египет с несметными полчищами.

Клеопатра выплыла на своих кораблях и участвовала в сражении, смотря на Антония то зелеными, то фиолетовыми, то пурпурными, то желтыми глазами. Но во время битвы царица вспомнила, что забыла ключи от кладовой, и велела кораблям поворачивать носы домой.

Октавий торжествовал и сам себе назначил человека с флейтой.

Клеопатра же стала расставлять ему свои сети. Она послала служанку к пылкому Антонию со следующими словами: «Барыня приказали вам сказать, что они померли». Антоний в ужасе пал на свой меч.

Клеопатра продолжала расставлять свои сети, но Октавий, несмотря на свой маленький рост, стойко отверг ее ухищрения.

## Август

Октавий, получивший за все вышеизложенное название Августа, стал управлять государством неограниченно. Но царского титула он не принял.

— К чему? — сказал он. — Зовите меня сокращенно императором.

Август украсил город банями и послал полководца Вара с тремя легионами в Тевтобургский лес, где тот и потерпел поражение.

Август в отчаянии стал колотиться головой об стену, припевая: «Вар, Вар, отдай мне мои легионы».

В стене быстро образовалась так называемая Варваринская брешь (9 г. по Р. Х.), а Август промолвил:

— Еще одно такое поражение, и я останусь без головы.

Династия Августа предавалась пышности и быстро впала в ничтожество.

Калигула, сын Германика, превзошел своих предшественников в праздности. Ему было лень даже рубить головы своих подданных, и он мечтал, чтобы у всего человечества была одна голова, которую он мог бы наскоро оттяпать.

Этот ленивец находил, однако, время, чтобы мучить животных. Так, своего лучшего коня, на котором и сам ездил, и воду возил, он заставлял еще по вечерам заседать в сенате.

После его смерти (через посредство телохранителя) и люди, и лошади вздохнули свободнее.

Унаследовавший престол дядя Калигулы Клавдий отличался слабостью характера. Воспользовавшись этим, приближенные исторгли у Клавдия смертный приговор для его жены, развратной Мессалины, и женили его на глубоко испорченной Агриппине. От этих жен был у Клавдия сын Британик, но наследовал престол Нерон, сын глубоко испорченной Агриппины от первого брака.

Юность свою Нерон посвятил истреблению родственников. Затем отдался искусству и постыдному образу жизни.

Во время пожара Рима он, как всякий истый древний римлянин (грек тож), не мог удержаться, чтобы не продеklamировать про пожар Трои. За что и был заподозрен в поджигательстве.

Кроме того, он пел столь фальшиво, что самые фальшивые души из придворных не могли порой выносить этого оскорбления барабанной перепонки. Бесстыдный козлетон под конец жизни затеял поехать на гастроли в Грецию, но тут возмутились даже ко всему привыкшие легионы, и Нерон с большим неудовольствием пронзил себя мечом. Погибая от отсутствия самокритики, тиран воскликнул: «Какой великий артист погибает!»

После смерти Нерона наступили смуты, и в течение двух лет в Риме переменялось три императора: Гальба, убитый солдатом за скупость, Оттон, погибший от развратной жизни, и Вителлий, отличившийся за свое короткое, но славное царство непомерным обжорством.

Это разнообразие в монархах очень занимало римских солдат. Им весело было, встав поутру, справиться у взводного: «А кто, дяденька, у нас нынче царствует?»

Впоследствии возникло много путаниц, так как цари слишком часто сменялись, и случалось, что новый царь

всходил на престол, когда его предшественник не успел еще как следует умереть.

Выбирались цари солдатами на свой вкус и страх. Их брали за большой рост, за физическую силу, за умение сильно выражаться. Затем стали прямо торговать тронами и продавали его тому, кто больше даст. В «Римском вестнике» («Nuntius Romanus») сплошь и рядом печатались объявления:

«Отдается дешево хороший трон, малодержанный, за сходную цену».

Или:

«Ищу трон здесь или в провинции. Имею залог. Согласен в отъезд».

На воротах римских домов пестрели билетики:

«Сдаеця трон для одинокова. Спросить унтера Мардаряна».

Рим несколько отдохнул во время царствования кроткого и пугливого императора, прозванного Нервою, и снова впал в отчаяние, когда на трон влез Комод.

Комод обладал большой физической силой и решил выступать на борьбе в местном Фарсе.

В «Римской биржевке» («Bursiana Romana») печатались инспирированные правительством статьи о подвигах Комода.

«...И вот массивная мебель катается клубком, сплетаясь с иллирийской ящерицей и награждая последнюю искрометными макаронами и двойными нельсонами».

Близкие люди поспешили отделаться от неудобного Комода. Его задушили.

Наконец воцарился император Диоклетиан, двадцать лет подряд кротко сжигавший христиан. Это был его единственный недостаток.

Диоклетиан был родом из Далмации и сыном вольноотпущенника. Одна ворожея предсказала ему, что он вступит на престол, когда убьет вепря.

Слова эти запали в душу будущего императора, и он многие годы только и делал, что гонялся за свиньями. Однажды, услышав от кого-то, что префект Апр настоящая свинья, он немедленно зарезал префекта и тотчас же сел на трон.

Таким образом, кроткого императора поминали лихом только свиньи. Но эти передряги так утомили престарелого монарха, что он процарствовал только двад-

цать лет, затем отказался от престола и поехал на родину в Далмацию сажать редьку, сманив к этому полезному занятию и соправителя своего Максимиана. Но тот скоро опять попросился на трон. Диоклетиан же остался тверд.

— Друг, — говорил он. — Если бы ты видел, какая нынче уродилась репа! Ну и репа! Одно слово — репа! До царства ли мне теперь? Человеку не поспеть с огородом управиться, а вы лезете с пустяками.

И действительно, вырастил выдающуюся репу (305 г. по Р. Х.).

## Римский быт и культура

### *Классы населения.*

Население Римского государства главным образом состояло из трех классов:

- 1) знатных граждан (*nobelas*),
- 2) незнатных граждан (подозрительная личность) и
- 3) рабов.

Знатные граждане имели массу крупных преимуществ перед остальными гражданами. Во-первых, они имели право платить налоги. Главное же из преимуществ заключалось в праве выставлять у себя дома восковые изображения своих предков. Кроме того, они имели право устраивать на свой счет народные торжества и празднества.

Незнатным гражданам жилось плохо. Они не имели права платить никаких налогов, не имели права служить в солдатах и уныло богатели, занимаясь торговлей и промышленностью.

Рабы мирно обрабатывали поля и устраивали восстания.

Кроме того, были в Риме еще *сенаторы* и *всадники*. Отличались они друг от друга тем, что сенаторы сидели в сенате, а всадники на лошадях.

### *Сенат.*

Сенатом называлось то место, где заседали сенаторы и царские лошади.

### *Консулы.*

Консулы должны были иметь более сорока лет от роду. Это было главное их качество. Консулов всюду сопровождала свита из двенадцати человек с розгами в руках, на

предмет крайней необходимости, если консулу захочется кого-нибудь посещать вдали от лесистой местности.

### Преторы.

Преторы распоряжались розговым довольствием только на шесть персон.

## Военное искусство

Великолепное устройство римского войска немало способствовало военным победам.

Главную часть легионов составляли так называемые *принципы* — опытные ветераны. Поэтому римские солдаты с первых шагов убеждались, как вредно поступать своими принципами.

Легионы вообще состояли из храбрых воинов, которые приходили в замешательство только при виде врага.

## Учреждения религиозные

Между римскими учреждениями первое место занимали учреждения религиозные.

Главный жрец назывался *pontifex maximus*, что не мешало ему порой надувать свою паству разными фокусами, основанными на ловкости и проворстве рук.

Затем следовали жрецы *авгуры*, которые отличались тем, что, встречаясь, не могли друг на друга смотреть без улыбки. Видя их развеселые физиономии, и остальные жрецы фыркали себе в рукав. Прихожане, кое-что раскусившие в греческих штучках, помирали со смеху, глядя на всю эту компанию.

Сам *pontifex maximus*, взглянув на кого-нибудь из своих подчиненных, только бессильно махал рукой и трясся от дряблого старческого смеха.

Тут же подхихикивали и *весталки*.

Само собой разумеется, что от этого вечного гоготанья римская религия быстро ослабла и пришла в упадок. Никакие нервы не могли выдержать такой щекотки.

*Весталки* были жрицами богини Весты. Выбирались они из девиц хорошей фамилии и служили при храме, соблюдая целомудрие до 75 лет. После этого срока им позволялось выходить замуж.

Но римские юноши так уважали столь испытанное целомудрие, что редко кто из них решался посягнуть на

оное, даже одобренное двойным солоновским приданым (6 платъев и 2 скромности).

Если же весталка раньше срока нарушала свой обет, то ее хоронили живой, а детей ее, записанных на разных Марсов, воспитывали волчицы. Зная блестящее прошлое Ромула и Рема, римские весталки очень ценили педагогические способности волчиц и считали их чем-то вроде наших ученых фребеличек.

Но надежды весталок были тщетны. Их дети более не основали Рима. В награду за целомудрие весталки получали почет и контрамарки в театрах.

Гладиаторские сражения считались первоначально религиозным обрядом и устраивались при погребениях «для примирения тела усопшего». Вот почему у наших борцов, когда они выступают в параде, всегда такие похоронные физиономии; здесь ясно проявляется атавизм.

Поклоняясь своим богам, римляне не забывали и богов иноземных. По привычке прихватывать где что плохо лежит римляне часто присваивали себе и чужих богов.

Римские императоры воспользовались этим боголюбием своего народа и, решив, что маслом каши не испортишь, ввели обожание своей собственной персоны. После смерти каждого императора сенат причислял его к лику богов. Затем рассудили, что гораздо удобнее делать это еще при жизни императора; последний мог, таким образом, строить себе храм по своему вкусу, тогда как древние боги должны были довольствоваться чем попало.

Кроме того, никто так ревностно не мог бы следить за установленными во имя свое празднествами и религиозными церемониями, как сам бог, лично присутствующий. Это очень подтягивало паству.

### Философские школы

Философией в Риме занимались не только философы; каждый отец семейства имел право философствовать у домашнего очага.

Кроме того, каждый мог отнести себя к какой-нибудь философской школе. Один считал себя пигорейцем, потому что ел бобы, другой — эпикурейцем, потому что пил, ел и веселился. Каждый бесстыдник уверял, что делает гадости только потому, что он принадлежит к цинической



школе. Среди важных римлян было много стойков, имевших препротивное обыкновение сзывать гостей и во время пирожного тут же вскрывать себе жилы. Этот нечистоплотный прием считался верхом гостеприимства.

### Домашний быт и положение женщин

Жилища у римлян были очень скромны: одноэтажный дом с дырками вместо окон — просто и мило. Улицы были очень узки, так что колесницы могли ехать только в одну сторону, чтобы не встречаться друг с другом.

Пища римлян отличалась простотой. Ели они два раза в день: в полдень закуска (*prandium*), а в четыре часа обед (*coena*). Кроме того, поутру они завтракали (*фриш-тик*), вечером ужинали и между едой морили червячка. Этот суровый образ жизни делал из римлян здоровых и долговечных людей.

Из провинции доставлялись в Рим дорогие и лакомые яства: павлины, фазаны, соловьи, рыбы, муравьи и так называемые «троянские свиньи» — *porcus trojanus* — в память той самой свиньи, которую Парис подложил троянскому царю Менелаю. Без этой свиньи ни один римлянин не садился за стол.

Обедал знатный римлянин всегда весь окруженный паразитами. Этот отвратительный обычай укоренился в Риме и не лишал гостей аппетита.

Вначале женщины римские были в полном подчинении у своих мужей — затем они стали угождать не столько мужу, сколько его друзьям, а часто даже и врагам.

Предоставив рабам, рабыням и волчицам воспитание детей, римские матроны заводили знакомства с греческой и римской литературой и изощрялись в игре на цитре.

Разводы происходили столь часто, что иногда не успевали закончить бракосочетания матроны с одним мужчиной, как она уже выходила за другого.

Вразрез со всякой логикой, это многобрачие увеличило, по свидетельству историков, «количество холостых мужчин и уменьшило деторождение», точно дети бывают только у женатых мужчин, а не у замужних женщин!

Народ вымирал. Беспечные матроны резвились, не заботясь нимало о деторождении.

Кончилось плохо. Несколько лет подряд рожали одни только весталки. Правительство встревожилось.

Император Август уменьшил права холостых мужчин, а женатым, напротив того, позволял разрешать себе много лишнего. Но все эти законы уже не привели ровно ни к чему. Рим погиб.

## Воспитание

Воспитание римлян в цветущую эпоху государства было поставлено очень строго. От молодых людей требовались скромность и послушание старшим.

Кроме того, если они чего-нибудь не понимали, то могли во время прогулки спросить у кого-нибудь объяснения и почтительно выслушать таковое.

Когда Рим пришел в упадок, пошатнулось и образование юношества. Они стали обучаться грамматике и красноречию, и это сильно испортило его нрав.

## Литература

Литература процветала в Риме и развивалась под влиянием греков.

Римляне очень любили писать, а так как писали за них рабы, то почти каждый римлянин, имеющий грамотного раба, считался писателем.

В Риме издавалась газета «Nuncius Romanus» — «Римский вестник», в котором писал фельетоны на злобу дня сам Гораций.

Императоры тоже не гнушались литературой и помещали изредка в газете какую-нибудь шалость властительного пера.

Можно представить себе трепет редакции, когда император во главе своих легионов являлся в положенный день за гонораром.

Писателям в те времена, несмотря на отсутствие цензуры, приходилось очень туго. Если на троне сидел эстет — он за малейшую погрешность в стиле или литературной форме приказывал несчастному поэту повеситься. Ни о каких отсидках или заменах штрафом не могло быть и речи.

Обыкновенно императоры требовали, чтобы всякое литературное произведение в блестящей и убедительной форме трактовало о достоинствах его особы.

Это делало литературу очень однообразной, и книги плохо раскупались.

Поэтому писатели любили запирались где-нибудь в тиши и уединении и оттуда уже давать волю своему перу. Но, дав волю, тотчас же предпринимали путешествие.

Один знатный вельможа, по имени Петроний, сделал смешную попытку издавать в Риме (трудно даже поверить!) САТИРИКОН! Безумец вообразил, что журнал этот может в I веке по Р. Х. иметь такой же успех, как и в XX по Р. Х.

Петроний обладал достаточными средствами (каждый день ел комариные брови в сметане, аккомпанируя себе на цитре), обладал он и образованием, и выдержкой характера, но, несмотря на все это, он не мог ждать 20 веков. Он прогорел со своей несвоевременной затеей и, удовлетворив подписчиков, умер, причем выпустил кровь из своих жил на своих друзей.

«САТИРИКОН дождется достойнейших», — были последние слова великого провидца.

### Наука права

Когда повесились более или менее все поэты и писатели — одна отрасль римской науки и литературы достигла высшей степени своего развития, именно — наука права.

Ни в одной стране не было такой массы законоведов, как в Риме, и потребность в них была очень велика.

Каждый раз, когда на престол вступал убивший своего предшественника новый император, что иногда бывало по нескольку раз в год, лучшие законоведы должны были писать юридическое оправдание этого преступления для публичного обнародования.

Сочинить подобное оправдание большей частью бывало очень трудно: требовало специальных римско-юридических познаний, и немало юристов сложили на этом деле свои буйные головы.

Так жили народы древности, переходя от дешевой простоты к дорогостоящей пышности, и, развиваясь, впадали в ничтожество.

*Образцы устных вопросов и письменных задач (для повторения древней истории).*

1. Указать разницу между статуей Мемнона и пифией.
2. Проследить влияние земледелия на персидских женщин.

3. Указать разницу между Лжесмердизом и простым Смердизом.

4. Провести параллель между женихами Пенелопы и первой Пунической войной.

5. Указать разницу между развратной Мессалиной и глубоко испорченной Агриппиной.

6. Перечислить, сколько раз дрогнули и сколько раз пришли в замешательство римские легионы.

7. Выразиться несколько раз лаконически без ущерба для собственной личности (упражнение).



# Чудесная ЖИЗНЬ

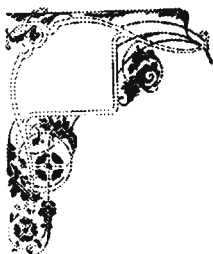
Рассказы. 1920—1951

*Мы не знаем, будет ли автор пробовать свои силы в других родах прозы, но и практикуя этот, он может дать приятный вклад в подобную литературу, имея наблюдательность, веселость и литературный язык.*

*Михаил КУЗМИН*

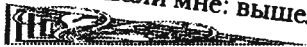






«Ке фер?»\*

**Р**ассказывали мне: вышел



русский генерал-беженец на Плас де ла Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством:

— Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Генерал — это присказка.

Сказка будет впереди.

\*\*\*

Живем мы, так называемые ле руссы\*\*, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а — вопреки законам физическим — взаимотталкиванием.

Каждый ле русс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его.

Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица «вор», которую ставят перед именем каждого ле русса: Вор-Акименко, вор-Петров, вор-Савельев.

Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского «Le» для

\*От фр. *que faire?* — что делать?

\*\*Русские.

обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки «дон»: Дон Диего, дон Хозе.

Слышатся разговоры:

— Вчера у вора-Вельского собралось несколько человек. Были вор-Иванов, вор-Гусин, вор-Попов. Играли в бридж. Очень мило.

Деловые люди беседуют:

— Советую вам привлечь к нашему делу вора-Парченку. Очень полезный человек.

— А он не того?.. Не злоупотребляет доверием?

— Господь с вами! Вор-Парченко? Да это честнейшая личности! Кристальной души.

— А может быть, лучше пригласить вора-Кусаченко?

— Ну нет, этот гораздо ворее.

Свежеприезжего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает:

— Почему вор? Кто решил? Кто доказал? Где украл?

И еще больше пугает равнодушный ответ:

— А кто его знает — почему да где... Говорят — вор, ну и ладно.

— А вдруг это неправда?

— Ну вот еще! А почему бы ему и не быть вором!

И действительно — почему?

\*\*\*

Соединенные взаимным отталкиванием, ле руссы определенно разделяются на две категории: на продающих Россию и спасающих ее.

Продающие живут весело. Ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русские борщи и угощают ими спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгают своим главным делом, а если вы захотите у них справиться, почему теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ.

Другую картину представляют из себя спасающие: они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга.

К продающим относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят белой-каленой ненавистью.



— Слышали, вор-Овечкин какой оказался мерзавец! Тамбов продает.

— Да что вы! Кому?

— Как — кому? Чилийцам!

— Что?

— Чилийцам — вот что!

— А на что чилийцам Тамбов дался?

— Что за вопрос! Нужен же им опорный пункт в России.

— Так ведь Тамбов-то не овечкинский, как же он его продает?

— Я же вам говорю, что он мерзавец. Они с вором-Гавкиным еще и не такую штуку выкинули: можете себе представить, взяли да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать Усть-Сысольское правительство.

— А разве такое есть?

— Было. Положим, недолго. Один подполковник — не помню фамилии — объявил себя правительством. Прдержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки? Вот и проворонили Россию. А все он — вор-Овечкин. А вор-Коробкин — слышали? Тоже хорош. Уполномочил себя послом в Японию.

— А кто же его назначил?

— Никому не известно. Уверяет, будто было какое-то Тирасполь-сортiroвочное правительство. Существовало оно минут пятнадцать — двадцать, так... по недоразумению. Потом само сконфузилось и прекратилось. Ну а Коробкин как раз тут как тут, за эти четверть часа успел все это обделать.

— Да кто же его признает?

— А не все ли равно! Ему, главное, нужно было визу получить — для этого он и уполномочился. Ужас!

— А слышали последние новости? Говорят, Бахмач взят.

— Кем?

— Неизвестно!

— А у кого?

— Тоже неизвестно. Ужас!

— Да откуда же вы это узнали?

— Из радио. Нас обслуживают три радио: советское «Соврадио», украинское «Украдио» и наше собственное первое европейское «Переврадио».

— А Париж как к этому относится?

— Что — Париж? Париж, известно, как собака на Сене. Ему что!

— Ну а скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает?

— Вряд ли! Сами знаете, еще Тютчев сказал, что «умом Россию не понять», а так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать, да его уволили.

— Н-да-м...

— Н-да-м.

Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством:

— Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Действительно — ке?





## Ностальгия

Пыль Москвы на ленте старой шляпы  
Я как символ свято берегу...

ЛОЛО

Вчера друг мой был какой-то тихий,

все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:

— Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнет-ся ностальгия.

Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.

Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло.

Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще.

Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут.

Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа — душа, обращенная на восток.

Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим.

Умерли.

Боялись смерти большевистской — и умерли смертью здесь.

Вот мы — смертью смерть поправшие.

Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда.

А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасти других. Но так мало осталось и воли и силы...

\*\*\*

— Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому, и нечем.

Остались леса. И трава, зеленая-зеленая, русская.

Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя l'herbe\*, а не наша травка-муравка.

\*Трава (фр.).

И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.

У нас каждая баба знает: если горе большое и надо попричитать — иди в лес, обними березоньку, крепко, двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси голосом, словами, слезами изойди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой!

А попробуйте здесь:

— Allons au Bois de Boulogne embrasser le bouleau!\*

Переведите русскую душу на французский язык... Что? Веселее стало?

Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое:

— Наша речка, русская...

Фью! Вот тебе и Третий интернационал!

Как тепло!

Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет.

\*\*\*

У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена. Плавна, самая настоящая. — толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит.

Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню.

Там француженка кухарка готовит поздний французский обед.

— Asseyez-vous\*\*, — подставляет она табуретку.

Нянька не садится:

— Ни к чему, ноги еще, слава богу, держат.

Стоит у двери, смотрит строго:

— А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось молчишь! Молчать всякий может, молчать очень даже

\*Пойдемте в Булонский лес обнять березу! (фр.)

\*\*Садитесь (фр.).

легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что!

— Я в суп кладу селлери и зеленый горошек, — любезно отвечает кухарка.

— Вот то-то и оно... Как же ты к заутрене попадешь без благовесту? То-то, я смотрю, у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя... А почему у вас собак нет? Этакий город большой, а собак — раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат.

— Четыре франка кило, — возражает кухарка.

— Теперь, вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать — клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала!

— *Le président de la republique?*\* — удивляется кухарка.

Нянька долго стоит у дверей у притолоки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о Крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил.

Наговорится, напечалится, съжится, будто меньше станет, и пойдет в детскую, к ночным думкам, к старушьям снам — все о том же.

\*\*\*

Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец.

Слушают аптекаря. И бледные, обращенные на восток души чуть розовеют.

— Ну конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!

Привыкла к «пределам» человеческая душа и верит, что у страдания есть предел.

Раненый умирал в страшных мучениях, все возраставших. И никогда не забуду, как повторял он все одно и то же, словно изумляясь:

— Что же это? Ведь этого же не может быть!  
Может.

---

\* Президент республики? (фр.)



## **В** наших русских газетах

часто встречаются особого рода статьи, озаглавленные обыкновенно «Силуэты», или «Профили», или «Встречи», или «Наброски с натуры». В этих «силуэтах» изображаются иностранные общественные деятели, министры или знаменитости в области науки и искусства.

Представляют их всегда интересными, значительными или в крайнем случае хоть занятыми.

О русских деятелях так не пишут.

Уж если увидите в газете русский «профиль», так я этот профиль не поздравляю. Он либо вырутан, либо осмеян, либо уличен и выведен на чистую воду.

Мы странно относимся к нашим выдающимся людям, к нашим героям. Мы, например, очень любим Некрасова, но больше всего радуется нас в нем то, что он был картежник.

О Достоевском тоже узнаем не без приятного чувства, что он иногда проигрывал в карты все до последней нитки.

Разве не обожаем мы Толстого? А разве не веселились мы при рассказах очевидцев о том, как «Лев Николаевич, проповедуя воздержание, предавался чревоутодию, со старческим интересом уплетая из маленькой кастрюльки специально для него приготовленные грибочки»?

Был народным героем Керенский. Многие, я знаю, сердятся, когда им напоминают об этом. Но это было. Солдаты плакали, дамы бросали цветы, генералы делали сборы, все покупали портреты.

Был героем. И мы радовались, когда слышали лживые сплетни о том, что он, мол, зазнался, спит на постели Александра Третьего, чистит зубы щеткой Димитрия Самозванца и женится на Александре Федоровне.

Был героем Колчак. Настоящим легендарным героем. И каждый врал про него все, что хотел. И все это — любя. Странно мы любим, правда? Не ослепленно и не экстазно.

А разве не любим мы Россию, братьев наших? А что мы сами говорим о них?

Чужая Шарлотта Корде приводит нас в умиление и поэтический восторг. Оттого, что она чужая, и оттого, что на ней белый чепчик, а не русский бабий платок. И как мы рады, что кишат кругом нас спекулянты, и трусы, и прямо откровенные мошенники, рвущие, как псы, кусок за куском тело нашей родины. Рады потому, что можем сказать: «Вот каковы они все оказались!»

О нашей русской Шарлотте Корде мы бы легенд не сложили. Нам лень было бы даже имя ее узнать. Так, мимоходом, по привычке, справились бы:

— А с кем она, собственно говоря, жила?

На этом бы все и кончилось.

Трагические годы русской революции дали бы нам сотни славных имен, если бы мы их хотели узнать и запомнить.

То, что иногда рассказывалось вскользь и слушалось мельком, перешло бы в героические легенды и жило бы вечно в памяти другого народа. Мы, русские, этого не умеем.

Помню, после корниловского наступления на Петроград один из участников его похода рассказывал побледневшими губами:

— Они были как дьяволы, эти матросы. Они бросались прямо под броневики, чтобы проколоть штыком резервуар с бензином. Я этого ужаса никогда не забуду! Колеса напоззали прямо на мягкое, на их тела, кости хрустели под нами, по живым людям ехали. Гибли одни — на их место бросались другие. Господи, что же это за люди! Откуда такие взялись!

Я встретила потом, через несколько месяцев, этого офицера. Вспомнила, что он рассказывал что-то интересное, что я плохо слушала и почти забыла.

— Помните, вы говорили что-то любопытное о каких-то матросах, которые бросались под броневики... Помните? Вы еще удивлялись, что они такие безумные...

— Да, — рассеянно ответил он. — Что-то было в этом роде...

Забыли!

\*\*\*

В Москве во время восстания юнкеров, когда шел бой на улицах, в толпу врезался грузовик с пулеметом. Правила машиной женщина. С платформы грузовика торчало несколько винтовок, криво и недвижно. Их не держали живые руки. Скорчившиеся около них люди не шевелились. Они все были убиты.

Женщина остановила грузовик, оглянула своих мертвых, выпрямилась, спокойная, открытая, незащищенная, одна перед направленными на нее дулами ружей, перекрестилась широким русским крестом и повернула ручку пулемета.

Никто не узнавал потом ее имени. И о том, что была такая, теперь уже никто и не вспомнит.

Забыли.

Рассказывают о том, как белые русские войска окружили красных матросов. Часть пленных сдались — бросились на колени и подняли руки. Остальные немедленно отошли от них в сторону.

— В чем дело? Чего вы хотите? — спросили у них победители.

— Мы хотим, чтобы нас расстреляли где-нибудь подальше, отдельно от этой сволочи, — отвечали они, указывая на коленопреклоненных товарищей.

Где это было — не помню. Никто не вспомнит.

Забыли.

Мы помним Шарлотту Корде.

Она ближе нам. Она носила белый чепчик и была француженкой, и ее так хорошо полюбили и описали французские писатели.

А наши — они нам не нужны.







**Т**оревали мы в Совдепии:

— Умер быт — плоть нашей жизни. Остался один хаос, и дух наш витает над бездною.

Как жить так — над бездною, — совершенно ведь невозможно.

Не сорвешься сегодня — сорвешься завтра. Ничего не разберешь в хаосе, не наладишься, не устроишься. Небо не отделено от земли, земля не отделена от воды — ерунда, бестолочь и черная смерть.

А теперь собираемся и вспоминаем:

— А помните, как мы жили-были в Совдепии?

«Жили-были» — значит была жизнь и быт был. Корявый, уродливый, «смертный» быт — а все-таки был. Была физиономия жизни.

Так про человека, который плохо выглядит, говорят:

— Лица на нем нет.

Лицо-то есть, да только такое скверное, что и признать его за таковое не хочется.

Так и быт совдепский был.

Теперь соберемся и вспоминаем:

— Какая была жизнь удивительная!

И народ кругом был удивительный.

Особенно хороши были бабы.

Мужчины, угрюмые, нелюдимые, осторожные, были и незанятны, и опасны.

Каждому хотелось перед начальством выслужиться, открыть гидру реакции и донести за добавочный паек.

Бабы реальной политикой не занимались, а больше мелкой торговлишкой и политической сплетней с мистическим налетом.

Мужчина, если приносил какую-нибудь спекулятивную муку, так и сам не тешился, и других не радовал.

Сидит мрачный, вздыхает, в глаза не смотрит.

— Вы чего же, товарищ, так дорого лупите-то? Вдвое против последнего.

— Расстреляли многих за спекуляцию, — гудит товарищ. — Вот мы и надбавляем, потому — риск большой. Поймают, расстреляют обоих — и тебя, и меня. Меня — зачем продаю, тебя — зачем покупаешь.

— Так это выходит, что ты за мою же погибель с меня еще дерешь?

Товарищ вздыхает и молчит.

Баба — не то. Баба придет, оглянется и затрещит, зазвенит, словно кто на швейной машинке шьет:

— И-и, милая, теперь не то что говорить — думать боишься. Вот везу тебе эту крадену картошку, а сама все про себя повторяю: «Не крадена, не крадена!» — мыслей боюсь.

— У кого же ты картошку-то крадешь?

— У себя, милая, у себя. На собственном огороде. Ленин-то с пулеметами сторожит — не позволяет. Ну а мы наловчаемся — ночью накопаем и до свету в город бежим. Очень страшно. Ну а Ленин тоже, сама понимаешь, от слова не отступится, ему это надо.

— Что — надо?

Баба оглядывается и начинает шептать, втягивая в себя воздух со свистом и всхлипом:

— Милая! Ему немецкий царь обещал. Изведи ты мне, говорит, весь православный народ, а я тебя за это в золотом гробу похороню. Подумай только — в золотом гробу! Вот он и старается. Всякому лестно. Доведись хушь нам с тобой — разве отказались бы?

— Ну еще бы! Только давай.

Привозила баба и баранину. Откуда-то издалека. Сначала все вести подавала — скоро будет. Девчонка прибежала, глазами крутила, шептала со свистом и с ужасом непередаваемым:

— Тетенька Лукерья поехали. Наказали ждать.

Потом прибежала:

— Тетенька Лукерья приехали. Наказали сказать: что, мол, сказано, то сделано.

Потом являлась сама баба. Лицо обветренное и бюст неестественный: под кофтой, у самой подложечки, подвязан тряпицей вялый сизый лоскут баранины.

— Вот, милая, — торжествует баба. — Получай. Твое.

Бабу разматывают, усаживают.

Баба величается и рассказывает:

— Еду я, кругом ужаси.

Словом, все как следует.

— И вот баранину я тебе предоставила. А кроме меня, никто не может. А почему? А потому, что я с понятием. Я твою баранину под собой привезла. Я как села на нее, так шесть часов на ней и проехала. Ни на минуточку не слезла, не сворохнулась. Уж потерплю, думаю, зато моя барыня вкусно поест. Кругом солдаты обшаривают, чуть что — живо нанюхают и отберут.

Мы бабе льстили, хвалили ее и называли Ангел-баба.

Поили бабу чаем — впрочем, без чая и без сахара.

Просто какой-то морковкой, травой — словом, что сами пили, тем и потчевали.

Баба пила, дула на блюдечко, нос распаривала — издали смотреть, так совсем будто чай пьет.

Рассказывала впечатления:

— А в деревне в этой слепая есть. Такая это удивительная слепая, что все она тебе видит не хуже зрячего. Такая ей, значит, сила дадена. Старуха уже. У дочки на покое живет. Так эта слепая всю судьбу нашу наперед знает, такая ей сила дадена. Так прямо народ удивляется.

— Ну и что же она предсказала?

— Ничего. Ничего, милая ты моя, не предсказала, потому, говорит, ей хоша все показано, но объявлять запрещено. Вот какие чудеса на свете-то. А мы живем во грехах и ни о чем не подумаем.

— Так ничего ни разу и не предсказала?

— Одному мужику предсказала. Через месяц, сказала, беспрременно помрет. Болен был мужик-то.

— Ну и что же — умер?

— Нет, милая ты моя. Не умер. Так прямо народ даже удивляется.

Впоследствии баба сделала блестящую карьеру. Воруя собственную картошку и торгуя бараниной «из-под себя», баба так округлила свой капитал, что у одного богатого инженера, собиравшегося удрать за границу, купила на сто тысяч ковров.

— Из щелей дует, избу топить нечем — горе мыкаем, — скромно объясняла она.

Вот соберемся, вспоминаем бывшее житье-бытье. Ангела-бабу. Едим в ресторане всякие эскалопы и мутоншопы\*.

— А ведь нигде такой баранины нет, как, помните, баба привозила?

— И не достать нигде, и приготовить нельзя, потому что шесть часов на ней сидеть надо — кто же при здешнем бешеном жизненном темпе согласится...

— А что-то та, слепая, что не хуже зрячего? О чем она теперь помалкивает? И что ей теперь дадено?



---

\*Баранина с пивом (от фр. mouton — баран; chore — кружка пива).



**Д**ушно пахло шоколадом,



теплым шелком платьев и табаком.

Раскрасневшиеся дамы пудрили носы, томно и гордо оглядывали публику — знаю, мол, разницу между мною и вами, но снисхожу.

И вдруг, забыв о своей гордой томности, нагибались над тарелкой и жевали пирожное, торопливо, искренне и жадно.

Услужавшие девицы, все губернаторские дочки (думали ли мы когда-нибудь, что у наших губернаторов окажется столько дочек), поджимая животы, протискивались между столиками, растерянно повторяя:

— Один шоколад, один пирожное и один молоко...

Кафе было русское, поэтому — с музыкой и «выступлениями».

Выступил добродушный голубоглазый верзила из выгнанных семинаристов и, выпятя кадык, изобразил танец апаша. Он свирепо швырял свою худенькую партнершу с макаронными разъезжающимися ножками, но лицо у него было доброе и сконфуженное.

«Ничего не попишешь, каждому есть надо», — говорило лицо.

За ним вышла «цыганская певица Раиса Цветкова» — Раечка Блюм. Завернула верхнюю губу, как зевающая лошадь, и пустила через ноздри:

Пращвай, пращвавай, подругва дарагавая!

Пращвай, пращвавай — цэганская сэмэа!..

Ну что поделаешь! Раечка думала, что цыганки именно так поют.

Следующий номер была — Сашенька.

Вышла, как всегда, испуганная. Незаметно перекрестилась и, оглянувшись, погрозила пальцем своему большоголовому Котьке, чтоб смирно сидел. Котька был очень мал. Крутлый нос его торчал над столом и сопел на блюдечко с пирожным. Котька сидел смирно.

Сашенька подбоченилась, гордо подняла свой крутлый, как у Котьки, нос, повела бровями по-испански и запела «Маркиту».

Голосок у нее был чистый, и слова она выговаривала просто и убедительно.

Публике понравилось.

Сашенька порозовела и, вернувшись на свое место, поцеловала Котьку еще дрожавшими губами:

— Ну вот, посидел смирно, теперь можешь получить сладенького.

Сидевшая за тем же столиком Раечка шепнула:

— Бросьте уж его. На вас хозяин смотрит. Около двери. С ним татарин. Черный нос. Богатый. Так улыбитесь же, когда на вас смотрят. На нее смотрят, а она даже не понимает улыбнуться!

Когда они уходили из кафе, продавщица, многозначительно взглянув на Сашеньку, подала Котьке коробку конфет:

— Приказано передать молодому кавалеру.

Продавщица тоже была из губернаторских дочек.

— От кого?

— А это нас не касается.

Раечка взяла Сашеньку под руку и зашептала:

— Это все, конечно, к вам относится. И потом я вам еще посоветую — не таскайте вы с собой ребенка. Уверю вас, что это очень мужчин расхолаживает. Верьте мне, я все знаю. Ну ребенок, ну конфетка, ну мама — вот и все! Женщина должна быть загадочным цветком (ей-богу!), а не показывать свою домашнюю обстановку. Домашняя обстановка у каждого мужчины у самого есть, так он от нее бежит. Или вы хотите до старости в этой чайной романсы петь? Так если вы не лопнете, так эта чайная сама лопнет.

Сашенька слушала со страхом и уважением:

— Куда же я Котьку дену?

— Ну пусть с ним тетя посидит.

— Какая тетя? У меня тети нет.

— Удивительно, как это в русских семьях всегда так устраиваются, что у них тетей нет!

Сашенька чувствовала себя очень виноватой.

— И потом надо быть повеселее. На прошлой неделе Шнутрель два раза для вас приходил, да, да, и аплодировал, и к столику подсел. А вы ему, наверное, стали рассказывать, что вас муж бросил.

— Ничего подобного, — перебила Сашенька, но густо и виновато покраснела.

— Очень ему нужно про мужа слушать. Женщина должна быть Кармен. Жестокая, огненная. Вот у нас в Николаеве...

Тут пошли обычные Раечкины чудеса про Николаев, роскошнейший город, Вавилон страстей, где Раечка, едва окончив про гимназию, сумела сочетать в себе Кармен, Клеопатру, Мадонну и шляпную мастерицу.

На другой день черноносый татарин говорил хозяину чайной:

— Ты мэнэ, Григорий, познакомь с этим дэвушкой. Она мэнэ сердце взяла. Она своего малшика поцеловала — в ней душа есть. Я человек дикий, а она мэнэ теперь как родственник, она мэнэ как племянник. Ты познакомь.

Маленькие яркие глазки татарина заморгали, и нос от умиления распух.

— Да ладно. Чего ж ты так расстраиваешься. Я познакомлю. Она действительно, кажется, милый человек, хотя — кто их разберет.

Хозяин подвел татарина к Сашеньке:

— Вот друг мой — Асаев, желает с вами, Александра Петровна, познакомиться.

Асаев потоптался на месте, улыбнулся растерянню. Сашенька стояла красная и испуганная.

— Можно пообедать, — вдруг сказал Асаев...

— У нас... у нас здесь обедов нет. У нас только чай, файф-о-клок до половины седьмого.

— Нэт... я говорю, что мы с вами поедем обедать. Хотите? Сашенька совсем перепугалась:

— Мерси... в другой раз... я спешу... мой мальчик дома.

— Малшик? Так я завтра приду.

Он криво поклонился, раз-два, точно поздравлял, и отошел.

Раечка схватила Сашеньку за руку:

— Возмутительно. Это же прямо идиотство. В нее влюбился богатейший человек, а она его мальчиком тычет. Слушайте, я завтра дам вам мою черную шляпу, и купите себе новые туфли. Это очень важно.

— Я не хочу идти на содержание, — сказала Сашенька и всхлипнула.

— На содержание? — удивилась Раечка. — Кто же вас заставляет? А что вам помешает, если богатый мужчина за вами сохнуть станет? Вам помешает, что вам будут подносить цветы? Конечно, если вы будете все время вздыхать и нянчить детей, то он с вами недолго останется. Он человек восточный и любит женщин с огнем. Уж верьте мне — я все знаю.

— Он, кажется, очень... милый! — улыбнулась Сашенька.

— А если сумеете завлечь, так и женится. Зайдите вечером за шляпкой. Духи у вас есть?

Сашенька плохо спала. Вспоминала татарина, умилялась, что такой некрасивый:

«Бедненький он какой-то. Любить его надо бы ласково, а нельзя. Нужно быть гордой и жгучей и вообще Кармен. Куплю завтра лакированные туфли! Нос у него в каких-то дырочках и сопит. Жалко. Верно, одинокий, непригретый».

Вспомнила мужа, красивого, нехорошего:

«Котьку не пожалел. Танцует по дансингам. Видели в собственном автомобиле с желтой англичанкой».

Всплакнула.

Утром купила туфли. Туфли сразу наладили дело на карменный лад.

— Тра-ля-ля-ля!

А тут еще подвезло: соседка-жиличка начала новый флюс — это значит дня на три, на четыре — дома. Обещала присмотреть за Котькой.

В Раечкиной шляпе, с розой у пояса, Сашенька почувствовала себя совсем демонической женщиной.

— Вы думаете, я такая простенькая? — говорила она Раечке. — Хо! Вы меня еще не знаете. Я всякого вокруг



пальца обведу. И неужели вы думаете, что я придаю значение этому армяшке? Да я захочу, так у меня их сотни будут.

Раечка смотрела недоверчиво и посоветовала ярче подмазать губы.

Татарин пришел поздно, и сразу к Сашеньке:

— Едем. Обедыть.

И пока она собиралась, топтался близко, носом задевал.

На улице ждал его собственный автомобиль. Сашенька этого даже и вообразить не могла. Немножко растерялась, но лакированные туфли сами побежали, прыгнули — словно им это было дело бывалое... На то, вероятно, их и сладили.

В автомобиле татарин взял ее за руку и сказал:

— Ты мэнэ родной, ты мэнэ как племянник. Я тэбэ что-то говорить буду. Ты подожди.

Приехали в дорогой русский ресторан. Татарин называл каких-то шашлыков рассеянно. Все смотрел на Сашеньку и улыбался.

Сашенька выпила залпом рюмку портвейна, думала, что для демонизма выйдет хорошо. Татарин закачался, и лампа поехала вбок.

Видно, не надо было так много.

— Я дикий, — говорил татарин и заглядывал ей в глаза. — Я такой дикий, что даже скучно. Совсем один. И ты один?

Сашенька хотела было начать про мужа, да вспомнила Раечку.

— Один! — повторила она машинально.

— Один да один будет два! — вдруг засмеялся татарин и взял ее за руку.

Сашенька не поняла, что значит «будет два», но не показала, а, закинув голову, стала задорно смеяться.

Татарин удивился и выпустил руку.

«Надо быть Кармен», — вспомнила Сашенька.

— Вы способны на безумие? — спросила она, томно прищулив глаза.

— Нэ знаю, нэ приходилось. Я жил в провинции.

Не зная, что говорить дальше, Сашенька отколола свою розу и, вертя ею около щеки, стала напевать: «Маркита! Маркита! Красотка моя!..»

Татарин смотрел грустно:

— Скучно тэбэ, что ты петь должен? Тяжело тэбэ?

— Ха-ха! Я обожаю песни, танцы, вино, разгул. Хо! Вы меня еще не знаете!

Розовые лампочки, мягкий диван, цветы на столах, томное завывание джаз-банда, вино в серебряном ведре. Сашенька чувствовала себя красавицей испанкой. Ей казалось, что у нее огромные черные глаза и властные брови.

Красотка Маркита...

— У тебя хороший малшик, — тихо сказал татарин.

Сашенька сдвинула «властные» брови:

— Ах, оставьте! Неужели мы здесь сейчас будем говорить о детях, пеленках и манной каше. Под дивные звуки этого танго, когда в бокалах искрится вино, надо говорить о красоте, о яркости жизни, а не о прозе... Я люблю красоту, безумие, блеск, я по натуре Кармен. Я — Маркита... Этот ребенок... я даже не могу считать его своим — до такой степени мое прошлое стало мне теперь чуждым.

Она вакхически закинула голову и прижала к губам бокал. И вдруг душа тихо заплакала!

«Отреклась! Отреклась от Котыки! От худенького, от голубенького, от бедного...»

Татарин молча высосал два бокала один за другим и опустил нос.

Сашенька как-то сбилась с толку и тоже молчала.

Татарин спросил счет и встал.

По дороге в автомобиле ехали молча. Сашенька не знала, как наладить опять яркий разговор. Татарин все сидел, спуская нос, будто дремал.

«Он слишком много выпил, — решила она. — И слишком волновался. Милое в нем что-то. Я думаю, что я его ужасно люблю».

Расставаясь, она многозначительно стиснула его руку:

— До завтра... да?

Хотела прибавить что-нибудь карменное, да так ничего и не придумала.

Дома встретила ее жиличка с флюсом:

— Ваш мальчишка хнычет и злится. Сладу нет. Я больше никогда с ним не останусь.

В полутемной комнате, под лампой, обернутой в газетную бумагу, на огромной парижской «национальной» кровати сидел крошечный Котька и дрожал.

Увидя мать, он затрясся еще больше и завизжал:

— Где ты пропадала, дулища?

Сашенька схватила его на руки, злого, визжащего, и шлепнула, но прежде чем он успел зареветь, сама заплакала и крепко прижала его к себе.





**М**не шел двадцать первый год.

Ей, моей дочери, четвертый.

Мы не вполне сходились характерами.

Я была в то время какая-то испуганная, неровная — либо плакала, либо смеялась.

Она, Валя, очень уравновешенная, спокойная и с утра до вечера занималась коммерцией — выторговывала у меня шоколадки.

Утром она не желала вставать, пока ей не дадут шоколадку. Не желала идти гулять, не желала возвращаться с прогулки, не желала завтракать, обедать, пить молоко, идти в ванну, вылезать из ванны, спать, причесываться: за все полагалась плата — шоколадка. Без шоколадки прекращалась всякая жизнь и деятельность, а затем следовал оглушительный систематический рев. И тогда я чувствовала себя извергом и детоубийцей и уступала.

Она презирала меня за мою бестолочь — это так чувствовалось, но обращалась со мною не очень плохо. Иногда даже ласкала мягкой, теплой, всегда липкой от конфет рукой.

— Ты моя миленькая, — говорила она, — у тебя, как у слоника, носик.

В словах этих, конечно, ничего не было лестного, но я знала, что красоту своего резинового слоненка она ставила выше Венеры Милосской. У каждого свои идеалы. И я радовалась, только старалась при посторонних не вызывать ее на нежность.

Кроме конфет, она мало чем интересовалась. Раз только, пририсовывая усы старым теткам в альбом, спросила вскользь:

— А где сейчас Иисус Христос?

И, не дожидаясь ответа, стала просить шоколадку.

Насчет приличий была строга и требовала, чтобы все с ней первой здоровались. Раз пришла ко мне взволнованная и возмущенная:

— Кухаркина Мотья вышла на балкон в одной юбке, а там гуси ходят.

Да, она была строга.

Рождество в тот год подходило грустное и заботное. Я кое-как смеялась, потому что очень хотела жить на божьем свете, и еще больше плакала, потому что жить-то и не удавалось.

Валя со слоненком толковала целые дни про елку. Надо было, значит, непременно елку схлопотать.

Выписала по секрету от Мюра и Мерелиза картонажи. Разбирала ночью.

Картонажи оказались прямо чудесные: попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики, но лучше всего был маленький ангел, с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блестках. Он висел на резинке, крылышки шевелились. Из чего он был — не понять. Вроде воска. Щечки румяные, и в руках роза. Я такого чуда никогда не видала.

И сразу подумалось — лучше его на елку не вешать. Валя все равно не поймет всей его прелести, а только сломает. Оставлю его себе. Так и решила.

А утром Валя чихнула — значит, насморк. Я испугалась:

«Это ничего, что она на вид такая толстуха, она, может быть, хрупкая. А я не забочусь о ней. Я плохая мать. Вот ангела припрятала. Что получше-то, значит, себе. «Она не поймет»!.. Оттого и не поймет, что я не развиваю в ней любви к прекрасному».

Под сочельник, ночью, убирая елку, достала и ангела.

Долго рассматривала. Ну до чего был мил! В коротенькой толстой ручке — роза. Сам веселый, румяный и вместе нежный. Такого бы ангела спрятать в коробочку, а в дурные дни, когда почтальон приносит злые письма, и лампы горят тускло, и ветер стучит железом на крыше, — вот тогда только позволить себе вынуть его и тихонько поддержать за резиночку и полюбоваться, как сверкают золотые блестки и переливаются слюдяные крылышки. Может быть, бедно все это и жалко, но ведь лучшего-то ничего нет..

Я повесила ангела высоко. Он был самый красивый из всех вещей, значит, и надо его на почетное место. Но была еще одна мысль, тайная, подлая: высоко, не так заметно для людей «маленького роста».

Вечером елку зажгли. Пригласили кухаркину Мотью и прачкиного Лешеньку. Валя вела себя так мило и ласково, что черствое сердце мое оттаяло. Я подняла ее на руки и сама показала ей ангела.

— Ангел? — деловито спросила она. — Давай его мне. Я дала.

Она долго рассматривала его, гладила пальцем крылышки.

Я видела, что он ей нравился, и почувствовала, что горжусь своей дочерью. Вот ведь на идиотского паяца не обратила никакого внимания, а уж на что яркий.

Валя вдруг, быстро нагнув голову, поцеловала ангела...

— Милая!..

Тут как раз явилась соседка Ньюшенька с граммофоном, и начались танцы.

«Надо бы все-таки ангела пока что спрятать, а то сломают они его...» Где же Валя?

Валя стояла в углу за книжным шкафом. Рот и обе щеки ее были вымазаны во что-то ярко-малиновое, и вид ее был смущенный.

— Что это, Валя? Что с тобой? Что у тебя в руке?

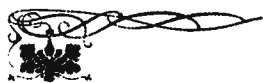
В руке ее были слюдяные крылышки, сломанные и смятые.

— Он был немножко сладкий.

Нужно скорее вымыть ее, вытереть ей язык. Может быть, краска ядовитая. Вот о чем надо думать. Это главное. Кажется, слава богу, все обойдется благополучно. Но отчего же я плачу, выбрасывая в камин сломанные слюдяные крылышки? Ну не глупо ли? Плачу!..

Валя снисходительно гладит меня по щеке своей мягкой рукой, теплой и липкой, и утешает:

— Не плачь, глупенькая. Я тебе денег куплю.



**О**чень много писалось о том,

что надо беречь русский язык, обращаться с ним осторожно, не портить, не искажать, не вводить новшества.

Призыв этот действует. Все стараются. Многие теперь только и делают, что берегут русский язык. Прислушиваются, поправляют и учат.

— Как вы сказали? «Семь раз примерь, а один отрежь»? Это абсолютно неправильно! Раз человек меряет семь раз, то ясно, что вид надо употребить многократный. Семь раз при-ме-ри-вай, а не примерь.

— Что?! — возмущается другой. — Вы сказали — «вынь да положь»? Что это за «положь»? От глагола «положить» повелительное наклонение будет «положи», а не «положь». Как можно так портить язык, который мы должны беречь как зеницу ока!

— Как вы сказали? Надеюсь, я ослышался. Вы сказали: «я иду за вином»? Значит, вино идет впереди вас, а вы за ним следуете? Иначе вы бы сказали: «я иду по вино». Как говорят: «я иду по воду», — и так и следует говорить.

Давят, сушат, душат!

Думал ли кто-нибудь, живя в России, правильно ли он говорит? Приходило ли кому-нибудь в голову сомневаться в законности своего произношения или оборота фразы?

Огромная Россия сочетала сотни наречий, тысячи акцентов. Каждая губерния, каждый уезд окали, цокали, гакали по-своему. Тот сухой академический язык, который рекомендуется нам сейчас, существовал лишь в литературе, когда автор вел речь от себя, потому что, как только начинал писать языком живым, на котором люди говорят, сейчас перед читателем выявлялась личность, от которой слова шли. Под безличным, гладким литературным языком автор прячется, отрекается от себя, говорит «объективно».

«Чуден Днепр при тихой погоде»...

Это не значит: «я *нахожу*, что Днепр чуден». Это значит, что он чуден, и этот факт я сообщаю.

Если же вы прочтете восхваление Днепру, выраженное разговорным языком, то сразу увидите, кто говорит.

— Ну и Днепр! Ну и речища!.. — говорит помещик, исправник, купец.

— Днепр в хорошую погоду — это сама прелесть!.. — скажет провинциальная барышня.

Если бы пришел к вам приятель шофер или репортер, человек деловой и нормальный, сел, закурил папиросу и сказал:

— Вспомнился сегодня Днепр. Какая чудесная река, особенно при тихой погоде.

Ладно.

А если бы он сказал:

— Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит, и т. д.

Не ладно! Подумали бы, что он спятил, даже если бы Гоголя не читали и могли допустить, что он сам так вдохновился.

Литературный язык в разговоре безобразен потому, что мертв.

В России все мы говорили на живом языке. Он всегда менялся, отбрасывал изжитое, впитывал новое, не боялся ничего. Все участвовали в создании его, в питании новыми соками. Никто никого не одергивал, не исправлял, не останавливал.

Ich singe wie der Vogel singt\*.

Именно как птица, как чувствовалось.

Наш петербургский язык был самый блеклый и чопорный. Даже соседка Москва казалась немножко провинциальной и вульгарной.

— Зачем говорить «што» вместо «что»? Зачем тянуть «скушно» вместо быстрого «сучно»?

И когда во время войны хлынули в обе столицы беженцы с юга, с запада и с юго-запада, тут мы пришли в настоящую ярость:

— Как смеют говорить «извиняюсь»!

---

\*Я пою так, как поет птица (нем.).



— Как смеют «ехать поездом», а не «в поезде»! И почему все время «так», и зачем «жеж» вместо «же»! «Так я жеж ехал вагоном».

Очень все это раздражало.

Но когда мы сами двинулись в путь, хлынули сплошным потоком вниз через всю Россию, то услышанные на месте все эти горькие грехи против чистого русского языка, — они уже не показались (мне по крайней мере) такими отвратительными.

Они, оказывается, просто, как нежные фрукты, не выносили перевозки.

Русский язык, на котором говорят в Одессе, считается верхом лингвистического безобразия. Конечно, если писать на этом языке «Критику чистого разума» или «Историю романтизма Западной Европы», если бы этим языком заговорила фрейлина большого двора на приеме у императрицы, — вышло бы действительно неладно.

Но там, в Одессе, на родной почве, на улицах, где суетятся юркие дельцы, будущие банкиры, и медленно гуляют бывшие банкиры, бывшие юркие дельцы, где все время что-то считают и в чем-то друг друга убеждают, — там этот язык выразителен и чудесен.

В первый же день моего приезда сидела я в холле большого одесского отеля. Здесь же вертелся неизвестный мне субъект местного типа. И ясно было, что хочет заговорить. Наконец нашелся.

— Скажите, — спросил он, — вы, значит, тоже пассажир?

— Что? — растерялась я.

— Ну да. Раз вы живете в этой гостинице — значит, вы здешний пассажир. Вы видели море?

— Что?

— Море, так это море. Что?

Вот это был живой язык! Таким языком у нас на севере рассказывали только анекдоты, а здесь он жил, живой, юркий, гибкий, и чего только не плел.

— Скажите, ли вы придете к нам?

Все правильно, только «ли» перескочило: и получается презабавная штука, от которой сразу делается весело.

Ответ иронически-любезный:

— Или!

Это значит: «Вы хотите сказать: или не придете? Так неужели вы можете предположить, что я не приду?!»

Видите, как сложно, как тонко!

Этот одесский язык был исключительно красочный.

Но ведь недурны и наши сибирские «однако», и удивительные окрики «кромел!», когда человек недовольно прерывает собеседника, грозно подняв указательный палец.

И все это хорошо.

Не может умереть, замереть, застыть живой язык. В одесских школах, наверное, тоже зубрят «Чуден Днепр», но говорят: «таки он себе чуден».

Какие бы шлюзы ни ставили сейчас нашему бедному эмигрантскому языку, он прорвет их, и если суждено ему стать уродом, то и станет, и будет живым.

Чем питать его? Старыми нашими истрепанными книжками?

А самим нам много ли веку осталось!

Горько, жалко, но это так.

А разве там, в России, не отошел язык от старого русла? Разве он тот, каким мы его оставили? Почитайте их разговорную литературу. Поговорите с приезжими. Прислушайтесь.

Мы еще храним старые заветы, потому что любим наше прошлое, всячески его бережем. А они не любят и отходят легко и спокойно.

И мы хотя будем очень горевать, но уйдем тоже.





## Заседаем в комитете

по устройству благотворительного вечера.

— Кого же пригласить?

— Эх, будь здесь Анна Павлова, да согласись она протанцевать, вот это действительно был бы номер!

— Н-да. А кого же из певцов? Господа, не знает ли кто-нибудь из вас кого-нибудь, кто бы согласился?

— Эх, будь здесь Шаляпин, да согласись он выступить, вот это действ...

— Позвольте, господа, ближе к делу!

— Для рекламы нужны громкие имена, нужны знаменитости, которые могут привлечь публику.

— Я знаю одну барышню, которая, кажется, недурно поет. Может быть, если бы она согласилась...

— Ладно. Давайте барышню. А как ее фамилия?

— К сожалению, не знаю. Что-то вроде Федько.

— Не Федько, а Бумазеева. Так она рисует, а не поет.

— Не все ли равно, господа, о чем спорить! Нужно скорее намечать исполнителей, а то мы никогда не кончим.

— Кто, господа, берет на себя пригласить госпожу Бумазееву? Иван Петрович, вам, кажется, принадлежит мысль?

— Я, собственно говоря... конечно, мог бы, но я не зваю ее адреса.

— В таком случае, может быть, вы возьмете на себя узнать ее адрес к следующему заседанию? Поймите же, нам необходимо женское сопрано.

— Я, конечно, мог бы, только она ведь не поет. Она рисует...

— Ну урезоньте ее как-нибудь, объясните, что это общественное дело, что долг каждого человека...

— Разрешите сказать два слова. Что, если пригласить кого-нибудь из французских литераторов? Например, Пьера Лоти. Он, говорят, любит русских.

— Отлично, я стою за Лоти!

— Да что вы, господа, ведь он недавно умер.

— Умер? Ну тогда действительно неладно.

— Ничего с французами не выйдет, верьте моему опыту. Все хорошие французы по вечерам заняты.

— Можно какого-нибудь и плохого, не все поймут. Или какого-нибудь шансонье...

— Простите, господа, но мы не должны забывать, что вечер должен носить идейный характер, что он устраивается в пользу нуждающихся.

— Ну, знаете ли, благотворительные вечера никогда в пользу богатых и не устраиваются, и это не мешает им быть веселыми.

— Н-не знаю-с. Лично для себя считаю неудобным поселиться, когда люди страдают.

— Тогда надо было устраивать не бал с концертом, а уж не знаю что. Сечь их всех, что ли.

— Господа, ближе к делу. У нас мало времени. Раз решено устроить бал, так будем устраивать бал.

— А что-нибудь печальное или вообще неприятное мы можем устроить впоследствии.

— Э, господа, программа — это, как говорится, дело девятое, главное — продавать билеты.

— Но мы не можем же начать продавать билеты, пока не выяснена программа.

— В Костроме был один гимназист, который чудесно свистел.

— Чего-с?

— Нет, это я так.

— По-моему, раз нужно начинать с программы, так и начнем с программы. Ну вот, дайте карандаш. Номер первый — музыка или пение? Кто бы мог сыграть?

— Кусевицкий\* мог бы. Он в Америке.

— Гм, Кусевицкий. Ну, значит, так и запишем: номер первый — Кусевицкий в Аме... то есть, позвольте, как же?..

— Можно составить хор любителей. Сделать тридцать — сорок хороших репетиций...

— Да где же вы любителей наберете?

---

\*Сергей Кусевицкий — известный русский дирижер и контрабасист.

— Дать публикацию в газетах, набрать голоса, развить, пусть пройдут серьезную школу. Не забудьте, что Патти была уличной певицей.

— Идея, может быть, и хороша, да времени мало. Ведь на это, пожалуй, лет десять...

— Ну что вы! Русский народ так талантлив!

— А репетиции? Ведь у нас времени всего три недели.

— Все-то у вас репетиции! Вдохновение нужно, а не репетиции. У нас в России маляры пели без всяких репетиций, а, бывало, заслушаешься.

— Ну хорошо. Значит, вы берете на себя организовать нашему балу хор любителей?

— Почему же непременно я? Это так просто, идея, если хотите, набросок, мазок.

— А если выпустить кого-нибудь из писателей? Все-таки соль земли русской.

— Ну, знаем мы эту соль. Сядет и задудит самому себе в ноздри. Тощица. Только и развлечение для публики, что друг на друга шипеть, чтобы не разговаривали.

— Ах, вы так рассуждаете? А по-моему — именно писатели. Напустить на них писателя, чтобы он бичевал с эстрады своим пылающим словом. Вы, мол, пришли сюда для забавы? Хохотать пришли? Веселиться? А подумали ли вы о тех, кому не до веселья? Да хорошенько их, да хорошенько, чтобы завопили не своим голосом.

— Послушайте, да за что же? Люди пришли, деньги заплатили, сами вы их заманивали, то, мол, и се, концерт, и танцы, и джаз-банд, и буфет. За что же обижать-то?

— Не обижать, а перевоспитать. После сами поблагодарят.

— Опять у нас, господа, ни с места. Ну хорошо, если не литератора, тогда кого же? С чего начинать?

— Да ведь решили с музыки.

— Тут я не спорю. Музыка хорошо. Только что-нибудь мрачное. Траурный марш Вагнера из «Гибели богов»... А? Затем уже весь вечер выдержать. «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам скажет сердечное русский народ». Вот как...

— Да уж сеяли. Да уж сказал. Чего вам еще?

— Господа, не знает ли кто-нибудь хорошего конференсье? Надо же пригласить конференсье.

— Можно попросить Никиту Балиева\*, он сейчас в Лондоне.

— Так у него же там спектакли!

— Ну что же, может на один-то вечер...

— Покойный Горбунов чудесный был рассказчик.

— Вы думаете, согласился бы?

— А насчет помещения сговорились?

— По-моему, взять «Гранд-Опера» да продать все билеты по пятьсот франков, вот это было бы дело.

— Илья Сергеевич, а ведь ваша жена, кажется, поет. Вот, может быть, согласилась бы выступить?

— Господь с вами! Никогда в жизни не пела. Ни малейшего голоса.

— Ну, для такой святой цели, может быть, согласилась бы? Что-нибудь небольшое, а?

— Да я же вам говорю — ни слуха, ни голоса.

— А если так, отрывок из оперы? А? Цель-то уж больно хороша. Вы ей объясните, втолкуйте.

— Господи, пятый час, я на заседание опоздаю...

— Неужели пятый? Мне тоже давно пора.

— Одну минуту, нужно же, чтобы секретарь прочел результаты сегодняшнего заседания. Пожалуйста, Александр Иванович. Вкратце.

— Решено сделать печальную рекламу и мрачные номера. Пригласить для исполнения Шаляпина из Америки, Анну Павлову (неизвестно где), Кузевитского — тоже из Америки, потом неизвестную девицу и госпожу Бумазееву, потом литератора для огорчения публики, Никиту Балиева (Лондон) и покойного Горбунова. Пока все.

— Ну вот, господа, все-таки нечто уже сделано. Время провели даром. На следующем заседании выясним все окончательно.

— До свидания.

— До свидания.

— А может быть, больше и не стоит собираться, раз дело уже налажено?

---

\*Никита Балиев — директор популярного в Москве театра-кабаре «Летучая мышь».



— Доктор Коробка

— Это я-с. Войдите, пожалуйста. Это кто?

— Это мой сын. Я, собственно говоря...

— Простите, я вас перебую. Садитесь. Пусть и сын сядет. Прежде всего, кто вам меня рекомендовал?

— Консьержка рекомендовала. Здесь, говорит, доктор живет, только вы, говорит, к нему не ходите. Ну а где нам по дождю болтаться из-за пустяков, потому что...

— Простите, я вас перебую. Консьержка дура. Занозила палец в двенадцать часов ночи. Я ей промыл палец, да только не тот. Она бы еще в два часа пришла. Да и не в том дело. Я, собственно говоря, практикой уже лет двадцать не занимаюсь. Я помещик и страстный охотник. Какие у меня собаки были! Евстигнеев говорил: «Продайте». Я говорю: «Дудки-с». До женитьбы действительно практиковал. По части акушерства. Дрянное дело. Это по две ночи не спи, давай мужу валерьянки, теще бром и подбодрай всех веселыми анекдотами, а дура орет, и черт ее знает, что еще там у нее родится. Дудки, слуга покорный. Женился и сел помещиком. Ну а теперь придется тряхнуть стариной. Положение беженское, да и хочется быть полезным. Итак, сударыня, чем вы страдаете?

— Это вот у сына горло болит.

— Ах, у сына. Ну ладно — у сына так у сына. Сколько вам лет, молодой человек?

— Двенадцать.

— Двенадцать? Стало быть, так и запишем... две... над... цать лет. Бо... лит гор... ло. Тэк-с. И что же, сильно болит?

— Немножко глотать больно.

— Извините, я вас перебую. От какой болезни умерли ваши родители?

— Да ведь это мой сын, доктор, я жива.

— А отец?

— На войне убит.

— Извините, я вас перебую. Не страдает ли чем-нибудь бабушка пациента, как-то: запоем, хирагрой, наследственной язвой желудка? На что ваша бабушка жалуется? Пациент, я вас спрашиваю!

— Ба... бабушка все жалуется, что денег нет.

— Извините, я вас перебую. Нужно систематически. Какими болезнями страдали вы в детстве? Не наблюдалось ли запоя, хирагры, наследственной язвы желудка? Вы что на меня смотрите? Это у меня всегда так борода прямо из-под глаз росла. Итак, значит, родители и даже предки буквально ничем не страдают. Так и запишем. Двенадцать лет, болит горло, родители и предки здоровы. Не было ли у вас в семье случая чахотки?

— Нет, Бог миловал.

— Вспомните хорошенько.

— Мапочка, у тети Вариной гувернантки чахотка была.

— Ага! Вот видите! Наследственность-то не того. Так и запишем. Туберкулез — единичный случай. Детей у вас не было? Я спрашиваю, детей у вас не было?

— Это вы ко мне обращаетесь?

— Я спрашиваю у пациента. Впрочем, виноват... В таком случае — когда у вас... виноват... да вы на что жалуетесь-то? Ах да, у меня записано: «Двенадцать лет, болит горло». Чего же вы так запустили-то? Двенадцать лет!

— Да нет, доктор, у него только вчера к вечеру заболело.

— Гм... странно... Почему же запись говорит другое?.. Ваш дед, прадед на горло не жаловались? Нет? Не слышали? Не помните? Ну-с, теперь разрешите взглянуть. Скажите «а». Еще «а-а-а»! Тэк-с. Здорово коньяк хлещете, молодой человек, вот что. Нельзя так. Все горло себе ободрали.

— Позвольте, доктор, да ведь он...

— Извините, я перебую. Так нельзя. Конечно — отчего же не выпить! Я это вполне понимаю. Ну выпейте рюмку, другую. Словом — рюмками пейте, а не дуйте стаканами. Какое же горло может выдержать! Это крокодилова кожа не выдержит, не то что слизистая оболочка.



— Да что вы, доктор, опомнитесь! Да какой там коньяк! Я ему даже слабого вина никогда не даю. Ведь он еще ребенок! Я не понимаю.

— Извините, я перебую. Я, конечно, не спорю, может быть, он и не пьет, хотя... я в диагнозе редко ошибаюсь. В таком случае, он пьет слишком горячие напитки. Это абсолютно недопустимо. Ах, господа, ну как это так не понимать, какое это имеет значение! Почему, скажите, животное, собака понимает, а человек понять не может. Да собака вам ни за какие деньги горячего есть не станет. Вот положите перед ней на стол десять тысяч — не станет. А человек даром всю глотку сожжет, а потом к докторам лезет — лечи его, подлеца, идиота.

— Позвольте, доктор...

— Извините, я перебую. Какая температура была у больного вчера?

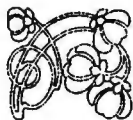
— Да вчера у него совсем никакой температуры не было. Сегодня мы тоже ме...

— Извините, я перебую. Вы рассказываете невероятные вещи. Все на свете имеет свою температуру, не только люди, но и предметы.

— Да я говорю, что жару не было.

— А я вас перебиваю, что если даже у вашего сына было пятьдесят градусов ниже нуля, так и то это называется темпе-ра-ту-ра, а не собачий хвост. Удивительные люди! Идут к врачу — температуры не знают, болезни своей не понимают, собственных родственников не помнят и еще спорят, слова сказать не дадут. И вот лечи их тут! «Консьержка к вам послала!» Да она вас к черту пошлет, так вы к черту пойдете? Куда же вы? Эй! Полощите борной кислотой эту вашу ерунду. Да не надо мне ваших денег, я с русских не беру, а с болванов в особенности. И не пойте на морозе! Эй! Вы там! Не свалитесь с лестницы! Куда вы лупите-то! Я ведь вас не бью!

Итак, запишем: второй пациент... пациент номер второй. Необъяснимая болезнь гортани... Эге! Практика-то развивается. Если так пойдет...



## Тригорий Петрович

**Т**го так зовут: Тригорий Петрович.

Был он когда-то капитаном русской армии. Теперь он беженец.

В Париж попал не совсем уж бедняком. У него было две тысячи франков.

Но как человек практический, а главное, насмотревшийся на русское беженское горе, решил деньги эти поберечь про черный день (точно чернее нашей жизни теперешней что-нибудь может быть!) и стал искать поскорее заработков.

Пущены были в ход самые высокие связи — русский трубочист и бывший полицмейстер. Судьба улыбнулась. Место нашли в русском гастрономическом магазине. Быть приказчиком.

Тригорий Петрович раздул ноздри и сказал хозяину:

— Постараюсь, как честный человек, честно выполнять принимаемую на себя обязанность.

Хозяин посмотрел на него внимательно и задумался.

Тригорий Петрович надел белый передник, зачесал волосы ершом и принялся изучать товар. Целый день тыкался носом по кадкам и ящикам и повторял:

— В этой кадке огурцы, в этой кадке чернослив, в этом мешке репа. В той коробке абрикос, в той коробке мармелад, на тарелке грузди. Справа в ящике халва, слева в кадочке икра, в центре макароны...

Хозяин долго слушал, наконец робко спросил:

— Для чего, собственно говоря, вы это делаете?

Тригорий Петрович очень удивился:

— То есть как это так «для чего»? Должен же я знать, где что находится.

— Да ведь товар-то весь на виду — взглянете, все и увидите.

Григорий Петрович еще больше удивился:

— А ведь вы, пожалуй, правы. И ваша система значительно упрощает вопрос. Действительно, если посмотреть, так и увидишь. Весьма все это любопытно.

Через недельку обжился, пригляделся и пошел торговать.

— Вам, сударыня, чего прикажете? Творогу? Немножко, по правде говоря, подкис, однако если не прихотливы, то есть сможете. Конечно, радости в нем большой нет. Лучше бы вам купить в другом месте свеженького.

— Да разве это можно? — удивляется покупательница. — Мне ваша хозяйка говорила, что вы специально на какой-то ферме творог заказываете.

— И ничего подобного.

— Она говорила, что, кроме вашего магазина, во всем Париже творогу не достать. Я вот с того конца света к вам ехала. Три пересадки.

— И совершенно напрасно. Пошли бы на центральный рынок, там сколько угодно этого добра-то. Хоть задавись.

— Да быть не может!

— Ну как так не может: мы-то где берем? Я сам через день на рынок езжу и покупаю. Я лгать не стану. Я русский офицер, а не мошенник.

Дама уступила с трудом и обещала, что сама поедет на рынок.

— Вот так-то лучше будет, — напутствовал ее Григорий Петрович.

— А вам, сударь, чего угодно? — оттирая плечом хозяйина, двинулся он к новому покупателю.

— Мне — десяточек огурцов.

— Десяток? Не многовато ли будет — десяток-то? Вам, виноват, на сколько же человек?

— На восемь.

— Так вам четыре огурца надо, а не десяток. Огурец ведь здесь не русский, здесь крупный огурец; его пополам разрезать — на двоих вполне хватит. А уж если пять возьмете, так уж это от силы. Я русский офицер, я врать не могу. А вам, сударыня, чего?

— Мне кулебяки на двадцать пять франков.

— Позвольте — да вам на сколько же человек?

— На десять.

— Позвольте — кроме кулебяки ведь еще что-нибудь подадите?

— Ну, разумеется. Суп будет, курица.

— Да вам если и без курицы, так и то на двенадцать франков за глаза хватит, а тут еще и курица. Больше чем на десять и думать нечего.

— А мне ваша хозяйка говорила, что надо на двадцать пять.

— А вы ее больше слушайте, она вам еще и не того скажет. Я русский офицер, я врать не могу.

\*\*\*

Когда Григория Петровича выгнали (а произошло это приблизительно через два дня после начала его торговли), пошел он наниматься на автомобильный завод.

Раздул ноздри и сказал:

— Я человек честный, скажу прямо — делать ничего не умею и особых способностей не чувствую.

На заводе удивились, однако на службу приняли и поставили к станку обтачивать гайку. Точил Григорий Петрович четыре дня, обточил себе начисто три пальца, на пятый день пригласили его в кассу:

— Можете получить заработанные деньги.

Григорий Петрович ужасно обрадовался:

— Уже? Знаете, у вас дело чудесно поставлено!

— Да, у нас это все очень строго.

— Подумать только — на других заводах не раньше как через пятнадцать дней, а тут вдруг на пятый.

— У нас тоже ведь не всем так платят, — объяснила кассирша.

— Не всем?

Григорий Петрович даже покраснел от удовольствия:

— Вот уж никак не думал... Я даже считал, что мало способен... Так, значит, не всем?

— Да, не всем, — любезно ответила кассирша. — Это только тем, кого выгоняют...

\*\*\*

В поисках занятия и службы познакомился Григорий Петрович с двумя неграми. Негры жили в Париже уже давно, и оба происходили с острова Мартиника.

Узнав, что у Григория Петровича есть две тысячи, негры страшно взволновались и тут же придумали издавать журнал специально для Мартиники. Они знают потребности этого острова. В дело внесут свой труд. Григорий Петрович — деньги, барыши поровну.

Григорий Петрович согласился с восторгом, только очень мучился, что негры на него трудиться будут. Во сне видел хижину дяди Тома. На другой день при свидании стал убеждать негров, чтобы они взяли каждый по две части прибылей, а ему дали одну. Но негры ничего не поняли и даже стали смотреть подозрительно. Однако за дело принялись ревностно. Решили так: каждый напишет по статье. Один об оливковом масле — это теперь, сказал он, в большой моде. Другой — про гуттаперчевые мешки. Потом картинки. Потом оба переведут какой-нибудь иностранный рассказ и попросят одного знакомого испанского генерала написать стихи, которые они тоже переведут. Все это составит чудесный первый номер, который весь целиком будет послан на Мартинику и раскуплен там, конечно, в первый же день по баснословной цене. Потом, поделив барыши, можно выпустить второй номер.

Дело только задержал немножко испанский генерал, который долго кобенился и уверял, что стихов отродясь не писал; наконец уломали. Негры перевели.

— Это что же, — робко спросил Григорий Петрович, — верно, что-нибудь патриотическое, боевое, военное? Я ведь в стихах пас.

— Нет, — говорят, — наоборот: про ландыши.

Напечатали пробный номер. На это ушли все деньги Григория Петровича; негры уверяли, что еще своих прикинули. Потом живо уехали в Марсель грузить журнал.

Григорий Петрович никогда больше не встречался с ними.

Мучился долго — не прогорели ли негры на этом деле, и чувствовал себя мошенником.



**К**огда он вернулся,

Лизетта спрыгнула с кровати, где, по обычаю своему, целыми часами сосредоточенно разглядывала собственные ноги и придумывала себе псевдоним для артистической карьеры. Хороший псевдоним и хорошие чулки — это, конечно, главное, и раз это дело в порядке, то искусство набегит уж само собой. А если пустить себя по живописи, так тут и чулок не надо, с одним псевдонимом уравнишься. Последний псевдоним и был «Лизетта».

Лизетта спрыгнула с кровати:

— Выдали? Принес? Да отвечай же!

Но взглянула на него и сразу все поняла без ответа:

— Отвечай, подлец!

Лицо у него было безнадежно унылое, вытянувшееся, и смотрел он вбок, и качал головой, как баба, разбившая чашку:

— Нет, Лизетточка. Все кончено. Не выгорело мое дело. Окончательный провал.

— Что-о?

— Провал. И надеяться не на что. Придется искать службишку на заводе.

Он сел и тупо уставился в угол.

Лизетта растерянно раскрыла рот, точно задохнулась, и вдруг дрыгнула ногами и завизжала так громко, что он даже вздрогнул:

— А-а! Так! Теперь, значит, не на что надеяться? Значит, все это вранье было? Отвечай, подлец, когда с тобой говорят!

— Чего ты кричишь? — удивился он. — При чем тут вранье?

— При чем вранье? С первой встречи долбил, что вот-вот двадцать тысяч получит. Восемь месяцев врал изо

дня в день, всю душу измотал. А я-то, дура, верила ему, собаке, каждое утро молоко на спиртовке кипятила. Как самая последняя идиотка, пиджак ему починяла, дураку паршивому.

— Нюрочка, то есть Лизетта, опомнись, что ты говоришь!

— Околпачил женщину, чертов раздрыпа!

— Господи! Что за выражения, что за жаргон! Лизетта, я не узнаю тебя. Жена преображенного офицера...

— Все мы за границей преображенные, нечего дурака валять.

— Так, стало быть...

— «Стало быть»! Видел ли еще свет такую идиотину. И я из-за него, из-за пуделя зобатого, молодость свою загубила и карьеры лишилась. Да если бы я тебя, проходимца, на пути своем несчастном не встретила, так теперь, может быть, давно бы уже в опере пела.

— Лизетта! — воскликнул он в радостном ужасе. — Лизетта! Да ведь ты, оказывается, форменная дура. Форменнейшая дура.

— Теперь «дура»! Как все поняла, так «дура»! А когда в деньги твои верила да тебе, жулику треклятому, пиджаки зашивала, тогда не дура была? Тогда была умная?

— Вульгарнейшая баба! — все с большей радостью ужасался он.

— Теперь «баба», а как молоко ему кипятила, так тогда не баба. Нет, ты бы меня тогда бабой называл, когда я тебе молоко кипятила.

— Уди-ви-тельно. Нет, каково! Это прямо и не выдумаешь! — разводил он руками.

— Ты чего же расселся?! Думаешь, так и будет? Нет, милый мой, ищи себе другую дуру! Не твоему носу рябину клевать, это ягода нежная.

— Господи! Господи!

— Снимай чемодан со шкапа! Я укладываться буду.

— Да ведь это, между прочим, мой чемодан.

— Тво-ой? Ничего здесь твоего теперь нету. Работала на него восемь месяцев, пиджак зашила, как каторжная, да еще чемодана не смей тронуть. Нет, брат, не на таковскую напал. И наволочку возьму, и банку из-под варенья — она мне в новой жизни может быть полезна. И

уж конечно, спиртовку возьму. Она ни при какой карьере не может быть лишней.

Он встал, не спуская с нее удивленных глаз, стянул за ремень чемодан со шкафа и, стряхнув с рукавов пыль, сказал спокойно и тихо:

— Слушай, дура ты несчастная! Деньги я получил все сполна, все двадцать тысяч. Вот они, у меня в кармане. Видишь? Двадцать тысяч. А я вспомнил, что сегодня первое апреля, и решил пошутить, обмануть тебя.

— Молчи, Володька, глупый! Ха-ха-ха!

Лизетта от хохота повалилась на пол и брыкала ногами:

— О-ох! Не могу! Все дело испортил! Ха-ха-ха! Первое апреля! Первое апреля! Ха-ха-ха!

И, немного успокоившись, но все еще хохоча, прыгнула к нему на шею:

— Зачем же ты признался, глупенький мальчик? Ведь я хотела уложить чемодан и даже выйти за дверь, а уж оттуда закричать: «Первое апреля!» — и влететь обратно. А ты все дело испортил!

— Так, значит, ты... Значит, я... — лепетал он, стараясь освободить шею от цепких рук.

— Молчи, глупенький! Целуй свою Лизетку, которая тебя так хорошо надула!

— Ничего не понимаю. Значит, ты знала, что я получил деньги?

— Ничего я не знала. Не все ли равно, есть у тебя деньги или нет? Я тебя люблю. А как ты сказал, что дело провалилось, так я сразу и решила комедию разыграть. Ну, ка, думаю, поверит или не поверит? А ты, дурашка, и поверил. Ха-ха-ха!

— Н-да, я, признаться... — лепетал он.

— Ну на что мне твои деньги? Я сама — золото. Вчера Винский мне категорически обещал устроить меня в синема. Видишь, на что мне теперь деньги?

— Ну все-таки, первое время...

— Разве что первое время, — нехотя согласилась она и задумчиво прибавила: — А мне, в сущности, очень неприятно, что ты мог поверить, будто я такая грубая и жадная! А еще говорил, что любишь!

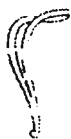


— Прости меня, маленькая! Я дурак. Но зато убедился, что ты действительно талантливая актриса. Дай мне твои ручки. Не сердишься?

— Не-мно-жко... Чу-уть-чу-уть!

Кто кого надул?





# О душах больших и малых

**В**се давно знали,

## 1. Анет

что он умирает. Но от жены скрывали серьезность болезни:

— Надо щадить бедную Анет возможно дольше. Она не перенесет его смерти. Тридцать лет совместной жизни. И он так баловал ее и ее собачек. Одинокая, старая, кому она теперь нужна. Какая страшная катастрофа! Надо щадить бедную Анет. Надо исподволь подготовить ее.

Но подготовить не успели: давно предвиденная развязка явилась все-таки неожиданной. Больной скончался во время докторского осмотра, в присутствии жены и родственников.

— Сударыня, — сказал, отходя от постели, доктор, — будьте мужественны. Ваш супруг скончался.

Родственники ахнули:

— Анет! Дайте воды! Где валерьянка? Соли, соли!

Анет подняла брови:

— Значит, умер?

Потом повернулась к сиделке:

— В таком случае, сегодня я вам заплачу только за полдня. Сейчас нет еще шести часов.

Сиделка застыла с криво разинутым ртом.

Втянув голову в плечи, на цыпочках вышел из комнаты доктор. Смерть! Где твое жало?

## 2. Джой

Джой был простой веселый пес, неважной породы, во всех смыслах среднего калибра.

Жил он в Петербурге и принадлежал докторше.

Дожил до того времени, когда люди стали есть собак и друг друга. Тощий, звонкий, как сухая лучина, корму не

получал, а только сторожил на общей кухне докторшин паек, чтобы никто не стащил кусочек, и жил всем на удивление.

— Кощей Бессмертный! С чего он жив-то?

Худые времена стали еще хуже. Докторша была арестована.

Вяло, для очистки совести, похлопотали друзья, навели справки и быстро успокоили друг друга: серьезного не могло ничего быть, так как докторша ни в чем замешана не была. Подержат немножко да и выпустят.

Пес Джой никаких справок навести не мог, но хлопотал и терзался беспредельно. Не ел ничего. Дворник из жалости много раз пытался покормить его — Джой не ел. Не хотел есть. Очень уж мучился.

Каждый день в определенный час бегал к воротам больницы и ждал выхода врачей. В определенные дни бегал в амбулаторию, далеко за город, где докторша иногда принимала. Наведывался по очереди ко всем знакомым, знал и помнил все адреса, все соображал и искал, искал.

Докторшу действительно выпустили через три недели.

Но пес не дождался, не дотянул.

От тоски и тревоги, от муки всей своей нечеловеческой любви околел он за день до ее выхода.

Говорили, что это очень банальная история, что сплюшь и рядом собаки издыхают на могиле хозяина, что удивительного в этом ничего нет, раз это бывает так часто...

### 3. Фанни

Борис Львович изменил своей Фанни после десятилетнего счастливого супружества. Влюбился в молоденькую сестру милосердия с лицом нестеровской Богородицы, ясным и кротким.

Но Фанни была хорошей женой, любила его преданно, верно и нежно, на всю жизнь. И жили они так уютно, с такой заботливой любовью устраивали свою квартиру, выбирали каждую вещь тщательно:

— Ведь это надолго.

У Бориса Львовича сердце было доброе. И мучился он за свою Фанни. Почернел и засох. Никак не мог решить сказать ей, что уходит от нее. Не смел себе представить эту страшную минуту. Все смотрел на нее и думал:

«Вот ты улыбаешься, вот ты поправила ковер, вот ты спрятала яблоко в буфет на завтра. И ты ничего не знаешь».

Ты не знаешь, что для тебя, в сущности, уже нет ни ковра, ни яблок, ни «завтра», ни улыбок, да, никогда «никаких улыбок». Кончено. А я все это знаю. Я держу нож, которым убью тебя. Держу и плачу, а не убить уже не могу».

Вспомнил о Боге:

«Мне Бога жалко, что Он вот так, как я сейчас, видит судьбу человека и скорбит и мучается».

Совсем развинтился Борис Львович. Неврастеником стал, к гадалкам бегал. И все думал о страшной минуте и все представлял себе, как Фанни вскрикнет, как упадет или, может быть, молча будет смотреть на него. А вдруг она сойдет с ума? Только бы не это, это уж хуже всего.

А «Мадонну» любил и отказаться от нее не мог. Обдумывал, придумывал, извивался душою, узлами завязывался. Как быть?

Не могу же я так сразу ни с того ни с сего ухнуть.

«Буду ждать случая, психологической возможности. Буду ждать ссоры. Хоть какой-нибудь пустяковой, маленькой. Маленькую всегда можно раздуть в большую, и тогда создастся атмосфера, в которой легко и просто сказать жестокие слова. И принять их для нее будет легче».

И вот желанный миг настал. Они поссорились. И, ссорясь, она сказала, что у него ужасный характер и что жить с ним невозможно. Он понял, что лучшего момента не найти:

— А! Вот и отлично! Я тоже того мнения, что нам пора разойтись.

От ужаса он закрыл глаза (только бы не видеть ее лица!).

— И я должен наконец сказать тебе правду. Я хочу развода. Я люблю другую, и она любит меня, и мы дали друг другу слово. Требую развода.

Он задохнулся, открыл глаза.

Она стояла, как была, красная и сердитая. Мотнула головой и закричала:

— А, так? Ну ладно же. Только знай, что мебель из столовой я беру себе.

И он, ждавший слез, отчаяния, безумия, может быть, даже смерти, услышав эти слова о мебели из столовой,

зашатался и потерял сознание. И с отчаянием ее, и со слезами он как-нибудь справился бы. Но этого ужаса он не ждал и перенести его не мог.

\*\*\*

— Ты не женишься на своей «Мадонне»? — спрашивал его посвященный в семейную драму приятель.

— Нет, милый мой. После этого ужаса сердце мое уже в новое счастье не верит. Я потерял вкус к любви. Остался с Фанни — не все ли равно?.. Слишком сильный был шок. Нет, я уже человек конченный. Мне никого не надо. Не верю.

#### 4. В трамвае

Облупленный, обшарпанный трамвай, похожий на тяжелую пчелу, нагруженную медом, медленно ползущую по косой дощечке улья, сипел по расхлябанным рельсам Невского проспекта.

Проздьями серых жуков, унылых, но цепких, облепили его пассажиры. На площадке, прижавшись к перилам, — бывший барин. Барин, потому что на нем потертая бобровая шапка, боярская, бобровый плешивый воротник, лицо такое худое, точно тяжелая рука сверху вниз сгладила с него щеки, так что оттянулись вниз нижние веки и углы рта, лицо его тонкое и привычное к тихой думе, к мысли. Высокий, он всех виднее в этой стиснутой, сплюсненной кучке людей.

А рядом баба с раскрытым от худобы ртом, со злобными и испуганными глазами человека, у которого отнимают кошелек, и курносый парень с распыленным ртом, бледный и зловещий, как масленичная харя, и исплаканная старушонка — все лицо только красный нос да красные веки, скорбь их раздула, а все остальное съела, больше ничего от старушонки и не осталось в черном головном ее платке с обсморканными концами.

— О господи! О господи!

Давят, душат. Тяжело-о-о!

Тихо ползет трамвай. Тяжелый его обвисший зад перегружен, тянет к земле, не дает хода. Ползет мимо слежалых, грязных сугробов, сора, рвани, падали. И вот у тротуара кучка людей. Столпились вокруг лежащей ло-

шади. Лошадь выпряжена, значит, лежит давно. Бок у нее страшно вздулся. Под мордой клочок сена. Видно, кто-то сунул, чтоб было ей чем свою жизнь помянуть. Или думали, что вот узнает лошадь, что есть еще сено на свете, понатужится и поборет смерть.

Нет, не помогло сено. Лежит тихо, и бок вздутый не поднимается. Не дышит лошадь. Кончено. Вот и не хочет есть. Не хочет. Понимаете вы? Не хочет есть...

Подымается рука к бобровой шапке, такая худая, голая, в потрепанном обшлагае... Тихо склонив голову, снимает шапку бывший барин и крестится. Парень с распяленным ртом осклабился — «гы-ы» и обшарил всех глазами, приглашая посмеяться. Но кругом были лица тихие, и глаза с его глазами встретились строгие. Он оторопел, осел и спрятался за исплаканную старуху.

И бывший барин так просто и благоговейно обнажил голову перед страданием и смертью и сотворил крест во Имя Отца и Сына и Святого Духа за малую душу замученного зверя.





Что рассказывала Леля Перепегова.

— Вы ведь знаете, что я никогдане лгу и ничего не преувеличиваю. Если я ушла от Сергея Ивановича, то, значит, действительно жизнь с ним становится невыносимой. При всей моей кротости я больше терпеть не могла. Да и зачем терпеть? Чего ждать? Чтобы он меня зарезал в припадке бешенства? Мерси. Режьтесь сами.

В воскресенье пошли обедать в ресторан. Всю дорогу скандалил, зачем взяла Джипси с собой. Только, мол, руки оттягивает, и то, и се, и пятое, и десятое. Я ему отвечаю, что если и оттянет руки, так мне, а не ему, так и нечего меня с грязью смешивать. И зачем было заводить собаку, если всегда оставлять ее дома? Надулся и замолчал.

Но это еще не все.

Приходим в ресторан. Садимся, конечно, около дверей. Люди находят хорошие места, а мы почему-то либо у дверей, либо у печки. Я вскользь заметила, что все это зависит от внимательности кавалера. Не прошло и пяти минут, как он говорит:

— Вот освободилось хорошее место, перейдем скорее.

— Нет, — говорю, — мне и здесь отлично.

Потому что я прекрасно понимала, что пересадку он затеял исключительно потому, что против меня оказался прекрасный молодой человек. Все на меня поглядывал и подвигал — то перец, то горчицу. Видно, что из хорошего общества. Ел цыпленка.

Я совершенно не перевариваю ревности. Закатывать сцены из-за того, что вам подвинули горчицу! На это уж не одна Дездемона не пойдет.

— Мне, — говорю, — и здесь отлично.

Надулся. Молчит.

Однако смотрю — вторую бутылку вина прикончил.

— Сережа, — говорю, — тебе же ведь вредно!

Озлился, как зверь:

— Избавьте меня от вашего вмешательства и вульгарных замечаний.

О его же здоровье забочусь, и меня же оскорбляют.

Смотрю — требует третью. Это значит, чтобы меня наказать и подчеркнуть свое страдание.

Ладно. Вышли из ресторана.

— Сережа, — говорю, — может быть, ты возьмешь на руки Джипса, я что-то устала.

А он как рывкнет:

— Я ведь так и знал, что этим кончится! Ведь просил не брать! Терпеть не могу. Выступаешь, как идиот, с моськой на руках.

Я смолчала. Опять не ладно.

— Чего, — кричит, — ты молчишь, как мегера?!

У него только и есть. Молчу — мегера, смеюсь — гетера. Только и слышишь, что древнегреческие обидности.

Идем. Тащу Джипси. Сердцебиение, усталость — однако молчу, кротко улыбаюсь.

Смотрим — по тротуару напротив ресторана шагает Кирпичев. Ну чем я виновата? Я его не предупреждала, что будем здесь.

Сергей Иванович, положим, смолчал. Но такое молчание хуже всякого скандала.

Поздоровались, пошли вместе. Ну тут он и начал свои фортели. То сзади плетется; то на три версты вперед убегает. Не могу, мол, идти так медленно. Да и нельзя, мол, весь тротуар занимать. А потом и совсем исчез.

Я вне себя от волнения. Кирпичев меня утешает, хотя сам исстрадался — худеет, бледнеет, ничего не ест. Молчит о чувстве своем, но догадаться нетрудно. Но с ним так легко говорится, приятно, интеллигентно. А с Сергеем Ивановичем так: либо ругаюсь, либо молчу, как какая-нибудь Юдифь с головой Олоферна.

Кирпичев довел меня до дому.

Пришла, жду, жду. Сергей Иванович явился только через час.

— Где вы были?

— Так, немножко прошелся.



А сам отворачивается. Наверное, шагал как идиот и обдумывал план самоубийства. Я не перевариваю ревности.

Я собралась с духом и сказала ему прямо:

— Сергей Иванович, я вам должна одно сказать: во-первых...

А он как заорет:

— Если одно, так и говорите одно, а не заводите во-первых, да в-четвертых, да в-десятых на всю ночь. А я, — говорит, — вам прямо скажу: все это мне надоело, и я завтра же съезжаю. А сейчас прошу дать мне выспаться.

И завалился. Слышу храп. Притворяется нарочно, будто спит. Всю ночь притворялся, утром притворился, будто выспался, уложил чемодан и ушел.

Я знаю, что от ревности человек на все готов, но чтобы при этом еще так не владеть собою... Не знаю, что еще меня ждет. Кирпичев поклялся защитить меня от безумца.

\*\*\*

Что рассказывал Сергей Иванович.

— Итак, значит, пошли мы в ресторан. Взяли с собой собачонку. Умолял не брать — нет, взбеленилась, и никаких. Сразу испортила настроение. Но, однако, смолчал.

В ресторане — вечная история: куда ее ни посади — то ее печет, то на нее дует. Но я дал себе слово сдерживаться. Вижу, освободилось место, и предлагаю самым ласковым тоном пересесть. И вдруг в ответ перекошенная физиономия и змеиный шип:

— Мне и тут ладно.

Ладно так ладно. Мне наплевать. Умолять и в ногах валяться не стану. Молчу. Ем. Вино, кстати, там недурное. Увидела, что я пью с интересом, и прицепилась. Тут уж я вскипел. Что вообще эти дурищи думают? Для чего человек в ресторан ходит — зубы чистить, что ли? Человек ходит для того, чтобы есть и поедаемое запивать. Вот для чего. Их идеал — чтобы человек смотрел, как она ест, а сам бы пожевал вареную морковку, запил водичкой, как заяц, и все время говорил бы комплименты. Куда как весело!

Вышли из ресторана — так и знал: тычет мне на руки свою моську. Ведь предупреждал! Ведь просил! Действительно возмутительно!

Встретили какого-то болвана — Скрипкина или что-то в этом роде. Воспользовался случаем, чтобы удрать. Жажда безумная. Выпил пива. Эта дурища, между прочим, твердит, как дятел, что вино жажды не утоляет. Объяснял идиотке, что жажда есть потребность жидкости, а вино есть жидкость. А она говорит, что седлочный рассол тоже жидкость, однако жажды не утолит.

Я ей на это резонно отвечаю, что, если она истеричка, надо лечиться, а не бросаться на людей.

Вернулся домой — вижу, приготовилась скандалить.

Пресек сразу:

— Завтра уезжаю.

И лег спать.

Слава богу, не догадалась, что был в бистро, — старался не дышать в ее сторону.

Нет, довольно, раз мы друг друга не понимаем и говорим на разных языках.

Довольно.

\*\*\*

Что бы рассказала Джипси.

Пошли в ресторан.

Хозяева всю дорогу лаiali.

В ресторане ели дрянй. Чужой господин ел цыпленка.

Я смотрел на него, а он на меня. Если бы хозяйка на него полаяла, он дал бы косточку.

Ничего мне не попало.

На улице подошел тот, кто каждый день лает с хозяйкой на прогулке и пихает меня ногой.

Хозяин убежал, а тот просунул свою лапу под хозяйкину лапу и совсем скovyрнул меня в сторону. От него пахло жареной телятиной, а сам он тихонько подтягивал, будто голодный. Потом и хозяйка стала подтягивать.

Сама виновата — зачем ела артишок и рака. Дура.

Оба притворялись голодными, да меня не надуешь.

Пришли к дому и стали у подъезда друг другу морды обнюхивать.

Она, верно, первая донюхалась, что он ел телятину, оттолкнула его и ушла.

Мы уже улеглись, когда пришел хозяин. От него несло двумя литрами пива — мне чуть дурно не сделалось. Где у них нюх? Я ему тявкнула в самую морду:

— Барбос!

Теперь хозяина нет, а приходит тот. Она воеет, а он тявкает. А чтобы угостить шоколадом собаку, об этом, конечно, ни одному из них и в голову не придет.

Самая жестокая собачья разновидность — так называемый человек. Низшая раса, как подумаешь, что есть не верящие в белую кость!





Ехать по железной дороге

всегда было интересно, а тут еще это странное приключение...

Началось так: тетя Женя задремала. Лиза достала книгу — стихотворения Алексея Толстого — и стала читать. Стихи Ал. Толстого она давно знала наизусть, но держать в руках эту книгу было само по себе очень приятно: зеленая с золотом, а на внутренней стороне переплета наклеена бумажка ведомства императрицы Марии, свидетельствующая, что «книга сия дана ученице второго класса Елизавете Ермаковой в награду за хорошее поведение и отличные успехи».

Лиза раскрывала наугад страницы и читала.

А против нее сидел чернобородый господин, старый, наверное, лет сорока, и внимательно ее рассматривал.

Заметив это, Лиза смутилась, заправила волосы за уши.

А господин стал смотреть на ноги. Тут уж наверное все обстояло благополучно — башмаки были новые. Чего же он смотрит?

Господин опять перевел глаза на ее лицо, чуть-чуть улыбнулся, покосился на тетю Женю, снова улыбнулся и шепнул:

— Какая прелесть!

Тут Лиза поняла: он влюбился.

И сейчас же инстинкт, заложенный в каждом женском естестве, даже в таком, пятнадцатилетнем, потребовал: влюблен — доконать его окончательно!

И, скромно опустив глаза, Лиза развернула книгу так, чтобы он мог видеть похвальный лист. Пусть поймет, с кем имеет дело.

Подняла глаза: а он даже и не смотрит. Не понимает, очевидно, что это за лист наклеен.

Повернула книгу совсем боком. Будто рассматривает корешок. Теперь уж и дурак сообразит, что недаром здесь казенная печать и всякие подписи...

Какой странный! Никакого внимания. Смотрит на шею, на ноги. Или близорукий?

Подвинула книгу на коленях к нему поближе.

— А-а!

Тетка проснулась, вытянулась вверх, как змея, и водит глазами с Лизы на бородача и обратно. И щеки у нее трясутся.

— Лиза! Пересядь на мое место.

Голос у тетки деревянный, отрывистый.

Лиза подняла брови удивленно и обиженно. Пересела.

Бородач — как он умеет владеть собой! — спокойно развернул газету и стал читать.

Лиза закрыла глаза и стала думать.

Ей было жаль бородача. Она его не любила, но могла бы выйти за него замуж, чтобы покоить его старость. Она знала, что для него это была роковая встреча, что он никогда ее не забудет и ни с одной женщиной с этих пор не найдет не только счастья, но даже забвения. И всегда, как тень, он будет следовать за ней... Вот она выходит из церкви в подвенечном платье под руку с мужем... И вдруг над толпой... черная борода. Поднимается молча, но с упреком... И так всю жизнь. А когда она умрет, все будут страшно поражены, увидя у ее гроба черную бороду, бледную, как смерть, с огромным венком из лилий... нет, из роз... из красных роз... Нет, из белых роз... из белых тюльпанов...

Лиза долго выбирала венок на свой гроб. И когда наконец прочно остановилась на белых розах, поезд тоже остановился.

Она открыла глаза. Кто-то вылезал из их купе. Чемодан застрял в дверце. Вылезающий обернулся... Бородач!

Бородач уходил... Спокойно и просто, даже газету прихватил. И глаз на Лизу не поднял...

И это после всего того, что было!

Какие странные бывают на свете люди...

В пять часов вышли на вокзал обедать.

Празднично было в огромной зале буфета. Цветы в вазах, то есть, собственно говоря, не цветы, а крашенный ковыль, посреди стола группами бутылки с вином, блеск никелированных блюд, исступленная беготня лакеев. И все плавает, как в соусе, в упоительном вокзальном воздухе, беспокойном и радостном, с его весенним быстрым сквознячком и запахом чего-то пареного, перченого, чего дома не бывает. И чудесно это чувство беспричинной тревоги: знаешь, что твой поезд отойдет только через двадцать пять минут, а каждый выкрик, стук, звонок, быстро прошагавшая фигура волнует, торопит, ускоряет пульс.

— Время есть, торопиться нечего.

Нечего-то нечего, а все-таки...

И когда швейцар ударит два раза в колокол, густо и однотонно прокричит, жутко скандируя слова: «Второй звонок. Поезд на Жмеринку — Волочиск», и сидящий насупотив господин, швырнув салфетку, вскочит с места и, схватив чемодан, ринется к двери, вы уже невольно отодвинете тарелку и станете искать глазами своего носильщика.

Рядом с Лизой сидел молоденький студент в нарядном белом кителе и гвардейской фуражке. Надувал верхнюю губу, щупая, не растут ли усы, и смотрел на Лизу глазами блестящими, пустыми и веселыми, как у молодой собаки.

Он был очень благовоспитанный, очень светский. Взял со стола солонку с дырочками и, прежде чем посолить свой суп, спросил у Лизы:

— Вы разрешите?

И рука с солонкой так и оставалась поднятой, ожидая ответа в полной готовности поставить соль назад, если Лиза не разрешит.

Лиза с аппетитом принялась было за свою куриную котлетку, но после этой истории с солонкой почувствовала себя такой прелестной и томной, что уплетать за обе щеки было бы совершенно неприлично. Она со вздохом отодвинула тарелку.

— Что же ты? — спросила тетка. — Вечные теории. А через полчаса есть запросишь.

Как все это грубо! «Есть запросишь!» После «этого» на него и взглянуть было страшно. Вдруг смеется?

Потом гуляли с теткой под окнами вагона.

Вечер был удивительный. Пахло дымом, углем. Железный стук, железный звон. Розовое небо, на котором странно горели два огонька семафора — зеленый и красный, точно для кого-то уже началась ночь. А удивительнее всего была маленькая березка, вылезшая на самую дорогу, в деловой, технический и официальный поворот между двумя путями рельс. Плупенькая, лохматая — вылезла и не понимает, что ее раздавить могут.

И во всем этом — и в розовом небе, и в звонках, и в березке — была для Лизы особая тревога — ну как это объяснить? — тревога, которую мы выразили бы в образе молоденького студента с солонкой в руке. Но это мы так выразили бы, а Лиза этого не знала. Она просто только удивлялась, отчего так необычен этот весенний вечер, и чувствовала себя прекрасной.

— Зачем ты делаешь такое неестественное лицо? — недоумевала тетка. — Стянула рот сердечком, как просвирица дочка...

Третий звонок.

Проходя в свое купе, Лиза увидела студента в коридоре. Он ехал в том же вагоне.

\*\*\*

Ночь.

Тетка спит. Но, еще укладываясь, сказала Лизе:

— Постой в коридоре, если тебе душно.

И она стоит в коридоре и смотрит в окно на мутные лунные полянки, на серые кусты, сжавшиеся в ночном тумане в плотные упругие купы. Смотрит.

— Я сразу понял, кто вы, какая вы, — говорит студент, надувая верхнюю губу и потрагивая усики, которых нет. — Вы тип пантеры с зелеными глазами. Вы не умеете любить, но любите мучить. Скажите, почему вам так нравится чужое страдание?

Лиза молчала, делая «бледное лицо», то есть втягивая щеки, закатывала глаза.

— Скажите, — продолжал студент, — вас никогда не тревожат тени прошлого?

— Д-да, — решила Лиза. — Одна тень тревожит.

— Расскажите! Расскажите!

— Один человек... совсем недавно... и он преследует меня всю жизнь... с черной бородой, безумно богатый. Я не виновата, что не люблю его!

— А в том, что вы сознательно увлекали его, вы тоже не виноваты?

Лиза вспомнила, как подсовывала ему книгу с похвальным листом. Потом ей показалось, что она сверкала на каких-то балах, а он стоял у стены и с упреком следил за ней... Вспомнился и венок из белых роз, который он, крихтя и спотыкаясь, тащил ей на гроб...

— Без-зумная!.. — шептал студент. — Пантера! Я люблю вас!

Лиза закрыла глаза. Она не знала, что рот у нее от волнения дрожит, как у маленькой девочки, которая собирается заплакать.

— Я знаю, нам суждена разлука. Но я разыщу вас, где бы вы ни были. Мы будем вместе! Слушайте, я сочинил для вас стихи. Вы гуляли по платформе с вашей дам де компани, а я смотрел на вас и сочинял.

Он вынул записную книжку, вырвал листок и протянул ей:

— Вот возьмите. Это посвящается вам. Посмотрите, какой у меня хорошенький карандашик. Это мне мама... — и он осекся. — ...одна дама подарила.

Лиза взяла листок и прочла:

Погас последний луч несбыточной мечты,  
Волшебной сказкою прошли весна и лето,  
Песнь дивная осталась недопета,  
А в сердце — ты.

— Почему же «прошли весна и лето»? — робко удивилась Лиза.

Студент обиделся:

— Какая вы странная! Ведь это же поэзия, а не протокол. Как же вы не понимаете? В стихах главное — настроение.

Подошел кондуктор, посмотрел у студента билет, потом спросил, где его место.



Оба ушли.

Тетка приоткрыла дверцу и сонным голосом велела Лизе ложиться.

Милые, тревожные, вагонные полусны...

Веки горят. Плынут в мозгу лунные полянки, лунные кусты. Кусты зовутся «я люблю вас», полянки — «а в сердце — ты»...

На долгой остановке она проснулась и оттянула край тутой синей занавески.

Яркое желтое солнце прыгало по забрызганным доскам платформы. От газетного киоска бежал без шляпы пузатый господин, придерживая рукой расстегнутый ворот рубашки. А мимо самого Лизино окна быстро шел студент в белой гвардейской фуражке. Он приостановился и сказал что-то носильщику, несшему желтый чемодан. Сказал и засмеялся и блеснул глазами, пустыми и веселыми, как у молодой собаки. Потом скрылся в дверях вокзала.

Носильщик с чемоданом пошел за ним следом.

\*\*\*

Началось лето. Шумное, прозаическое в большой помещицкой семье с братьями-гимназистами, с ехидными взрослыми кузинами, с гувернантками, ссорами, купаниями и ботвиньей.

Лиза чувствовала себя чужой.

Она — пантера с зелеными глазами. Она не хочет ботвиньи, она не ходит купаться и не готовит заданных на лето уроков.

И не думайте, пожалуйста, что это смешно. Уверю вас, что пятидесятилетний профессор ведет себя точно так же, если войдет в поэтически-любовный круг своей жизни.

Так же туманно, почти бессознательно мечтает он, и так же надеется, сам не зная на что, но сладко и трепетно, и так же остра для него горькая боль разочарования.

Ах, все то же и так же!..

«Он поэт,— думает Лиза.— Он разыщет меня, потому что у поэтов в душе вечность».

И ночью встает и босиком идет к окошку смотреть, как бегут на луну облака.

— «Угас последний луч несбыточной мечты», — шепчет она целый день.

И вдруг...

— Что ты все это повторяешь? — спрашивает ехидно кузина. — Это романс, который еще тетя Катя пела.

— Что-о?

— Ну да. Еще кончается «а в сердце — ты».

— Не ммо-может ббыть... Это стихи одного поэта... Не мо...

— Ну так что же? Написан романс лет десять тому назад. Чего ты глаза выпучила? И вся зеленая. Ты, между прочим, ужасная рожа!

Лет десять тому назад!..

Лиза закрыла глаза.

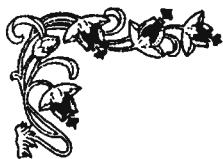
О, как остра горькая боль разочарования!

— Чай пи-ить! — закричал из столовой звонкий, пошлый голос. — Землянику принесли! Кто хочет земляники?

Скорей! Не то Коля все слопает!..

Лиза вздохнула и пошла в столовую.





**В** этот замечательный день

они встретились совершенно случайно на пересадке в метро Трокадеро. Она пересаживалась на Пасси, а он, как говорится, «брал дирексьон на Сен-Клу». И как раз в коридоре, у откидного железного барьерчика, бьющего зазевавшихся по животу, они и встретились.

От неожиданности она уронила сумку, а он крикнул: «Варя!» — и, сам испугавшись своего крика, схватился обеими руками за голову. Потом они кинулись друг к другу. Она (чтобы было ясно, почему он так взволновался) была очень миленькая, курносенькая и смотрела на мир божий веселыми, слегка припухшими глазками через белокурые колечки волос, напозаввшие на брови. И одета была кокетливо, старательно, вся обшитая какими-то грешками и петушками.

Он (чтобы было понятно, почему она уронила сумку) был высокий элегантный господин с пробором, начинающимся от самой переносицы. Так что даже под шляпу этот исток пробора спрятать было трудно. Галстучек, пошетка, носочки — все в тон. Немножко портило дело выражение лица — оно было какое-то не то растерянное, не то испуганное. Впрочем, это уж пустяки и мелочи. Итак — они кинулись и схватили друг друга за руки.

— Значит, вы рады, что встретили меня? — залепетала дама. — Правда? Правда рады?

— Безумно! Безумно! Я... я люблю вас! — воскликнул он и снова схватился за голову. — Боже мой, что я делаю! Ради бога, простите меня! Неожиданная встреча... я потерял голову! Я никогда бы не посмел! Забудьте! Простите, Варвара Петровна!

— Нет, нет! Вы же назвали меня Варей! Зовите меня всегда Варей.. Я люблю вас.

— О-о-о! — застонал он. — Вы любите меня? Значит, мы погибли.

От волнения он шепелявил. Он снял шляпу и вытер лоб.

— Все погибло! — продолжал он. — Теперь мы больше не должны встречаться.

— Но почему же? — удивилась Варя.

— Я джентльмен, и я должен заботиться о вашей репутации и о вашей безопасности. Вдруг ваш муж что-нибудь заметит? Вдруг он оскорбит вас подозрением? Что же мне тогда — пулю в лоб? Как все это ужасно!

— Подождите, — сказала Варя. — Сядем на скамейку и потолкуем.

— А если нас здесь увидят?

— Ну что за беда! — удивилась Варя. — Я вот вчера встретила на Пастере Лукина, и мы с ним полтора часа поболтали. Кому какое дело.

— Так-то так! — трагически согласился он. — Но вы забываете, что ни он в вас, ни вы в него не влюблены. Тогда как мы... Ведь вся тайна наших отношений всплывает наружу. Ведь что же тогда — пулю в лоб?

— Ах, что за пустяки! Василий Дмитрич! Голубчик! Мы только время теряем на ерунду. Скажите еще раз, что вы любите меня. Когда вы полюбили меня?

Он оглянулся по сторонам:

— В четверг. В четверг полюбил. Месяц тому назад, на обеде у мадам Компот. Вы протянули руку за булкой, и это меня словно кольнуло. Я так взволновался, что схватил солонку и насыпал себе соли в вино. Все ахнули: «Что вы делаете?» А я не растерялся. Это я, говорю, всегда так пью. Ловко вывернулся? Но зато теперь, если где-нибудь у общих знакомых обедаю или завтракаю, всегда приходится сыпать соль в вино. Нельзя иначе. Могут догадаться.

— Какой вы удивительный! — ахала Варя. — Вася, милый!

— Подождите! — перебил ее Вася. — Как вы называете вашего мужа?

— Как? Мишей, конечно.

— Ну так вот, я вас очень попрошу: зовите меня тоже Мишей. Так вы никогда не проговоритесь. Столько не-

счастливых бывает именно из-за имени. Представьте себе — муж вас целует, а вы в это время мечтаете обо мне. Конечно, невольно вы шепчете мое имя: «Вася, Вася, еще!» Или что-нибудь в этом роде. А он и стоп: «Что за Вася? Почему Вася? Кто из наших знакомых Вася? Ага! Куриков! Давно подозревал!» — и пошло, и пошло. И что же нам делать — пулю в лоб? А если вы привыкнете звать меня Мишей (ведь я же и в самом деле мог бы быть Мишей — все зависит от фантазии родителей), привыкнете звать Мишей, вам и черт не брат. Он вас целует, а вы мечтаете обо мне и шепчете про меня — понимаете, — про меня: «Миша, Миша». А тот, дурак, радуется и спокоен. Или, например, во сне. Во сне я всегда могу вам присниться, и вы можете пролепетать мое имя. А муж тут как тут. Проснулся, чтоб взглянуть на часы, да и слушает, да и слушает. «Вася? Что за Вася?» Ну и пошло. Я джентльмен. Я что же — я должен себе пулю в лоб?

— Как у вас все серьезно! — недовольно пробормотала Варя. — Почему же у других этого не бывает? Все влюбленные зовут друг друга по именам, и никаких бед от этого не бывает, наоборот — одно удовольствие.

— Боже мой, как вы неопытны. Да половина разводов основывается на этих Васеньках и Петеньках. Зачем? К чему? Раз этого так легко избежать.

— А вы не боитесь проговориться? Ведь назвали же вы меня сегодня Варей, вдруг и опять назовете?

— Нет, уж теперь не назову. Это случилось потому, что наши отношения были неясны и нам самим неизвестны. А теперь, когда я как джентльмен должен быть начеку и думать о вас, только о вас, дорогая (простите, что я вас называю дорогой, это тоже глупая неосторожность), теперь я вас не подведу.

— А как же вы меня будете называть? Это любопытно. Вы ведь не женаты. Ну-с?

— Гм... Я живу один, то есть с мамашей. Я мог бы называть вас мамашей, понимаете? Привычка, человек живет с мамашей, ну ясно, что и обмолвится. Понимаете? Я ничем не рискую, если в разговоре с вами назову вас «мамаша, дорогая». Если кто услышит, подумает: «Вот, вспомнил человек свою маму», — и все будет вполне естественно.

— Ну, это, знаете ли, прямо уж черт знает что такое! Какая я вам мама! Вы меня еще бабусей величать начнете. Глупо и грубо.

— Ах, дорогая, то есть Варвара Петровна. Ведь это же я исключительно из джентльменства.

— Вы будете завтра на юбилее доктора Фогельблата? Знаете, я по секрету попросила распорядителя посадить нас рядом. Муж будет сидеть с комитетом, а мы поболтаем. Я ужасно рада, что догадал...

— Что вы наделали! — воскликнул Вася. — Теперь мне уж абсолютно нельзя будет пойти на банкет. Конечно, хотя бы у нас были прежние, чисто дружеские отношения, было бы даже очень мило. Но теперь — это немыслимо. Какая обида. Деньги я уже внес, а пойти не могу. Разве вот что: позвоню-ка я сам к распорядителю и, будто ничего не знаю, попрошу его посадить меня непременно, скажем, с докторшей Сициной. А? Идея?

— А если он скажет, что я просила посадить вас со мной?

— Гм... А я притворюсь, что даже забыл, кто вы такая. Это, скажу, какая такая Варвара Петровна? Это та жирная, которая ко всем лезет? Понимаете? Нарочно отнесусь отрицательно. То есть даже не к вам, а как будто все перепутал. Такая, скажу, грязная и прыщавая. Понимаете? Чтобы было ясно, что я даже не знаю, о ком речь идет.

— Ну это уж, простите, совсем глупо, — вспыхнула Варя. — Распорядитель Пенкин сколько раз видел вас у меня — как может он поверить, что вы вдруг меня не знаете?

— Ну, я, знаете, так о вас отзовусь, что он поверит. Что-нибудь исключительно грубое. Уж я сумею, я найдусь, не бойтесь.

— Да я вовсе не желаю, чтобы вы обо мне говорили всякие гадости.

— Дорогая! То есть Варвара Петровна, то есть бабуся — ф-фу! Запутался. Хотел начать привыкать и запутался. Дорогая мама! Ведь это же для вас, для вас. Неужели вы думаете, что мне приятно, что мне не больно сочетать ваше имя с разными скверными прилагательными? Ничего не поделаешь — надо. Значит, я сяду ря-

дом с докторшей. Мало того — я окину присутствующих небрежным взглядом, кивну вам свысока головой и пророню. Понимаете? Именно пророню, процежу свысока сквозь зубы. Все свысока — и кивну, и процежу: «Ах, и эта дура здесь». Вот уж тогда эта самая докторша не только никогда не поверит в нашу близость, да и других-то всех разуверит, если кто-нибудь начнет подозревать. Конечно, мне это очень тяжело, но чего не сделаешь для своей дамы! Я рыцарь. Я джентльмен. Я вас в обиду не дам. И вообще, если в обществе начнется о вас разговор, можете быть спокойны — я вас так распишу, что уж никому в голову не придет, что вы мне нравитесь. Я вас высмею: вашу внешность — ха-ха, скажу, эта Варька — задранный нос! Конечно, мне будет больно. Ваш туалет, ваши манеры. «Туда же, — скажу, — пыжится, журфиксы устраивает. Ей бы коров доить с ее манерами, а не гостей принимать». Ну, словом, я уж там придумаю. «И еще, — скажу, — воображает, что может понравиться. Ха-ха!» Словом, мамаша, можете быть спокойны. Вашу честь я защищу. Бывать у вас я, конечно, лучше не буду. «Вот еще, — скажу, — не видал я ее завалящего печенья из Uniprix, по полтиннику фунт. Вообще, — скажу, — эти ее курносые журфиксы». Словом, что-нибудь придумаю. Боже, как все это тяжело и больно. Что? Что? Я не понимаю, что вы говорите? М-ма-ма-ша?

— К черту! Вот что я говорю! — крикнула Варя и вскочила со скамейки. — Убирайтесь к черту, идиот шепелявый! Не смейте идти за мной, гадина!

Она быстро повернулась и побежала по лестнице.

— Ва... то есть ма... — лопотал Вася в ужасе. — Что же это такое? Почему так вдруг, в самый разгар моей жертвенной любви? Или, может быть, она увидела кого-нибудь из знакомых и разыграла сцену? Это умно, если так. Очень умно. Прямо даже замечательно умно. Если кто видел — сразу подумает: «Эге, этот господин ей не нравится». А потом, если и увидит нас вместе в обществе, он уже не будет нам опасен. Это с ее стороны очень умно. Хотя, наверное, ей было больно так грубо говорить с любимым существом. Но что поделаешь? Надо.

Он сунул руки в карманы и, беспечно посвистывая, что-бы никто ничего не подумал, стал спускаться с лестницы.

«Я люблю и любим, — думал он. — Вот это и есть счастье. Только нужно быть осторожным. Иначе что же? Пулю в лоб?»







**В** каютке было душно нестерпимо,

пахло раскаленным утюгом и горячей клеенкой. Штору поднять было нельзя, потому что окно выходило на палубу, и так, в потемках, злясь и спеша, Платонов брился и переодевался.

«Вот двинется пароход — будет прохладнее, — утешал он себя. — В поезде тоже было не слаще».

Прифрантившись в светлый костюмчик, белые башмаки, тщательно расчесав темные, редющие на темени волосы, вышел он на палубу. Здесь дышать было легче, но палуба вся горела от солнца, и ни малейшего движения воздуха не чувствовалось, несмотря на то что пароход уже чуть-чуть подрагивал и тихо отплывали, медленно поворачиваясь, сады и колокольня гористого берега.

Время для Волги было неблагоприятное. Конец июля. Река уже мелела. Пароходы двигались медленно, промывая глубину.

Пассажиров в первом классе было на редкость мало: огромный толстый купчина в картузе с женой, старой и тихой, священник, две недовольные пожилые дамы.

Платонов прошелся несколько раз по пароходу.

«Скучновато!»

Хотя ввиду некоторых обстоятельств это было очень удобно. Больше всего боялся он встретить знакомых.

«Но все-таки чего же это так пусто?»

И вдруг из помещения пароходного салона раздался залихватский шансонетный мотивчик. Пел хрипловатый баритон под аккомпанемент дребезжащего рояля.

Платонов улыбнулся и повернул на эти приятные звуки.

В пароходном салончике было пусто... Только за пианино, украшенным букетом цветного ковыля, сидел

кряжистый молодой человек в голубой ситцевой косоворотке.

Сидел он на табуретке боком, спустив левое колено к полу, словно ящик на облучке, и, лихо расставив локти, тоже как-то по-ящицки (будто правил тройкой), лупил по клавишам.

Надо быть немножко недотрогой.  
Немножко строгий.  
И он готов!

Он встряхивал могучей гривой плохо расчесанных светлых волос.

И на уступки  
Пойдут голубки.  
И тра-ля-ля-ля-ля,  
И тра-ля-ля.

Заметил Платонова и вскочил:

— Разрешите представиться. Окулов, холерный студент.

— Ах да,— сообразил Платонов.— То-то пассажиров так мало. Холера.

— Да какая там, к черту, холера. Перепьются — ну их и тошнит. Я вот мотался который рейс и еще не констатировал ни одного случая.

Рожка у студента Окулова была здоровая, красная, темнее волос, и выражение было на ней такое, какое бывает у человека, приготовившегося дать кому-нибудь по физиономии: рот распяленный, ноздри раздутые, глаза выпученные. словно природа зафиксировала этот предпоследний момент, да так и пустила студента вдоль по всей жизни.

— Да, голубчик мой, — говорил студент. — Тощища патентованная. Ни одной дамочки. А сядет — так такой мордovorот, что морская болезнь на тихой воде делается. А вы что ж, для удовольствия едете? Не стоило того. Река — дрянь. Жарища, вонища. На пристанях ругня. Капитан — черт его знает что: должно быть, запойный, потому что за столом водки не пьет. Жена у него дев-

чонка — четыре месяца женаты. Я было пробовал с ней как с путной. Дурища, аж лоб трещит. Учить меня вздумала. «От ликующих, праздно болтающих» и «приноси пользу народу». Подумаешь — мать-командирша! Изволите ли видеть, из Вятки — с запросами и душевными изгибами. Плюнул и бросил. А вот знаете этот мотивчик? Прехорошенький:

От цветов моих  
Дивный аромат...

Во всех кафешантанах поют.

Он быстро повернулся, сел на «облучок», потряхнул космами и поехал:

Увы, мамаша,  
Ах, что такое...

«Ну и медик!» — подумал Платонов и пошел бродить по палубе.

\*\*\*

К обеду выползли пассажиры. Тот самый купец-маслодонт с супругой, нудные старухи, священник, еще какие-то двое торговых людей и личность с длинными предистыми волосами, в грязном белье, в медном пенсне, с газетами в оттопыренных карманах.

Обедали на палубе, каждый за своим столиком. Пришел и капитан, серый, одутловатый, мрачный, в поношенном холщовом кителе. С ним девочка лет четырнадцати, гладенькая, с подкрученной косой, в ситцевом платьице.

Платонов уже кончал свою традиционную ботвинью, когда к столу его подошел медик и крикнул лакею:

— Мой прибор сюда!

— Пожалуйста, пожалуйста! — пригласил его Платонов. — Очень рад.

Медик сел. Спросил водку, селедку.

— Па-аршивая река! — начал он разговор. — «Волга, Волга, весной многоводной ты не так затопляешь поля...» Не так. Русский интеллигент всегда чему-нибудь учит.

Волга, вишь, не так затопляет. Он лучше знает, как надо затоплять.

— Позвольте, — вставил Платонов, — вы как будто что-то путаете. А впрочем, я толком не помню.

— Да я и сам не помню, — добродушно согласился студент. — А видели нашу дуру-то?

— Какую дуру?

— Да мать-командиршу. Вот с капитаном сидит. Нарочно сюда не смотрит. Возмущена моей «кафешантанной натурой».

— Как? — удивился Платонов. — Эта девочка? Да ведь ей не больше пятнадцати лет.

— Нет, немножко больше. Семнадцать, что ли. А он-то хорош? Я ей сказал: «Ведь это все равно, что за барсука выйти замуж. Как вас поп венчать согласился?» Ха-ха! Барсука с козявкой! Так что вы думаете? Обиделась! Вот-то дура!

\*\*\*

Вечер был тихий, розовый. Зажглись цветные фонарики на буйках, и волшебным, сонно скользил между ними пароход. Пассажиры рано разбрелись по каютам, только на нижней палубе еще возились тесно нагруженные пыльщики-плотники да скулил комариною песню татарин.

На носу шевелилась ветерком белая легкая шалька, притянула Платонова.

Маленькая фигурка капитановой жены прильнула к борту и не двигалась.

— Мечтаете? — спросил Платонов.

Она вздрогнула, обернулась испуганно:

— Ох! Я думала, опять этот...

— Вы думали, этот медик? А? Действительно, пошловатый тип.

Тогда она повернула к нему свое нежное худенькое личико с огромными глазами, цвет которых различить уже было трудно.

Платонов говорил тоном серьезным, внушающим доверие. Осудил медика за шансонетки очень строго. Даже выразил удивление, что могут его занимать такие пошлости, когда судьба дала ему полную возможность служить святому делу помощи страдающему человечеству.

Маленькая капитанша повернулась к нему вся целиком, как цветок к солнцу, и даже ротик открыла.

Выплыла луна, совсем молодая, еще не светила ярко, а висела в небе просто как украшение. Чуть плескала река. Темнели леса нагорного берега. Тихо.

Платонову не хотелось уходить в душную каюту, и, чтобы удержать около себя это милое, чуть белеющее ночное личико, он все говорил, говорил на самые возвышенные темы, иногда даже сам себя стыдясь.

«Ну и здоровая же брехня!»

Уже розовела заря, когда, сонный и душевно умиленный, пошел он спать.

\*\*\*

На другой день было это самое роковое двадцать третье июля, когда должна была сесть на пароход — всего на несколько часов, на одну ночь — Вера Петровна.

По поводу этого свидания, надуманного еще весною, он получил уже с дюжину писем и телеграмм. Нужно было согласовать его деловую поездку в Саратов с ее неделовой к знакомым в имение. Представлялось чудное поэтическое свидание, о котором никто никогда не узнает. Муж Веры Петровны занят был постройкой винокуренного завода и проводить ее не мог. Все шло как по маслу.

Предстоящее свидание не волновало Платонова. Он не видел Веру Петровну уже месяца три, а для флирта это срок долгий. Выветривается. Но все же встреча представлялась приятной, как развлечение, как перерыв между сложными петербургскими делами и неприятными деловыми свиданиями, ожидавшими его в Саратове.

Чтобы сократить время, он сразу после завтрака лег спать и проспал часов до пяти. Тщательно причесался, обтерся одеколоном, прибрал на всякий случай свою каюту и вышел на палубу справиться, скоро ли та самая пристань. Вспомнил капитаншу, поискал глазами, не нашел. Ну да она теперь и ни к чему.

У маленькой пристани стояла коляска и суетились какие-то господа и дама в белом платье.

Платонов решил, что на всякий случай благоразумнее будет спрятаться. Может быть, сам супруг провожает.

Он зашел за трубу и вышел, когда пристань уже скрылась из глаз.

— Аркадий Николаевич!

— Дорогая!

Вера Петровна, красная, с прилипшими ко лбу волосами — «восемнадцать верст по этой жаре!» — тяжело дыша от волнения, сжимала его руку.

— Безумно... безумно... — повторил он, не зная, что сказать.

И вдруг за спиной радостный вопль неприятно знакомого голоса:

— Тетечка! Вот так сюрприз! Куда вы это? — вопил холерный студент.

Он оттер плечом Платонова и, напирая на растерянную даму, чмокнул ее в щеку.

— Это... разрешите познакомиться... — с выражением безнадежного отчаяния залепетала та, — это племянник мужа. Вася Окулов.

— Да мы уже отлично знакомы, — добродушно веселился студент. — А вы знаете, тетечка, вы в деревне здорово разжирили! Ей-богу! Бока какие! Прямо постамент!

— Ах, оставьте! — чуть не плача, лепетала Вера Петровна.

— А я и не знал, что вы знакомы! — продолжал веселиться студент. — А может быть, вы нарочно и встретились? Рандеву? Ха-ха-ха! Идемте, тетечка, я покажу вам вашу каюту. До свиданья, мосье Платонов. Обедать будем вместе?

Он весь вечер так и не отставал ни на шаг от несчастной Веры Петровны. Только за обедом пришла ему блестящая мысль пойти самому в буфет распечь за теплую водку. Этих нескольких минут едва хватило, чтобы выразить отчаяние, и любовь, и надежду, что, может быть, ночью негодяй утомонится.

— Когда все заснут, приходите на палубу, к трубе, я буду ждать, — шепнул Платонов.

— Только, ради бога, осторожней! Он может насплетничать мужу.

Вечер вышел очень нудный. Вера Петровна нервничала. Платонов злился, и оба все время в разговоре ста-

рались дать понять студенту, что встретились совершенно случайно и очень этому обстоятельству удивляются.

Студент веселился, пел идиотские куплеты и чувствовал себя душой общества.

— Ну а теперь спать, спать, спать! — распорядился он. — Завтра вам рано вставать, ни к чему утомляться. Я за вас перед дядечкой отвечаю.

Вера Петровна многозначительно пожала руку Платонову и ушла в сопровождении племянничка.

Легкая тень скользнула около перил. Тихий голосок окликнул. Платонов быстро отвернулся и зашагал в свою каюту.

«Теперь еще эта привяжется», — подумал он про маленькую капитаншу.

Выждав полчаса, он тихонько вышел на палубу и направился к трубе.

— Вы?

— Я!

Она уже ждала его, похорошевшая в туманном сумраке, закутанная в длинную темную вуаль.

— Вера Петровна! Дорогая! Какой ужас!

— Это ужасно! Это ужасно! — зашептала она. — Столько труда было уговорить мужа. Он не хотел, чтобы я ехала одна к Северяковым, ревнует к Мишке. Хотел ехать в июне, я притворилась больной... Вообще так все было трудно, такая пытка...

— Слушайте, Вера, дорогая! Пойдем ко мне! У меня. право, безопаснее. Мы посидим тихо-тихо, не зажигая огня. Я только поцелую милые глазки, только послушаю ваш голос. Ведь я его столько месяцев слышал только во сне. Ваш голос! Разве можно его забыть! Вера! Скажи мне что-нибудь!

— Э-те-тэ-те! — вдруг запел над ними хриловатый басок.

Вера Петровна быстро отскочила в сторону.

— Это что такое? — продолжал студент, потому что это, конечно, был он... — Туман, сырость, разве можно ночью на реке рассиживать! Ай-ай-ай! Ай да тетечка! Вот я все дядечке напишу. Спать, спать, спать! Нечего, нечего! Аркадий Николаевич, гоните ее спать. Застудит живот и схватит холеру.

— Да я иду, да я же иду, — дрожащим голосом бормотала Вера Петровна.

— Так рисковать! — не унимался студент. — Сырость, туман!

— Да вам-то какое дело? — обозлился Платонов.

— Как — какое? Мне же перед дяечкой за нее отвечать. Да и поздно. Спать, спать, спать. Я вас, тетечка, провожу и буду всю ночь у двери дежурить, а то вы еще снова выскочите и непременно живот застудите.

\*\*\*

Утром, после очень холодного прощания («Она еще на меня же и дуется», — недоумевал Платонов), Вера Петровна сошла с парохода.

Вечером легкая фигурка в светлом платьице сама подошла к Платонову.

— Вы печальны? — спросила она.

— Нет. Почему вы так думаете?

— А как же... ваша Вера Петровна уехала, — зазвенел ее голос неожиданно дерзко, точно вызовом.

Платонов засмеялся:

— Да ведь это же тетка вашего приятеля, холерного студента. Она даже похожа на него — разве вы не заметили?

И вдруг она засмеялась так доверчиво, по-детски, что ему самому стало просто и весело. И сразу смех этот точно сдружил их. И пошли душевные разговоры. И тут узнал Платонов, что капитан — отличный человек и обещал отпустить ее осенью в Москву учиться.

— Нет, не надо в Москву! — перебил ее Платонов. — Надо в Петербург.

— Отчего?

— Как отчего? Оттого, что я там!

И она взяла его руку своими худенькими ручками и смеялась от счастья.

Вообще ночь была чудесная. И уже на рассвете вылезла из-за трубы грузная фигура и, зевая, позвала:

— Марусенок, полуночица! Спать пора.

Это был капитан.

И еще одну ночь провели они на палубе. Луна, подросшая, показала Платонову огромные глаза Марусеньки, вдохновенные и ясные.



— Не забудьте номер моего телефона, — говорил он этим изумительным глазам. — Вам даже не надо называть своего имени. Я по голосу узнаю вас.

— Вот как? Не может быть! — восхищенно шептала она. — Неужели узнаете?

— Вот увидите! Разве можно забыть его, голосок ваш нежный! Просто скажите: это я.

И какая чудесная начнется после этого телефона жизни! Театры, конечно, самые серьезные, ученые лекции, выставки. Искусство имеет огромное значение... И красота. Например, ее красота...

И она слушала! Как слушала! И когда что-нибудь очень ее поражало, она так мило, так особенно говорила: «Вот как!»

Рано утром он вылез в Саратове. На пристани уже ждали его скучные деловые люди, корчили неестественно приветливые лица. Платонов думал, что одно из этих приветливых лиц придется уличить в растрате, другое — выгнать за безделье, и уже озабоченный и заранее злой стал спускаться по трапу. Случайно обернувшись, увидел у перил ее. Она жмурилась сонным личиком и крепко сжимала губы, словно боялась расплакаться, но глаза ее сияли, такие огромные и счастливые, что он невольно им улыбнулся.

\*\*\*

В Саратове захлестнули днем дела, вечером — пьяный угар. В кафешантане Очкина, гремевшем на всю Волгу купецкими кутежами, пришлось, как полагается, провести вечерок с деловыми людьми. Пели хоры — цыганский, венгерский, русский. Именитый волжский купец куражился над лакеями. Наливая сорок восемь бокалов, плеснул лакей нечаянно на скатерть.

— Наливать не умеешь, мерзавец!

Рванул купец скатерть, задребезжали осколки, залили шампанским ковер и кресло.

— Наливай сначала!

Запах вина, сигарный дым, галдеж.

— Рытка! Рытка! — хрипели венгерки сонными голосами.

На рассвете из соседнего кабинета раздался дикий, какой-то уж совсем бараний рев.

— Что такое?

— Господин Аполлосов веселятся. Это они всегда под конец собирают всех официантов и заставляют их хором петь.

Рассказывают: этот Аполлосов, скромный сельский учитель, купил в рассрочку у Генриха Блокка выигрышный билет и выиграл семьдесят пять тысяч. И как только денежки получил, так и засел у Очкина. Теперь уж капитал к концу подходит. Хочет все до последней копейки здесь оставить. Такая у него мечта. А потом попросится опять на прежнее место, будет сельским учителем век доживать и вспоминать о роскошной жизни, как ему на рассвете официанты хором пели.

— Ну где, кроме России и души русского человека, найдете вы такое «счастье»!

\*\*\*

Прошла осень. Настала зима.

Зима у Платонова началась сложная, с разными неприятными историями в деловых отношениях. Работать приходилось много, и работа была нервная, беспокойная и ответственная.

И вот, как-то ожидая важного визита, сидел он у себя в кабинете. Зазвонил телефон.

— Кто говорит?

— Это я! — радостно отвечал женский голос. — Я! Я!

— Кто «я»? — раздраженно спросил Платонов. — Простите, я очень занят.

— Да я! Это — я! — снова ответил голос и прибавил, точно удивленно: — Разве вы не узнаете? Это — я.

— Ах, сударыня, — с досадой сказал Платонов. — Уверю вас, что у меня сейчас абсолютно нет времени заниматься загадками. Я очень занят. Будьте любезны, говорите прямо.

— Значит, вы не узнали моего голоса! — с отчаянием ответила собеседница.

— А! — догадался Платонов. — Ну как же, конечно, узнал. Разве я могу не узнать ваш милый голосок, Вера Петровна!

Молчание. И потом тихо и грустно-грустно:

— Вера Петровна? Вот как... Если так, то ничего... Мне ничего не нужно..

И вдруг он вспомнил:

«Да ведь это маленькая! Маленькая на Волге! Господи, что же это я наделал! Так обидеть маленькую!»

— Я узнал! Я узнал! — кричал он в трубку, сам удивляясь и радости своей, и отчаянию. — Ради бога! Ради бога! Ведь я же узнал!

Но уже никто не отзывался.





## Жильцы белого света

### «Жилец белого света».

Это звучит не так гордо, как «гражданин вселенной».

Гражданин вселенной — выражение, включающее в себя, главным образом, понятие о каких-то правах, о своей определенной доле в земных благах.

Жилец белого света — человек подневольный, пришибленный.

Гражданин вселенной достиг своего. Жилец белого света — борется и не достигает.

Гражданин вселенной — вымысел.

Жилец белого света — реальность.

На белом свете жить трудно. И не столько утомляет необходимая для жизни работа, сколько самозащита.

— От кого? Кто нападает?

— Все. Всегда. Везде. Всячески.

Отчего же они нападают? Борьба за существование? *Otes-toi que je m'y mette!*\* Спихнув человека, занять его место? Ах, если бы так! В этом был бы хоть практический смысл. А ведь то, от чего постоянно защищаются, смысла не имеет, потому что не имеет цели. Имеет только причину. Причина эта — больная печень, бешеная форма неврастения, реакция на неотмщенную обиду, зависть, отчаяние и глупость. Все это действует порознь, или в различных сочетаниях, или огромным воссоединяющим аккордом. Как на органе «*grand jeu*»\*\*, когда все клапаны открыты для потрясающего своды гула и рева.

Такова жизнь, таков человек. Ничего не поделаешь.

Чем же люди защищаются? Каково их оружие, их щит?

\* Убирайся, я займу это место! (фр.)

\*\* Буквально: «большая игра» (фр.), то есть звучание всех регистров.

А оружие их таково: молодость, красота, деньги и удача. Эти четыре пистолета должны быть у каждого.

Если их нет — нужно притворяться, что они есть.

У женщин больше возможностей, чем у мужчин, симулировать красоту и молодость. К их услугам если не институты красоты, то просто пудра, кремы и краски.

Эстетическая хирургия все больше завоевывает себе право на существование, и женщины меняют форму своего носа или груди так же откровенно, как переменили бы прическу в локоны на прическу роликом.

Недавно в газетах мелькнуло описание любопытной операции освежения уха. Опытный хирург освежил какое-то несвежее ухо. Для этого он вырезал из груди клиентки полоску кожи и обтянул заново это проклятое ухо. Но чтобы не оставлять грудь ободранной, он вырезал полоску кожи с ее спины и наложил на грудь заплатку. Но спина без кожи тоже не могла оставаться. Тогда он вырезал кусок кожи с бедра и залатал спину. Что именно налепил он на бедро — не сказано, но это и не важно. Я думаю, и сама клиентка махнула на него рукой. Не беда, если она вся в заплатках. Главное, чтобы ухо было молодое.

Эстетические операции никого не смущают.

Недавно к одному очень известному врачу по внутренним болезням явилась молодая дама, которая спросила, может ли ее организм вынести операцию. Ей нужно исправить форму груди. У дамы была хорошая фигура, и врача удивило ее желание.

— Ах, вы не знаете условий нашей жизни, — серьезно отвечала дама. — Для Европы моя фигура хороша, но я чилийка, я живу в Чили, и у нас часто бывают землетрясения.

— Ну, так наденьте лифчик потуже, если на то пошло, — посоветовал врач.

— Какой там лифчик! — махнула рукой чилийка. — Во время землетрясения принято выскакивать из дому кто как есть, и даже всегда выбегают еле-еле одетые.

— А если землетрясение днем?

— Все равно. Одинаково.

Ну, раз такие серьезные причины, так уж тут отговаривать трудно.

Красота как оружие самозащиты признана прочно. Даже самые серьезные мужчины, искренне осуждающие женщин за чрезмерное занятие своей внешностью, и те не могут устоять против этого закона самозащиты, и выражается он у них в виде робкого, жиденького начеса от уха до уха, через лысину.

Так защищается человек оружием молодости и красоты.

О том, как человек защищается деньгами, рассказывать нечего. Это и так хорошо известно. Но самозащита эта принимает иногда такие формы, что не сразу и поймешь, что это орудует именно она.

Вот, например, какая-нибудь семья устраивает у себя прием, сзывает гостей.

Начинаются приготовления.

И, дымясь, как перед боем,  
Фитили горят.

Да, именно. Фитили горят. Чистится квартира. Все обиходно скверное припрятывается. Враг не должен видеть слабого места. Он направит на это слабое место огонь, и сражение проиграно.

Если на ковре пятно — на него ставят столик, кресло.

Если на скатерти дыра — ее закрывают корзинкой с печеньем, вазочкой с цветами. Купают детей и собаку, моют кота бензином, чистят дверные ручки и переворачивают диванные подушки свежей стороной наружу. Если в доме водится какая-нибудь неэстетическая тетка с флюсом — ее запирают в плакар\*.

Все вычищено, все прибрано, что нужно, закуплено, на лицах зверски напряженная улыбка: голыми руками нас не возьмешь.

И, дымясь, как перед боем,  
Фитили горят.

А тем временем гости тоже вооружаются.

— Я не могу надеть коричневое платье, — с отчаянием говорит мужу приглашенная дама. — Я в нем была уже два раза.

---

\*От фр. placard — стенной шкаф.

И муж тоже понимает, что это трудно, что это обнаруживает нечто такое, в чем признаваться нельзя, — отсутствие лишних денег.

— Накинь мех, будет холодно.

— А вдруг у них натоплено? Еще хуже, если догадуются, что я нарочно мех надела.

Муж вздыхает. Что тут посоветуешь? Прямо хоть отказывайся от вылазки. С таким оружием во вражескую крепость!

— Посмотрите, Серж, — говорит теща, — незаметно, что у меня рукава на локтях блестят?

— Может быть, лучше мамаше остаться дома? — испуганно шепчет жене Серж.

— Ну, знаешь, их бабушка не лучше.

Муж вспоминает «их бабушку» и радостно констатирует, что это такая брешь в укреплении, благодаря которой их всех можно штурмом взять.

— Я расскажу им, как я в ресторане сидел почти за одним столом с великим князем.

— И не забудь сказать, что ты передал ему свою зажигалку.

— Ах, верно. Я и забыл.

— А они скажут, — вступила теща, — по ресторанам князьям зажигалки подает, а жене приличного платья сшить не может.

— Ну, я как-нибудь выкручусь, — героически решает жена.

Глаза у нее сверкают. Она не сдастся живая.

— Я им скажу, что меня пригласила на все лето одна страшно богатая дама в... куда?

— Шпарь — в Италию, — решил муж.

— На время жары на озерах, а то так в Венецию, — согласилась жена.

— Путешествовать на яхте, — посоветовала теща. — Это еще шикарнее.

— Так надо все-таки условиться, а то так завремся, что все вылезет наружу.

— Собственно говоря, здесь даже особенной лжи нет. Ведь Маня приглашала меня на целую неделю к ней в Медон. Ну, а здесь немножко дольше, и не в Медон, а в Италию. Чего же тут уславливаться?

Перед уходом оглядывают себя в зеркало и осматривают друг друга.

— Перчатки не забыла?

— Почисти отвороты... Вот щетка.

— Боже мой! С мизинца лак слез. Подожди минутку.

— Мамаша, напудрите немножко нос. Нельзя же так. Вид такой, точно вы прямо из кухни.

— Так ведь оно и правда.

— Но совершенно лишнее, чтобы все об этом знали.

(Ружья начищены. Пушки наведены. Затворы смазаны. Прицел взят. Недолет. Перелет. Ба-бах!)

— Идем.

Бой назначен на девять часов. Все готово. Штурм ведется с нескольких концов.

Сердюковы, Лютобеевы, Бабаносовы, Гринбаум (партизан-одиночка).

Идут. Пришли. Ворота крепости широко растворены. Но доверять не следует.

Мадам Бабаносова первая открывает огонь:

— Батюшки, какой шик! В передней — и вазочка с цветами! А мы и в гостиной-то никогда не ставим. Петя не любит. От цветов, говорит, только лишний сор и посторонний запах.

— Нет, отчего же, — вступает муж (резервные войска). — Я люблю цветы, но такие, которые действительно украшают — огромный букет хризантем, куст белых лилий.

— Ах, не люблю, — защищает прорыв хозяйка. — Лилии слишком сильно пахнут.

Тут супруг Бабаносов выкатывает дальнобойное оружие:

— А эти ваши нарциссики не пахнут? Разница только та, что лилии пахнут лилиями, а эти нарциссики — конюшней. Уж вы, хе-хе-хе, не сердитесь.

— Ну, что вы, что вы! — вдруг вступается партизан-одиночка, который при виде бутылки коньяку подло сменил вехи и перешел на сторону осаждаемых. — Нарциссы — любимые цветы японских самураев.

Это партизану даром не проходит. «Поймать! Расстрелять!»

У партизана в семье скандал. Мамаша сбежала с парикмахером.





Тэффи



Шарж на профессора Лохвицкого, отца Тэффи. Литография.  
Галерея русских деятелей. Вып.2. СПб, 1870 год



Тэффи. Летом в Стрельне на даче. 1910-е годы.  
Фотограф Д.С. Сдобнов



М.А. Лохвицкая-Жибер — поэтесса Мирра Лохвицкая,  
старшая сестра Тэффи.  
Фотография Д.С. Сдобнова



Тэффи у себя дома. Со своим любимцем — плюшевым медвежонком писательница не расставалась до самой эмиграции.

Фотография 1910—1912 годов



Тэффи в Москве.  
Фото Миттерера

Мы нищие — для нас — это Судный День!  
 Мы гордые — для нас — это уважение!  
 И если германский наш верный друг  
 Мы смиримся ради нашего счастья...

Тэффи

Автограф стихотворения Тэффи «Мы — нищие...». Без даты.  
 Собрание П.А. Вакселя

Меня  
 Описано  
 Описано  
 Описано

Надпись  
 Александров  
 Букварь  
 М.А. Ваксель

Меня  
 Описано  
 Год  
 М.А. Ваксель

26.  
 М.А. Ваксель  
 1875.  
 С. М. Ваксель

Надпись на переплете.

В. М. Ваксель  
 1906 год

Теперь франция на фран. язык.

Описание книги  
 М.А. Ваксель  
 1906 год.

Анкета, заполненная Тэффи 18 февраля 1906 года.  
 Собрание П.А. Вакселя

# Т Э Ф Ф И

## ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАЗСКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛАНЬ»

Ре-Ми (Н.Ремизов)

Обложка книги Н.Тэффи «Юмористические  
рассказы». СПб., 1910 год



Т Э Ф И



ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЯ



„ШИПОВНИКЪ“

ИЗДА

*Ре-Ми*

СПБ.

Книга вторая. Обложка. Иллюстрации Ре-Ми. СПб.



Портрет-маска А.Т. Аверченко из его книги  
«Фома Опискин. Сорные травы». СПб, 1914 год



А.Аверченко



Вечер художественного общества Интимного театра.

Санкт-Петербург, подвал «Бродячей Собаки».

Чествование московских художников.

Среди присутствующих: Качалов, Станиславский, Немирович-Данченко, Судейкина-Глебова, Потемкин, Тэффи и др.



Гэффи — сестра милосердия. Первая мировая война.  
Фотограф Яков Штейберт



Ф.К. Сологуб и его жена А.Н. Чеботаревская в гостиной своей квартиры (Широкая улица, д. 19), где нередко бывала Тэффи.  
Фотография начала 1910-х годов



Тэффи — «человек с ружьем».  
Фотография времен Первой мировой войны

Шамирань <sup>\*)</sup> перед жертвенником божии Милости.  
(Из набожного оперы.)

Соба Тэффи.

Александр Спендиаров  
1911г.

*Andantino. 1. 20.*  
*Шамирань. p*  
*Carito.*  
*(Contralto.)*  
... Бо-га мы - (про-с) - имо па - бу - ми

*Andantino. 1. 20.*  
*Piano.*  
*p* *dolce*

мы - ни сво - и а бо-гу мо-го па - бу - сви -

<sup>\*)</sup> Фрагмент из Шамирань.

Романс на стихи Тэффи композитора А.Спендиарова



$\frac{129}{1366}$  ГЭФФИ

$\frac{129}{1366}$

НЕЖИВОЙ  
ЗВГЬРЬ

Титульный лист. Издательство «Новый Сатирикон»



Л.Н. Андреев в гостях у И.Е. Репина в «Пенатах»  
(см. воспоминания Тэффи о Леониде Андрееве)



Константин Бальмонт — кумир молодежи  
начала прошлого века, с которым Тэффи  
была в самых добрых отношениях



Зинаида Гиппиус



Портрет Зинаиды Гиппиус с ее автографом.  
С Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским  
Тэффи связывали близкие отношения  
во время долгих лет эмиграции



Обложка. Издательство «Отто Кирхнер и К<sup>о</sup>».  
Берлин, 1923 год



Обложка.

Издательство «Земля и Фабрика», Москва—Ленинград, 1926 год.

Вступительная статья (от издательства) начинается словами:

«Тэффи — обывательская писательница...»



Алексей Толстой. Портрет работы Ю. Анненкова



ТЭФФИ  
**ВЧЕРА**

41/  
2082



120с  
172

« КОСМОС »

Обложка. 1927 год, Харьков

34-8

4552

~~128801~~

№ 12. Тэффи. Сокровище земли.

№ 13. Н. В. Гоголь. Петербургскіе раз-  
сказы.

№ 14-15. А. С. Пушкинъ. Исторія пугачев-  
скаго бунта.

№ 16. А. М. Дроздовъ. Распятіе.

№ 17. Изъ русской лирики. (А. Бѣлый,  
З. Гиппиусъ, С. Городецкій, М. Лохвицкая,  
Игорь Сѣверянинъ.)

№ 18-19. Гр. Ал. К. Толстой. Царь Ѳеодоръ  
Іоанновичъ.

№ 20. Тэффи. Стамбуль и солнце.

№ 21. А. П. Чеховъ. Мелкія пьесы.

№ 22. В. Г. Короленко. Разказы.

К Б

**ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:**

произведенія русск. классич. и современ. литературы.

**Цѣна выпуска 2 марки**

(двойные — 4 марки).

Для странъ, имѣющихъ высшую, противъ германской  
валюту надбавка въ 100%.

**ЦѢНА 2 МАРКИ.**

1098

# КНИГА ДЛЯ ВСѢХЪ

№ 12.

ТЗФФИ.

СОКРОВИЩЕ ЗЕМЛИ.



БЕРЯИНЪ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»

Н. А. ТЭФФИ

# ЗЕМНАЯ РАДУГА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

---

Нью - Йорк

Обложка. 1952 год



Тэффи (Н.А. Бучинская)  
Рисунок А.Е. Яковлева. 1920 год. Париж.  
Из архива Дон-Аминадо

Н. А. ТЭФФИ



# ВОСПОМИНАНІЯ

Издательство  
ЛЕВ

Обложка. Издательство «Возрождение». 1980 год



Тэффи. Фото из коллекции Е.Ляцкого



Тэффи в Париже. Рисунок Г.Златогорова



— А как здоровье вашей матушки? — елейно-почтительным тоном спрашивает Сердюков.

— Благодарю вас. Она уехала на юг.

— Что так?

— Просто немножко отдохнуть.

— Устала, значит? Впрочем, это очень благоразумно. В ее возрасте следует себя очень беречь.

У партизана забежали по скулам желваки. Он оборачивается к ехидно улыбающейся жене Сердюкова и говорит почтительно:

— Вы, значит, тоже едете на юг отдохнуть?

Этим «значит» запалил ей прямо в лоб.

Лютобеева немедленно подобрала труп Сердюковой и старается его оживить:

— Какое прелестное это ваше платье! Сейчас видно, что из хорошего дома. И какая вы в нем тоненькая.

Сердюкова возвращается к жизни. Но хозяйка дома не дремлет. «Огоны!» — командует она сама себе и говорит Сердюковой восторженно:

— Да, замечательно удачное платье. Я всегда на него люблюсь.

Убила. «Всегда»!

Но Сердюкова еще шевелится:

— Ах, я его без конца ношу. Наверное, всем уже надоело. Новые платья висят в шкапу, а я все треплю это и не могу с ним расстаться. Муж говорит: «Зачем же ты нашила себе столько новых, раз ты их не носишь?»

Хозяйка в ответ грустно улыбается, как врач, который смотрит на агонию своего пациента и знает, что наука бессильна, а пациент все еще надеется.

А в это время между хозяином и Бабаносовым идет крупный моральный мордобой. На тему испанской войны.

Бабаносов лезет на приступ, хозяин поливает его по старинке с крепостной стены кипятком.

— Народ не потерпит власти Франко! Испания изойдет кровью! — кричит Бабаносов.

— А вашему сердцу дорог коммунизм? — шпарит его хозяин. — Вот уж не думал, что буду принимать у себя большевика!

— И так и будет, — не слушает его и орет Бабаносов, одновременно переворачивая во рту бублик с маком. —

Так и будет! И не отгородитесь вы от жизни вашими цветочками и вазочками.

— Петя, оставь! — урезонивает его жена. — Симпатии нашего милого хозяина давно всем известны.

— Да-с. И хорошо, что известны! — орет хозяин и вдруг бахает из орудия большого калибра: — По крайней мере никто не посмеет сказать, что я большевистские векселя учитывал.

Бой идет долго по всему фронту, с последним метро атакующие отступают, унося убитых и раненых. Дома зализывают раны.

— В общем, было довольно мило. Во всяком случае, оживленно.

— Бабаносиха воображает, что еще может нравиться, с ее носом а-ля хвост жареной курицы.

— Ужасная штука — эти закрытые сандвичи. Никогда не знаешь, на что нарвешься. Мазанут кошачьей печенки, и кушайте пожалуйста.

— Так все провинциально.

— Лютобеева — какое-то ископаемое.

— Гринбаум тоже типик!

— Надо будет их всех позвать на будущей неделе.

Праздник перемирия короток. Враги готовят силы.

Занятно на этом свете, господа.





## Выбор креста

Есть такая новелла:



«Выбор креста».

Человек изнемог под тяжестью своего креста, возроптал и начал искать другой крест. Но какой бы он ни взваливал на свои плечи — каждый оказывался еще хуже. То слишком длинный, то слишком широкий, то остро резал плечо.

Наконец остановил он свой выбор на самом удобном. Это и оказался его собственный, им отвергнутый.

\*\*\*

А вспомнилась нам эта новелла вот по какому случаю. Ермилов очень уважал свою жену, свою Анну. Это была удобная жена, в меру заботливая, неглупая. Но, когда он встретил Зою Эрбель, он даже удивился, как мог прожить столько лет с этой прозаической Анной.

Анна была недурна собою, крупная, ширококостая, с большими руками и ногами, свежим лицом. Одевалась просто, любила английские блузки, башмаки на плоских каблуках, мужские перчатки, не красилась, не душилась. Все на свете для нее было ясно и просто. Мистики были для нее неуравновешенными субъектами. Влюбленность — естественным влечением полов. Поэзия — «ничего, если носит в себе содержание». С мужем своим она никогда не нежничала, не называла его разными ласковыми или шутливыми именами, но зато очень внимательно следила, чтобы у него было все, что ему нужно, интересовалась его пищеварением, аппетитом, заставляла делать гимнастику и заниматься спортом.

Ермилов спорта не любил. Гимнастика ему надоела, надоела за четыре года жизни и сама Анна.

Скучно было с ней.

Скучно было даже то, что в доме всегда был порядок, все вымыто, вычищено, ничего лишнего. Точно в солдатском госпитале, ворчал он.

Когда он в первый раз попал в дом к Эрбелям, он зашел случайно, по делу. Его сначала поразила, потом умилила обстановка той комнаты, где ему пришлось ожидать хозяина.

На столе, заваленном ворохом газет и журналов в таком беспорядке, словно кто-то нарочно рыл их, стояла открытая коробка с огрызками конфет, из-под газет выглядывало что-то розовое и свисала вниз резиночка с пряжкой и бантиком.

Тут же на газетах валялся раскрытый кошелек.

Мебель в комнате расставлена была как-то нелепо, как попало. Кресло было повернуто спинкой к столу. Один из стульев — вплотную лицом к стене.

Из соседней комнаты доносился звонкий женский голосок, который сначала все напевал странную песенку, грустную по содержанию и веселую по мотиву:

Денег нет, денег нет,  
Абсолютно денег нет.

Потом тот же голос в отчаянии воскликнул:

— Шурка! Квик опять утащил мой чулок! Шурка! Посмотри за дверь. Я не могу — там чужой дядя сидит.

В ответ послышалась недовольная басовая воркотня вполголоса. Потом снова женский голосок сказал решительно:

— Ну что ж делать. Я пойду сама, ты пойми, что это единственные мои чулки. Все остальные собака растащила и разодрала. Что? Ну так что же? Не съест он меня, твой деловой человек.

Дверь осторожно открылась, и молоденькая женщина в розовой пижаме, всклокоченная и смущенная, вошла в комнату.

— Простите, — сказала она. — Муж сейчас выйдет. Он пишет... Я здесь забыла...

Она проворно бегала глазами по полу, взглянула на стол и, увидев розовую резиночку, искренно обрадовалась:

— Ах, и это здесь? Хорошо, что я увидела.

И, повернувшись в сторону двери, из которой вышла, закричала:

— Шурка! Не ищи корсета, я его нашла. И чулок на нем.

Она улыбнулась Ермилову самой светской улыбкой, вытащила из-под журнала свой корсет, на котором действительно висел чулок, помахала приветливо рукой, словно из окна уходящего поезда, и захлопнула за собой дверь. Через несколько минут вошел Эрбель, длинный, растерянный. Одной рукой он придерживал ворот своей рубашки и беспомощно искал что-то глазами — очевидно, потерянный галстук.

— Простите, ради бога! — смущенно сказал он. — Здесь такой хаос. Я сейчас буду готов, и мы можем пойти тут рядом в кафе, там будет удобнее поговорить.

Он развел руками, заглянул за диван и вышел.

Через минуту за дверью раздался его отчаянный вопль:

— Так зачем же ты завязала собаке мой галстук?! Это же идиотство, какому имени нет.

А в ответ раздалась декламация:

Оттого, что душе моей имени нет  
И что губы мои нецелованы!

Наконец Эрбель вышел вполне готовый, потыкался по передней, ища шляпу, но очень быстро сам заметил ее под стулом, тряхнул, дунул и открыл дверь на лестницу.

Они уже шагали по тротуару, когда звонкий голосок пропел над ними:

Ты глаза на небо ласково прищурь,  
На пьянящую, звенящую лазурь...

Эрбель сердито прибавил шаг, а Ермилов поднял голову и увидел на балкончике второго этажа розовую фигурку, и в ту же минуту что-то мокрое больно щелкнуло его по носу. Это был брошенный розовой фигуркой цветок, очевидно, вытасченный из вазы, где давно сгнил, потому что весь ослиз, раскис и скверно пахнул. Ермилов тем не менее его поднял.

— Это не вам! — кричал сверху звонкий голосок. — Это злому Шурке, любимому моему ангелу.

«Любимый ангел» обернулся и прошипел Ермилову с самой звериной рожей:

— Да бросьте вы эту мерзость! Вы себе весь пиджак испачкали.

Ермилов шел и улыбался.

«Какая удивительная женщина, — думал он. — С такой не соскучишься. Все в ней поет, все в ней звенит...»

\*\*\*

Эрбель отдавал должное своей жене. Она была молодая, веселая, беззаботная. Как бы скверны ни были их дела, она никогда не ныла и не попрекала его неудачами.

Но зато и поддержки или помощи ждать от нее было нечего. В доме был беспорядок, в котором пропадали бесследно деловые письма, деньги, вещи. Ни для сна, ни для еды определенного времени не было.

Намерения у нее были самые лучшие, и, видя, что мужа мучает ее безалаберность, она даже завела приходо-расходную книгу, на первой же странице которой Эрбель с интересом прочел: «Выдано на расходы 600 франков. Истрачено 585. Осталось 100, но их нету. Есть только 15».

— Зочка, — позвал он жену, — что это значит?

— Это? — деловито спросила Зоя. — Это вычитание.

— Какое вычитание?

— Ты такой придирчивый! Так вот, чтобы ты не придирался, я сделала для тебя специально вот здесь, на полях, вычитание. Видишь? Из шестисот вычла пятьсот восемьдесят пять; получилось сто. Но их нету.

— Постой, почему же сто? — удивился Эрбель.

— Как почему? Смотри сам: пять из нуля — ноль.

— Почему ноль?

— Да что ты все — почему да почему? Ясно почему. Ноль означает цифру, у которой ровно ничего нет. Так как же ты будешь от нее что-то отнимать? Откуда же она тебе возьмет?

— Так ведь надо же занять.

— Это ноль полезет занимать? У кого?

— Да у соседней цифры.

— Чудак! Да ведь там тоже ноль. У него у самого ничего нет.

— Так он займет у соседней цифры, — убеждал ее муж.

— И ты воображаешь, что она ему даст? Да и вообще — полезет он занимать специально для того, чтобы отдать тому, первому, голодранцу! Ну где такие вещи бывают? Да же смешно слушать.

— Одним словом, я вижу, что ты просто-напросто не умеешь делать вычитание.

— Если делать просто механически, конечно, и я смогу. Но если серьезно вдуматься, то все эти займы у каких-то нулей для меня органически противны. Если хочешь, занимайся этим сам, а меня уволь. Теперь вот дал мне тысячу франков. Три нуля. Веселенькая компания. И все полезут к этой несчастной единице. Ну... одним словом, как хочешь, с меня довольно.

Эрбель вздыхал, брал шляпу, уныло счищал с нее рукавом пыль и уходил из дома.

Когда он в первый раз увидел Анну — жену Ермилова, — он был поражен.

«Какая спокойная, милая женщина! Как все с ней ясно, чисто, просто. Отдыхаешь душой».

Он долго сидел у Ермиловых, и ему не хотелось идти домой. Но идти все-таки пришлось, и когда он, войдя в свою переднюю, споткнулся о какой-то развороченный чемодан и услышал из спальни громовую декламацию, он чуть не заплакал.

Дня через два, ожидая к себе Ермилова ровно в три часа, он, вернувшись к двум, застал уже своего нового приятеля. Ермилов сидел верхом на стуле и с упоением кормил собаку шоколадом, а Зоя, подкатав выше колен штаны своей пижамы, плясала пред ним матросский танец.

При виде Эрбеля Ермилов ужасно смутился и, путаясь, стал объяснять, что пришел раньше, потому что надеялся застать Эрбеля дома, и, таким образом, больше очистилось бы времени для деловой беседы.

Эрбель совершенно не понял его конфуза.

Зато когда он на другой день пошел к Ермилову «узнать адрес хорошей переписчицы», именно в тот час, когда хозяина обыкновенно дома не бывает, и на этот

раз, в виде исключения, он как раз дома оказался, то Ермилов тоже ничуть этому не удивился.

— Как вы так почувствовали, что я сегодня на службу не пошел? — совершенно искренне спросил он.

Эрбель что-то промямлил, и, когда Анна предложила ему пойти вместе поплавать в бассейне, он согласился так быстро и с таким восторгом, что Ермилов посмотрел на него с презрением:

— Вот никогда бы не мог подумать, что вы любите эту ерунду!

Анна в воде была еще очаровательнее, чем в обычной обстановке. Свежая, сильная, быстрая, спокойно-веселая, она учила Эрбеля нырять и прыгать с доски, держала его уверенной рукой так властно и вместе с тем приветливо.

Они решили плавать каждый день. Иногда ходили к пруду кататься на лодке. И все это было чудесно, и чем дальше, тем чудеснее.

Эрбель всегда провожал Анну домой, они вместе обедали, и часто он оставался у нее весь вечер.

Ермилова почти никогда не было дома.

Но вот как-то случилось так, что Эрбелю должен был кто-то позвонить по делу и он ушел домой раньше обыкновенного. Открыл дверь своим ключом, заглянул в гостиную и не сразу понял, в чем дело.

В комнате было полутемно, и у раскрытого окна сидела Зоя. Сидела она на чем-то высоком, странно подняв согнутую в локте руку, и, покачиваясь, декламировала:

Так люби меня без размышленья,  
Без тоски, без думы роковой...

Эрбель с интересом взгляделся и увидел, что то высокое, на чем Зоя сидела, были чьи-то колени и что согнутая Зоина рука обнимала чьи-то плечи.

Желая точнее узнать, в чем дело, он повернул выключатель, Зоя вскочила и обнаружила растерянного и растрепанного Ермилова, который встал и схватился за голову.

Эрбель сделал успокоительный жест и сказал тоном джентльмена:



— Пожалуйста, не стесняйтесь. Простите, что помешал.

Повернулся и вышел. Он был очень доволен собою и ничуть не чувствовал себя оскорбленным. Разве только слегка удивленным.

— Изменять мне с таким болваном! Изменять «ей» с таким ничтожеством!

Пожав плечами и забыв о деловом телефоне — до того ли тут, — полетел он к Анне.

Анна отнеслась к новости довольно безразлично.

— Да они оба исключительно неуравновешенные типы, — сказала она. — Граничащие с дефективностью. Надо, чтобы все прошло бы без эксцессов. Я не люблю ничего вредного. А вы должны уйти, потому что Николай может вернуться и ваша встреча с ним легко вызовет эксцессы.

Несмотря на неприятное впечатление, произведенное дважды повторенным словом «эксцессы», Эрбель нашел в себе силы взять Анну за руку и сказать:

— Анна! Я рад, что так случилось. Я рад, что вы и я теперь свободны. Понимаете ли вы меня?

Анна поняла.

— Да, — деловито сказала она. — Разумеется, в этом есть своего рода удобство. Я имею в виду ваше влечение ко мне. Но, с другой стороны, все это нарушает спокойный ход жизни.

— Анна, я люблю вас! — сказал он. — Я хочу соединить наши ходы, то есть жизни, то есть ход жизни. Одним словом — вот.

\*\*\*

Все наладилось.

Эрбель с восторгом переехал в квартиру Ермилова. Ермилов покорно перебрался к Зое.

И время пошло.

\*\*\*

Как именно шло время, мы не знаем, но года через три пришлось Ермилову пойти по делу к Эрбелю.

Созвонились, и в назначенное время Ермилов вошел в знакомый подъезд.

С удивлением прислушиваясь к своему настроению, поднимался он по лестнице.

«Я как будто жалею!» — усмехнулся он.

Знакомая передняя. Все как было. Все так же чисто и светло, и так же ничего лишнего. Вот только на вешалке чужое мужское пальто. Но ведь за последнее время перед их разлукой он привык видеть на вешалке чужое пальто.

Только тогда это было безразлично, а теперь почему-то грустно.

Встретила его Анна, все такая же крепкая и свежая.

— Здравствуй, Николай, — сказала она спокойно. — Тебе придется подождать. Александра никак нельзя приучить к аккуратности. Это вообще тип, не поддающийся культуре.

Ермилов сел в то самое кресло, в котором и обычно сидел в былые времена.

Анна взглянула на часы:

— Через двадцать пять минут мы можем выпить чаю.

Он вспомнил ее аккуратность в распределении времени.

«Это выходило несколько суховато, — подумал он. — Но зато как удобно!»

Эрбель так и не вернулся к назначенному времени.

— Позвони домой, — посоветовала Анна. — Он, наверное, все перепутал и сам пошел к тебе. Это олицетворенная бестолочь, — прибавила она с раздражением.

Но Ермилову звонить домой не хотелось.

— Тогда оставайся обедать, — предложила Анна. — Я так рада, что вижу тебя.

Он удивился и обрадовался и с удовольствием пообедал за хорошо сервированным столом, потом сел в свое любимое кресло и машинально протянул руку за газетами.

Потом Анна стала деловито и толково расспрашивать его о делах.

Он испытывал чувства человека, вернувшегося после занятого, но утомительного и надоевшего путешествия к себе домой. Хотелось потянуться, зевнуть и сказать с довольной улыбкой:

— Ну вот, теперь можно отдохнуть, да и за дело.

Домой он попал поздно. Еще на лестнице слышал, как Зоя поет какую-то ерунду, и брезгливо сморщился:

«Не женщина, а какая-то птичья дура».

Вошел и остановился.

На ковре сидел Эрбель, а на диване Зоя. Эрбель положил голову ей на колени и обеими руками обнимал ее за талию.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, — спокойно сказал Ермилов. — Простите, что помешал.

Повернулся и вышел.

Вышел и пошел к Анне.

И всю дорогу старался вспомнить, где это он слышал эту гордую и благородную фразу, которую только что с таким шиком произнес.

Но так и не вспомнил.





**Т**ощий, длинный, голова узкая,

плешивая, выражение лица мудрое.

Говорит только на темы практические, без шуточек, прибауточек, без улыбочек. Если и усмехнется, так непременно иронически, оттянув углы рта книзу.

Занимает в эмиграции положение скромное: торгует вразнос духами и селедками. Духи пахнут селедками, селедки — духами.

Торгует плохо. Убеждает неубедительно:

— Духи скверные? Так ведь дешево. За эти самые духи в магазине шестьдесят франчков отвалите, а у меня девять. А плохо пахнут — так вы живо принохаетесь. И не к такому человек привыкает.

— Что? Селедка одеколоном пахнет? Это ее вкусу не вредит. Мало что. Вот немцы, говорят, такой сыр едят, что покойником пахнет. А ничего. Не обижаются. Затошнит? Не знаю, никто не жаловался. От тошноты тоже никто не помирал. Никто не жаловался, что помирал.

Сам серый, брови рыжие. Рыжие и шевелятся. Любил рассказывать о своей жизни. Понимаю, что жизнь его являет образец поступков осмысленных и правильных. Рассказывая, он поучает и одновременно выказывает недоверие к вашей сообразительности и восприимчивости:

— Фамилия наша Вурюгин. Не Ворюгин, как многие позволяют себе шутить, а именно Вурюгин, от совершенно неизвестного корня. Жили мы в Таганроге. Так жили, что ни один француз даже в воображении не может иметь такой жизни. Шесть лошадей, две коровы. Огород, угодя. Лавку отец держал. Чего? Да все было. Хочешь кирпичу — получай кирпичу. Хочешь постного масла — изволь масла. Хочешь бараний тулуп — получай тулуп.

Даже готовое платье было. Да какое! Не то что здесь — год поносил, все залоснится. У нас такие материалы были, какие здесь и во сне не снились. Крепкие, с ворсом. И фасоны ловкие, широкие, любой артист наденет — не прогадает. Модные. Здесь у них насчет моды, надо сказать, слабовато. Выставили летом сапоги коричневой кожи. Ах-ах! Во всех магазинах, ах-ах, последняя мода. Ну, я хожу, смотрю, да только головой качаю. Я такие точно сапоги двадцать лет тому назад в Таганроге носил. Вон когда. Двадцать лет тому назад, а к ним сюда мода только сейчас докатилась. Модники, нечего сказать!

А дамы как одеваются! Разве у нас носили такие лепешки на голове? Да у нас бы с такой лепешкой прямо постыдились бы на люди выйти. У нас модно одевались, шикарно.

А здесь о моде понятия не имеют.

Скучно у них. Ужасно скучно. Метро да синема. Стали бы у нас в Таганроге так по метро мотаться? Несколько сот тысяч человек ежедневно по парижским метро проезжают. И вы станете меня уверять, что все они по делу ездят? Ну, это, знаете, как говорится, ври да не завирайся. Триста тысяч человек в день, и все по делу! Где же эти их дела-то? В чем они себя оказывают? В торговле? В торговле, извините меня, застой. В работах тоже, извините меня, застой. Так где же, спрашивается, дела, по которым триста тысяч человек день и ночь, вылупя глаза, по метро носят? Удивляюсь, благоговею, но не верю.

На чужбине, конечно, тяжело и многого не понимаешь. Особливо человеку одинокому. Днем, конечно, работаешь, а по вечерам прямо дичаешь. Иногда подойдешь вечером к умывальнику, посмотришь на себя в зеркальце и сам себе скажешь:

«Вурюгин, Вурюгин! Ты ли это богатырь и красавец? Ты ли это торговый дом? И ты ли это шесть лошадей, и ты ли это две коровы? Одинокая твоя жизнь, и усох ты, как цветок без корня».

И вот должен я вам сказать, что решил я как-то влюбиться. Как говорится — решено и подписано. И жила у нас на лестнице в нашем отеле «Трезор» молоденькая барынька, очень милая и даже, между нами говоря, хо-

рошенькая. Вдова. И мальчик у нее был пятилетний, славенький. Очень славенький был мальчик.

Дамочка ничего себе, немножко зарабатывала шитьем, так что не очень жаловалась. А то знаете наши беженки — пригласишь ее чайку попить, а она тебе, как худой бухгалтер, все только считает да пересчитывает: «Ах, там не заплатили пятьдесят, а тут недоплатили шестьдесят, а комната двести в месяц, а на метро три франка в день».

Считают да вычитают — тоска берет. С дамой интересно, чтобы она про тебя что-нибудь красивое говорила, а не про свои счеты. Ну, а эта дамочка была особенная. Все что-то напевает, хотя при этом не легкомысленная, а, как говорится, с запросами, с подходом к жизни. Увидела, что у меня на пальто пуговица на нитке висит, и тотчас, ни слова не говоря, приносит иголку и пришивает.

Ну я, знаете ли, дальше — больше. Решил влюбляться.

И мальчик славенький. Я люблю ко всему относиться серьезно. А особенно в таком деле. Надо умеючи рассуждать. У меня не пустяки в голове были, а законный брак.

Спросил, между прочим, свои ли у нее зубы. Хотя и молоденькая, да ведь всякое бывает. Была в Таганроге одна учительница. Тоже молоденькая, а потом оказалось — глаз вставной.

Ну, значит, приглядываюсь я к своей дамочке, и совсем уж, значит, все взвесил. Жениться можно. И вот одно неожиданное обстоятельство открыло мне глаза, что мне, как порядочному и добросовестному, больше скажу — благородному человеку, жениться на ней нельзя. Ведь подумать только — такой ничтожный, казалось бы, случай, а перевернул всю жизнь на старую зарубку.

И было дело вот как. Сидим мы как-то у нее вечером, очень уютно, вспоминаем, какие в России супы были. Четырнадцать насчитали, а горох и забыли. Ну и смешно стало. То есть смеялась-то, конечно, она, я смеяться не люблю. Я скорее подсадовал на дефект памяти. Вот, значит, сидим, вспоминаем бывшее могущество, а мальчонка тут же.

— Дай, — говорит, — маман, карамельку.

А она отвечает:

— Нельзя больше, ты уже три съел.

А он ну канючить — дай да дай.

А я говорю, благородно шутя:

— Ну-ка пойди сюда, я тебя отшлепаю.

А она и скажи мне фатальный пункт:

— Ну, где вам! Вы человек мягкий, вы его отшлепать не сможете.

И тут разверзлась пропасть у моих ног.

Брать на себя воспитание младенца как раз такого возраста, когда ихнего брата полагается драть, при моем характере абсолютно невозможно. Не могу этого на себя взять. Разве я его когда-нибудь выдеру? Нет, не выдеру. Я драть не умею. И что же? Губить ребенка, сына любимой женщины?

— Простите, — говорю, — Анна Павловна. Простите, но наш брак утопия, в которой все мы утонем. Потому что я вашему сыну настоящим отцом и воспитателем быть не смогу. Я не только что, а прямо ни одного разу выдрать его не смогу.

Говорил я очень сдержанно, и ни одна фибра на моем лице не дрыгала. Может быть, голос и был слегка подавлен, но за фибру я ручаюсь.

Она, конечно, — ах! ах! Любовь и все такое, и драть мальчика не надо, он, мол, и так хорош.

— Хорош, — говорю, — хорош, а будет плох. И прошу вас, не настаивайте. Будьте тверды. Помните, что я драть не могу. Будущностью сына играть не следует.

Ну, она, конечно, женщина, конечно, закричала, что я дурак. Но дело все-таки разошлось, и я не жалею. Я поступил благородно и ради собственного ослепления страсти не пожертвовал юным организмом ребенка.

Взял себя вполне в руки. Дал ей поуспокоиться денек-другой и пришел толково объяснить. Ну, конечно, женщина воспринять не может. Зарядила «дурак да дурак». Совершенно неосновательно.

Так эта история и покончилась. И могу сказать — горжусь. Забыл довольно скоро, потому что считаю ненужным вообще всякие воспоминания. На что? В ломбард их закладывать, что ли?

Ну-с и вот, обдумавши положение, решил я жениться.

Только не на русской, дудки-с. Надо уметь рассуждать. Мы где живем? Прямо спрашиваю вас — где? Во Франции. А раз живем во Франции, так, значит, нужно жениться на француженке. Стал подыскивать.

Есть у меня здесь один француз знакомый. Мусью Емельян. Не совсем француз, но давно тут живет и все порядки знает.

Ну вот, этот мусью и познакомил меня с одной барышней. На почте служит. Миленькая. Только, знаете, смотрю, а фигурка у нее прехорошенькая. Тоненькая, длиненькая. И платице сидит как влитое. «Эге — думаю, — дело дрянь!»

— Нет, — говорю, — эта мне не подходит. Нравится, слов нет, но надо уметь рассуждать. Такая тоненькая, складненькая всегда сможет купить себе дешевенькое платице — так за семьдесят пять франков. А купила платице — так тут ее дома зубами не удержишь. Пойдет плясать. А разве это хорошо? Разве я для того женюсь, чтобы жена плясала? Нет, — говорю, — найдите мне модель другого выпуска. Поплотнее.

И можете себе представить — живо нашлась. Небольшая модель, но эдакая, знаете, трамбовочка кургузенькая, да и на спине жиру, как говорится, не купить. Но, в общем, ничего себе и тоже служащая. Вы не подумайте, что какая-нибудь кувалда. Нет, у ней и завитушечки, и плочки, и все как и у худеньких. Только, конечно, готового платья для нее не достать.

Все это обсудивши да обдумавши, я, значит, открылся ей в чем полагается, да и марш в мэри\*.

И вот примерно через месяц запросила она нового платья. Запросила нового платья, и я очень охотно говорю:

— Конечно, готовенькое купить?

Тут она слегка покраснела и отвечает небрежно:

— Я готовые не люблю. Плохо сидят. Лучше купи мне материю синенького цвета, да отдадим сшить.

Я очень охотно ее целую и иду покупать. Да будто бы по ошибке покупаю самого неподходящего цвета. Вроде буланого, как лошади бывают.

---

\* В мэрию (от фр. *marie*).



Она немножко растерялась, однако благодарит. Нелзя же — первый подарок, эдак и отвадить легко. Тоже свою линию понимает.

А я очень всему радуюсь и рекомендую ей русскую портниху. Давно ее знал. Драла дороже француженки, а шила так, что прямо плюнь да свистни. Одной клиентке воротничок к рукаву пришила, да еще спорила. Ну вот, сшила эта самая кутюрша моей барыньке платье. Ну прямо в театр ходить не надо, до того смешно! Буланая телка, да и только. Уж она, бедная, и плакать пробовала, и переделывала, и перекрашивала — ничего не помогло. Так и висит платье на гвозде, а жена сидит дома. Она француженка, она понимает, что каждый месяц платья не сошьешь. Ну вот, и живем тихой семейной жизнью. И очень доволен. А почему? А потому, что надо уметь рассуждать.

Научил ее голубцы готовить.

Счастье тоже само в руки не дается. Нужно знать, как за него взяться.

А всякий бы, конечно, хотел, да не всякий может.





## Психологический факт

**М**не кажется, что я —

конченный человек.

Я уверен, что ничто мне не поможет, никакие капли, ни даже кратковременный отпуск и поездка на юг.

Я соскочил с зарубки. Я четыре дня пью, а ведь я непьющий. Я, положим, держу себя как джентльмен и даже не скандалю, но недалеко и до этого.

И как все это случилось, и почему? Я словно потерял себя.

Что же я за человек?

Вот брошу сам на себя посторонний взгляд.

Нормальный я? Конечно, нормальный. Даже более чем нормальный. Я даже чересчур хорошо владел собою. Если случалось, что меня оскорбят, я не только не скандалил, но даже, как чистейший джентльмен, в ответ только улыбался.

Я добр. Я, например, дал Пенину пятнадцать франков, зная, что тот не отдаст, и даже не попрекаю его.

Я не завистлив. Если кто-нибудь счастлив — черт с ним, пусть счастлив, мне наплевать.

Я люблю чтение. Я развитой: я достал «Ниву» за тысяча восемьсот девяносто второй год и читал ее с увлечением.

Внешность у меня приятная. Лицо полное, спокойное.

Имею службу.

Словом, я — человек.

Что же со мной случилось? Почему мне хочется пить петухом, глушить водку? Конечно, это пройдет. И что же, собственно, случилось? Ведь этого даже рассказать никому нельзя. Это такая психология, от которой меня четыре дня трясет, а как подумает, особенно если нач-

нешь рассказывать, то не получается ровно никакой трагедии. Так отчего же я пришел в такое вот состояние? Откуда такой психологический факт?

Теперь спокойно поговорим о ней. Именно спокойно. И тоже бросим на нее взгляд постороннего человека.

На взгляд постороннего человека, она прежде всего ужасно высока ростом. Как у нас на Руси говорилось, «на таких коров вешать». Изречение народной мудрости — хотя где бывал такой случай, чтобы коров надо было вешать? Когда их вешают? Но довольно. Не хочется тратить время на тяжелые и сумбурные размышления.

Итак — она высока и нескладна. Руки болтаются. Ноги разъезжаются. Удивительные ноги — чем выше, тем тоньше.

Она никогда не смеется. Странное дело, но этот факт я установил только теперь, к финалу нашего бытия, а прежде не то что не замечал (как этого не заметишь?), а как бы не понимал.

Затем нужно отметить, что она некрасива. Не то что на чей вкус. На всякий вкус. И лицо обиженное, недовольное.

А главное дело — она дура. Тут уж не поспоришь. Тут все явно и определено.

И представьте себе — ведь и это открылось мне не сразу. Уж, кажется, бьет в глаза — а вот почему-то не удалось мгновенному определению, и баста. Может быть, оттого, что, не предвидя дальнейшего, не останавливался мыслью на ее личности.

Теперь приступим к повествованию.

Познакомился я с ней у Ефимовых (от них всегда шли на меня всякие пакости). Она пришла и сразу спросила, который час. Ей ответили, что десять. Тогда она сказала:

— Ну так я у вас могу просидеть ровно полчаса, потому что мне ровно в половине девятого нужно быть в одном месте.

На это Ефимов, засмеявшись, сказал, что уж торопиться нечего, все равно половина девятого прошла уже полтора часа тому назад.

Тогда она обиженным тоном сказала, что будет большая разница, опоздает ли она на два часа или на три.

А Ефимов опять посмеивается.

— Значит, — говорит, — по-вашему, выходит, что, например, к поезду опоздать на пять минут гораздо удобнее, чем на полчаса.

Она даже удивилась:

— Ну конечно.

Я тогда еще не знал, что она дура, и думал, что это она шутит.

Потом вышло так, что мне пришлось проводить ее домой.

По дороге выяснилось, что зовут ее Раиса Константиновна, что муж у нее шофер, а сама она служит в ресторане.

— Семейная жизнь у меня идеальная, — говорила она. — Муж у меня ночной шофер. Я прихожу — его уже нет, а когда он возвращается, меня уже нет. Никогда никаких ссор. Душа в душу.

Я думал, она острит. Нет, лицо серьезное. Говорит как думает.

Чтобы что-нибудь сказать, спросил, любит ли она cinema. А она в ответ:

— Хорошо. Зайдите, пожалуй, за мной в четверг.

Ну что мне делать? Не могу же я ей сказать, что я ее не звал. Невежливо.

Ну и зашел.

С этого и началось. Ведь какие странные дела бывают на свете!

Веду ее, поддерживаю под ручку.

— Вы, — говорю, — такая очаровательная.

Но ведь надо же что-нибудь говорить.

А она в ответ:

— Я об этом давно догадалась.

— О чем? — удивляюсь я.

— О том, что ты меня любишь.

Так и брякнула. Я даже остановился.

— Кто? — говорю. — То есть кого? — говорю. — Одним словом, что?

А она эдак свысока:

— Не надо так волноваться. Не вы первый, не вы последний, и любовь вообще вполне естественное явление.

Я глаза выпучил, молчу. И, заметьте, все еще не понимаю, что она дура.

А она между тем развивает дальше свою мысль, и развивает ее в самом неожиданном уклоне, но чрезвычайно серьезно.

— Мы, — говорит, — мужу ничего не скажем. Может быть, потом, когда твое роковое чувство примет определенную форму. Согласись, что это важно.

Я ухватился обеими руками:

— Вот, вот. Ни за что не надо говорить.

— А я буду для тебя недостижимой мечтой. Я буду чинить твоё бельё, читать с тобой стихи. Ты любишь творожники? Я тебе когда-нибудь приготовлю творожники. Наша близость должна быть как сон золотой.

А я все:

— Вот именно, вот именно.

И, откровенно говоря, эта ее идея насчет штопки мне даже, так сказать, сверкнула своей улыбкой. Я человек одинокий, безалаберный, а такая дамочка, которая сразу проявила женскую заботливость, — это в наше время большая редкость. Конечно, она несколько экзальтированно поняла мой комплимент, но раз это вызвало такие замечательные результаты, как приведение в порядок моего гардероба, то можно только радоваться и благодарить судьбу. Конечно, она мне не нравится, но (опять-таки народная мудрость!) с лица не воду пить, а с фигуры и подавно. Я ей на прощанье обе ручки поцеловал. И потом, ночью, обдумав все это приключение, даже сам себе улыбнулся. В моей одинокой жизни можно только приветствовать появление такой чудесной женщины. Вспомнил и о творожниках. И это ведь недурно. Очень даже недурно.

Решил, значит, что все недурно, и успокоился.

А на другой день прихожу со службы, открываю дверь — а она сидит у меня в номере и сухари принесла.

— Я, — говорит, — обдумала и решилась. Говори мне «ты».

— Помилуйте! Да я недостоин.

— Я, — говорит, — разрешаю.

Вот черт! Да мне вовсе не хочется. Я и уперся:

— Недостоин, и баста.

А она все говорит и говорит. И на самые различные темы. И все такие странные вещи.

— Я, — говорит, — знаю, что ты страдаешь. Но страдания — облагораживают. И смотри на меня как на высшее существо, на твой недостижимый идеал. Не надо грубых страстей, мы не каннибалы. Поэт сказал: «Только утро любви хорошо». Вот я принесла сухари. Конечно, у них нет таких сухарей, как у нас чувские. У них дрянь. Они даже не понимают. Знаешь, я в тебе больше всего ценю, что ты русский. Французы ведь совершенно не способны на возвышенное чувство. Француз если женится, так только на два года, а потом измена и развод.

— Ну что вы! С чего вы это взяли? Да я сам знаю много почтенных супругов среди французов.

— Ну, это исключение. Если не разошлись, значит, просто им нравится вместе деньги копить. Разве у них есть какие-нибудь запросы? Все у них ненатуральное. Цветы ненатуральные, огурцы с полено величиной, а укропу и совсем не понимают. А вино! Да вы у них натурального вина ни за какие деньги не достанете. Все подделка.

— Да что вы говорите! — завопил я. — Да Франция на весь мир славится вином! Да во Франции лучшее вино в мире!

— Ах, какой вы наивный! Это все подделка.

— Да с чего вы взяли?

— Мне один человек все это объяснил.

— Француз?

— Ничего не француз. Русский.

— Откуда же он знает?

— Да уж знает.

— Что же он, служит у виноделов, что ли?

— Ничего не у виноделов. Живет у нас на Вожираре.

— Так как же он может судить?

— А почему же не судить? Четыре года в Париже. Наблюдает. Не всем так легко глаза отвести, как, например, вам.

Тут я почувствовал, что меня трести начинает. Однако сдерживаюсь и говорю самым светским тоном:

— Да он просто болван, этот ваш русский.

— Что ж, если вам приятно унижать свою кровь...

— Его и унижать не надо. Болван он.

— Ну что ж — целуйтесь с вашими французами. Вам, может быть, и говядина ихняя нравится. А где у них фи-

лей? Где огузок? Разве у них наша говядина? Да у ихних быков даже и частей таких нет, как у наших. У нас были черкасские быки. А они о черкасском мясе и понятия не имеют.

Не знаю, в чем тут дело, но меня это почему-то ужасно рассердило. Я не француз, и обижаться мне нечего, а тем более за говядину, но как-то расстроило это меня чрезвычайно.

— Простите, — говорю, — Раиса Константиновна, но я так выражаться о стране, приютившей нас, не позволю. Я считаю, что это с вашей стороны некрасиво и даже неблагодарно.

А она свое:

— Заступайтесь, заступайтесь! Может быть, вам даже нравится, что у них сметаны нет? Не стесняйтесь, пожалуйста, говорите прямо. Нравится? Вы готовы преклоняться? Вы рады топтать Россию.

И такая она стала омерзительная, длинная, рот перекошенный, лицо бледное.

— Топчите, топчите Россию!

И что тут со мной произошло — сам не знаю. Только схватил я ее за плечи и заорал козлиным голосом:

— Пошла вон, ду-ура!

Я так орал, что соседи в стенку стукнули. Всего меня трясло.

Она еще на лестнице визжала что-то про Россию. Я не слушал. Я топтал ногами ее сухари. И хорошо сделал, потому что, если бы выбежал за ней, я бы ее прикончил. Потому что во мне в этот миг сидел убийца.

Я был на волосок от гильотины. Потому что как объяснишь французским присяжным русскую дуру?

Этого они понять не смогут. Вот этого французы действительно не могут.

Это им не дано.





**Т**еатр называли «миниатюрным».

Не потому что бы он был маленького размера — он был довольно вместительный, хотя и без балкона. Называли его миниатюрным в силу репертуара, состоящего из одноактных пьесок коротеньких пантомим и балетов.

Артисты, обслуживавшие миниатюрный театр, подбирались с талантами универсальных возможностей. Такой артист должен и петь, и плясать, и играть — словом, все, что заставят.

Но изредка, когда ставилась пантомима с танцами, а собственных сил не хватало, приглашались новые артисты.

Вот как раз к такой пантомиме, когда прошел среди актеров слух, что нужно будет подкрепление, явилась, между прочими, нераздельная парочка — Рюля и Рюлина мама.

Рюля, вернее, Юлия Кинская, пухлая девица восемнадцати лет, обучавшаяся танцам и пластике в частной школе, была в некотором роде феноменом. Она состояла из двух частей, кое-как свинченных вместе крепким ремненным поясом. Одна часть Рюли, верхняя, была очень мила — стройна, с узенькими плечиками, тонкими руками и гибкой спиной. Вторая часть, нижняя, была нечто вроде лошадиного крупы, заканчивающегося тяжелыми ногами могучего першерона. Девушка-центавр. Почему выбрала она для себя танцевальную карьеру — трудно было понять. Вероятно, когда она начала учиться танцам, это «раздвоение личности» еще не так резко определялось.

Лицо у Рюли было миловидное, но выражение его, тяжелое и сонное, отражало скорее нижнюю часть ее сложного естества, чем верхнюю.

Рюлина мама — маленькая, шупленькая поблекшая женщина с умоляющими глазами и нервными жестами, одетая в какое-то мурugое тряпье, очевидно, Рюлины об-



носки, типичная театральная мамаша, вся насторожившаяся, готовая каждую минуту ринуться в бой, отстаивая интересы дочери, — давала немало развлечения всей труппе своей комической фигурой.

Само собой разумеется, что девицу-центавра в пантомиму не пригласили. Сколько ни уговаривала Рюлина мама попробовать ее дочь, сколько ни трясла своей несчастной головой, увенчанной неизъяснимым кукушечьим перышком, — ничего не вышло. Но мама позиции не сдала.

Каждый день приводила она Рюлю на репетицию:

— Садись, Рюля!

Подставляла ей стул, а сама вставала рядом, и так дежурили они до самого конца.

К ним привыкли.

Рюлина мама перезнакомилась со всеми и была даже полезна. У нее всегда были с собой двойные булавки, карандаш, спички. Она была со всеми заискивающе любезна и услужлива. Даже раз сбегала для режиссера в лавочку за папиросами.

— Почему вашу дочь зовут Рюля? — спросил ее кто-то.

— Как — почему? Вполне понятно. Юлия — Рюля.

— Н-да, — согласился любопытствующий. — Раз понятно, так я не спорю. А то мы думали, что это сокращенное от «кастрюля».

Так приходили Рюля и Рюлина мама на все репетиции.

И вот раз, совершенно неожиданно, судьба им улыбнулась. Одна из актрис, участвующих в пантомиме, не пришла. Выяснилось это обстоятельство так поздно, что испортило все дело.

— Люк не пришла, — злился режиссер. — Роль у нее небольшая, но репетировать с пустым местом страшно неудобно.

И вдруг ринулась вперед Рюлина мама. Схватила Рюлю за руку и бросилась к режиссеру:

— Так вот же то, что вам нужно. Она присутствовала на всех репетициях и отлично сможет дублировать Люк. Клянусь вам — она прямо рождена для этой роли. Ну что вам стоит? Попробуйте.

— Ну, пусть идет. Как ее фамилия?

— Кинская! Кинская! Сокращенно от Баклинская, — в радостном трепете выкрикала Рюлина мама. — Ее отец

был офицер. Он был бы уже полковником, если бы не умер так рано. Кинская.

— Кинская! — крикнул режиссер, отстраняя рукой наседавшую маму. — Становитесь на место. Начинаем.

Рюлина мама встала за Рюлиной спиной, ела глазами каждый Рюлин жест, вместе с ней притоптывала, вместе с ней подпрыгивала. Кукушечье перо на ее шляпке дрожало и прыгало.

Репетиция шла из рук вон плохо. Актеры хохотали, путали места, сам режиссер сбился с толку.

Рюля скакала тяжелым лошадиным аллюром, подгоняемая сзади мамой, подсказывавшей ей и поправлявшей ее ошибки.

В общем, она держалась и танцевала сносно, только, когда по ходу действия она с подругами-нимфами отступала в ужасе перед выскочившим из-за скалы сатиром, иллюзия крупна наседающей на публику жандармской лошади была так велика, что один из актеров, пострадавший когда-то во время студенческих беспорядков, даже разволновался.

На другой день выяснилось, что не прибывшая на репетицию актриса вообще больше не придет «по домашним обстоятельствам». Все знали, что обстоятельства эти если не совсем домашние, то, во всяком случае, вроде того. Просто банкир, который покровительствовал развитию ее таланта, неожиданно выехал за границу и в последнюю минуту прихватил актрису с собой.

Получив это извещение, режиссер хотел было что-то сообразить и предпринять, но, окинув взглядом зал, увидел Рюлю и Рюлину маму уже на указанном накануне месте и в полной боевой готовности.

— Ну, пусть ее! — решил режиссер, и репетиция началась.

Рюля танцевала сносно, помнила все указания, которые ей делал режиссер, никогда не опаздывала. К фигуре ее скоро привыкли.

— Ну что ж, — говорили. — Все эти нимфы и сатирессы — кто их видал. Может быть, именно такие они и были.

А без Рюлиной мамы прямо стало бы скучно. Ведь каждая репетиция благодаря ей превращалась в целый спектакль, и превеселый. В каком-то экстазе, красная, расте-

рянная, она повторяла все Рюлины движения. Особенно смешно выходило, когда она изящно вытягивала свою ногу в стоптанном башмаке и буром шерстяном чулке.

Вялая, пухлая Рюля, лениво шевелящая толстыми ногами, и за ней, как пьяная ведьма, дикая маменька. Спектакль был редкостный. Из других театров стали забегать актеры посмотреть на чудище.

Репетиция близилась к концу, когда произошло неожиданное событие. Позже обыкновенного влетела Рюлина мама. Одна. Перо на отлете, руки в сторону, на лице ужас:

— Рюля свихнула ногу. Должна несколько дней пролежать!

Как быть?

— Я ее заменяю на репетиции. Я все знаю. Вот увидите. А дня через три она снова займет свое место.

И, прежде чем режиссер опомнился, она встала на место Рюли и приняла нужную позу.

— Ну, пусть! — решил режиссер.

Началась репетиция.

Рюлина мама отлично проделывала все, что нужно, и даже более того. Она внесла в заключительный галоп нимф столько бурной стихийности и так увлекла других, что режиссер даже рот открыл.

— Ну, наконец-то эта картина идет как следует! — воскликнул он. — А то все ползали, как сонные мухи, вакханки, черт вас подери!

— А мама-то какова? — удивлялись после репетиции актеры. — Она, конечно, ведьма. Смотрите-ка, что разделывает.

Рюлина болезнь затянулась. И каждый день бурей влетала мама, занимала ее место и репетировала.

— Мама! Отлично! — кричал режиссер. — Скинуть бы вам лет двадцать! Ерохина, смотрите на маму, делайте как мама.

Настал день спектакля. Рюля должна была прийти — и не пришла.

— Не выпускать же эту старую ведьму.

— Немыслимо. Она сорвет весь ансамбль. Ведь это же пантомима, а не фарс.

— Вот положение!

— Ну, что делать. Пусть будет будто это сатириесса. Черт их там распродери, всех этих фаунесс и сатириесс. Как-нибудь вывернемся.

— Иван Андреич! — окликнул режиссера знакомый плачущий голос. — Иван Андреич! Так хорошо?

Он обернулся, поискал глазами Рюлину маму, не нашел, но увидел маленькую стройненькую женщину в рыжем парике и огненно-красном хитончике.

— Мама!

— Я заменю сегодня Рюлю. Завтра ей разрешено встать.

Мама оказалась очаровательной. Может быть, чересчур темпераментной, скорее вакханкой, чем нимфой, и жесты и позы ее были, пожалуй, чересчур разнузданны, но что было и смешно, и ужасно в унылой маме в стоптанных башмаках, увенчанной неизъяснимым кукушечьим пером, то выходило очень интересно и зажигательно у этой маленькой огненной женщины. Публика была в восторге. Актеры удивлялись и веселились:

— Вот так мама!

— Ну и мама!

— Талант, этуаль\*, примадонна! Кто бы подумал!

— Слушайте, мама, — сказал режиссер. — я оставляю эту роль за вами. Вы с ней справляетесь лучше, чем ваша дочь.

Рюлина мама вдруг вся побелела и затряслась. Это было уже после спектакля, когда кукушечье перо уже водворилось на свое законное место.

— Вы шутите! — захрипела она. — Вы никакого права не имеете так поступать! Вышвыривать прелестную молодую артистку оттого, что она несколько дней проболела! Менять ее, талантливую и яркую, на бездарную, смешную старуху! Не допущу-у-у. Завтра она займет свое место. Подлец!

Повернулась и вышла.

---

\* Звезда (от фр. étoile).



«А нежность... где ее нет!» —

сказала Обломову Ольга.

Что это фраза? Как ее следует понимать? Почему такое уничтожение нежности? И где она так часто встречается?

Я думаю, что здесь неточность, что не нежность осуждается пламенной Ольгой, а модная в то время сентиментальность, фальшивое, поверхностное и манерное занятие. Именно занятие, а не чувство.

Но как можно осудить нежность?

Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви. Сестра нежности — жалость, и они всегда вместе.

Увидите вы их не часто, но иногда встретите там, где никак не ожидали, и в сочетании самом удивительном.

Любовь-страсть — всегда с оглядкой на себя. Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, все время боится упустить потерянное.

Любовь-нежность (жалость) — все отдает, и нет ей предела. И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». Только она одна и не ищет.

Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. Наоборот. Нежность идет сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. А ведь заботиться и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке.

Поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому.

— Деточка! Крошечка!

Пусть деточке пятьдесят лет, а крошечке — семьдесят, нежность идет сверху, и видит их маленькими, беззащитными, и мучается над ними, боится за них.

Не может Валькирия, несмотря на всю свою любовь к Зигфриду, назвать его «заинькой». Она покорена силой Зигфрида, в ее любви — уважение к мускулам и к силе духа. Она любит героя. Нежности в такой любви быть не может.

Если маленькая, хрупкая, по природе нежная женщина полюбит держиморду, она будет искать момента, понижающего это могучее существо, чтобы открыть путь для своей нежности.

— Он, конечно, человек очень сильный, волевой, даже грубый, но знаете, иногда, когда он спит, у него лицо делается вдруг таким детским, беспомощным.

Это нежность слепо, осязую ищет своего пути.

Одна молодая датчанка, первый раз попавшая во Францию, рассказывала с большим удивлением, что француженки называют своих детей кроликами и цыплятами. И даже — что совсем уже необъяснимо — одна дама называла своего больного мужа капустой (*mon chou*) и кокошкой (*mon cocotte*)\*.

— И знаете, — прибавляла она, — я заметила, что и на детей, и на больных это очень хорошо действует.

— А разве у вас в Дании нет никаких ласкательных слов?

— Нет, ровно никаких.

— Ну, а как же вы выражаете свою нежность?

— Если мы любим кого-нибудь, то мы стараемся сделать для него все, что только в наших силах, но называть почтенного человека курицей никому в голову не придет. Но странное дело, — прибавила она задумчиво, — я заметила, что такое обращение очень нравится и даже очень хорошо действует на детей и больных.

Нежность встречается редко и все реже.

Современная жизнь трудна и сложна. Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. Любовь — единоборство.

— Ага! Любить? Ну, ладно же.

Засучили рукава, расправили плечи — ну-ка, кто кого?

До нежности ли тут? И кого беречь, кого жалеть — все молодцы и герои.

---

\*Здесь: душечка, любимчик (фр.).

Кто познал нежность — тот отмечен. Копье архангела пронзило его душу, и уж не будет душе этой ни покоя, ни меры никогда.

В нашем представлении рисуется нежность непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью.

Ах, что мы знаем об этих «кротких женщинах». Ничего мы о них не знаем.

Нет, не там нужно искать нежность. Я видела ее иначе. В обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных.

В первый раз посетила она мою душу давно. Душе моей было не более семи лет. Огромные семь лет. Самые полные, насыщенные и значительные эти первые семь лет человеческой жизни.

Был вечер, была елка. Были и восторг, и зависть, и смех, и ревность, и обида, — весь аккорд душевных переживаний.

И были подарены нам с младшей сестрой картонные слоники, серые, с наклеенной на спине красной бархатной попонкой с золотым галуном. Попонка сбоку поднималась, и внутри, в животе у слоников, бренчали конфетки.

Были подарки и поинтереснее. Слоники ведь просто картонажи с елки.

Я высыпала из своего картонажа конфетки, живо их сгрызла, а самого слоника сунула под елку — пусть там спит, а за ночь придумаю, кому его подарить.

Вечером, разбирая игрушки и укладывая спать кукол, заметила, что сестра Лена как-то особенно тихо копошится в своем углу и со страхом на меня посматривает.

Что бы это такое могло быть?

Я подошла к ней, и она тотчас же схватила куклино одеяло и что-то от меня прикрыла, спрятала.

— Что у тебя там?

Она засопела и, придерживая одеяло обеими руками, грозно сказала:

— Пожалуйста, не смей

Тут для меня осталось два выхода: или сказать «хочу и буду» — и лезть напролом, или сделать вид, что мне вовсе не интересно. Я выбрала последнее:

— Очень мне нужно!

Повернулась и пошла в свой угол. Но любопытство мучило, и я искоса следила за Леной. Она что-то все поглаживала, шептала. Изредка косила на меня испуганный круглый свой глазок. Я продолжала делать вид, что мне все это ничуть не интересно, и даже стала напевать себе под нос.

И мне удалось обмануть ее. Она встала, нерешительно шагнула раз, два и, видя, что я сижу спокойно, вышла из комнаты.

В два прыжка я была уже в ее углу, содрала одеяльце и увидела нечто ужасно смешное. Положив голову на подушечку, лежал спеленутый слоник, безобразный, жалкий, носатый.

Вылезавший из сложенной чепчиком тряпки хобот и часть отвислого уха — все было так беззащитно, покорно и кротко, и вместе с тем так невыносимо смешно, что семилетняя душа моя растерялась. И еще увидела я под хоботом у слоника огрызок пряника и два ореха. И от всего этого стало мне так больно, так невыносимо, что, чтобы как-нибудь вырваться из этой странной муки, я стала смеяться и кричать:

— Лена! Глупая Лена! Она слона спеленала! Смотрите! Смотрите!

И Лена бежит, красная, испуганная, с таким отчаянием в глазах, толкает меня, прячет своего слоника. А я все кричу:

— Смотрите, смотрите! Она слона спеленала!

И Лена бьет меня крошечным толстым своим кулаком, мягким, как резинка, и прерывающимся шепотом говорит:

— Не смей над ним смеяться! Ведь я тебя у-у-убить могу!

И плачет, очевидно, от ужаса, что способна на такое преступление.

Мне не больно от ее кулака. Он маленький и похож на резинку, но то, что она защищает своего уродца от меня. большой и сильной, умеющей — она это знает — драться ногами, и сам этот уродец, носатый, невинный, в тряпочном чепчике, — все это такой болью, такой невыносимой, беспредельной, безысходной жалос-



тью сжимает мою маленькую, еще слепую душу, что я хватаю Лену за плечи и начинаю плакать и кричать, кричать, кричать... Картонного слоника с красной попонкой — уродца в тряпочном чепчике — забуду ли я когда-нибудь?

## 2

И вот еще история — очень похожая на эту. Тоже история детской души.

Был у моих знакомых, еще в Петербурге, мальчик Миша, четырех лет от роду.

Миша был грубый мальчишка, говорил басом, смотрел исподлобья. Когда бывал в хорошем настроении, напевал себе под нос: «бум-бум-бум» и плясал, как медведь, переступая с ноги на ногу. Плясал, только когда был один в комнате. Если кто-нибудь невзначай войдет, Миша — от стыда, что ли — приходил в ярость, бросался к вошедшему и бил его кулаками по коленям — выше он достать не мог.

Мрачный был мальчик. Говорил мало и плохо, развивался туго, любил делать то, что запрещено, и делал явно назло, потому что при этом поглядывал исподтишка на старших. Лез в печку, брал в рот гвозди и грязные перья, запускал руку в вазочку с вареньем, — одним словом, был отпетый малый.

И вот как-то принесли к нему в детскую, очевидно, за ненадобностью, довольно большой старый медный подсвечник.

Миша потащил его к своим игрушкам, к автомобилю, паяцу, кораблю и барану, поставил на почетное место, а вечером, несмотря на протесты няньки, взял его с собою в кровать. И ночью увидела нянька, что подсвечник лежал посреди постели, положив на подушку верхушку с дыркой, в которую вставляют свечку. Лежал подсвечник, укрытый «до плеч» простыней и одеялом, а сам Миша, голый и холодный, свернулся комком в уголке и ноги поджал, чтобы не мешать подсвечнику. И несколько раз укладывала его нянька на место, но всегда, просыпаясь, видела подсвечник уложенным и прикрытым, а Мишу, голого и холодного, — у его ног.

На другой день решили подсвечник отобрать, но Миша так отчаянно рыдал, что у него даже сделался жар. Под-

свечник оставили в детской, но не позволили брать с собою в кровать. Миша спал беспокойно и, просыпаясь, поднимал голову и озабоченно смотрел в сторону подсвечника — тут ли он. А когда встал, сейчас же уложил подсвечник на свое место, очевидно, чтобы тот отдохнул от неудобной ночи.

И вот как-то после обеда дали Мише шоколадку. Ему вообще сладкого никогда не давали — доктор запретил, — так что это был для него большой праздник. Он даже покраснел.

Взял шоколадку и пошел своей звериной походкой в детскую.

Потом слышно было, как он запел: «бум-бум-бум» и затопал медвежьей пляску.

А утром нянька, убирая комнату, нашла его шоколадку нетронутой — он ее засунул в свой подсвечник. Он угостил, отдал все, что было в его жизни самого лучшего, и, отдав, плясал и пел от радости.

### 3

Мы жили в санатории под Парижем.

Санатория принадлежала русскому врачу, и почти все ее население было русское.

Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали.

Настоящих больных было только двое — чахоточная девочка, которую никто никогда не видел, и злощипый старик, поправляющийся от тифа.

Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто-то проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза.

Вокруг старика трепетной птицей вилась его жена. Женщина немолодая, сухая, легкая, с лицом увядшим и с такими тревожно-счастливыми глазами, которые точно увидели радость и верить этой радости боятся.

И никогда она не сидела спокойно. Все что-то поправляла около своего больного. То переворачивала ему газету, то взбивала подушку, то подтыкивала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. Все эти услуги старик принимал с явным отвращением, а она от страха перед этим отвращением роняла ложку, проливая молоко, за-

девала его газетой по носу. И все время улыбалась дрожащими губами и рассказывала всякие веселые вещи. Расскажет — и засмеется, чтобы показать ему, что это смешно, что это весело. Он делал вид, что не слышит, и отворачивался.

Когда он засыпал в кресле, она позволяла себе сесть рядом и даже взять книгу. Но книгу она не читала, потому что, напряженно вытянув шею, прислушивалась к его дыханию.

Завтракал и обедал он у себя в комнате, и она одна спускалась в столовую. И каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала:

— Вот, может быть, вы мне поможете? Вот здесь крестословица. «Что бывает в жилом доме», в четыре буквы. Я думала «окно», но первая буква «и», потому что вертикально «женщина, обращенная в корову» значит Ио.

И поясняла:

— Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. Он всегда решает крестословицы, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. Ведь это единственное его развлечение. Так что уж мы с ним всегда после дневного отдыха предаемся этому занятию. Больные ведь как дети. Я так рада, что хоть это его забавляет. Чтение для него утомительно. Так вы не знаете, что бывает в доме в четыре буквы на «и»? Ну так я спрошу у той барышни, что сидит на балконе.

И летит, легкая, сухая, на балкон, к среднему столику, от столика еще куда-нибудь и всем приветливо объясняет, что ее мужа развлекают крестословицы и как она ему помогает в трудных случаях.

— Знаете, больные — они как дети!

И ласково всем кивала и посмеивалась, точно все мы были в каком-то веселом с ней заговоре и, конечно, тоже радуемся, стараясь угадать трудное слово крестословицы, чтобы быть полезными очаровательному Сергею Сергеевичу.

Ее жалели и относились к ней с большой симпатией:

— Умная была женщина, бактериолог. Много научных работ. И вот бросила все и мечется с крестословицами.

— А что он собою представляет?

— Он? Да как вам сказать — нечто неопределенное. Был как будто общественным деятелем, не из видных. Писал в провинциальных газетах. В общем, кажется, просто дурак с фанабериями.

Эти часа полтора во время завтрака были, кажется, лучшими моментами ее жизни. Это была подготовка к блаженному моменту, когда «ему», может быть, понадобится ее помощь.

И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного, когда кое-кто из пансионеров еще не встал из-за стола.

Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. Он морщился и сердито отталкивал ее руку, если она не сразу угадывала его желания.

Наконец он успокоился.

Она, радостно поеживаясь, схватила газету:

— Вот, Сереженька, сегодня, кажется, очень интересная крестословица.

Он вдруг приподнял голову, выкатил злые желтые глаза и весь затрясся.

— Убирайся ты, наконец, к черту со своими идиотскими крестословицами! — бешено зашипел он.

Она побледнела и вся как-то опустилась.

— Но ведь ты же... — растерянно лепетала она. — Ведь ты же всегда интересовался...

— Никогда я не интересовался! — все трясся и шипел он, с звериным наслаждением глядя в ее бледное, отчаянное лицо. — Никогда! Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! И-ди-от-ка!

Она ничего не ответила. Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. Но кто же может отнестись серьезно к такому смешному и глупому горю?

Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал.

Он жил в одном доме с нами. Он был когда-то другом моего покойного отца, кажется, даже товарищем по университету.

Но в то время, о котором я сейчас хочу рассказать, он почти никогда у нас не бывал. Видали мы его только рано утром на улице. Он гулял со своей собакой.

Но слышали мы о нем часто. Он был очень важным сановником, очень нелюбимым и осуждаемым за ретроградство, за «непонимание момента», крутым, злобным человеком, «темной силой, тормозящей молодую Россию на ее светлом пути».

Вот как о нем говорили.

И еще говорили о том, что он тридцать пять лет состоит мужем женщины, выдающейся красотой и умом.

Пройти такой стаж было, вероятно, очень тяжело.

Быть мужем красавицы трудно. Но красота пропадает, и женщина успокаивается. Но если красавица вдобавок и умна — то покоя уже никогда не настанет. Умная красавица, потеряв красоту, заткнет пустое место благотворительностью, общественной деятельностью, политикой. Тут покоя не будет.

Жена сановника была умна, писала знаменитым людям письма исторического значения, наполняла свой салон передовыми людьми и о муже отзывалась иронически.

Впрочем, сейчас я не совсем уверена в том, что эта женщина была умна. В те времена была мода на вдумчивость и серьезность, на кокетничанье отсутствием кокетства, на наигранный интерес к передовым идеям и каким-то «студенческим вопросам». Если женщина при этом была красива и богата, то репутация умницы была за ней обеспечена.

Может быть, и в данном случае было так.

Сановник жил на своей половине, отделенной от комнатов умной красавицы большой гостиной, всегда полутемной, с дребезжащими хрустальными люстрами, с толстыми коврами, о которые испуганно спотыкались пробегавшие с докладами молодые чиновники.

Утром, гуляя с няней, которая ходила за булками, мы встречали сановника. Он гулял со своей огромной собакой, сенбернаром.

Сановник был тоже огромный, обрюзгший и очень похожий на свою собаку. Его отвислые щеки оттягивали вниз нижние веки, обнаруживая красную полоску под глазным яблоком. Совершенно как у сенбернара. И так

же медленно ступал он тяжелыми мягкими ногами. И шли они рядом.

— Ишь, собачища! — сказала раз нянька.

И мы не поняли, о ком она говорит — о сановнике или о его собаке. «Собачища» ему подходило, пожалуй, больше, чем ей. У него лицо было свирепее.

Нас очень интересовала эта огромная собака. И раз, когда сановник остановился перед окном книжного магазина и собака остановилась рядом и тоже смотрела на книги, младшая сестра моя вдруг расхрабрилась и протянула руку к пушистому толстому уху, которое было на уровне ее лица.

— Можно погладить собачку? — спросила она.

Сановник обернулся, весь целиком, всем туловищем.

— Это... э-это... совершенно лишнее! — резко сказал он, повернулся и пошел.

Я потом за всю свою жизнь никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь говорил таким тоном с трехлетним ребенком.

Действительно — точно гавкнула собачища.

Дети страшно остро чувствуют обиду и унижение.

Я помню до сих пор, как она втянула голову в плечи, стала вся маленьким, жалким комочком и заковыляла к няньке.

Мы еще раза два-три видели их — его и собаку. Потом почему-то перестали их встречать.

И вот раз вечером, уже лежа в постели, услышала я нечто. Рассказывала горничная нашей няне, и они обе смеялись.

— И злющий был презлющий. Чиновника своего прогнал, и повара рассчитал, и швейцару нагоняй. Трех ветеринаров созвал. Ну, однако, пес евовный околел. Ну прямо и смех и грех, он его трогать не велел, а положил в зале в углу на ковер. Лакей Петро рассказывал — сидит, говорит, злющий, аж весь черный, у себя в кабинете, пишет-пишет, потом встанет да так тихомольно, крадучись, в залу пройдет, нагнется к собаке-то, лапу ей поцелует — ну, ей-богу, умора! Да опять тихомольно к себе в кабинет. Сядет и пишет. Попишет-попишет, задумается, да опять, да на цыпочках, раскорякой — и идет в залу. Лакей Петро позвал Семена-кучера, да Ариша ихняя —

там за дверью в передней все видно — так прямо все животики надорвали.

— Гос-с-споди, спаси и помилуй! — ахала нянька. — Собачью лапу!

— Да ведь всю-то ноченьку так и не ложился. Ну и поохотали же мы! Ноги, говорит, внутрь завернет, ровно барсук, брюхом переваливает, думает — никто и не слышит, как он в залу-то. Суцая комедь! Прямо, говорит, театру не надо.

— Ну-ну!





Я позвонила.

За дверью голос Оли — я его отлично узнала — отчетливо проговорил:

— Анна! Открой скорее. Я не могу встать. Николай держит меня за плечо и дует мне в нос.

«Николай — подумала я. — Почему вдруг Николай? Ее мужа зовут Дмитрий. Митя. Положим, я не была здесь уже три года. За это время многое могло измениться. Был Митя, а теперь, значит, какой-то Николай...»

Горничная открыла дверь. И вдруг восторженный вопль:

— Милосеньки мои маленькие! Дусики мои пусики!

«Однако как она меня любит!» — улыбнулась я.

Оля, пушистая, душистая, золотистая, такая же, как была три года тому назад, подбежала ко мне, рассеянно чмокнула меня в щеку и, повернувшись лицом в столовую, умиленно заговорила:

— Ну посмотри! Ну разве не прелесты!

В столовой на обеденном столе сидел толстый бурый кот и зевал.

— Это Николай, — представила мне Оля кота. — Но мы его чаще называем Яковом. Ты можешь его погладить, только не сверху головы, а по животу, и не делай, пожалуйста, резких движений — эти коты резких движений не любят.

У меня не было ни малейшего желания гладить толстого кота по животу, и я только сочувственно покачала головой.

— Франц! Франц! — позвала хозяйка.

Это она зовет лакея, чтобы он помог мне снять шубку.

— Не беспокойся, Олечка, я сама.

Она посмотрела меня с недоумением:



— Как — сама? Он на твой голос не пойдет. Фра-анц! А вот и мы!

Из-за портьеры плавно вышел второй толстый бурый кот, потянулся и подрал когтями ковер.

— Франчик! — заворковала Оля. — Иди ко мне, моя птичка! Иди, моя звездочка! Иди, мой красавец неземной!

— Кссс... кссс! — позвала я. Исключительно из светской любезности, потому что мне было совершенно безразлично, подойдет к нам бурый кот или нет.

— Ах, что ты делаешь! — в ужасе воскликнула Оля. — Разве можно этих котов так звать! Это же не простые коты. Это сиамские. Это дикие звери. Они в Сиаме служат как стража. У королевского трона всегда стояли такие коты и стерегли короля. Они свирепые, сильные и абсолютно неподкупные. Они едят исключительно одно сырое мясо. Оттого они такие и сильные. Они еще едят варенье, копченую рыбу, жареную телятину, сухари, сыр, печенье, вообще очень многое едят, оттого они такие и сильные. И они безумно храбрые. Такой кот один бросается на бешеного буйвола.

— Ну, это, вероятно, не так часто встречается, — холодно сказала я.

— Что не встречается?

— Да бешеные буйволы. Я, по крайней мере, за всю свою жизнь...

— Ну, так ведь мы же не в Сиаме, — тоже холодно сказала Оля. — Ах да, я забыла — где же твои чемоданы? И почему ты не снимаешь мантию? Вообще все как-то странно... Я так рада, так рада, что ты наконец согласилась у нас погостить. Сестра Мэри придет к завтраку. Она тоже безумно рада тебя видеть и требует, чтобы ты непременно, хоть один денек, погостила у нее тоже. Но это, конечно, между нами — она завела себе двух собак и совершенно от них одурела. Ну, понимаешь ли, совершенно и окончательно. Впрочем, ты сама увидишь. Но какая ты милочка, что приехала! Какая ты дуся!

Она сморщила носик и потерлась щекой о мою щеку. Совсем кошка.

— Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Вот здесь ты будешь спать, вот здесь — отдыхать, здесь письменный

стол, радио, граммофон, тут лежат коньки, если случайно понадобятся. Окна выходят в сад. Тишина. Только я должна тебя предупредить, чтобы ты не закрывала дверь, потому что Франц любит иногда ночью приходить на эту кровать. Так что ты не пугайся, если ночью он прыгнет на тебя. А вот и Мэри!

Мэри, высокая, гладко причесанная, в строгом тайере, честно посмотрела мне прямо в глаза и, как писалось в старинных романах, «крепко, по-мужски пожала мне руку».

— Искренне рада! — сказала она глубоким контральто. — Три года не видались. Постарела ты, голубушка, изрядно.

— Мэри! — с негодованием остановила ее Оля. — Ну что ты говоришь! Наоборот, она такая дуся, она даже посвежела за эти годы.

Мэри сердито сдвинула брови:

— Прежде всего, почему я Мэри? Почему, когда мы одни, ты зовешь меня Марьей, а как здесь посторонние, я немедленно превращаюсь в Мэри? И потом — почему не сказать правду близкому человеку? Зачем уверять, что она посвежела? Ведь за глаза ты про нее этого не скажешь? Она чудная, прелестная, я ее обожаю, но лгать ей в глаза не намерена, потому что слишком ее уважаю. Смотри, — вдруг переменяла она тон обличительный на испуганный. — Смотри, твой проклятый кот прыгнул на буфет, он разобьет чашечки!

— Никогда! — с гордостью сказала Оля. — Эти коты необычайно ловкие. Они часто ходят по столу среди хрусталя и никогда ничего не заденут. Это ведь совершенно особая порода.

— А голубой сервиз? — сказала Мэри. — А китайская ваза? А лампа, чудная фарфоровая лампа? А хрустальный бокал для цветов?

— Ну так что ж? — холодно отвечала Оля. — Они переколотили все хрупкое, теперь уж не страшно.

— Ага! — торжествовала Мэри. — Сама признаешь, что...

— Ну, однако, идем завтракать, — прервала ее Оля.

Толстые коты ходили между приборами, обнюхивали хлеб, тарелки.

— Милочки мои! — умилялась хозяйка. — Ну, разве не прелесть? Тютики мои чудесные!

А Мэри говорила мне вполголоса:

— Со мною она никогда так не нежничает, а ведь я ей родная сестра! А что бы она сказала, если бы я вот так влезла бы на стол, когда вы завтракаете, тыкалась бы носом в тарелки и возила бы хвостом по горчице?

— Ну как ты можешь себя сравнивать?..

— Конечно, могу. И это сравнение, конечно, не в пользу твоего паршивого кота. Я человек, царь природы.

— Ну перестань, пожалуйста!

Мэри сделала нетерпеливое движение, и вилка со звуком упала на пол. Коты вздрогнули, в одно мгновение спрыгнули на пол и, подталкивая друг друга, бросились вон из комнаты.

— Ах, какая ты неосторожная! Разве можно их так пугать!

— А ведь ты всегда уверяешь, что они чрезвычайно храбрые и бросаются на буйволов.

Оля покраснела.

— Знаешь, милочка, — обратилась она ко мне и этим подчеркивая, что совершенно не интересуется замечанием Мэри. — Знаешь, эти коты — удивительные охотники. Их в Сиаме дрессируют на слонов, на тигров. Недавно к нам в окно залетела птичка. И вот в одно мгновение Франц подпрыгнул и поймал ее в воздухе. И потом, как дикарь, плясал со своей добычей. Он держал ее высоко в передних лапах и плясал, плясал. Потом живо подбросил ее, подхватил и мгновенно сожрал всю целиком, с клювом, с перьями.

— Низость, — отрубила Мэри. — Гнусные инстинкты. Собака никогда...

Жизнь вошла в свою колею.

Уехала Мэри, взяв с меня слово погостить у нее.

Оли часто не было дома. Я оставалась одна в большой тихой квартире. Одна с двумя котами.

Один из них — тот, который плясал танец победителей с мертвой птичкой в лапах, — не обращал на меня ни малейшего внимания и даже подчеркивал, что я для него не существую. Он нарочно ложился на пороге, когда

видел, что я иду из комнаты, шагал через меня, если ему так было удобнее пробраться в угол дивана. Когда я писала, он садился прямо на бумагу, причем, для пущего презрения, спиной ко мне. Сдвинуть его, тяжелого и толстого, было трудно, и я писала письма вокруг его хвоста.

Иногда неслышным диким прыжком он отделялся от пола и взлетал под самый потолок на кафельную печку и там, подняв хвост дугой, вертелся, как тигр на скале.

Но главное его занятие, наиболее выражающее презрение ко мне, заключалось именно в том, чтобы не давать мне проходу. Здесь он даже шел на известный риск, потому что сплошь и рядом впотьмах я наступала ему на лапу, и он с визгом бежал на меня жаловаться хозяйке. Но системы своей он не бросал. Может быть, надеялся, что в конце концов удастся свалить меня на пол?

Второй кот, Николай, он же Яков, вел себя иначе. Этот садился передо мной на стол и глазел на меня, как говорится, во все глаза. Глаза у него были огромные, бледно-голубые, с большими черными зрачками. Смотрели они неподвижно, не мигая, были почти белые, и оттого казалось, что смотрит кот в ужасе.

Так смотрел он на меня полчаса, час. И ничего ему не делалось. Спешить, очевидно, было некуда. Сидит и смотрит.

Как-то утром просыпаюсь оттого, что кто-то дотронулся до моих колен.

Кот! Кот Николай.

Он медленно, мягко переставляя лапы, насторожившись, словно прислушиваясь, шел к моему лицу. Я прищурила глаза. Он вытянул морду, подул мне носом на брови, на ресницы, на рот. Щекотно, смешно. Я открыла глаза. Он отодвинулся, прилег и зажмурился. Спит. Я тоже зажмурилась, будто сплю, и исподтишка через ресницы наблюдаю. Кот спит. Однако вижу — один глазок чуть-чуть поблескивает щелкой. Подлец подсматривает! Какое нечестное животное. Собака никогда бы... Положим, я сама тоже зажмурилась и подсматриваю. Но ведь я человек, царь природы, я произвожу наблюдения над животным. Одним словом, мало ли что.

Кот поднялся, подул мне прямо в нос, вытянул лапу и, втянув поглубже когти, вдруг потрепал меня по подбо-

родку. Потрепал снисходительно, свысока и очень оскорбительно, как какой-нибудь старый жуир — понравившуюся ему горничную. Я открыла глаза.

— Сейчас же уходите отсюда вон, — громко приказала я. — Нахал!

Я произнесла эти слова совершенно спокойно, без всякой угрозы. Но эффект получился потрясающий. Кот выпучил глаза, вскинул лапы, мелькнул в воздухе вздернутый хвост, и все исчезло. Кот удрал.

Искали кота три дня, дали знать в полицию — кот исчез.

Хозяйка была в отчаянии. Я помалкивала.

На четвертый день, выходя из дому, увидела я своего оскорбителя. Он сидел на заборе, отделяющем наш садик от соседнего. Сидел спиной ко мне.

— Ага, — сказала я насмешливо. — Так вот вы где!

Кот нервно обернулся, испуганно выкатил глаза, и тут произошло нечто позорное, нечто неслыханно позорное не только для сиама, красы королевской гвардии, но и вообще для каждого существа котьячей породы. Кот свалился! Потерял равновесие и свалился по ту сторону забора. Треск сучьев, скрип досок. Все стихло.

Кот свалился!

Так кончился наш роман.

Вечером я уехала.





Н<sup>и</sup>когда мы не знаем,

что именно может повернуть нашу жизнь, скривить ее линию. Это нам знать не дано. Иногда нечто, к чему мы относимся как к явному пустяку, как к мелочи, тысячи тысяч раз встречавшейся и пролетевшей мимо бесследно, — это самое нечто вдруг сыграет такую роль, что во все дни свои ее не забудешь. Примеры, пожалуй, и приводить не стоит. Как будто и так ясно.

Вот идет человек по улице. Видит — лежит пуговица.  
— Уж не моя ли?

В эту минуту — то есть как раз в то время, когда он пригнулся к земле и не видит, что около него делается, — проходит мимо тот самый человек, которого он тщетно разыскивает уже несколько лет.

Или наоборот — приостановился человек на одну минуту, чтобы взглянуть, не его ли это пуговица, и этой минутной задержки было достаточно, чтобы, подняв голову, он встретился нос к носу с кем-то, от кого уже несколько лет всячески удирал и прятался.

Но та история, о которой я хочу рассказать, несколько сложнее.

Жил-был на свете некто Василий Васильевич Зобов. Существо довольно скромное. Явился он в Петербург откуда-то с юга и стал работать в газете в качестве корректора.

Корректор он был скверный. Не потому, что пропускал ошибки, а потому, что исправлял авторов.

Напишет автор в рассказе из деревенской жизни:

«— Чаво те надоть? — спросил Вавила».

А Зобов поправит:

«— Чего тебе надо? — спросил Вавила».

Напишет автор:

«— Как вы смеете! — вспыхнула Елена».

А Зобов поправит:

«— Как вы смеете! — вспыхнув, сказала Елена».

— Зачем вы вставляете слова? — злится автор. — Кто вас просит?

— А как же? — с достоинством отвечает Зобов. — Вы пишете, что Елена вспыхнула, а кто сказал фразу «Как вы смеете», остается неизвестным. Дополнить и выправить фразу лежит на обязанности корректора.

Его ругали, чуть не били и в конце концов выгнали. Тогда он стал журналистом.

Писал горячие статьи о «городской детворе», об «отцах города и общественном пироге», о «грабильке и недобросовестном товаре мороженщиков».

На пожары его не пускали. Его пожарный репортаж принимал слишком вдохновенно нероновские оттенки:

«Лабаз пылал. Казалось, сама Этна рвется в небеса раскаленными своими недрами, принося неисчислимые убытки купцу Фертову с сыновьями».

На пожары его не пускали.

Он вечно вертелся в редакции, в типографии, перехватывал взаймы у кого попало и вечно что-то комбинировал, причем комбинации эти, хотя были крепко обдуманы и хлопотно выполнены, редко приносили ему больше полтинника.

Внешностью Зобов был плюгав, с черненькими обсо-  
санными усиками и сношенным в жгут ситцевым воротничком.

— Мягкие теперь в моде.

Семейная жизнь его, как у всех не имеющих семьи, была очень сложная.

У него была сожительница, огромная, пышная Сусанна Робертовна, дочь «покойного театрального деятеля», попросту говоря — циркового фокусника. У Сусанны была мамаша и двое детей от двух предшествующих Зобову небраков. Плухонемой сын и подслеповатая девочка.

Сусанна сдавала комнаты, мамаша на жильцов готовила,

Зобов жил как муж, то есть не платил ни за еду, ни за комнату и дрался с Сусанной, которая его ревновала. В

драках принимала участие и мамаша, но в бой не вступала, а, стоя на пороге, руководила советами.

Так шла в широком своем русле жизнь Василия Васильевича Зобова. Шла, текла и вдруг приостановилась и повернула.

Вы думаете — какая-нибудь необычайная встреча, любовь, нечто яркое и неотвратимое?

Ничего даже похожего. Просто — трубка.

Дело было так. Шел Зобов по Невскому, посматривал на витрины и довольно равнодушно остановился около табачного магазина. Магазин был большой, нарядный и выставил в своем окошке целую коллекцию самых разнообразных трубок. Каких тут только не было! И длинные старинные чубуки с янтарными кончиками, и какие-то коленчатые, вроде духового инструмента, с шелковыми кисточками, тирольские, что ли. И совсем прямые, и хорошенькие толстенькие, аппетитно выгнутые, чтобы повесить на губу и, чуть придерживая, потягивать дымок. Носогрейки.

Долго разглядывал Зобов эти трубки и наконец остановился на одной и уже не отводил от нее глаз.

Это была как раз маленькая, толстенькая, которую курильщик любовно сжимает всю в кулаке, трубка старого моряка английских романов.

Смотрел на нее Зобов и, чем дольше смотрел, тем страннее себя чувствовал. Словно гипноз. Что же это такое? Что-то милое, что-то забытое, как определенный факт, но точное и ясное, как настроение. Вроде того как если бы человек вспоминал меню съеденного им обеда.

— Что-то такое было еще... такое вкусное, какое-то деревенское... ах да — жареная колбаса.

Вкус, впечатление — все осталось в памяти, забыты только форма, вид, название, давшие это впечатление.

Так и тут. Стоял Зобов перед толстенькой трубкой и не знал, в чем дело, но чувствовал милую, давно бывшую и не вернувшуюся радость.

— Английская трубочка... старый капитан...

И вдруг заколыхалась, разъехалась в стороны туманная завеса памяти, и увидел Зобов страницу детской книжки и на странице картинку. Толстый господин в



плаще, нахмурившись. сжимает бритой губой маленькую толстенькую трубочку. И подпись:

«Капитан бодрствовал всю ночь».

Вот оно что!

Зобову было тогда лет десять, когда этот капитан на картинке бодрствовал. И от волнения и великого восхищения Зобов прочел тогда вместо «бодрствовал» — слова в детском обиходе не только редкого, но прямо небывалого, — прочел Зобов «бодрсовал»: «Капитан бодрсовал всю ночь». И это «бодрсованье» ничуть не удивило его. Мало ли в таких книжках бывает необычайных слов. Реи, спардеки, галсы, какие-то кабельтовы. Среди этих таинственных предметов человеку умеющему вполне возможно было и бодрсовать.

Какой чудный мир отваги, честности, доблести, где даже пираты сдерживают данное слово и не сморгнув жертвуют жизнью для спасения друга.

Задумчиво вошел Зобов в магазин, купил трубку, спросил английского, непременно английского табаку, долго нюхал его густой медовый запах. Тут же набил трубку, потянул и скосил глаз на зеркало:

— Надо усы долой.

В редакции, уже наголо выбритый, сидел тихо, иронически, «по-американски», опустив углы рта, пытался трубочкой. Когда при нем поругались два журналиста, он вдруг строго вытянул руку и сказал назидательно:

— Тсс! Не забудьте, что прежде всего надо быть джентльменами.

— Что-о? — удивились журналисты. — Что он там брешет?

Зобов передвинул свою трубочку на другую сторону, перекинул ногу на ногу, заложил пальцы в проймы жилетки. Спокойствие и невозмутимость.

В этот день он у товарищей денег не занимал.

Дома отнеслись к трубочке подозрительно. Еще более подозрительными показались бритое лицо и невозмутимый вид.

Но когда он неожиданно прошел на кухню и, поцеловав ручку у мамы, спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен, подозрение сменилось явным испугом.

— Уложи его скорее, — шептала мамаша Сусанне. — И где это он с утра накачался? Где, говорю, набодался-то?

И вот так и пошло.

Зобов стал джентльменом. Джентльменом и англичанином.

— Зобов, — сказал кто-то в редакции. — Фамилия у вас скверная. Дефективная. От дефекта, от зоба.

— Н-да, — спокойно отвечал Зобов. — Большинство английских фамилий на русский слух кажутся странными.

И потянул трубочку.

Его собеседник не был знатоком английских фамилий, поэтому предпочел промолчать.

Он стал носить высокие крахмальные воротнички и крахмальные манжеты, столь огромные, что они влезали в рукава только самым краешком. Он брился, мылся и все время либо благодарил, либо извинялся. И все сухо, холодно, с достоинством.

Пышная Сусанна Робертовна перестала его ревновать. Ревность сменилась страхом и уважением, и смесь этих двух неприятных чувств погасила приятное — страсть.

Мамаша тоже стала его побаиваться. Особенно после того, как он выдал ей на расходы денег и потребовал на обед кровавый бифштекс и полбутылки портеру.

Дети при виде его удирали из комнаты, подталкивая друг друга в дверях.

Перемена естества отразилась и на его писании. Излишний пафос пропал. Явилась трезвая деловитость.

Раскаленные недра Этны сменили сухие строки о небольшом пожаре, быстро ликвидированном подросшими пожарными.

Всякая чрезмерность отпала.

— Все на свете должно быть просто, ясно и поджентльменски.

Единственным увлечением, которое он себе позволял и даже в себе поощрял, была любовь к океану. Океана он никогда в жизни не видел, но уверял, что любовь эта «у них у всех в крови от предков».

Он любил в дождливую погоду надеть непромокайку, поднять капюшон, сунуть в рот трубку и, недовольно побрякивая, пойти побродить по улицам.

— Это мне что-то напоминает. Не то лето в Исландии, не то зиму у берегов Северной Африки. Я там не бывал, но это у нас в крови.

— Василь Василич! — ахала мамаша. — Но ведь вы же русский!

— Н-да, если хотите, — посасывая трубочку, отвечал Зобов. — То есть фактически русский.

— Так чего ж дурака-то валять! — не унималась мамаша.

— Простите, — холодно-вежливо отвечал Зобов. — Я спорить с вами не буду. Для меня каждая женщина — леди, а с леди джентльмены не спорят.

Сусанна Робертовна завела роман с жильцом-акцизным. Зобов реагировал на это подчеркнутой вежливостью с соперником и продолжал быть внимательным к Сусанне.

Революция разлучила их. Зобов оказался в Марселе. Сусанна с мамашей и детьми, по слухам, прихватив с собой и жильца-акцизного, застряла в Болгарии.

Зобов, постаревший и одряхлевший, работал сначала грузчиком в порту, потом там же сторожем и все свои деньги, оставив только самые необходимые гроши, отсылал Сусанне Робертовне. Сусанна присылала в ответ грозные письма, в которых упрекала его в неблагодарности, в жестокосердии и, перепутав все времена и числа, позорила его за то, что он бросил своих несчастных убогих детей, предоставив ей, слабой женщине, заботу о них.

Он иронически пожимал плечами и продолжал отсылать все, что мог, своей леди.

Эпилог наступил быстро.

Возвращаясь с работы, потерял трубку. Долго искал ее под дождем. Промок, продрог, схватил воспаление легких.

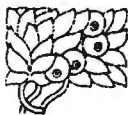
Три дня бредил штурвалами, кубриками, кабельтовыми.

Русский рабочий с верфи забежал навестить. Он же принял его последнее дыхание.

— Вставай, старый Билль! — бормотал умирающий. — Вставай! Скорее наверх! Великий капитан зовет тебя.

Так и умер старый Билль, англичанин, мореплаватель и джентльмен, мещанин Курской губернии, города Тима, Василий Васильевич Зобов.





— Эта кошка была пребезобразная, —

начала свой рассказ милая дама.

Главное, расцветка. По фигуре — ничего себе. Кошка как кошка. Но вот расцветка поддуляла. По светлому фону — черные пятна. Это, конечно, в кошачьей внешности встречается довольно часто, но дело в том, что у этой кошки, о которой идет речь, пятна были расположены, так сказать, с большим юмором. Под правым глазом — черное полукольцо, как у пьяницы, которому подбили глаз кулаком. Другое пятно закрывало правое ухо и полглаза, словно лихо сдвинутая набекрень шапка. Над хвостом — нечто вроде вензеля с сиянием. И главное — нащепка на середине носа, которая как бы переламывала нос пополам, — ну, словом, дальше идти некуда.

И вот эта кошка полюбила восторженной, жертвенной любовью. Полюбила она — меня.

Собственно говоря, я этого чувства не добивалась и не поддерживала, даже просила хозяйку этой кошки: «Уберите вы ее, ради бога, меня от нее тошнит».

Ничто не помогало.

Как только я приходила — моментально появлялась и кошка и не отходила от меня ни на шаг. Она терлась о мою ногу, выгибала спину, мурлыкала, лезла ко мне на колени, и так как я ее не хотела погладить, то она сама, поджав когти, хлопала меня по руке.

Все это еще можно было вынести. Но вот однажды сижу я у этой самой кошкиной хозяйки, и мне говорят:

— Смотрите, смотрите, она вам что-то несет.

Смотрю — идет эта уродина, идет довольно спокойно и торжественно, можно сказать — сознательно идет через всю комнату прямо ко мне и тащит что-то в зубах,

вроде клубочка. Подошла, поднялась на задние лапы и положила мне на колени полудохлую мышь.

Что со мной было, я подробно рассказывать не стану. Скажу одно — я никогда не думала, что я умею так громко визжать.

Потом, конечно, рассказывала об этом событии, и рассказ мой вызывал умиление над трогательным поступком невинного зверя. Я охотно принимала участие в этом умилении. Не хотелось только повторения этого редкостного явления. И факт сам по себе довольно неаппетитный. Конечно, если смотреть глубоко, то увидишь, как темная звериная душа, полюбив, отдала все, что у нее есть на свете. Ведь ничего, ровно ничего, никакого имущества у этой корявой кошки не было. Все отдала.

Это, конечно, так. Это потрясает, и удивляет, и умиляет. Но если взглянуть на дело просто, без всякой глубины, то что получается? Получается, что поганая кошка положила мне на колени дохлую мышь. И от таких историй, как бы ни была чудесна их глубина, всякий, наверное, заранее наотрез откажется.

— А у меня тоже была любовная история в этом роде, — сказала приятельница милой дамы. — Но героиня этого романа не кошка, а чином пониже. Мышь. Меня полюбила мышь.

И было это дело вот как. Я когда-то много занималась музыкой. Жили мы тогда в нашем старом петербургском доме. Как сейчас помню — была ранняя весна, мутные северные сумерки. Я могла долго играть, не зажигая лампы. Разучивала я что-то сложное, кажется, Листа. И вот как-то, остановившись, слышу тихий шорох. Обернулась — мышка! Сидит тихо. Я стала играть дальше. Посмотрела — сидит. Даже подвинулась чуть-чуть ближе. И — представьте себе — каждый вечер, как я за рояль, так моя мышка вылезает и слушает. А иногда поднимет мордочку и чуть-чуть попищит-посвистит. Так мы с ней вместе исполняли Листа несколько недель.

Под конец она уже совсем со мной не стеснялась, подходила близко, садилась у самой ножки рояля. Одним словом — совсем свои люди, друзья-музыканты.

И вот как-то мышка пропала. Сколько-то времени ее не было.

Раз села я за рояль, взяла несколько аккордов, прежде чем развернула ноты, как вдруг слышу тихий-тихий писк. Оборачиваюсь и вижу картину. Вылезает из-за портьеры моямышь, а за нею целая вереница крошечных, розовых, противных голых мышат, совсем новорожденных. А она ведет их за собой, оглядывается, потом так педагогично села и смотрит то на них, то на меня. Мне, значит, рекомендует: «Вот они». А им показывает: «Вот, дети, как нужно вести себя в концертах».

Мне, конечно, очень было жаль, но все же пришлось велеть лакею, чтобы утром разыскал под портьерой щель и забил ее. Сами понимаете — что мне было делать с целым мышинным выводком? Но все-таки это ведь очень мило, что она так доверчиво привела ко мне, к своему испытанному другу, своих прелестных деток. «Идемте, идемте, здесь интересная музыка, здесь мы отдохнем душой». А я забила щель! Но что поделаешь!

— И я знал в своей жизни такую бессловесную любовь дикого зверька, — сказал наш друг, старый доктор. — Не совсем зверька, но почти. Это был человек, но такой примитивный, не сложнее вашей кошки, и голый, как ваши мышата, — ничего у него не было. Человек этот был якут. Колай. Звали его Колай. Это, помнится, была такая история на севере нашего отечества. Кто-то из начальства, желая выслужиться, объявил, что не то трис-та, не то пятьсот человек якутов изъявили желание креститься, но чтобы непременно называться в честь государя Николаем. Не знаю, получило ли усердное начальство желаемую благодарность, но Николаев среди якутов появилось тогда много. Звались они между собою больше Колай, Колым, но все это были Николаи. А встречался я с ними в том полевом госпитале, которым заведовал во время войны. Их, уже не помню почему, пригнали в наши края рыть окопы. Вот из этих окопов они и попадали прямо к нам на койки, на солому, на подстилки, потому что цинга и тиф валили их сотнями.

Тяжелые это были пациенты. По-русски почти никто не говорил, докторов боялись, лекарства боялись, дотро- нуться до себя не позволяли. Да и наше положение было

трудное. Медикаментов не хватало, за мясом приходилось гонять за двадцать верст пешком, потому что пробираться приходилось по колено в воде — так раскисли все болота кругом. Словом, кошмар.

Якуты наши были все маленькие и, на наш взгляд, все на одно лицо. Видели вы когда-нибудь тряпичные куклы? Шарик из ваты обертывают тряпкой и рисуют круглые брови, глаза точечками, ноздри и рот. Все плоское. Вот такие были у них лица. И злые они были — ужас. От страха, от страдания, от тоски. Трудно было с ними.

Вот как-то зовет меня дежурная сестра. Не может справиться. Принесли нового больного, и он не дает до себя дотронуться, санитар укусил, а ей в лицо плюнул.

Я пошел.

Он лежит, маленький, на вид совсем мальчишка. Лежит и воет.

Я подошел и стал тихонько, ласково говорить. Как с грудным ребенком или с собакой, не выбирая слов, а главное, заботясь об интонации.

А он все воет и воет. Однако стал делать паузы. Притихнет и прислушается. А я все говорю, все тихо, все ласково. Он стал делать паузы подольше. Тут я осмелел, присел к нему на койку, протянул руку. Он ничего. Тогда я стал гладить его по голове. Волосы у него были жесткие, как звериная шерсть. Он притих, слушает. Я мигнул санитару. Тот сдернул с него тряпье, сделал впрыскивание. Наш Колай совсем стих, дал себя осмотреть. Плох он был, бедняга, совсем безнадежен. Лежал всегда с закрытыми глазами. Только когда я подходил, в узеньких щелочках всегда блеснет огонек. Он даже что-то говорил мне, так доверчиво, как своему, и так робко, как беспредельно высшему и чтимому, что, наверное, считал меня чем-то вроде важного шамана.

Как-то раз, увидя меня, он особенно заволновался, и даже стал смеяться, и замахал руками, словно подзывал к себе. Я подошел. И он, захлебываясь радостным смехом, вытащил из-под подушки грязный обрывок какого-то журнала и, мыча, толковал мне что-то.

Я взял бумажку. Это была вырванная откуда-то иллюстрация, изображающая якута, нарты и собак в упряжи.



ке. Я полюбовался, пощелкал языком, поулыбался и погладил Колая по его шерстяным волосам.

Он был очень счастлив и взволнован, даже чересчур.

Соседние больные тоже подняли головы и щелкали языками. Все уже знали, какое у Колая сокровище, и гордились вместе с ним.

Время шло. Ужасное время. Дождь лил не переставая. Выбраться из нашей трясины не было никакой возможности. Люди гнили заживо.

Из соседних мест, где работали пленные венгерцы, приходили вести еще страшнее. Посланные за мясом за тридцать верст — от них было дальше, чем от нас, — уже не возвращались. Они не убегали, нет. Они просто умирали по дороге.

Но те хоть враги, а ведь здесь свои. Жалко.

И вот получаю я наконец долгожданное предписание. Переводят меня на другое место. Что будет — не знаю, но хоть из болота выберусь, и то слава богу.

Добрался до нас и мой заместитель. На его счастье, дожди прекратились и начало подмораживать, а то я и с предписанием не мог бы двинуться.

Вот пошел я сдавать ему своих больных.

Те уже знали, что я ухожу. Кто понимал по-русски, объяснил остальным. И вижу — мой Колай смотрит на меня и шарит что-то по своей подстилке, по рваной своей рубахе.

Спрашиваю соседа — тот понимал по-русски:

— Чего он?

— А он ищет, что тебе подарить. Ничего нет, а он тебя любит.

У Колая ничего не было. Ну, совсем ничего. Казенная подушонка, простыня, рубаха. У некоторых хоть махорка была.

У него — как есть ничего.

И с таким отчаянием смотрели на меня узенькие полоски его глаз, что вся эта простая комическая маска, которую дала ему природа вместо лица, вдруг сделалась трагической, как на фронтоне древнего театра.

Я протянул к нему руку.

— Колай, — говорю. — Не надо, Колай!

И вдруг лукаво сверкнули узкие глазки, поплыли в сторону щеки — Колай засмеялся. Засмеялся, сунул руку под подушку и вытащил тот самый замусленный обрывок журнала, где был якут с собаками.

Он великодушным, щедрым движением втиснул листок мне в руки и даже слегка оттолкнул меня — иди, мол, уноси свое счастье.

И смеялся так, что слезы навернулись ему на глаза.

И я взял замусленную бумажку и бережно спрятал в карман, и нагнулся, и поцеловал Колая в шерстяную его голову, и унес с собой драгоценный дар, самый драгоценный, какой я получил за всю мою жизнь. В этой бумажке отдал мне человек все, что у него было на земле.





**С**таруха осталась в России.

И все эти годы своего беженства Аросов ни на минуту не забывал лица своей матери, того лица, которое он видел, обернувшись на сходнях парохода, когда покидал родной берег.

Она, старуха, стояла одна, растерянная и несчастная, искала его глазами и не видела в этой серой солдатской толпе. Ее пухлые, дряблые щеки дрожали. Она вытирала рот комочком платка и даже не плакала — так была она потрясена всем происходящим.

Так бывает с человеком. Когда налетит на него неожиданное горе, оно всегда сначала ошеломит, и все в человеке остановится: и мысли, и чувства, и нет в нем ни сознания, ни боли — ничего. И только потом, когда схлынет волна, захлестнувшая его душу, начинает он понимать и мучиться.

Так думал Аросов о своей матери, и, как бы ни мотала его судьба, мысль и забота о ней никогда его не оставляли.

А приходилось ему очень трудно. Он не был талантливым, приспособлялся с трудом, хватался за все: работал на заводе, был грузчиком на вокзале, натирает полы, коптил рыбу, служил ночным сторожем, починял гитары, готовил к экзаменам, водил гулять детей, пек бублики, стриг собак и пел в русском хоре. И, какие бы гроши ни зарабатывал, все, что мог, отсылал матери и при этом писал:

«Прости, что на этот раз посылаю тебе такие пустяки, но здесь молодой человек из общества непременно должен одеваться изысканно и со вкусом, а на это уходит много денег.

Постараюсь в следующий месяц воздержаться от излишеств».

Больше всего боялся он, как бы она не догадалась, в какой нужде он бьется. Тяжело ей будет принимать тогда его жертву.

Последним этапом его разнообразной деятельности было шоферство.

И вот тогда познакомился он с Катей Гречко. Катя жила в том же отельчике. Она была молода, весела, кругленькая, курносая, задорная. Танцевала в цирке.

Аросов в Катю влюбился. Он, собственно говоря, сам никогда бы и не догадался, что он влюблен. Но как-то починил он Кате электрический утюжок и, когда принес его ей, застал у нее в комнате пожилого господина в «шикарном» пиджаке, а на столике перед господином стояла большая коробка конфет и лежал зашпиленный в прозрачную бумагу большой букет. Очевидно, господин все это принес.

Аросов отдал утюжок, криво поклонился и поспешил уйти.

Шел по улице и думал:

«Вот этот шикарный господин принес Кате цветы и конфеты. Однако же это не именины и не Новый год. Значит, он за Катей ухаживает. Это ясно».

Это было ясно и при своей ясности очень неприятно.

И вот это и удивляло Аросова. Почему неприятно? Катя такая милая, нужно бы радоваться, что она всем нравится и получает подарки. А вот почему-то неприятно. Что мне, завидно, что ли, что я не могу подносить дамам букеты?

Словом, в этом вопросе он толком разобраться не мог; но и к Кате идти не хотелось, так что несколько дней он ее не видал.

А потом она сама постучала к нему и вошла в первый раз в его мансардную комнатку, кривую, угластую, с окном в потолке.

— Ничего, что я пришла? Вы, может, сердитесь?

Так несколько вечеров просидели они рядом на его узенькой коечке.

И был он как во сне от счастья и от страха, что сейчас все кончится и он проснется.

И вот Катя сказала:

— Может быть, вам нужно что-нибудь починить или зашить? Я умею. Вы не стесняйтесь.

И застенчиво засмеялась.

И вот этот застенчивый смешок разбудил Аросова, и вдруг ясно увидел он совсем странное — Катя думает выйти за него замуж. Она ничего не знает. И он взял ее за руку и сказал:

— Катя! Все это надо бросить. Катя, не зацветет моя жизнь никогда. У меня есть священная обязанность, ради которой я на свете живу. У меня в России осталась мать. Все, что могу, я отсылаю ей, и больше, чем могу, коплю ей на дорогу. Живу одной мыслью — выписать ее сюда. Катя, надо меня понять. Когда я уехал, она стояла на берегу, совсем одинокая, жалкая. Я, Катя, жениться не могу.

Тут Катя вдруг вырвала руку и закричала:

— Да с чего вы взяли, дурак несчастный! Да как вы смеете думать, что я когда-нибудь согласилась бы выйти за вас замуж! Для меня это даже оскорбительно, что вы так подумали. Я артистка, передо мной, может быть, блестящее будущее, а вы забрали себе в голову, как последний эгоист. И прошу вас после этого со мной не встречаться.

Может быть, ему не следовало говорить о браке. Может быть, без этого разговора все оставалось бы как раньше, долго, долго. Она ведь ничего не требовала, не звала его ни в синема, ни в кафе. Она сама приходила и так мило, ласково сидела на его коечке. Зачем он спугнул ее своей проклятой честностью, глупостью своей!

Ну что ж? Такая, значит, судьба. Вот выпишет мать, и все пойдет иначе.

Писал матери: «Ты не бойся, у меня тебе будет хорошо. Моего заработка на двоих вполне хватит. Тебе будет спокойно. Я буду тебя беречь».

Он купил старенькую ширмочку, ободрал ее, сам обил свежим ситчиком, раздобыл диванчик, теплое одеяло. Сам оклеил свою закуту. Мансарда была маленькая, и один угол был такой острый, что в него никак нельзя было войти. Но все-таки это был свой угол, и вся комнатуха своя. А мать писала, что живет в коммунальной квартире, что в комнате кроме нее еще две жилички, а в кухне шесть хозяек и пять примусов, шес-

тая готовит на керосинке. И все они сердитые и живут недружно, и она очень мечтает переехать наконец в Париж и зажить обеспеченной жизнью, как живала в доброе старое время.

И Аросов радовался ее письмам. Скоблил пол в своей мансарде, чистил спиртовку, купил лампочку поярче. Он не мог взять комнату получше, потому что откладывал каждый грош на билет и на визу.

История с Катей Гречко очень его пришибла. Ему стало скучно. Прежде он не знал, что есть на свете что-то тревожно-милое, и чужое, и близкое, ни с чем не сравнимое, единственное. Теперь знает, что это есть и что он сам спугнул свое счастье.

И как всегда бывает — одно горе притягивает другое. Тысячи мелких неудач налетели со всех сторон. Потом пришло самое страшное, уже давно, как вражеский аэроплан, гудевшее над его головой и наконец сбросившее свою бомбу. Он потерял место, нового не нашел и стал безработным.

Тут уже началась настоящая мука. Рыскал целые дни в поисках, хватался за все. Но к этому времени успел выслать матери необходимые деньги, и она написала, что скоро придет.

Очень мучило его, что за последнее время он так похудел. Комнатка ничего себе. За комнатку он спокоен. Она очень даже уютная. Прокормить старуху кое-как он всегда сумеет.

Много ли ей нужно? Вот только, пожалуй, испугается, что он такой хилый.

Только бы не догадалась, как ему было худо. Только бы не расстроилась.

Старуха Аrosoва жила в коммунальной квартире. Кроме нее жили в этой квартире шесть старух. Среди этой компании Аrosoва занимала почетное место. Она была богатая. Ей сын присылал из-за границы и кофе, и рис, и сало, а иногда и денег.

Немудрено поэтому, что к ней подлизывались.

Вообще в коммунальной квартире жизнь была ключом. Бабы ругались, сплетничали, шпионили друг за другом, ябедничали, друг у друга покрадывали, иногда бывали и драки.

В сложных ссорах и интригах часто приходили к почетной персоне, к старухе Аросовой, за советом и с жалобой. Иметь ее на своей стороне считалось очень выгодным. Забежишь к ней пошутиться, она и чаем угостит (с сахаром!), и булочки кусочек отрежет.

— И зачем вам уезжать? — говорили ей. — Сын, оно конечно, но, с другой стороны, все же здесь родная земля.

— Хочу отдохнуть, — говорила Аросова. — Хочу свету повидать. Да и сын давно зовет. Никого ведь у него, кроме меня, нет.

Все-таки было ей немного страшно ехать в дальний край. Но как откажешься? Ждет сын, и ждет спокойная, беззаботная жизнь.

Кофею, говорят, сколько хочешь.

Продала кровать, столик, стул, все лишнее барахло. Получила необходимые пропуска и поехала.

Сын должен был встретить на вокзале, но не встретил.

— Может, он тут и есть, да мы друг друга узнать не можем?

Два часа бродила по вокзалу, таскала свой узел с подушкой и жестяным чайником. Потом решила ехать.

— Уж не заболел ли?

Поехала, разыскала дом.

— Мусью Аросов?

Какая-то француженка что-то объясняла ей, и лицо у француженки было расстроенное. Она ничего не поняла и снова сказала:

— Мусью Аросов.

Тогда француженка повела ее наверх, на седьмой этаж и ввела ее в странную кривую закуту, а сама ушла. Тут увидела старуха на стенке свою фотографию и поняла, что она дома.

На гвозде висела рвань. На табуретке таз и кувшин.

— Так вот он как живет. Чего же он врал-то! Зачем же он меня заманивал! Эдакую дорогу ломала, шутка ли дело.

И тут вошел в комнату человек в парусиновой пальтушке, очень бледный, и губы у него дергались. Она даже испугалась — неужто это Володя! Но человек спросил:

— Вы мать Аросова? Я его знакомый.

— Здравствуйте, — сказала Аросова. — Это он тут живет, что ли? И где же он?

Человек скривил губы и сказал:

— Вы только не волнуйтесь. С ним аксидан\*.

И видя, что она не понимает французского слова, пояснил:

— Он попал под автомобиль. Вчера вечером.

— Как же так! — развела она руками. — Я даже не понимаю.

— Я могу вас туда отвезти, — сказал человек. — Я шофер такси.

— Куда — туда?

Там, куда ее отвезли, ее долго водили по длинным коридорам, потом по лестнице вниз в небольшую комнату с католическим распятием на стене, под которым стояла койка, закрытая парусиной.

Когда откинули парусину, она увидела острый нос, скулы, точно вырезанные из дерева, черные глазницы и седые виски.

Когда ее вели по коридорам, она уже понимала, что это больница, и, когда увидела закрытую парусиной койку, тоже угадала, что здесь покажут ей ее сына, но когда увидела его — не поверила.

— Да это, по-моему, даже и не он. Старый и седой.

Смотрела и ничего не чувствовала перед этим незнакомым старым человеком — ни жалости, ни печали.

— Да ведь это даже и не он!



---

\* Несчастный случай (от фр. accident).



Вероятно, многие читали

чудесный рассказ Киплинга об индусском отшельнике, жившем в горной пещере. Внизу, в долине, была деревушка.

Отшельника навещали жители этой деревушки, навещали его также всякого рода звери, живущие в горах. Люди приносили ему еду. Звери приходили этой едой угощаться, но иногда и просто как соседи, без всякого специального интереса.

Больше всего дружила с ним лань, в холодные ночи забегавшая погреться под его плащом. И эти друзья-звери спасли отшельника, предупредив его о землетрясении. Они пришли за ним ночью, заставили его спуститься, и он увидел, что все звери покинули свои логовища и уходят далеко за горы. Он понял, что долине грозит опасность, и успел предупредить и спасти всех жителей деревушки. Гора сдвинулась, сползла и похоронила под собою всю долину.

В этой истории никого не удивляет, что звери почувствовали опасность и вовремя ушли. Но кажется вымыслом, что они как бы сговорились между собой спасти отшельника. Мы допускаем и знаем, что зверь часто отлично понимает человека и подчиняется его воле, но нам трудно поверить, чтобы разнородные звери могли как-нибудь общаться между собой, понимать друг друга, действовать согласно. И в рассказе Киплинга кажется определенно фантастическим эта общая звериная забота о человеке.

Но вот я знаю одну очень забавную историю — вполне достоверную — именно о разнородных зверях, которые вместе задумали и выполнили определенный план. Расскажу ее, как помню.

## Кошка Христя

Жил-был на Кавказе, в городе Александрополе, некий полковник А—в.

Казарма была расположена за городом, офицеры жили в отдельных домиках, и семейные люди развели настоящее хозяйство, с садиком, огородом, коровой, лошадьми и курами.

Полковник А—в был человек семейный и устроился, как помещик в маленькой усадьбе, уютно и хозяйственно. В помощь хозяйству было у него два денщика, кроме бабьей прислуги.

Семья полковника была милая и дружная. Старший мальчик ходил уже в школу.

Мальчишья жизнь, как известно, полна всяких опасностей, и даже в Париже отправляющийся в училище школьник должен быть всегда начеку. То ученик из другого класса нагонит и даст мимоходом подзатыльник, то мальчишки из городской школы — эти извечные враги гимназистов — запустят камнем в мирно шагающего «чистоплюя», и нужно бежать и дать сдачи, иначе позор на весь класс. И идет несчастный пригостишка крадучись и с оглядкой, точно коза в джунглях.

Сын А—ва был мальчик нежный, а может быть, просто родителям казался нежным, но в школу его одного не пускали, а провожал его денщик. Он же и приходил за ним, чтобы отвести домой.

И каждый день вместе с денщиком неуклонно — дождь не дождь, пекло не пекло — провожала мальчишку кошка Христя.

Почему приняла она на себя эту обязанность — неизвестно. Мальчик сам лично никогда ее не приглашал, радости в этой прогулке не было для Христи ровно никакой, а иногда случались и неприятности, когда, задеря хвост, приходилось удирать от какой-нибудь зазнавшейся собачонки, считающей, что по «ее улице» кошкам шляться совершенно ни к чему.

Особенно удивлялись на кошку во время дождя. Кошки вообще мокрого не любят, а тем более чистеха Христя. Если случалось в свежую погоду перейти через двор,

Христя сжимала лапу комком, чтобы не очень промочить лапки, и осторожно пробиралась с камешка на камешек, а тут, подумайте, иногда целую дорогу под проливным дождем! Каково это? И ясно было всем, что эти проводы молодого своего господина приняла на себя Христя как долг, как обязанность. Может быть, и денщику не доверяла: нынешние слуги — разве на них положиться можно? Либо мальчиковы книжки растеряет, либо в кабачок свернет, а при мне все-таки постыдится...

Вообще кошечка была заботливая.

Кроме кошки Христи, были у А—х еще звериные души: баран Борька и осел Гришенька.

История барана была особенная. Купили его совсем крошечным, думали попоить молочком и к Пасхе зарезать. Но план этот быстро провалился.

Барашек был такой беззащитный и доверчивый и как-то сразу вошел в жизнь — сдружился с детьми, ходил по всему дому — ну прямо, как говорится, свой человек. И мало того, считал как будто, что у него есть какие-то права. Всюду лез, тыкался своим крутым лобиком, ходил в гостиную смотреться в большое зеркало и, если что не нравилось, сердито брыкался. Ведь этакий дурак! Его съест собираются, а он туда же — выражает какие-то неодобрения и предъявляет требования. Ну как такого зарежешь? Он вам, дурак, верит, он вам вроде приятеля, а вы вдруг... Уж это была бы последняя подлость и предательство.

— Пусть живет, — решила хозяйка дома. — Он ведь нам уже вроде ребенка.

И баран Борька стал членом семьи.

Ослик Гриша ничем не отличался и особенной биографии не имел.

Баран Борька любил в жаркую погоду полежать на дворе в тени. Ляжет, ноги подберет и дремлет.

И вот тогда, управившись со всеми своими делами, приходила отдохнуть и кошка Христя. Кошки любят полежать на мягеньком — а что мягче бараньей шкуры? И преспокойно лезла Христя на Борьку, устраивалась поудобнее на его спине, так и отдыхала. Баран относился к этому очень добродушно, как будто даже и не замечал. Тут же бродил осел Гриша, шевелил ушами, пощипывал

репейник, перекатывая мягкими губами колючие шарики, словно горячую картофелину, поглядывал на странную парочку — кошку с бараном и, по-видимому, находил, что все в порядке и вполне естественно.

Так жили они поживали, но вот наступило событие. Полковник поехал в лагерь. Поехали всей семьей, забрали с собой одного денщика, а осла, барана и кошку Христю оставили дома, под присмотром другого денщика.

Баран и осел отнеслись к отъезду хозяев равнодушно, но кошка Христя страшно забеспокоилась. Стала куда-то бегать, высматривать, вынюхивать. Как-то хватился денщик — куда осел делся? Стал искать. Смотрит — что такое? Ни осла, ни барана, ни кошки Христи! Искал-искал — нету. Побежал по соседям расспрашивать — не видал ли кто? Ясное дело — украли. Перепугался денщик ужасно. Ведь придется перед хозяином отвечать, ему доверено было.

А в лагере в это самое время разыгралась такая история.

Встал полковник А—в рано утром, пошел к речке — там, около лагеря, протекала горная речушка.

Видит полковник — плывет что-то, какое-то зверье — не разобрать что, но, в общем, трое.

И вот первое — маленькое — подплывает к берегу, вылезает, отряхивается. Кошка! Кошка Христя!

За ней — баран Борька, за бараном — осел Гришка. Как они все это проделали, как сговорились — у них ведь не дознаешься. А лагерь от города был все-таки в десяти верстах.

Верховодила всеми явно кошка Христя. Баран, значит, пошел за ней «как баран», как их брату полагается, не очень рассуждая и задумываясь. Но как осел примазался к их компании — это выходило уж совсем необъяснимо. Но все-таки все это случилось, и тот самый мальчик, полковничий сын, которого кошка Христя, не полагаясь на денщика, провожала в школу, вырос, женился и живет сейчас в Париже. Вот и не верьте после этого Киплинг.

## Благородный отец

А эта история наша, петербургская. Может быть, кое-кто из петербуржцев и слышал ее в свое время.

Жил-был в одном семействе пудель. Звали пуделя Гаврилыч. Был Гаврилыч нрава веселого, был любим и людьми, и собаками.

А был Гаврилыч не простой, а ученый. Умел проделывать всякие пуделиные штуки — прыгал, подкидывал на носу кусок сахара, служил, притворялся мертвым, одним словом, был на все лапы мастером.

И до того довели этому пуделю науку, что даже посылали его по утрам одного в булочную. Брал Гаврилыч в зубы корзинку — и прямым путем за булками, и приносил домой всегда, по договору с булочником, ровно десять булочек.

И вот как-то приносит Гаврилыч покупку, смотрят, а в корзинке булочек только девять. Очевидно, приказчик обсчитался.

Однако на другой день та же история. Девять булочек.

Тогда послали в булочную записку — с этим самым пуделем, и он, дурак Гаврилыч, сам и отнес ее, на свою голову.

Из булочной ответили, что всегда кладут ему в корзинку десять булочек. А пудель продолжает приносить девять. И хозяева и булочник не могут понять, в чем тут дело.

Хозяин говорит:

— Не такой наш Гаврилыч человек, чтобы позволил из корзинки хозяйское добро стянуть. Он и сам хозяйского не тронет, и другому горло перегрызет.

А булочник обижается, что он никогда никого не обсчитывал.

Решили выследить.

Взялся за это дело молодой дворник. Пошел следить. Вернулся, хохочет и рассказывает:

— Положили пуделю ровно десять булочек. Вышел наш Гаврилыч из булочной, дошел спокойно вплоть до поворота, а там шмыг в переулочек и припустил рысью.

Дворник за ним.

Видит — остановился пудель у ворот какого-то невзрачного дома, поставил корзинку на землю и полаял:

— Гав! Гав!..

Прислушался и снова:

— Гав! Гав!..

А из-за калитки отвечают ему:

— Гав! Гав!..

И видит дворник — лезет из подворотни собачонка, паршивенькая, худая, и видно, что у нее щенята-сосунки. Подошла собачонка к корзинке, взяла одну булочку и поползла назад.

А пудель подхватил свою корзинку и потрусил рысцой. И такой деловитый, будто так и надо.

— Подумайте только! — кончал дворник свой рассказ. — Это он ейных щенят жалел. И уж не знаю, чужие ли они ему? Может, это он о своих ребятах заботился? Ну и дела!..

Хозяева ничего пуделю не сказали, не хотели конфузить Гаврилыча. Тем более что всегда он отличался честностью и даже не выклянчивал вкусных косточек — гордый был. А вот отцовского чувства преодолеть не мог. Объяснить господам своих обстоятельств не умел, ну и решил, значит, злоупотребить доверием. Один раз не утерпел, а там — коготок увяз, всей птичке пропасть!

Хозяева притворились, что ничего не знают, и заказали булочнику присылать одиннадцать булочек. Покрыли Гаврилычев грех.

Он еще некоторое время покрадывал, а потом сам вернулся на путь чести. Очевидно, поставил своих ребят на ноги и прекратил алименты.





**Э**ти встречи случаются не часто.

Но они не притягивают нашего внимания надолго. Тот, кто видел их, эти встречи, или услышал о них, большей частью улыбнется и пройдет мимо.

Пройдет мимо, но все-таки улыбнется. Потому что эманация от них всегда такая необычная, пронизанная каким-то нездешним светом, небывалая и потому чудеснее и прекраснее взаимно человеческих душевных встреч. Я говорю о встрече человека с «малой» душой, с душой зверя.

Я имею в виду не истории о самоотверженной собачьей преданности или о чем-нибудь в этом роде. Это слишком известно, и не это было бы удивительным. Я хочу рассказать о тех странных для нас минутах, когда именно душа наша вдруг протянется лучами через тысячи наслоений, наложенных человеческим разумом и человеческой глупостью, протянется прямо к темной «малой» звериной душе, пробьется любовью и найдет эту душу как свою, понимающую и отвечающую.

И чудо это не в звере, потому что он же всегда, всей силой своего разума готов на эту встречу. Чудо — в человеке.

Вот помню такую встречу.

Начало большевизма. Голый, ободранный, обмызганный Петербург.

Лязгая и звякая, тащится дребезжащий трамвай. На площадке — мы. Злобно прижатые друг к другу, стараемся выдвинуть локоть, чтобы соседу было больно, чтобы хоть немножко оттиснуть его, потому что дышать трудно — так сдавили нас со всех сторон. Злые, блед-

ные лица, синие губы, прилипшие к вискам волосы, полужакрытые глаза.

Остановка. Никто не вылез. Напротив, кто-то уцепился за поручни, давит нас, вдавливаясь, еще и еще. И все хрипят и, злобно оскалив зубы, нажимают в ту сторону, откуда лезут.

— Не пускаты!

Злоба соединила всех. Все вместе. Все давят, все ненавидят. Крик. Ага! Сорвался! И чего лезут?

И вот дернулся трамвай, заскрежетал. Двинулись.

Развалившийся забор, развороченная мостовая. С краю, у тротуара лежит издохшая кляча. Живот раздулся, и от этого вытянутая шея кажется еще худее и еще длиннее. Мутные глаза заведены, а у самой морды лежит на талом снегу пучок сена.

Картина обычная. Так всегда — сначала бьют упавшую лошадь, а когда видят, что она не может подняться, суют ей к морде пучок сена. Последняя надежда: вдруг хватит сенца да и встряхнется.

Да. Обычная картина. Но, может быть, у этой клячи шея была худее обычного или мертвые глаза особенно страдальчески подернулись пленкой, только было в ней что-то незабываемо скорбное. Точно лошадь из сна Раскольникова. Такой формой облекается в кошмаре раздирающая душу жалость.

Обычная картина. Все только скользнули глазами. И вот высокий худой старик, с трудом выдравший затиснутую давкой руку, снял шапку, пригнул голову — ветер шевельнул его серые прядистые, немытые волосы — и медленно, истово перекрестился.

Стоящий рядом ноздрястый красноармеец распылил рот и подмигнул, готовясь отпустить шуточку, но вдруг притих и смутился. Никто не улыбнулся. Строгие, осуждающие глаза. У всех. Все поняли. Все «увидели встречу».

Об этой истории, может быть, уже слышали? Это было во время войны.

Немецкий летчик подстрелил французский аэроплан. Кружил над ним. Сейчас прикончит француза. Француз должен спрыгнуть с парашютом. Но он чего-то медлит.



Странно. Каждая секунда дорога. Каждая секунда! Чего же он возится?

И вот видит немецкий летчик, что француз взял парашют и прилаживает его к собаке. Собака была с ним на аэроплане.

Приладил, спустил собачку и только тогда живо схватил второй парашют и прыгнул.

А немец? Что же он?

Немец сделал приветственный жест, отдал честь, повернул свой авион и скрылся.

Он не мог убить человека, который признал за зверем равное право на жизнь и уступил свою очередь.

Он не мог убить. Он «видел встречу».

Какое, должно быть, чудесное синее небо было в этот день! Какое светлое солнце!

Это был известный русский артист. Певец. Славный малый, добряк, кутила.

В Париже жилось ему туговато, мечтал об Америке, и наконец мечта осуществилась. Он получил ангажемент, подписал контракт, расплатился, уложился, попрощался и, значит, уехал.

Но вот прихожу я через несколько дней в знакомый дом и слышу, как будто из столовой доносится знакомый голос, голос этого самого певца, уехавшего в Америку.

— Как, разве он здесь?

— Здесь! — смеется хозяйка. — Не уехал.

— Отчего?

— Говорит, что не мог, потому что его попугай заболел. Совсем дурень. Прямо анекдот.

— Попугай? Ничего не понимаю.

— А вот расспросите. Он вам расскажет. Вот и делай после этого дела с русскими людьми.

Пошли в столовую. Действительно, сидит певец. Здоровается немножко смущенно.

— Правда, что вы из-за попугая не уехали? Ведь вы же нарушили контракт?

— Ну что поделаешь? — смущенно отвечал певец. — Может быть, еще как-нибудь наладится.

— Как же всё это произошло?

— «Как произошло, как произошло»... — обиженно передразнил певец. — Заболела птица. И как раз в ночь перед отъездом. Язык у нее заболел. Стонала всю ночь, прямо как человек. Подойду, а она на меня смотрит, ну прямо в душу, ну прямо жалуется и помощи просит. Провозился с моим попкой всю ночь. Утром надо на пароход — а куда я его, больного, потащу? Да его, больного, и на пароход не пустят. У них это строго. Ну вот я и остался. Теперь, слава богу, направляется. Выходил его. Ведь он у меня восемнадцать лет.

— Чудак! — сказала хозяйка. — Ну оставили бы его у кого-нибудь.

Он посмотрел с укоризной:

— Это больного-то? Как вам не стыдно!

— Ну потом бы вам его привезли, — уже не так уверенно сказала хозяйка.

Он посмотрел на нее очень серьезно и покачал головой:

— Нехорошо.

И все мы притихли. Нам что-то уже не было смешно.

А эта встреча двух душ произошла недавно. Одна душа принадлежала человеку.

Другая — кошке.

Человек был русский инженер. Николай Иторов.

Кошка — белая, пушистая, глаза янтарные. Звали кошку Лапушка.

Она инженеру Иторову была совсем чужая и даже малознакомая. Она была хозяйская кошка, а Иторов был жилец и никакого отношения и даже интереса к ней не имел.

Если Лапушка залезала в его комнату, он громко говорил, повернув голову к двери:

— Уберите кошку!

Он даже не знал, что она Лапушка.

К тому времени, которое предшествовало «встрече», инженер Иторов захворал. Захворал настолько, что трудно стало ходить на службу, трудно есть, трудно спать, вообще — трудно жить. Пришлось обратиться за помощью к доктору.

Доктор велел инженеру не утомляться, усиленно питаться, развлекаться и вообще быть богатым, сча-

стливым и здоровым. Но, кроме того, прописал лекарства.

Денег у инженера было очень мало, так что он попробовал сначала быть счастливым и здоровым без лекарств. Но дело не наладилось. Пришлось купить пилюли и капли. Купив пилюли и капли, пришлось сократить себя в усиленном питании. А чтобы можно было снова заплатить доктору, пришлось сократить пилюли и капли. Хвост вытащишь — нос завязнет.

Однако все-таки, как он ни сердился, а наука восторжествовала, и он стал понемногу поправляться. Решил доктора не бросать и продолжать лечение.

Хозяйка его куда-то уехала. Порядок в доме наводила приходящая баба. Слышно было, как она била посуду и бранила кошку. Вероятно, чтобы жилец приписывал битье посуды не ей, приходящей бабе, а кошке. А жильцу, между прочим, было абсолютно безразлично, на чьей душе грех.

И вот раз вечером перед уходом зашла баба к жильцу и сказала:

— Надо лучше отнести кошку к ветеринару, пусть он ее усыпит.

Иторов ничего сначала не понял:

— Усыпить? У кошки бессонница? Что за бредня!

Но баба объяснила:

— Кошка больна. Все равно не выживет, чего даром мучится.

Иторов рассеянно сказал:

— Бедная кошка.

Слово «бедная» вызвало в его душе известный рефлекс, рефлекс легкой жалости. Он встал и пошел в кухню.

Там в углу на покрытом войлоком яшике лежала белая Лапушка.

Он нагнулся и погладил ее.

Она приподняла голову, посмотрела ему прямо в глаза и тихо пискнула.

— Ну что, зверь, — сказал Иторов. — Надо будет лечиться, а то, сам понимаешь, помирать во цвете лет не стоит.

Завернул Лапушку в платок, понес к ветеринару.

Лапушкины дела оказались совсем плохи. Но еще не безнадежны. Нужно купить какие-то ампулы и давать ей по две в день.

— Возись тут с тобой, паршивая кошка! — ворчал инженер. — Самому жрать нечего.

Ампулы оказались серьезные, по двадцать франков штука. Ветеринар оказался еще серьезнее, взял за визит тридцать франков.

Иторов вздыхал и ругал кошку:

— Не воображай, однако, что это будет продолжаться. Тратиться на чужую паршивую кошку. Да ну тебя к черту!

Ампулы, однако, покупал и перенес Лапушку в свою комнату, «чтобы не бегать ночью по холодному коридору».

Свое лечение и усиленное питание пока что отложил. На двоих не хватит. Но все-таки наступил вечер, когда Лапушка вползла к нему на колени, и смотрела ему в глаза, и жаловалась тихими стонами.

И как раз в этот вечер забежала к нему милая дама, веселая, принаряженная, и сказала, что ей дали два билета на Шляпина, и звала его с собой.

— Не могу, — мрачно отрезал он. — Не могу, и кончено.

— Так уж много работы? — погасшим голосом спросила милая дама.

— Вот именно, — сухо ответил он.

И в эту минуту он ненавидел милую даму за то, что очень хотел быть с нею, за то, что он идиот, и вместо того чтобы веселиться, должен нянчиться с издыхающей кошкой.

А Лапушка смотрела ему в глаза человеческими глазами, и чего-то просила, и как будто мучилась, что не может объяснить.

— Ужасно все это глупо, милая моя, — сердито говорил Иторов. — С чего ты взяла, что я могу тебя спасти? Я сделал все, что мог. Я, наконец, сам болен и лежу без лекарств. Я не попрекаю тебя, но ведь ты всю душу из меня вымотала.

Лапушка слушала его, и вдруг вытянула лапу, и положила ее ему на грудь. Точно заклинала в чем-то.

— Голубчик ты мой, — сказал Иторов. — Ну за что ты так мучаешься? Какие грехи должен ты, темный зверь, искупить? Наш разум человеческий привык все оцени-

вать, отмеривать, обменивать. Ничего неоплаченного не понимает. А ты, зверь, ты не требуешь от Бога ответа, ты покорный. Если бы я был человеком верующим, я бы попросился за тебя, а я и этого не умею. И почему ты, умирая, пришел ко мне, к чужому и злому? Что ты знал обо мне, кроме моей нелюбви и раздражения? Откуда ты, темный зверь, знал?

А темный зверь отвечал тихим стоном, отвечал глазами и больше всего отвечал лапой, положенной на сердце человека.

И когда темный зверь, в земном бытии белая кошка Лапушка, задернул глаза свои мутной пленкой и, вздрогнув, затих, неверующий человек инженер Иторов нагнулся, поцеловал его в пушистый затылок и перекрестил истово и благоговейно, как человека, прижимая пальцы к белому лобку, к груди и к узким звериным плечам.





# Самоотверженная любовь

Посвящается Lolo

**Л**илия Люлина была босоножка.

Танцевала она, положим, редко, да и то в башмаках, потому что муж Люлиной, трагик Кинжалов, был ревнив и ставил вопрос ребром:

— Сегодня откроешь руки, завтра — ноги, а послезавтра что?

И вот из страха перед этим трагическим «послезавтра» Люлина и отплясывала свои босоножные танцы в чулках и туфлях.

Да это и не огорчало ее.

Ее огорчало совсем другое: она любила карты, а трагик не любил ее любовь к картам.

Она дулась в карты по целым ночам, а трагик дулся на нее по целым дням.

Возвращаясь под утро домой, она часто заставляла его еще одетым, бледного, нервного — он не спал всю ночь.

Его раздражает ее позорная страсть.

Пусть она знает раз навсегда, что, пока она резвится за ломберным столом, он, бледный, тоскующий, с горькой улыбкой отчаяния, бродит один по темным комнатам и спрашивает у белеющего за окном рассвета: «Быть или не быть?»

Лилия Люлина мучилась за него, мучилась целый день до вечера. А вечером, вздохнув, уходила играть в карты.

Но все на свете кончается.

Однажды часов в шесть утра проигравшаяся в пух и прах Люлина возвращалась домой. Провожал ее комик Стрункин. Шли пешком. Комик подшучивал:

— Вы оттого и проигрываете, Лиличка, что муж в вас влюблен, как лошадь. Кто счастлив в любви, тому не может везти в карты.

Недалеко от своего подъезда Лилия остановилась как вкопанная:

— Смотрите. Ведь это он. Ведь это он!

Действительно, это был он — трагик Кинжалов.

Выскочил он откуда-то из-за угла, бледный, с выпученными глазами, и быстро юркнул в подъезд.

— Как странно, он не видал нас, — удивился Стрункин.

— Господи, господи, — ахала Лиля. — По-моему, это он от бешенства ослеп. Он, верно, подстерегал меня, чтобы убить. Друг мой Стрункин, знаете — я не буду больше играть в карты. Бедный Боречка! Ведь он сошел с ума. Как вы думаете — он еще сможет оправиться?

Полная нежности и раскаяния, вошла она в спальню.

Кинжалов уже успел раздеться и даже заснуть. Но спал как-то вполглаза.

«Притворяется, — похолодела Лиля, — выждет, чтобы я уснула, и зарежет, как курицу».

Она легла, притихла и насторожилась.

Кинжалов сел, прислушался, потом встал и тихо, на цыпочках, вышел из комнаты.

Лиля, вся дрожа, поднялась тоже.

«Пошел за ножом. Господи, господи!.. Доигралась...»

Она тихо прокралась за ним.

У дверей кабинета остановилась... Что это? Он говорит? Он с ума сошел, он один разговаривает.

Она приоткрыла дверь.

— Барышня. Сто пять тринадцать. Мерси.

Это телефон.

Лиля приободрилась и подошла ближе.

— Тамарочка? Ты? — нежно нашептывал Кинжалов. — Не спишь, детка?.. Ах, я тоже весь горю. Не оторваться от твоих змеиных ласк. Ах... ах... Я тоже... Представь себе, возвращаясь домой, столкнулся нос к носу с Лилей. Ничего... ничего. Она была так погружена в свои картежные воспоминания, что даже не заметила меня. Ай! Кто меня трoga...

За его спиной, грозно сверкая глазами, стояла Лиля:

— Так вот оно что! Так вот как ты проводишь время в мое отсутствие?! Ты изменяешь мне! Подлый!

Лиля всхлипнула и вдруг разревелась искренне, горько и отчаянно:

— Я думала... ты, как честный человек, просто хочешь зарезать меня... а ты... а ты...

Кинжалов погладил ее по голове и сказал кротко:

— Дорогая моя! Какая ты глупенькая! Ведь это же все из любви к тебе. Я не отрицаю. Да, я изменил тебе, но ей-богу, единственно для того, чтобы тебе везло в карты. Ведь я так люблю тебя, что для твой пользы готов на все.

Ляля Люлина больше не играет в карты.

Самоотверженная любовь мужа излечила ее от этой страсти.

Да, дети мои. Любовь, способная на самопожертвование, всегда получит награду свою.







## О вечной любви

Днем шел дождь.

В саду сыро.

Сидим на террасе, смотрим, как переливаются далеко на горизонте огоньки Сен-Жермена и Вирофле. Эта даль отсюда, с нашей высокой лесной горы, кажется океаном, и мы различаем фонарики мола, вспышки маяка, сигнальные светы кораблей. Иллюзия полная.

Тихо.

Через открытые двери салона слушаем последние тоскливо-страстные аккорды «Умирающего лебедя», которые из какой-то нездешней страны принесло нам радио.

И снова тихо.

Сидим в полутьме, красным глазком подымается, вспыхивает огонек сигары.

— Что же мы молчим, словно Рокфеллер, переваривающий свой обед? Мы ведь не поставили рекорда дожить до ста лет, — сказал в полутьме баритон.

— А Рокфеллер молчит?

— Молчит полчаса после завтрака и полчаса после обеда. Начал молчать в сорок лет. Теперь ему девяносто три. И всегда приглашает гостей к обеду.

— Ну а как же они?

— Тоже молчат.

— Эдакое дурачье!

— Почему?

— Потому что надеются. Если бы бедный человек вздумал молчать для пищеварения, все бы решили, что с таким дураком и знакомства водить нельзя. А кормит он их, наверное, какой-нибудь гигиенической морковкой?

— Ну конечно. Причем жует каждый кусок не меньше шестидесяти раз.

— Эдакий нахал!

— Поговорим лучше о чем-нибудь аппетитном. Петроний, расскажите нам какое-нибудь ваше приключение.

Сигара вспыхнула, и тот, кого здесь прозвали Петронием за гетры и галстуки в тон костюма, процедил ленивым голосом:

— Ну что ж, извольте. О чем?

— Что-нибудь о вечной любви, — звонко сказал женский голос. — Вы когда-нибудь встречали вечную любовь?

— Ну конечно. Только такую и встречал. Попадались все исключительно вечные.

— Да что вы! Неужели? Расскажите хоть один случай.

— Один случай? Их такое множество, что прямо выбрать трудно.

— И все вечные?

— Все вечные. Ну вот, например, могу вам рассказать одно маленькое вагонное приключение. Дело было, конечно, давно. О тех, которые были недавно, рассказывать не принято. Так вот, было это во времена доисторические, то есть до войны. Ехал я из Харькова в Москву. Ехать долго, скучно, но человек я добрый, пожалела меня судьба и послала на маленькой станции прехорошенькую спутницу. Смотрю — строгая, на меня не глядит, читает книжку, конфетки грызет. Ну в конце концов все-таки разговорились. Очень действительно строгая оказалась дама. Чуть не с первой фразы объявила мне, что любит своего мужа вечной любовью, до гроба, аминь.

Ну что же, думаю, это знак хороший. Представьте себе, что вы в джунглях встречаете тигра. Вы дрогнули и усомнились в своем охотничьем искусстве и в своих силах. И вдруг тигр поджал хвост, залез под куст и глаза зажмурил. Значит, струсил. Ясно. Так вот, эта любовь до гроба и была тем кустом, за который моя дама сразу же спряталась.

Ну, раз боится, нужно действовать осторожно.

— Да, — говорю, — сударыня, верю и преклоняюсь. И для чего, скажите, нам жить, если не верить в вечную любовь? И какой ужас — непостоянство в любви! Сегодня романчик с одной, завтра — с другой, уж не говоря о том, что это безнравственно, но прямо даже неприятно.

Столько хлопот, передряг. То имя перепутаешь — а ведь они обидчивые все, эти «предметы любви». Назови нечаянно Манечку Сонечкой, так ведь такая начнется история, что жизни не рад будешь. Точно имя Софья хуже, чем Марья. А то адреса перепутаешь и благодаришь за восторги любви какую-нибудь дуру, которую два месяца не видел, а «новенькая» получает письмо, в котором говорится в сдержанных тонах о том, что, к сожалению, прошлого не вернуть. И вообще все это ужасно, хотя я, мол, знаю, конечно, обо всем этом только понаслышке, так как сам способен только на вечную любовь, а вечная пока что еще не подвернулась.

Дама моя слушает, даже рот открыла. Прямо прелесть что за дама. Совсем приручилась, даже стала говорить «мы с вами»:

— Мы с вами понимаем, мы с вами верим...

Ну и я, конечно, «мы с вами», но все в самых почтительных тонах, глаза опущены, в голосе тихая нежность — словом, «работаю шестым номером».

К двенадцати часам перешел уже на номер восьмой, предложил вместе позавтракать.

За завтраком совсем уже подружились. Хотя одна беда — очень уж она много про мужа говорила, все «мой Коля, мой Коля», и никак ее с этой темы не свернешь. Я, конечно, всячески намекал, что он ее недостоин, но очень напирать не смел, потому что это всегда вызывает протесты, а протесты мне были не на руку. Кстати, о руке — руку я у нее уже целовал вполне беспрепятственно, и сколько угодно и как угодно.

И вот подъезжаем мы к Туле, и вдруг меня осенило:

— Слушайте, дорогая! Вылезем скорее, останемся до следующего поезда! Умоляю! Скорее!

Она растерялась:

— А что же мы тут будем делать?

— Как — что делать?! — кричу я, весь в порыве вдохновения. — Поедем на могилу Толстого. Да, да! Священная обязанность каждого культурного человека. Эй, носильщик!

Она еще больше растерялась:

— Так вы говорите... культурная обязанность... священного человека.

А сама тащит с полки картонку.

Только успели выскочить, поезд тронулся.

— Как же Коля? Ведь он же встречать выедет.

— А Коле, — говорю, — мы пошлем телеграмму, что вы приедете с ночным поездом.

— А вдруг он...

— Ну, есть о чем толковать! Он еще вас благодарить должен за такой красивый жест. Посетить могилу великого старца в дни общего безверия и ниспровержения столпов.

Посадил свою даму в буфете, пошел нанимать извозчика. Попросил носильщика договорить какого-нибудь получше лихача, что ли, чтоб приятно было прокатиться.

Носильщик ухмыльнулся.

— Понимаем, — говорит. — Потрафить можно.

И так, бестия, потрафил, что я даже ахнул: тройку с бубенцами, точно на Масленицу.

Ну что ж, тем лучше.

Поехали.

Проехали Козлову Засеку, я ямщику говорю:

— Может, лучше бубенчики-то ваши подвязать? Неловко как-то с таким трезвоном. Все-таки ведь на могилу едем.

А он и ухом не ведет.

— Это, — говорит, — у нас без внимания. Запрету нет и наказания нет, кто как может, так и ездит.

Посмотрели на могилу, почитали на ограде надписи поклонников:

«Были Толя и Мура», «Были Сашка-Канашка и Абраша из Ростова», «Люблю Марью Сергеевну Абиносову. Евгений Лукин», «М. Д. и К. В. разбили харю Кузьме Вострухину».

Ну и разные рисунки — сердце, пронзенное стрелой, рожа с рогами, вензеля. Словом, почтили могилу великого писателя.

Мы посмотрели, обошли кругом и помчались назад. До поезда было еще долго, не сидеть же на вокзале. Поехали в ресторан, я спросил отдельный кабинет. «Ну к чему, — говорю, — нам показываться? Еще встретим знакомых, каких-нибудь недоразвившихся пошляков, не понимающих культурных запросов духа».

— Провели время чудесно. А когда настала пора ехать на вокзал, дамочка моя говорит:

— На меня это паломничество произвело такое неизгладимое впечатление, что я непременно повторю его, и чем скорее, тем лучше.

— Дорогая! — закричал я. — Именно — чем скорее, тем лучше. Останемся до завтра, утром съездим в Ясную Поляну, а там и на поезд.

— А муж?

— А муж останется как таковой. Раз вы его любите вечной любовью, так не все ли равно? Ведь это же чувство непоколебимое.

— И по-вашему, не надо Коле ничего говорить?

— Коле-то? Разумеется, Коле мы ничего не скажем. Зачем его беспокоить?

Рассказчик замолчал.

— Ну и что же дальше? — спросил женский голос.

Рассказчик вздохнул:

— Ездили на могилу Толстого три дня подряд. Потом я пошел на почту и сам себе послал срочную телеграмму: «Владимир, возвращайся немедленно». Подпись: «Жена».

— Поверила?

— Поверила. Очень сердилась. Но я сказал: «Дорогая, кто лучше нас с тобой может оценить вечную любовь? Вот жена моя как раз любит меня вечной любовью. Будем уважать ее чувство». Вот и все.

— Пора спать господа, — сказал кто-то.

— Нет, пусть еще кто-нибудь расскажет. Мадам Г—ч, может быть, вы что-нибудь знаете?

— Я? О вечной любви? Знаю маленькую историю. Совсем коротенькую. Был у меня на ферме голубь, и попросила я слугу моего, поляка, привезти для голубя голубку из Польши. Он привез. Вывела голубка птенчиков и улетела. Ее поймали. Она снова улетела — видно, тосковала по родине. Бросила своего голубя.

— *Tout comme chez nous\**, — вставил кто-то из слушателей.

— Бросила голубя и двух птенцов. Голубь стал сам греть их. Но было холодно, зима, а крылья у голубя коро-

\* Все как у нас (фр.).

че, чем у голубки. Птенцы замерзли. Мы их выкинули. А голубь десять дней корму не ел, ослабел, упал с шеста. Утром нашли его на полу мертвым. Вот и все.

— Вот и все? Ну, пойдемте спать.

— Н-да, — сказал кто-то зевая. — Эта птица — насекомое, то есть я хотел сказать — низшее животное. Она же не может рассуждать и живет низшими инстинктами. Какими-то там рефлексами. Их теперь ученые изучают, эти рефлексy, и будут всех лечить, и никакой любовной тоски, умирающих лебедей и безумных голубей не будет. Будут все, как Рокфеллеры, жевать шестьдесят раз, молчать и жать до ста лет. Правда, чудесно?





**С**реди наших стонущих,



кислых парижан, часто живущих хуже, чем могли бы, из страха, как бы кто из голодающих соотечественников не попросил помощи, встретила я наконец человека, которому очень хорошо живется и который боится только одного — как бы это прекрасная его жизнь не оборвалась.

Хотелось бы этот единственный экземпляр великолепно устроившегося и довольного своей судьбой беженца сохранить подольше — нам на славу, большевикам на зависть.

Амины!

На нем была бархатная куртка и плюшевая шляпа, так что я сразу поняла, что передо мной на визитной карточке, которую он торжественно показал мне и потом снова спрятал, очень жирным шрифтом было написано: «André d'Jvanoff, artiste de musique»\*.

Лицо у Иванова было круглое, русское, глаза детскочестные: и сами они не врут, и другим верят.

— Я скромный артист, — объяснил он мне, вероятно, для того, чтобы я не очень испугалась его карточки. — Я больше аккомпанирую, переписываю ноты. Конечно, в России было сравнительно не то. Жил я всегда в провинции. Там меня хорошо знали. Давал уроки пения в городском училище. Многие видные персоны у меня занимались. Дочь нашего исправника... У нее, извините, был боже упаси какой голос. Ну а потом сравнительно стал гораздо лучше. Она даже вышла замуж за очень известную личность, за сотрудника различных газет, наверное, изволили слышать, подписывается «Нарыв» или, виноват, «Язва». Что-то в этом роде.

\* Андрей Иванов, музыкант (фр.).

— Чего же это он так?

— Да, многих это тоже сравнительно удивляло. Но что поделаешь, литература иногда требует.

— А как вы в Париж попали?

— Да, знаете ли, большевиков боюсь. Когда наш город брали, я, знаете ли, был ранен. И это сравнительно так неприятно. И вообще грязь такая, а я человек аккуратный. Удрал и не раскаиваюсь. Я здесь очень хорошо живу. Бывало, конечно, что по два дня буквально ничего не ел. Как раз тут праздник был, на улице иллюминация. Французы пляшут, а я так чего-то ослабел, что только на третий день встал. Встал, а в глазах такая иллюминация, что чуть с лестницы не упал. Ну да это сравнительно неопасно, это желудочное. Тут как раз пришел ко мне один наш русский. Он в Петрограде какой-то важный пост занимал, был при гимназии репетитором, что-то в этом роде. И вот как раз принес мне ноты переписывать для одного очень видного артиста. Вот я и устроился!

— Хорошо?

— Очень сравнительно хорошо! Конечно, надо уметь. Ведь большинство наших беженцев пропадают оттого, что не умеют жить. Прежде всего надо найти хорошую комнату. У меня комната чудесная. Конечно, не в центре, но тем лучше, потому что на окраине воздух всегда чище. Ну, конечно, седьмой этаж, так что очень светло. Ну и сравнительно очень-очень недорого — три франка. Но ведь у меня и стул, и кровать, и даже столик. Комната без отопления, но опять-таки надо уметь устраиваться: я открываю дверь на лестницу, и если сяду перед дверью, то даже чувствую сравнительно теплый воздух. Все это надо уметь. Знаете, иногда даже жалко смотреть, как люди пропадают только из-за того, что не умеют устраиваться... И они удивляются, как я с моими сравнительно скромными средствами и так великолепно живу. У меня даже нет изможденного вида. Ведь правда?

— Правда.

— Оттого что я знаю, как надо питаться. Знаете, здесь многие беженцы со средствами тратят бешеные деньги на еду. Потому что не умеют устраиваться. Посудите сами: утром яичница, днем яичница, вечером яичница. А яйца, вы знаете, сколько стоят?



Он посмотрел на меня так строго, что я от страха забыла, сколько стоят яйца.

— Да-с! — выждав жуткую паузу, продолжал Иванов. — Восемьдесят сантимов стоят яйца. Вот и считайте, надолго вам ваших денег хватит? А если человек умеет, так он делает так: покупает два кубика бульона — один куриный и один говяжий. Говяжий вдвое дешевле, но очень уж соленый, а куриный совсем без соли, так что изволь к нему еще соли покупать. Ну-с, а умеючи, вы кладете в кастрюльку по полкубика того и другого. И вот вы и сыты. Но если вам нужно усилить питание, то вы можете еще купить кровяной колбасы, она сравнительно дешева — три франка кишка. Надолго хватает, если по маленькому кусочку класть в этот самый бульон. Много даже и нельзя — вызывает некоторую тошноту.

— А вы чай пьете?

— Ах нет, я против чая. Чай действует плохо на нервы. И к чему? Я поступаю так: сантимов за восемьдесят я покупаю великолепное вино и по одной ложке подливаю его на пол-литра кипятку и подслащиваю двумя кусками сахара. Это согревает и при усиленном питании чрезвычайно полезно. Относительно платья я тоже умею устроиваться. Вот я себе купил эту куртку. Пальто совсем, моему, никому не нужно. Многие, которые не умеют устроиваться, думают, что на улице нужно быть теплей одетым, чем в комнате. Вот этого я не понимаю. На улице человек двигается, и уже поэтому ему тепло. Я лично на улице не мерзну, а в комнате иногда оборачиваюсь одеялом. Нужно уметь. Одна беда — если хозяйка узнает, что я у себя готовлю, она меня живо выбросит на улицу вместе с моей кастрюлей. Здесь ведь в хороших отелях жильцам готовить не позволяют. Да, я очень хорошо устроился. Но в этом месяце заработка пока еще нет, а предстоят очень крупные траты. Вы извините, если скажу прямо.

Он немножко покраснел.

— Предстоит купить шерстяные чулки. У меня почему-то сравнительно ревматизм в ногах. От полу очень дует. Вот еще одну неделю я могу прожить великолепно, особенно если сделаю сокращение на колбасе. А дальше ничего не предвидится. У меня есть с собой романс Михаила Ивановича Глинки — «Не искушай». Может быть,

можно его разыграть в лотерею среди беженцев? Знаете, когда человек так хорошо устроился, а будущее темно, то после пережитых испытаний очень делается страшно. Вы понимаете?

Он приостановился, испуганно и недоверчиво. Вдруг, мол, не понимает — дураков на свете тоже немало...

— Вы понимаете? Сравнительно страшно.

— Да, да, вы не думайте. Я ведь сравнительно понимаю.

Но понимать мало.

— Господа, не нужны ли кому-нибудь ноты Михаила Ивановича Глинки?

— Нет. Я... сравнительно так и думала.





### Светлый праздник

в санатории доктора Луавье был отмечен жареной курицей и волованами с ветчиной\*.

После завтрака больные прифрантились и стали ждать гостей.

К вечеру от пережитых волнений и непривычных заприщенных угощений, принесенных потихоньку посетителями, больные разнервничались. Сердито затрещали звонки, выкидывая номера комнат, забегали сиделки с горячей ромашкой и грелками и заворчал успокоительный басок доктора.

— Зачем все они терзают меня своей любовью! — томной курицей кудахтала в номере пятом испанка с воображаемой болезнью печени. — Зачем мне эти букеты, эти конфеты? Ведь они же знают, что я умираю. Позовите доктора, пусть он даст мне яду и прекратит мои мучения.

В номере десятом рантьерша мадам Калю запустила стаканом в кроткую и бестолковую свою сиделку Мари. Ее, мадам Калю, никто не навестил, да она и не разрешила ни мужу, ни детям показываться ей на глаза. А злилась она оттого, что вопли испанки ее раздражали.

Она, собственно говоря, не была больна. Она спаслась в санаторию от домашнего хаоса

— Не надо сердиться! — кротко уговаривала ее Мари. — Надо быть пайнкой, надо кушать суп, чтобы скорее поправиться и ехать домой, где бедный маленький муж скушает о своей маленькой женке и детки плачут о своей мамочке.

Мадам Калю вспомнила о своем муже, плешивом подлице, содержавшем на ее счет актрисенку из «Ревю»,

\*Ветчина, запеченная в тесте.

вспомнила сына, подделавшего под векселями ее подпись, дочь, сбежавшую к пузатому банкиру, и бросилась с кулаками на кроткую Мари.

Но больше всего досталось в этот вечер русской сиделке, безответной и робкой Лизе. Вверенный ей здоровенный больной, греческий генерал, во-первых, объелся страсбургским паштетом, а во-вторых, поругался с женой. Вручая этот самый паштет, жена сказала ему, что он вислоухий дурак и притворщик и что на те деньги, которые он тратит на лечение, она могла бы поехать в Монте-Карло. Генерал вопил, что он умирает, и требовал морфия. Лиза успокаивала его, как могла, но он стучал на нее кулаком:

— Вы старая дева! Безнадежная старая дева, и, конечно, в ваших глазах спокойствие важнее всего. А я полон сил и обречен на гибель!

Почему он обречен на гибель, он и сам не знал. Не знала и Лиза и, отвернувшись, заплакала.

И слезы ее подействовали на него магически. Он сразу развеселился, забыл о морфии и попросил касторки.

У него была особого вида неврастения: при виде какой-нибудь неприятности, приключавшейся с другими, меланхолия его мгновенно сменялась отличнейшим настроением. Когда однажды в его присутствии горничная свалилась с лестницы и сломала себе ногу, он весь день весело посвистывал и даже собирался организовать домашний спектакль.

Да. Странные болезни бывают на белом свете...

Ночью Лиза долго не ложилась, вздыхала, разбирала старые открытки с болгарскими видами, исписанные русскими буквами. Потом сняла со стены фотографию лысого бородатого господина и долго вопросительно на нее смотрела.

\*\*\*

На другое утро, прибрав своих больных, она спустилась вниз.

Толстая кроткая Мари спешно допивала свой кофе.

— Я сейчас иду на станцию, — сказала она. — Нужно получить пакет.

Лиза вышла за ней на крыльцо.

— Я, пожалуй, сбегаю с вами, — сказала она, слегка ежась от свежего, сильного весеннего воздуха.

— Вы простудитесь, — сказала Мари. — Накиньте что-нибудь.

— Нет, так отлично!

Пасха была ранняя.

Деревья в ясном холодном небе купали тонкие свои чуть розовеющие, наливающиеся соками прутьики.

Длинная сухая прошлогодняя трава порошила сквозной щетинкой плотный ядовито-зеленый газон.

Облака кудрявились, как на наивной картинке в детской книжке. И все было такое новое, непрочное, и неизвестно было, останется ли, окрепнет ли в настоящую весну или только мелькнет обещанием и снова уйдет в отходящую зиму.

И это ярко раскрашенное небо, и обещающие жизнь розовеющие цветочки, и то, что она так по-молодому легкомысленно выбежала в одном платье, — все это вдруг ударило Лизу весенним вином прямо в сердце. Желтое лицо ее порозовело, страдальческие морщинки около рта разгладились, и вялые губы улыбнулись бесмысленно-счастливо.

— Я всегда такая! Мне все все равно! — звонко сказала она и удаło тряхнула головой.

Мари с удивлением поглядела на нее. Она служила в санатории всего второй месяц и мало встречалась с Лизой.

— Да, вы, русские, совсем особенные, — сказала она. — Оттого все в вас и влюбляются.

Лиза засмеялась задорно и весело:

— Ну, знаете ли, влюбляются действительно, но далеко не во всех.

Было в ее тоне что-то многозначительное. Так как-то вышло, без всякого умысла, потому что она вовсе не на себя намекала.

Весенний воздух пьянил, веселил. Проходя мимо сложенных вдоль дороги бревен, Лиза вскочила на поваленную толстую липу и, балансируя руками, пробежала и спрыгнула.

— Какая вы ловкая! — ахнула Мари. — Как молоденькая!

Лиза обернулась. Ее лицо покраснелось, волосы выбились из-под косынки.

Проходивший мимо почтальон закричал:

— Браво! Браво!

Лиза бросила ему лукавый взгляд.

— Ах, какая же вы шалунья! — восторженно удивлялась Мари. — Я всегда думала, что вы такая тихонькая, а вы такой чертенок. Наверное, все больные от вас без ума!

— Ну уж и все! — кокетливо улыбалась Лиза. — Далеко не все. Почтальон! Пойдите. Нет ли у вас письма на имя мадемуазель Лиз Корнофф?

Почтальон, поглядывая на нее блестящим глазком и пошевеливая усами, стал рыться в сумке.

— А уж он и рад, что вы с ним болтаете! — шептала Мари, радостно волнуясь.

— Мадемуазель Корнофф. Так? — спросил почтальон и подал Лизе открытку.

Лиза взглянула на розового зайца, несущего в лапках синее яйцо с золотыми буквами «Х. В.». Марка была болгарская, но письма она без очков прочесть не могла. Да это и не было важно. Важно было, что после почти трехмесячного перерыва она получила поздравление, что она не забыта и что все то, что она начинала считать умершим, потерянным навсегда, еще жило, и обещало, и звало.

Она сунула открытку в карман передника и весело засмеялась. А когда подняла глаза, увидела прямо перед собой молодое вишневое деревцо, словно в каком-то буйствующем восторге всего себя излившее в целый гимн белых цветов. Маленькое, хрупкое, и выбрызнуло столько красивой радости прямо к небу, к солнцу, к сердцу.

— От «него»? — спросила Мари, указывая глазами на торчащую из кармана открытку.

Лиза засмеялась и пренебрежительно махнула рукой:

— Старая история! Не хочет понять, что мне моя свобода дороже всего. Мы вместе служили в госпитале. Он врач. Должен был тоже приехать во Францию, но задержался, и, конечно, в отчаянии.

— А вы? — спросила Мари, сделав заранее сочувствующее лицо.

— Я?

Лиза передернула плечами и засмеялась:

— Я, дорогая моя, люблю свободу.

И, обнажив широкой улыбкой свои длинные желтые зубы, пропела фальшивым голоском:

L'amour est un enfant de Bohême  
Qui n'a jamais, jamais connu de loi...\*

— Это из «Кармен»!

— Какая вы удивительная! А скажите, этот ваш греческий генерал, наверное, тоже к вам неравнодушен?

Лиза презрительно пожала плечами:

— Неужели вы думаете, что я стану обращать внимание на чувства такого ничтожного человека?

«Удивительная женщина! — думала добродушная Мари. — И некрасива, и немолода, а вот умеет же сводить с ума! Ах, мужчины, мужчины, кто поймет, что вам нужно?»

А Лиза бежала походкой смелой и быстрой, какой никогда у себя не знала, и смеялась, удивляясь, как она до сих пор не видела, что жизнь так легка и чудесна.

Вернулись в санаторию немножко усталые, и горничная сразу крикнула Лизе:

— Бегите скорее к вашему генералу! Он так ругается, что с ним сладу нет.

Лизе очень хотелось сбежать к себе за очками, чтобы узнать наконец, о чем чудесном сообщает ей розовый заяц. Но медлить она не посмела и пошла в комнату номер девятый, затхлую, прокуренную, где злой человек с одутловатым лицом долго ругал ее старой ведьмой, жабой и дармоедкой.

Шторы в комнате были опущены, и небо за ними умерло

Потом привезли новую больную, потом приехал профессор...

Лиза уже не улыбалась. Она только тихонько дотрагивалась до кармана, где лежала открытка, и тихо, сладостно вздыхала. Все небо, все чудо весны было теперь здесь, в этом маленьком кусочке тонкого картона.

И только вечером, после обеда, быстро избежав по лестенке в свою комнату и закрыв дверь на задвижку, она блаженно вздохнула:

— Ну вот! Наконец-то!

Надела очки, села в кресло, чтобы можно было потом долго-долго думать...

---

\* Любовь — дитя богемы, никогда не признающее законов (фр.).

Милый знакомый почерк... И как много написано! Ого! Не так-то, видно, скоро можно меня забыть!

«Дорогая Лизавета Петровна, — писал знакомый почерк, — простите за долгое молчание. Причины к тому были важные. Не удивляйтесь новости: я на старости лет женился, да еще на молоденькой. Но когда познакомитесь с моей женой, то поймете меня и не осудите, такая она прелестная. Она вас знает по моим рассказам и уже полюбила.

Искренне преданный Вам

Н. Облуков.

Р. С. Ее зовут Любовь Александровна. Н. О.».







## В весенний праздник

**Ж**елтое весеннее солнце

и светит, и греет. Река ловит его веселые лучи всеми своими струйками, чешуйками и разбрызгивает их во все стороны.

Сегодня праздник, и у реки совсем особенный вид.

Вчера желтое солнце так же грело, и так же светило, и так же струйки-чешуйки ловили и отбрасывали лучи, но тихо было на берегах, а по воде плыли плоты да барки, и переругивались серые и черные фигуры.

«Ав-ав-ав!» — доносилось до берега.

Сегодня плотов нет, и серых фигур не видно.

Сегодня весь берег точно зацвел розовыми, голубыми, пестрыми пятнами — платьями гуляющих дачниц.

Прибрежный ресторан разукрасился флагами и несет томные стоны румынского оркестра и запах жареной курицы до другого берега.

Вода, спокойно-зеркальная посредине, рябит кругами с краев. Это оттого, что ни одно человеческое существо, в возрасте от четырех до двадцати пяти лет, не может, подойдя к реке, не бросить в нее камушек или черепок.

Такова уж природа человеческая.

Вот в томные стоны румынского оркестра врываются хриплые, ржавые звуки. Они все громче и громче. Это веселая компания проплывает с гармоникой на лодке.

«Кричал он: «Милая изюминка,  
Стоснул я по тебе-е-е», —

крякает на лодке пьяный голос.

Лодка, качаясь и кренясь на один борт, двигается быстрыми, неровными толчками.

Круги вдоль берегов на мгновение замирают. Застывают розовые, голубые и пестрые пятна. Следят за лодкой: сейчас она потонет или погода.

Нет, завернула — значит, погода. Впрочем, не все ли равно. Не потонет эта — потонет другая. Без этого не обойдется, так требует статистика: в весенний праздник тонут в этой реке ежегодно от десяти до тридцати человек.

Таков закон. Через него не перешагнешь.

\*\*\*

Курсистка Лялечка и студент Костя Багрецов сели в лодку.

Лялечка подобрала платье, ухватила веревку руля и прищурилась на солнце.

Она чувствует, что она хорошенькая, что она загадочная, что в ней есть что-то русалочье, не так, как в каждой барышне, сидящей на руле, а в гораздо большей степени.

Студент Костя влюблен в нее. Она его замучает и будет хохотать русалочьим смехом. На ней новый серый костюм с черной тесемочкой. Еще утром она сомневалась насчет тесемочки, но теперь уверена, что это хорошо и что мир принадлежит ей.

Рядом с ней в пакетике — четыре бутерброда с сыром и плитка шоколада.

Студент Костя снял тужурку и налег на весла.

Оба молчат.

«Отчего он не смотрит на меня и не удивляется, что я такая особенная», — беспокоится Лялечка.

Костя внимательно оглядывает свои плечи: «Какие у меня, однако, мускулы».

Опять долго молчат.

Потом Костя опускает весла, многозначительно улыбается и объясняет, что он вспотел.

— Хотите есть? — холодно спрашивает Лялечка.

— А вы?

— Я не хочу.

Ей очень хотелось, но почему-то она отказалась.

Костя удивился, но съел все четыре бутерброда.

«Какой пошляк», — брезгливо думала Лялечка.

— Хотите шоколаду?

— А вы неужели и шоколаду не хотите? — снова удивился Костя.

Ей очень хотелось, но со злости за бутерброды она отдала весь шоколад и возненавидела Костю холодной, острой ненавистью.

А тот удивился, напился из горсточки воды и снова взялся за весла.

«Я вас ждала,

А ви, ви нэ прэшлы», —

донесся гортанный голос певца-румына.

— Подплывем поближе, даром музыку послушаем, — радовался Костя.

Лялечка только что подумала то же самое, но теперь, когда он это сказал, ей показалось, что такая пошлость может прийти в голову только ему.

Костя потянул носом:

— А вкусно пахнет! А?

И опять он сказал ее мысль, и она вся задрожала от отвращения:

— Я хочу домой.

— Домой? Я так и знал, что вы воды боитесь.

Лялечка от наплыва отчаяния, злобы и ненависти открыла рот, как рыба, и не знала, что сказать.

«А ви, ви нэ прэшлы», — всхлипнул румын.

Они проплывали теперь под самой террасой. Какая-то дама перегнулась к ним, и пушистые перья ее шляпы тихо качались, скользя кружевными тенями по бледному чернобровому лицу. Улыбнулась, обернулась, сказала что-то, и к ней нагнулся молодой моряк.

Лялечка стиснула зубы. Вот сейчас, в этот момент, поняла она, что Костя — дурак, что шоколад съеден и что дальше так жить нельзя.

— Я вам говорю, что я хочу домой, — прошептала она. — Я вам говорю, что хочу домой. Или вы настолько глупы, господин Багрецов, что не понимаете, что я вас ненавижу.

\*\*\*

— Посмотри, какая милая парочка там, на реке в лодке, — сказала моряку бледная дама. — Какие у него сильные руки

— Ничего особенного, — пробормотал моряк. — Кофе хочешь?

— Нет, очень красиво, когда он откидывает плечи.

— Я тебя спрашиваю: хочешь ли ты кофе.

— Не понимаю, чего тут злиться. Мне нравится, потому что они оба так красиво плывут... Молодо, весело, ярко...

— Я же предлагал поехать на катере. Ты же сама не хотела.

Дама повернулась к нему. Губы у нее стали белые, а глаза круглые, желтые, с черными ободками:

— Не хочу, не хочу. Ничего не хочу. А больше всего — тебя не хочу.

«Восторгом сладострастья»... — томился взбодренный на бис румын.

«И на груди молодой», — надрывался кто-то среди реки.





## Жестокая весна

**Т**рамвай уже гудел сзади,



а до остановки было еще далеко.

Они побежали. Зиночка дурашливо схватила Соколова за руку и бежала частыми женскими шажками вразнобой с ним, толкая его руку и смеясь.

Из прохладной апрельской синевы, солнечной и ветреной, вдруг посыпался крупный дождь, сверкая на солнце веселыми хрусталиками. Точно бросал кто-то сверху полные пригоршни бус.

Это длилось всего несколько секунд, и раньше, чем они вскочили в двинувшийся уже трамвай, дождь прекратился. И сейчас же, как по команде, неистово зачирикали воробьи. Их торопливый, деловитый галдеж слышался даже через шум трамвая.

Они остались на площадке. Соколов, взявшись за поручни, замкнул Зиночку в ограду своих рук и близко сверху вниз смотрел в ее лицо.

Она подняла на него смеющиеся глаза, сощуренные двумя блестящими и ласковыми полумесяцами.

На отворотах ее барашковой кофточки и на букетике искусственных фиалок блестели капельки дождя.

— Воробьи-то, воробьи-то как обнаглели! Слышите?! — с шутливым негодованием воскликнула Зиночка.

— На то и весна! — радостно отозвался Соколов. — У меня тоже на душе воробьи чирикают.

— У вас и глаза-то как у озорного мальчишки, — сказала Зиночка, и полумесяцы ее глаз стали еще ласковее, еще лукавее.

От нее в лицо Соколову веяло женским душистым теплом. И эти неизвестные ему модные духи спаяли с настоящим моментом свою не ясную еще ему легенду. В их сухом и прохладном аромате плыло в душу какое-то новое откровение весны.

— Зиночка, — сказал Соколов, позволяя себе чуть-чуть опьянеть от момента, — а можно мне быть сегодня влюбленным в вас?

— Вам? — улыбаясь, спросила Зиночка. — Ну конечно, можно. Иначе даже было бы невежливо. Но только до известного предела.

— До какого, до какого предела, Зиночка?

— До словесного, до чирикания воробьев, вот до этой новорожденной зелени. Впрочем, вам и говорить нечего. Вы милый, вы понимаете. Ведь я мужняя жена, да еще тяжело влюбленная в своего мужа. Вот еду с ним на свидание. Вот здесь, — подняла она и потрясла свою сумочку, — его письмо из Конго. Только просмотрела, нет ли чего плохого. Вы понимаете, какое это богатство, какое сокровище — не прочитанное еще как следует письмо?

Она говорила полусмеясь-полусерьезно.

— Счастье в конверте!. В тяжеленьком, шлепающем, как блин, почти девственном еще конверте! И вот расфрантилась, надушилась и еду в лес на свидание, читать письмо. И уж там, милый друг, вас прогоню. Читать его должна наедине.

— Хорошо, — сказал Соколов горячо. — Я на все согласен. Мне довольно и этой минутки: глаз ваших, ваших духов, вот этой синевы, что там за подъемом. Вон даль голубая видна... И трамвай нас мчит в эту голубую даль. А вот старуха на подоконнике стоит, окно моет снаружи. И не боится упасть. Смотрите, как отклонилась назад. Голуба на синеве обрисовывается. Неужели может не опьянить и ее эта даль голубая?

Ехали с четверть часа. Когда сошли с трамвая, их охватила млеющая теплая тишина. Они пошли от трамвайной линии по плохо мощенной узкой дороге вдоль опушки леса.

Слева высокие голые стволы уходили вглубь, все тесней и тесней. Струны гигантской арфы. Еще фиоле-

товые. только кое-где завуалированные пунктиром молодой зелени и сливающиеся на заднем плане в сиреневый неясный фон.

Из наливающейся весенним соком чаши слышалось разносящееся в тишине карканье вороны.

Справо, до самого края неба, разбегалось начинающее зеленеть поле. Оно поднималось к горизонту бугром, и над ним дрожал теплый воздух, другой, точно жидкой прозрачностью, как в стакане чая над тающим куском сахара.

Над полем пели жаворонки. Несколько сразу. И в этих звонких, точно перевитых струйках чувствовались и простая ясная радость, и солнечная печалинка.

Этот гладкий весенний простор будил в душе Соколова бездумный детский экстаз. Хотелось схватить Зиночку за руку и мчаться с ней в мазурке, скользя и не касаясь земли, туда, на край уходящего в синеву бугра.

И он действительно схватил ее за руку и, напевая мазурку, раскачивал эту руку и вместе с ней сверкающую застежками сумочку.

Они прошли мимо маленького одинокого домика с навозным двором, обнесенным низкой кирпичной полуобвалившейся стеной. В навозе деловито шаркали лапами куры и выговаривали свое «ко-ко-ко» — простое, деревенское и солнечно-сонное.

По узкой тропинке они вошли налево в лес. Запахло прелым листом и тем весенним озонным духом, которым пахнет талый снег и тюльпаны.

Зиночка всей своей милой тяжестью опиралась на руку Соколова и, подняв голову и закрыв глаза, жадно втягивала носом воздух:

— Чувствуете? Дух-то какой! Почками пахнет. Силой весенней. А вот, — она даже приостановилась, — дымком потянуло, древесным. Слышите?

— Ах, слышу, слышу, — бормотал Соколов, тоже прихихиваясь. — Сладким таким дымком, стародавним, до слезы прошибающим. Кажется, что с этим дымком вот-вот что-то вернется, что-то забытое и счастливое! Зиночка, вы милая. Вы точно весь смысл весны.

— Ну, конечно, я милая, — улыбалась Зиночка. — Я ва-ша весна сегодня.

За поворотом тропинки над маленьким оврагом, заполненным полноценным осиновым молодняком, лежало срубленное дерево. Зиночка села на него. Соколов опустился рядом. Он с наслаждением закурил папиросу.

— Ну, вот, друг мой влюбленный, — сказала Зиночка, — выкурите эту папиросу, поцелуете мне ручку — и проваливайтесь, а я останусь наедине с письмом.

Она открыла сумочку, заглянула в нее и достала маленькую пудреницу, зеркальце и стала пудриться.

Вдруг Соколов заметил, что край платья Зиночки зацепился за какой-то сучок и поднялся, показывая Зиночкину ногу выше колена.

Соколов смотрел на эту ногу в тугом матово лоснящемся шелковом чулке, неправдоподобно стройную и изящную, и чувствовал, что им овладевает безумное желание коснуться ее. Точно не по своей воле он соскользнул с бревна на землю и, не помня себя, прижался губами к шелковому чулку. Промелькнула алая судорога — секунда.

— Милый друг, посмотрите на себя, — услышал он тихий и точно удерживающий смех голос Зиночки.

Он поднял голову и сразу увидел себя в зеркальце, которое она держала перед ним...

Старое, обрюзгшее бритое лицо... Узкие фиолетовые губы, потухшие, с тусклым собачьим отблеском глаза... А главное — это отвратительное выражение дряхлого, слюнявого, трясущегося сладострастия...

Это была одна секунда. Удар обухом по голове.

Соколов поднялся с колен и пошел куда-то... Дальше от Зиночки... В пространство.

Шагал не своими ногами. В душе тупо и глухо, как зубная боль, пульсировало остановившееся, неподвижное отчаяние.

Весны больше не было. Ни красок, ни запаха. Была механика — движение атомов. Безучастное и человечески бессмысленное.

Зиночки тоже не было на свете. Никогда не было.

Сгибать колени было неистово больно. В ушах звучала откуда-то вывернувшаяся фраза из солдатской песни:



Старик в зеркало углянул,  
Словно грянул его гром...

До трамвая было далеко. Хотелось лечь под кустом  
и издохнуть.





У Анны Андреевны —

старый, заслуженный пес. Несмотря на заслуженность, он довольно-таки паршивый.

Анна Андреевна ворчит на него, называет не иначе как «проклятая собака»:

— Из-за проклятой собаки должна в Кламаре сидеть. Для моей работы гораздо бы мне удобнее было перебраться в Париж, а вот, не угодно ли, не смей ворохнуться, потому что здесь садик есть, собаке садик нужен... Слышали вы что-нибудь подобное? Еще будь она какая-нибудь высокопородистая, а то просто дрянь, смотреть тошно...

Собака, чувствуя, что о ней говорят, вертела хвостом и заглядывала хозяйке в глаза.

— И, наверное, все удивляются, что я ее держу. Ведь есть не меньше, чем самая благородная какая-нибудь тойтерьерка или как их там... Ведь такие есть собаки, что по шесть тысяч за щеночка платят. Идет по улице, все на нее оборачиваются, хозяйке комплименты говорят. А с этой идешь, так у всех встречных на лице читаешь чувство отвращения. И если кто свою собачку прогуливает, так скорее ее на руки подбирает, чтобы как-нибудь моя уродина ее не обнюхала... Что ж, я не обижаюсь. Она, может быть, мне самой надоела, да куда ее денешь... Любителя на нее небось не найдется... Пошла ты вон! Еще хвостом вертит...

Но проклятая собака вон не уходила. Она высунула меловой от старости язык и повизгивала от удовольствия.

— И чему радуется? Ее ругают, а она и ухом не ведет.

Настали тревожные дни, «наши дни».

— Ну куда я дену проклятую собаку? — качала головой Анна Андреевна. — Ее и в абри\* не пускают...

\* Убежище (от фр. abri).

Кто-то из друзей раздобыл для Анны Андреевны маску. И вот тут-то и выяснилось:

— То есть как? Вы, значит, думаете, что я напялю на себя эту маску... Я буду в маске сидеть, жива и невредима, а проклятая собака тут же, рядом, будет издыхать? Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет, милые мои, уж пропадать, так вместе. А что вы меня сочли способной на такую низость, так это с вашей стороны довольно совестно... Забирайте вашу маску и уходите...

\*\*\*

Ночь. Невиданная в Париже: черная, с синими просветами, пустая, тихая.

Спит Анна Андреевна. Свернувшись у ее ног, похрапывает проклятая собака.

И может быть, Анне Андреевне снится, что в далекой стране сидит в темной комнате бородатая старуха, гладит слепую собаку и приговаривает шепотом, чтобы никто не слышал:

— Мицци! Мицци! Ты добрая, верная, усердная собачка. Ты всю жизнь помогала мне развозить молоко в тележке... Что «он» сделал? Что «он» с нами сделал! Тсс! Не вой! Я не уступлю тебя. Я не отдам тебя. Нет! «Он» из тебя колбасу не сделает, Мицци... Верная собачка, Мицци. Не надо плакать...

\*\*\*

Жалко зверей зоологического сада. Убиты маленькие тигрята. Но не глупо ли печалиться о зверях, когда сейчас война, когда «не берут пленных», когда сотни тысяч убитых, и еще больше раненых, и обозы с детьми и больными обстреливаются бомбовозами...

Да. Конечно, глупо. Но у сердца человеческого свой разум. Сердце человеческое — сосуд емкий и может вместить всякую любовь и всякую жалость. Благословенное, проклятое наше сердце...

\*\*\*

Во время алертов\* сходит с шестого этажа молодая дама. У нее в руках всегда довольно большая коробка.

---

\*Тревога (от *фр.* alerte).

Иногда она забывает второпях свою коробку наверху и тогда бежит за ней. Но никогда еще не спустилась она в подвал без этой коробки.

Многих интриговало: что там такое? Бумаги? Драгоценности? Наконец кто-то решился спросить:

— Разве вы так боитесь оставить ваши драгоценности в квартире?

— Какие драгоценности?

— Да вот, в этой коробке.

Дама махнула рукой:

— Вот так драгоценности! Прямо беда. Понимаете, я дала слово своему сыну. Это его черепаха. Я обещала, что непременно буду брать черепаху с собой в абри. Не могу же я не сдержать слова. Сыну-кадету восемь лет, он должен верить слову порядочного человека. Вот и таскаю ее вверх и вниз по лестнице. Взгляните на эту красавицу.

Она открыла коробку. Толстая черепаха чуть-чуть высунула не то лапку, не то язык. Что-то маленькое, черненькое. Высунула и сразу спрятала. Это пустяки. Но вот что не пустяки: черепаха была перевязана поперек живота трехцветной лентой. Полоса белая, полоса синяя, полоса красная. Национальное знамя. Мы благоговейно опустили крышку коробки. Здесь традиции, здесь вера в слово и здесь любовь и верность.

Говорят, что рушится старый мир. Грубая сила, насилие, лицемерие, ложь, измена и злоба задушат живую жизнь.

Но вот есть на несчастном свете божьем коробочка, и хранится в ней самое дорогое человеческое сокровище: нерушимые традиции нашей души — вера в слово, любовь и верность.

Это забавно, это по-детски. А все-таки.

«Все-таки вертится».

Eppur si muove\*.

---

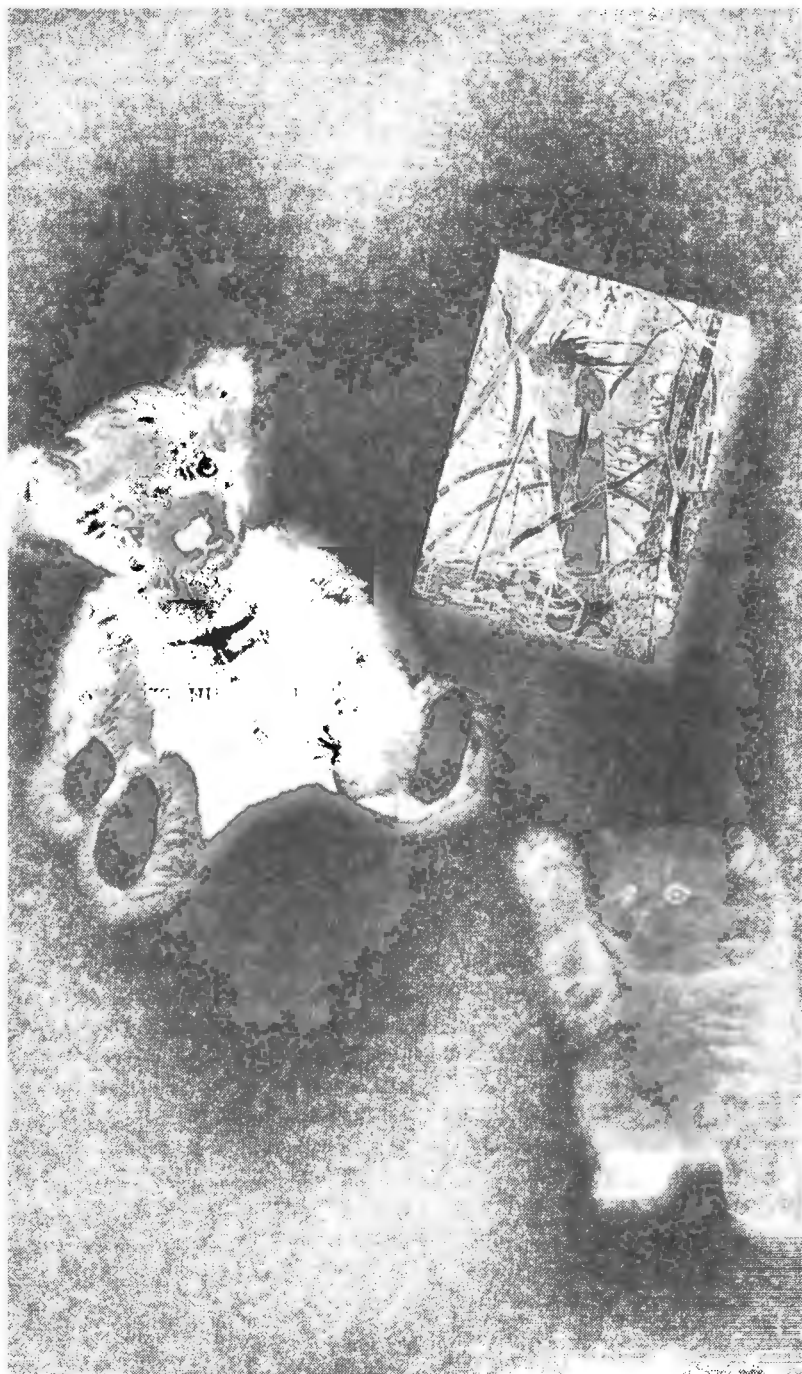
\*А все-таки вертится (итал.).

# Прочтите детям

*Она была ребенком. Прежде всего. Вся красота ее была нежностью ребенка. В ее золотом голосе была непередаваемая прелесть. Ее улыбка — светлая улыбка Божьего ребенка. Во всем, во всем, во всем была нежность...*

*Сергей ЯБЛОНОВСКИЙ*







## Трагический образ этого царя

привлекал многих писателей и поэтов. Саул, его душа и его жизнь всегда интересовали меня. И вот, развернув Библию, я стала читать посвященные ему главы в Первой Книге Царств. Читала внимательно, пристально вглядываясь, стараясь представить себе, пережить слова библейского повествования, не фантазируя, ничего не переделывая, а только глубоко вдумываясь — в меру своих душевных сил.

Как это было?

Что рассказывают легенды и писания?

Невелика была эта страна, но вся насыщена жизнью и кипела, как переполненная чаша, переливавшая вино через край. Пленительная природа, и нежная, и грозная, вдохновляла мудрецов и поэтов вдохновением, бессмертным в веках.

И ходили по этой земле суровые пророки, призывали к благочестию, предрекали кару и гибель и правили народом именем Бога единого. А народ был беспокойный, мятущийся. И трудно было жить ему мирно. Набегали из соседних краев кочевники, грабили поля, угоняли скот. Сильные цари посылали войска разорять беззащитные города, уводили юношей в рабство и девушек в гаремы. Тяжело было обороняться, потому что народ был еще прост и не умел не только ковать мечи или копья, но даже сошники, топоры и заступы ходили оттачивать к вечным врагам своим — филистимлянам.

И еще труднее было этому народу ограждать себя духовно, беречь свою веру, потому что окружен он был языческими племенами, смешивался с ними, поддавался соблазнам, отпадал от Бога единого, и снова возвращался, и снова падал.

Соблазняли соседние племена своим языческим разнообразием — все пламенные и фанатичные, пестрые и яркие.

На рассвете рано выходили на высокие горы химиары-солнцепоклонники, кричали, плясали, бесновались, кололи себя острыми копьями, вызывали своего бога, а в полдень приковывали к столбу живую жертву — девушку своего племени, сами отходили, и ждали, и следили, как гудят и кружат над жертвой золотые мухи, и когда опускался рой на недвижимое тело, выбегали химиары и плясали в радости, что жертва их принята. И было нечто прyanое и пьяное, как хмель, в их беснованиях, и тянуло к себе, и соблазняло.

Было еще племя и еще религия — ксиллы, заклинатели змей. Это были волшебники, темные и жестокие. Они кочевали у самой пустыни, и когда уходили на другое место, долго шуршал за ними песок — это заклятые змеи ползли следом.

Были еще племена, поклонявшиеся луне и всем силам звездным. Выходили ночью с медным кувшином, плескали воду, поили звезды, и звезды открывали им судьбу.

И было племя, поклонявшееся священной пальме Аль-Уцце. Одевали пальму в пестрые ткани, убирали драгоценными цепями, кольцами и запястьями и в торжественных празднествах приносили ей человеческие жертвы.

И были еще халдеи, узнававшие будущее через терафимов. Отрубали голову рабу, клали ей под язык золотой заговоренный листок, и терафим, мертвая голова, отвечал.

И все эти тайны влекли к себе, пугали и притягивали. И каждое племя хранило свою веру, и не было людей, к вере равнодушных. Вся земля дышала легендами и сказаниями.

Вот был царь Ла-Э-Ли. Ассаргадон покори́л его племя, посадил править им женщину своего гарема Табую, а Ла-



Э-Ли свергнул. И взял Ассаргадон святыню племени — изображения на медных досках, и увез их с собою. И вот Ла-Э-Ли, потерявший все и со всем примирившийся, одного не мог перенести. Вот этих медных досок, своей святыни, не мог отдать. Он пошел к Ассаргадону один через всю пустыню, с непокрытой головой, говорит легенда, и скалы расступались перед ним, и львы пустыни не трога-ли его, но отходили и кланялись. Так отмечает легенда преклонение перед силою веры.

Царь Ассаргадон отдал Ла-Э-Ли его священные доски, но так как был душою грубее льва пустыни, то приказал на каждой доске начертать свое имя.

Суровые пророки изгоняли ворожей и идолопоклонников, берегли свой народ в его единобожии. Но самый сильный соблазн, с которым боролись они неустанно, был соблазн могущественного и пышного Вавилона с его роскошными храмами богу Ваалу и богине Иштар. Развратный, чудесный Вавилон. О красоте и богатстве храмов его рассказывались чудеса, влекшие воображение и разжигавшие желания в сердцах. Рассказывали о том, как бредут по пустыне череды верблюдов, груженных драгоценным грузом, — все во славу Вавилона. Везут кипарисы и кедры из Ливана и красное дерево из земли Сабат, везут серебро, и медь, и золото из Офира, и еще золото из Парваима, и слоновую кость, и малийский ладан, и прочие ароматы для курильниц во славу бога Ваала-Этона властвующего, и Ваала-Зебуба — мухогонителя, царя звенящих пчел, и Ваала-Самина — бога знойных ароматов, и Ваала-Пегара — бога сладострастия, — Ваала во всех ликах его. И рассказывали о храмах Иштар, отделанных драгоценными камнями и резными из слоновой кости колоннами, между которыми гуляют пышные павлины, как самоцветные живые камни. А нежные девушки, жрицы богини, сидят в заточении при храме и ткут покрывала из виссона и багряницы пурпурного и яхонтового цвета. И нет ничего на свете величественнее и роскошнее празднеств в честь бога Ваала и богини Иштар.

Вот с этим соблазном было труднее всего бороться суровым пророкам.

В то время, о котором идет речь, народом израильским правили судьи. Правил Самуил, судья и прозорли-

вец. Был он человек праведный, и через него сам Господь управлял своим народом. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Но сыновья его не ходили путями отца своего. Они были корыстны, брали подарки и судили нечестно.

И вот пришли старейшины и выборные из народа и стали просить Самуила, чтобы поставил им царя. Просьба эта смутила Самуила, но голос Божий сказал ему, чтобы он послушался и уступил народу:

— Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили другим богам, так поступают они и с тобою.

И велел Господь объявить народу права царя.

— Вот какие будут права царя. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и будут они бегать перед колесницами его. И будут возделывать поля его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они пекли хлеба. И поля ваши, и виноградники, и масличные сады ваши лучшие возьмет. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших возьмет, и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда.

Не согласился народ послушаться голоса Самуила. Не страх перед властью царя испытали они, слушая прозорливца, а соблазн пышной новой жизни. Колесницы, виссон и пурпур — радость для глаз.

— Хотим царя!

И девушки поднимали руки и представляли себе, как зазвенят на них запястья и кольца, и каждая думала, что может быть женою царя или любимой рабыней его и одеваться будет в одежды, тканые золотом, и тело умащать ароматами.

— Хотим царя!

— Пусть будет царь над нами, и мы будем как прочие народы.

И сказал Господь Самуилу:

— Поставь им царя.

\*\*\*

Был муж из колена Веняминова, имя ему Кис. У него был сын по имени Саул, молодой и красивый. «И не было

из сынов Израилевых лучше его», — говорит Писание. Ростом своим от плеч до верха был он выше всего народа.

Был Кис, вероятно, достатка среднего, потому что имел слуг и хозяйство. И вот потерялись у него ослицы, не вернулись домой. Сказал тогда Кис сыну своему Саулу: «Возьми с собою одного из слуг и пойди поищи ослиц». Взял Саул слугу, и долго бродили они и не могли отыскать ослиц. Был уже вечер, когда решил Саул вернуться домой, думая, что отец его беспокоится о долгом его отсутствии. Но слуга сказал ему:

— Есть в этом городе человек Божий. Все, что он говорит, непременно сбывается. Пойдем к нему. Может быть, он укажет нам дорогу, куда нам идти.

И сказал Саулу слуга, что есть у него серебряная монета, чтобы заплатить прозорливцу.

И Саул согласился.

— Хорошо слово твое, — сказал он слуге.

Так пошли они в город, где был человек Божий.

Саул сказал: «Хорошо слово твое». Если бы мог он предвидеть судьбу, не сказал бы он: «Хорошо слово твое», потому что именно это слово слуги определило страшный Саулов путь. Но он сказал и пошел.

Так пришли они в город, где пребывал Божий человек. «Поднялись в город», — говорит Писание. Значит, город был на горе, и был вечер, и вышел навстречу им человек Божий, пророк Самуил.

Как это было? Как увидел его Самуил? Увидел он его на горе, в пурпурных лучах заходящего солнца, могучим и рослым, с широкими плечами, огромным, красивым и грозным в свете закатном. И Самуил узнал его:

— Вот царь Израилев.

Узнал его, потому что за день до прихода Саула дал Господь пророку своему откровение:

— Завтра в это время я пришлю к тебе человека из области Веньяминовой, и ты помажешь его в цари Израилевы.

И, увидев Саула, такого великолепного и могуче-прекрасного в пурпуре заходящего солнца, узнал пророк избранника Божия. И когда подошел к нему Саул со своей простой житейской заботой, пророк сказал ему:

— Ослицы найдены. Да и не тебе ли будет все лучшее во Израиле?

Этим открыл он Саулу, что ждет его царство. Царю отдается все лучшее. Его, из колена Веняминова, младшего колена Израильского, не родовитого и ничем не отличавшегося, ждет царство.

И повел его пророк в горницу, где были созваны почетные гости, и посадил на главное место, и велел подать ему лучшее, отборное кушанье. А к ночи увел его к себе, и долго сидели они вдвоем на кровле дома и беседовали.

Утром рано, до рассвета, вывел его пророк за город и, отослав слугу, вынул сосуд с елеем и излил елей на голову Саула. Он отослал слугу, желая, чтобы свершаемое им таинство было тайной.

Тишина, безлюдье, тихий, еще спящий город, восходящее солнце, восходящая слава. Тайна.

— Вот этим помазал тебя Господь на царство.

Что ответил Саул? Как принял возложенное на него? Неизвестно. Радовался ли он? Или только покорился? Могла ли не смутить его душу такая неожиданная и страшная тайна — венчание на царство? Вероятно, был ошеломлен и смущен и как бы не верил случившемуся, потому что пророк для подтверждения истины помазания открыл ему знаки исполнения. Знаки и убедят Саула в том, что по истине помазал его пророк на царство. Предрек ему Самуил встречи, и главную из них — встречу с пророками.

— И осенит тебя Дух Господень, — сказал Самуил, — и ты будешь пророчествовать с ними и станешь другим человеком. Когда же исполнятся над тобою все эти предзнаменования, то делай, что представится тебе, ибо с тобою Бог.

В тишине рассветной слушал Саул эти слова, которые не мог не вспомнить потом в горькие часы жизни: «Делай, что представится тебе, ибо с тобою Бог».

Может быть, уже зашелестел в листьях легкий утренний ветерок, и зазвенел в воздухе проснувшийся жаворонок, и далеко в поле запела, созывая стада, нежная свирель юного пастуха, отрока Давида, на котором Бог еще не остановил взора своего... Очнулся Саул и оборотился, чтобы идти от Самуила, и почувствовал, что дал ему Бог другое сердце. В тот же день сбылось все, предсказанное Самуилом.

Так встретил он сонм пророков. Шли они в своих белых льняных одеждах, спускались с горы, а перед ними шли отроки, и били в тимпаны, и звенели кимвалами и гуслиями, и под звуки эти, исполненные Духа Божия, изрекали пророки. Изрекая, грозили бедами, призывали к покаянию и исступленно восторженными словами славили великое и страшное имя Божие.

Не таких ли пророков были псалмы: «Восклидай Господу вся земля, пойте, восклидайте и бряцайте... На трубах и при звуке рога торжествуйте пред царем Господом. Да плещет море и что наполняет его, вселенная и живущие на ней. Реки да рукоплещут; горы вместе да ликуют».

В неистовом восторге вопили пророки, и потрясали руками, и падали на землю, «падали на лицо свое». И, глядя на них, почувствовал Саул, что осенил его Дух Божий, и присоединился он к пророкам, и стал пророчествовать.

Когда же вернулся домой, ничего не рассказал домашним.

Рассказал только, как Самуил открыл ему, что ослицы найдены, но о помазании и откровении умолчал. Потому ли умолчал, что слишком было это величественно и страшно, чувствовалась некая тайна, о которой просто и спокойно рассказывать, хотя никто не запрещал, было жутко? Никому не сказал Саул ни слова и, храня тайну, он, помазанный царем над всем народом своим, ходил за стадом и водил волов на работу в поле. Кто мог бы так молчать и так хранить такую великую, необычайную тайну, чтобы ни отцу, ни жене, ни близким не открыть и смиренно работать? Глубокая и сильная была душа у Саула. Он смог умолчать.

Между тем Самуил созвал народ именем Божиим и сказал обличающее слово. Сказал, что вывел Господь народ свой из Египта и избавлял от многих врагов, угнетавших его, а теперь отверг Израиль Бога своего, который спасал от всех скорбей и бедствий, и потребовал царя, чтобы не Бог, а царь управлял народом.

И велел Самуил бросить жребий. Жребий пал на Саула, сына Кисова. Стали искать Саула в толпе и не сразу нашли, потому что он скрывался в обозе. Была в нем благородная гордость. Он не выдвигался сам, не заявлял о

себе. Он как бы отходил от славы, но слава сама искала его. Сам Господь указал, где искать его.

И когда вывел Самуил пред народом Саула, могучего, ростом выше всех и обликом всех красивей, заволновался народ.

— Видите, кого избрал Господь?! — воскликнул пророк. — Нет подобного ему во всем народе.

И закричал весь народ, как один человек:

— Да живет царь!

И объявил Самуил права царя, те самые права, которыми хотел Господь смутить безрассудных израильтян и заставить их одуматься, потому что права царя были жестоки и ложились на подданных тяжелым бременем. Но и теперь народ не одумался и ответил восторгом, приветствуя великолепного избранника своего:

— Да живет царь!

И Самуил записал в книгу права царя и положил пред Господом. Затем отпустил народ, и Саул пошел в дом свой, и с ним «люди доблестные, коих сердец коснулся Бог», — свидетельствует Писание. А люди негодные отнеслись к Саулу с презрением и не принесли ему даров. «Но он, — говорит Писание, — как бы не заметил этого». Он был уже царственно высок и высоко нес венец помазания. Мелкой человеческой зависти и недоверия он уже видеть не хотел.

Истинно, был он — царь.

Между тем вечные войны и распри с соседями продолжались как прежде. Мир позорный предложили аммонитяне — «выколоть у каждого правый глаз и тем положить бесславие на весь Израиль».

И весь народ завопил и заплакал.

Шел Саул с поля, гнал свое стадо и слышал плач. И сошел Дух Божий на царя-пахаря, и в гневном порыве разрубил он пару волов своих на куски и разослал эти куски по всем пределам царства своего, говоря: «Так поступят с волами того, кто не пойдет за Саулом и Самуилом».

И вышли все, как один человек. И на другой же день одолели врага. В радостном подъеме кричали они пророку Самуилу:

— Где те люди, которые не хотели видеть над собою Саула царем? Выдайте этих людей, и мы убьем их.

Но Саул сказал: «Никого нельзя убивать в этот день, ибо совершил Господь спасение во Израиле».

И радовался народ, видя своего царя не только могущественным и грозным, но также и милостивым. Заклали мирные жертвы и веселились.

Так началось царствование Саула.

Радовался народ и гордился царем своим. Но пророк Самуил обратился к народу с суровым поучением. Напомнил о своих заслугах и о том, как управлял ими и спасал их сам Господь, но они против воли Божией захотели себе царя. Если будут они и царь их беспрекословно слушаться голоса Божия, то будут под защитой Бога, если же ослушаются, то они и царь их погибнут.

Подкрепив грозное слово громом и молнией, оставил Самуил народ в страхе и смущении.

Была у Саула жена, были сыновья и две дочери.

Сын Саула, Ионафан звали его, кроткий отрок, был отважен в боях и верен в дружбе. Весь овеванный ясной нежностью, всеми был любим и во всех вызывал тихую любовную к себе ласковость. Слути, следуя за ним в опасный бой, говорили:

— Ступай вперед. Вот мы с тобою, как сердце твое.

Самые преданные и храбрые воины следуют покорно за своим начальником, но идти, «как сердце твое», могут только нежно полюбившие.

Таков был Ионафан.

Дочери же Саула, Мерова и Мелхола, были гордые и властные.

Два года царствовал Саул над Израилем, когда одолел сын его Ионафан начальника филистимского, и снова закипела вражда между израильтянами и филистимлянами. Двинули филистимляне большое войско. Саулу же велено было пророком Самуилом не начинать сражения, пока он, Самуил, не придет для жертвоприношения. Время шло, народ волновался, собранные Саулом войска стали разбегаться. Отчего же не идет Самуил? Назна-

ченный им срок прошел. Забыл пророк обещание свое? Или заболел? Или раздумал? Неизвестно. А войска разбегаются, и враг начинает наступать. Что делать? Не царь ли он? Не лежит ли на нем ответственность за вверенный ему народ? Может ли он, сознавая опасность промедления, оставаться в бездействии? Ждать больше невозможно. Саул принимает решение. Он — царь, он должен решать. Не сказал ли пророк, помазуя его на царство: «Делай, что представится тебе, ибо с тобой Бог»?

И вот он созывает народ и приступает к торжественному жертвоприношению, знаменующему начало военных действий. И только что закончил он обряд, как явился Самуил и с укором сказал ему:

— Что ты сделал?

Саул отвечал:

— Ты не пришел к назначенному сроку, войска стали разбегаться, а враг наступать.

Он понимал, что он — царь, выбранный Богом и выбранный народом для защиты, и думал, что это был именно тот случай, когда он должен принять решение. Не знал он, что должен был только слушаться пророка.

— Неразумно поступил ты, — сказал ему Самуил. — Не исполнил ты заповеди Бога, и царствование твое не продолжится. Повелит Господь другому быть царем над народом своим.

Страшные слова сказал Самуил. Так ли велико было преступление Саула? Не обстоятельства ли заставили его действовать самостоятельно? Почему же так разгневался пророк Божий? Не потому ли, что, по слову Божию, царь израильский должен был прежде всего быть послушным? И почувствовал пророк в Сауле свободный разум и волю, Богу негодную. Он еще не отнял окончательно власть от Саула, но, как пророк и провидец, открыл ему судьбу:

— Царствование твое не продолжится.

Саул был Богу негоден.

Ушел Самуил. А война продолжалась, и сын Саулов Ионафан обратил в бегство большой отряд противника. Но враг наступал снова, и связал Саул народ свои клятвой не вкушать пищи до вечера. Но Ионафан не знал о заклятии и, увидя в лесу на поляне дикий мед, обмакнул



в него трость и отведал этого меду. Он был страшно изнурен, и в глазах у него темнело от усталости и голода, но, когда отведал мед, сразу пришел в себя.

И снова одержал народ победу над филистимлянами, а вечером устроил Саул благодарственный жертвенник и спросил Господа:

— Идти ли мне за филистимлянами? Предаешь ли их в руки израильтян?

Но Господь ему не ответил.

Тогда понял Саул, что кто-то преступил клятву, наложенную им на народ.

— Если вина на Ионафане, сыне моем, — воскликнул он, — то он смертью умрет.

И бросили жребий. И пал жребий на Ионафана.

— Объяви, что ты сделал, — сказал ему Саул.

— Вкушая, вкусих мало меду, — ответил Ионафан. — И вот я умираю.

И горькие слова эти как бы предначертали всю его недолгую жизнь. Поистине, мало меду вкусил он. И горек был мед прекрасной жертвенной любви его, за которую он страдал и умер.

И столько печального очарования было в этих словах его, что не умерли они с ним, но целые тысячелетия спустя повторили их поэты далекой, тогда еще не существовавшей страны: «Вкушая, вкусих мало меду».

Услышав это, воскликнул Саул:

— Пусть Бог меня накажет, если ты, Ионафан, не умрешь!

Но народ не допустил смерти Ионафана. Ионафан, только что свершивший геройский подвиг и одолевший врага, погибнуть не может. Сам Господь помогал ему. Не могло быть это без Божьей помощи.

Так освободил народ Ионафана. А Саул продолжал воевать и одерживал победы.

И вот сказал Самуил Саулу:

— Так говорит Господь Саваоф: «Ступай и порази амаликитян за то, что те препятствовали Израилю на пути бегства из Египта. Порази их и истреби все, что у них есть; не пощади и предай смерти мужей и жен, отроков и грудных детей, волов и ослов, овец и верблюдов».

Так передал Самуил Саулу волю Божию, как царю и повелителю. Значит, еще не свергнут был он, и, может быть, давалось ему новое трудное испытание.

Послушался Саул и истребил весь народ мечом, взял живым только царя их Агага.

Страшная бойня, кровавое море, вопли и стоны, звериный визг, хрип предсмертный и проклятия. Кровь человеческая и кровь животных сливаются в один поток, смывающий давнюю обиду. Библейская месть потомству за вражду предков.

Но пощадил Саул Агага, и пощадил народ лучшие отборные стада, предназначая их в жертву Богу.

А когда вернулся Саул домой, пришел к нему Самуил.

— Благословен ты от Господа, — приветствовал его Саул. — Я исполнил слово Господне.

Но Самуил обличил его:

— Что же значит блеяние овец и мычание волов, которые я слышу?

— Народ пощадил их, чтобы принести в жертву Богу.

И на это ответил ему Самуил:

— Неужели столько же угодны Господу жертвы, как послушание гласу его? Покорность лучше жертвы, и послушание лучше откормленного барана. Ибо упорство подобно греху волхвования и ослушание равно идолопоклонству. А так как ты пренебрег словом Господним, то и он более не устаивает тебя быть царем.

И снова повторил Самуил страшную весть, на этот раз уже окончательно:

— Ныне отторгает от тебя Господь царство и дает его ближнему твоему, лучшему тебя.

И повернулся Самуил, чтобы уйти, но Саул в отчаянии ухватил его за край епанчи и просил не унижить его перед народом и пойти вместе поклониться Богу.

Пророк послушался мольбы его и помолился с ним, а потом велел привести пленного Агага. И взял меч.

Поднял глаза Агаг и увидел пламенеющего яростью старца в льняной одежде, служителя Божия, убежденного благословенными седидами, увидел пророка — прямого исполнителя воли Божией, посланца Божьего гнева, и в последнем ужасе души своей воскликнул:

— Поистине страшен властитель смерти!

А Самуил поднял меч и рассек Агага. Рассек — и ушел от Саула навсегда, до самой смерти своей. Но, покинув Саула, Самуил оплакивал его. Горько ему было, что не пожалел Господь первого помазанника Своего. Велик был грех Саулов перед Господом. Пожалел Саул Агага человеческой жалостью, пожалел того, которого Бог не пожалел.

Пошел против воли Божией своим человеческим предельным разумом — и вот погиб. Но печаль о Сауле сразила душу Самуила.

Что было с Саулом? Каким оставил его Самуил?

Понял Саул, что такое царь и каковы права его. Права его были записаны в книгу пророком и положены перед Господом. Права его были на труд подданных, на овец и волов, на девушек, готовящих благовония и составляющих масти, и права на оливковые деревья и виноградники. Но прав на свою свободу, на действия от своего разума, от своего сердца и своей воли царю Господом дано не было. Царь не мог ни в чем выходить из воли Божией, и, даже если приказанное ему через пророка казалось чрезмерно жестоким или житейски неразумным и невыгодным, он не смел поступать иначе, как по слову пророка. Царь был только орудием в руках Господних и должен был понимать только одно: пути Божии неисповедимы и не ему исправлять их.

Так все, что он считал лучшим из поступков своих, обращалось против него как грех, равный волхвованию и идолопоклонству, — величайший грех против заповеди Моисеевой.

И почувствовал Саул, что он как бы стерт с лица земли, унижен в достоинстве своем. Очень горько и больно было ему это унижение, о чем свидетельствует просьба его, чтобы Самуил не оставил его в глазах народа, а последний раз помолился бы с ним вместе пред всеми, чтобы не знал никто, что он уже отвергнут Богом и царство его передается другому.

Но никому не открыл он о том, что низложен, как прежде молчал о том, что помазан на царство. Он был горд и замкнул в себе.

Долго и тяжело тосковал Самуил о Сауле, и сказал ему Господь:

— Доколе будешь ты печалиться о Сауле, когда Я признал его недостойным царствовать над Израилем? Наполни рог твой елеем и иди к Иессею в Вифлеем, ибо Я усмотрел Себе царя между сынами его.

Но Самуил боялся, как бы не услышал об этом Саул:

— Услышит и убьет меня.

И научил его Господь:

— Возьми с собою тельца и скажи, что пришел принести жертву Господу, и пригласи к жертве Иессея и сыновей его, а Я укажу тебе, кого должен ты помазать на царство.

Самуил послушался и пошел в Вифлеем. Там старейшины города встретили его с благоговением и приготовили жертвоприношение. Позвал Самуил и Иессея с сыновьями. Сыновья его были красивы и высоки ростом, и о каждом из них думал Самуил: «Не этот ли избраннык Божий?»

Но Господь сказал ему:

— Не смотри на наружность. Не в том дело, что видит человек, ибо человек видит только то, что перед глазами, а Господь видит, что в сердце.

Так вывел Иессей перед Самуилом семерых сыновей своих, и ни на одного из них не указал ему Господь.

Тогда спросил Самуил Иессея: все ли сыновья пришли? Тот отвечал:

— Есть еще младший, который пасет овец.

И привел Иессей Давида.

Как это было? Как увидел его пророк Самуил?

Белокурый отрок стоял перед ним с глазами, напоенными небесной лазурью, с волосами, золоченными солнцем, стройный, крепкий, с руками сильными, которыми он отнимал у льва тельца и у медведя овцу, раздирая звериную пасть. Весь светлый, весь радостный, весь овеянный цветами и травами, звенящий песнями, как золотая струна. Овечья шкура охватывала его бедра, быть может, на голове был венок, и в сильных руках держал он певучую лютню. Так стоял Давид перед пророком. И яркое солнце заливало его небесным золотом, и розовые облака летели над ним, и дальние вифлеемские горы дымно голубели за его плечами, и белые голуби реяли в небе.

Да, может быть, реяли белые голуби, потому что такое мгновение должно же было отметиться явлениями и знаменениями.

Давид — имя ему. Потом в веках повторят тысячи тысяч раз это имя. Скажут: «Он был из дома Давидова».

Увидел его пророк, услышал имя его, звучащее в веках, и почувствовал в себе голос Божий:

— Встань, пророк! Это тот самый.

Отступил Дух Божий от Саула. Затосковал Саул черной тоской. Злой дух мучил его. Не было ему покоя.

Через какое страшное чудо прошел он!

Тихо жил в доме отца, пахал землю, пас стада. Была у него жена, не очень им любимая. Осердясь на сына своего Ионафана, он назвал его «сыном упорной женщины»: значит, были у Саула с женою нелады. О ней почти не упоминается. Вся жизнь его была проста, и был он еще молод и в подчинении у отца. Была семья, мирные заботы, спокойный уклад патриархальной жизни.

И вдруг послал Господь пророка своего, и весь мир души Сауловой сдвинулся. Он помазан на царство. Он, из колена Веняминова, младшего колена Израильского, ничем не отличившийся и не выделившийся, он — царь. Поверить такому чуду трудно. И он притих и затаился.

Но вот настало признание всенародное, и он принял царство и поступил так, как говорили ему совесть, и ум, и сердце, и все это вышло плохо и ненужно. И он свергнут, как преступник. Как неожиданно вознес его Бог, так неожиданно и оттолкнул, толкнул в бездну.

В растерянном недоумении, в остановившемся отчаянии тосковал Саул. В те времена все проявления чувств были бурны и превыспренны. В радости пели и плясали так неистово, что одежды развевались и обнажали тело. В скорби раздирали одежды сверху донизу, посыпали голову пеплом, царапали лицо ногтями, и вопили, и выли истступленно, как звери, качаясь из стороны в сторону.

Как мучился Саул? По сильному и углубленному внутри характеру своему он, вероятно, замкнулся в тоске своей, не ел, не спал, не разговаривал. Должно быть, внутренне спрашивал у Бога объяснения, и не находил отве-

та, и тосковал смертельно, но тайно. Из гордости не мог открыть даже близким, что он уже развенчан.

И заполнила тоска его весь дом царский. Скорбели отец его и мать, мучились сыновья. Тихо плакали дочери, тревожно шептались слуги. Точно черный воздух, лилась тоска Саулова и отравляла дыхание. Никто не знал причины, но муку Саулову чувствовали.

И сказали слуги Саулу:

— Вот мучает тебя злой дух от Бога. Да повелит господин наш слугам своим отыскать человека, умеющего играть на гуслях. Пусть станет он играть, и тебе будет лучше.

И сказал Саул:

— Найдите такого и приведите его.

Тогда отвечал один из служителей:

— Вот у Иессея-вифлеемлянина я видел сына, который умеет играть. Он доблестный, разумный в речах и красивый с виду, и с ним Господь.

Такова была первая весть Саулу, весть о Давиде, весть о величайшем страдании, идущем к нему.

Но слепы были глаза души его, и он сказал:

— Пойдите и приведите.

И пошли за Давидом, и привели его.

Так встретились два мира. Один — темный, убитый в благородной гордости своей, терзаемый злым духом от Господа, другой — весь ясный, светлый, торжествующий и благословенный. Не почувствовал в нем Саул нового помазанника, нового и вечного царя, которого возлюбил Бог так, что много простит ему худшее, чем то, за что взыскивал Саула, за что так сурово карал его. Любимец Божий, певец славы Божией, в луче славы сияющей стоял перед отвергнутым, черным, как бы обутленным в огне пламенного своего страдания, падшим царем.

И взял Давид гусли и запел. Певец-пастух. От трав и цветов полевых было его вдохновение, от синего звездного неба, от голубых далей палестинских, от всей вечной красоты, заморозившей юную его душу. О Боге великом он пел. И песнь его не умерла на земле. Потом, через многие века, будут неведомые ему народы коленопреклоненно, со священным благоговением тысячи тысяч раз эту песнь повторять и славить.

Пел Саулу Давид. Отходил злой дух от Саула. Черными замороженными змеями выползала тоска из души его, и освобождалась душа. Восторг, восхищение отторгали душу его и поднимали ввысь, туда, где нет ни человеческих обид, ни земных огорчений. И когда поднимается так высоко душа, то чувствуется сладкая боль как бы от натянутых цепей, коими прикована она к земле. Таковы чары красоты и искусства, чары благословенного дара.

Светлело лицо Саула, и светлел воздух душного темного дома.

Нежный Ионафан смотрел на певца Божия и плакал от восторга и счастья. Гордые дочери царя, на коленях, прижавшись к отцу, закрывали лица свои широкими рукавами хитонов и дрожали от любви к прекрасному отроку.

Саул полюбил Давида и оставил его у себя.

Так с пением и музыкой, с красотой и радостью вошло в дом Саулов великое его страдание.

Первое действие трагедии — удар по гордости Сауловой.

Война все с теми же вечными врагами — филистимлянами. На этот раз в новом виде — единоборстве. Вышел из войска филистимского воин — огромный, страшный, «рост его шесть локтей с пядью». На голове медный шлем, тяжеленная чешуйчатая броня защищала его грудь, медные щиты на ногах и медное копье было у него на плечах, с железным острием длины и тяжести непомерной. И, встав перед перепутанными отрядами израильскими, чудище это потрясало плечами, гремело металлом доспехов своих и бахвалилось:

— Для чего вылезли вы на сражение? Не филистимлянин ли я? — гудел голос его. — Вы, рабы Сауловы, выберите у себя человека, пусть сразится со мной, и если поразит меня, то мы будем вашими рабами, если же я одолею его, то вы будете нашими рабами и станете служить нам. Осрамлю я ныне отряды израильские.

В ужасе внимали ему воины Сауловы. И были среди них три брата Давидовы, старшие сыны Иессея, а сам Давид, служа у Саула, был в это время в Вифлееме. Часто уходил он домой пасти стада отца.

Сорок дней бахвалился филистимлянин перед израильтянами, и никто не смел отозваться на вызов его.

Между тем Иессей повелел Давиду отнести братьям хлеба и осведомиться об их благополучии.

Подойдя к стану, услышал Давид, как трубили тревогу, и увидел страшного Голиафа, единоборца филистимского. Выстроились израильтяне и филистимляне строем против строя, а Голиаф выступал перед ними и издевался над израильтянами.

И услышал Давид, как говорили израильтяне между собою:

— Вот как возносится этот человек. Кто поразит его, того обогатит царь великим богатством и выдаст за него дочь свою.

Увидел Давида старший брат его Елиав и разгневался: как смел этот младший брат бросить стадо свое и толкаться здесь!

— Я знаю твою надменность и недоброе сердце твое. Ты пришел только посмотреть на сражение.

Должно быть, было у этого брата нехорошее отношение к Давиду. Он чувствовал, что этот младший носит на себе знак, отличающий его от всех, и было ему завидно и обидно.

— Разве я без дела здесь? — отвечал ему Давид.

Он ведь пришел по поручению отца, принес хлеба братьям. И, отойдя от Елиава, продолжал ходить между воинами и расспрашивать. И все повторили ему об условиях единоборства и о царской награде победителю.

И тогда сказал Давид, что хочет сразиться с филистимлянином.

Пересказали слова эти Саулу, и тот велел привести к себе Давида.

— Ты не можешь идти против филистимлянина, — сказал ему Саул, — ибо ты еще молод, а он — ратоборец с малолетства.

Но Давид расправил мощные плечи свои и вытянул сильные руки:

— Льва и медведя поражал раб твой, так же будет и с филистимлянином за то, что он поносит Бога живого. Господь, избавлявший меня от когтей льва и когтей медведя, так же избавит меня от руки этого филистимлянина.

Тогда сказал Саул Давиду:



— Иди, Господь да будет с тобою.

И облек Саул Давида воинской одеждой, и возложил медный шлем на главу его, и надел на него броню, и опоясал его мечом. Но не привыкший к этим доспехам отрок не мог в них двигаться и, смеясь, сбросил их с себя. Весь этот грохот — медь и железо — сбросил он, заменив его простой палкой и пятью плоскими камнями, выбранными из ручья. И вышел к филистимлянам, осиянный вместо шлема золотом волос своих, вместо тяжелой брони — легкой овечьей шкурой, вместо бахвальных слов — с именем Божиим на румяных устах.

— Ты идешь против меня, — сказал он Голиафу, — с мечом, копьем и щитом. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа.

Так стояли они друг перед другом — тяжелый воин силы и вдохновенный воин духа. И не дрожали ли сердца израильские, чуткие к красоте? Этот прекрасный отрок, бесстрашно идущий на смерть во имя и славу Божию, один, безоружный и беззащитный против тяжелой силы, устрашавшей весь народ.

И когда поднялся филистимлянин и стал подходить, гремя доспехами своими, огромный и страшный, и щитоносец впереди него, выбежал к нему навстречу легкий отрок, свободный и быстрый в движениях, и, опустив руку свою в бывшую на нем пастушескую сумку, взял оттуда камень и бросил его пращою. Врезался камень в лоб Голиафу, и рухнул могучий великан на землю. И встал над ним Давид, безоружный пастух, и, вынув из ножен Голиафа меч, отсек Голиафу голову.

Дрогнули войска филистимские, увидя, как пал их ратоборец, и в смятении обратились в бегство, а израильтяне с криками погнались за ними и, прогнав, разграбили стан их.

А Давида с кликами торжества и радости повели к Саулу. И не было границ их ликованию. Не чудо ли, прекрасное чудо видели они? Вот мальчик-пастух, красивый, как нарцисс саронский, смелый, как лев пустыни, поразил заклятого врага, обратил в бегство тысячи тысяч.

Зазвенели кимвалы и тимпаны, вышли женщины из всех городов, и песнями славили благословенного отро-

ка, и плясками знаменовали подвиг его. Громкими криками возвещали по всей стране славу Давиду:

— Саул победил тысячи, а Давид — тьмы.

Но когда привели Давида к Саулу, Саул не признал в нем того сладкого певца, чья песня отгоняла от него злого духа.

— Чей ты сын? — спросил он.

— Сын раба твоего Иессея-вифлеемлянина.

Почему не узнал он его? Может быть, гордость и слава так изменили облик Давидов? Или сам Саул был так взволнован этим прекрасным чудом? Он не узнал Давида и оставил его в доме своем.

Так началось второе действие трагедии Сауловой. Удар в сердце его, удар, отнявший от него души близких.

Восторг пред Давидом охватил весь дом Саулов. Но ярче всех отозвалось на все сердце Ионафана, сына его.

«Душа Ионафана соединилась с душою Давида, — говорит Писание, — и возлюбил его Ионафан, как свою душу».

Отдал Ионафан Давиду всю душу свою, и была его любовь «превыше любви женской». Так говорил об этой любви сам Давид. Отдал ему Ионафан все, что было у него драгоценного, — воинский наряд свой, и лучшее свое платье, и лук свой, и стрелы, и даже меч свой, единственный у него. Только у него и у царя Саула были мечи во всем Израиле, и вот меч свой отдал Ионафан Давиду. и, обнимая, целовал он Давида, называл братом своим и радовался на него.

И обе дочери Саула, Мерова и Мелхола, вместе с девушками, служительницами царскими, славили плясками имя Давидово. И уже не прятали в рукава лица свои, а сияли взорами и понимали, что любят они Давида и каждая сгорает душою, желая быть женою ему.

И даже слуги Сауловы радовались на торжество Давидово и славили имя его. Слишком высок, и необычен, и чудесен был этот отрок, чтобы можно было завидовать ему или желать для себя того, что предназначила ему воля Божия.

Саул обласкал Давида, и поставил его над войском, и поступками его и распоряжениями был доволен, потому что все, что делал Давид, было разумно. Но народные

восторги пред Давидом и любовь, которой он был окружен, волновали Саула.

— Саул победил тысячи, а Давид — тьмы!

Этот возглас, бесконечно повторяемый всем народом, чувствовал Саул как несправедливость. Уже несколько лет царствовал он, и вел тяжелые войны, и одерживал победы, отражая нападения врагов, а этот отрок только вложил камень в пращу, и о нем кричат уже по всей земле, что победил он тьмы и Саулу не сравняться с ним.

Несправедлив был народ. Не ценил заслуг и трудного дела Саулова. Мальчик-пастух не нес тяжелых военных тягот и лишений, не подвергал себя сотни раз смертельной опасности. Он, как бы играючи, вынул камень из пращи. И за это удачное движение руки славят его теперь превыше многих подвигов заботливого и разумного царя.

Но тяжелее всего было Саулу то поклонение, то преклонение перед Давидом, которое захватило весь дом его. Восторженный и нежный Ионафан был неразлучен с новым братом своим, дочери дрожали от счастья, когда видели его, и слагали о нем песни. Даже слуги улыбались при имени его. Все было Давидово. Весь мир — и народ, и земля, и дом царский принадлежали ему. И не ему ли подчинялась душа Саулова, когда он брал лютню своими руками, закидывал к небу золотую свою голову и пел своему Господу вечную славу? Черные змеи души Сауловой тихо выползали и покидали его, блаженно затихшего и просветленного.

Некуда уйти от Давида. Душа Саула сама покоряется ему.

Недостает ему только царства.

И вот на другой же день после торжества Давидова над Голиафом напал злой дух на Саула, и, по обычаю, позвали к нему Давида с гуслими. Играл Давид и пел перед Саулом: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог», но на этот раз так черна была душа Саулова, что не зачаровали его ни гусли, ни пение, ни красота, ни вдохновение певца. В исступлении схватил Саул копье и бросил его в Давида.

Но Давид увернулся.

Испугался Саул Давида. Господь охраняет избранника Своего. И отослал он Давида, удалил его от себя, поставив тысяченачальником.

Так началось дело Давидово. Всюду проявлял он себя благоразумным, и все были довольны его распоряжениями.

Тогда сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мерови. Ее дам тебе в замужество, но за это будь мне сыном храбрым и веди войны». Думал при этом Саул: «Пусть не будет рука моя на нем, но да будет на нем рука филистимлян».

Знал он отвагу Давидову и надеялся, что в конце концов копье или стрела филистимская когда-нибудь достигнет слишком смелого воина. Но Давид уклонился от лестного предложения. Может быть, понял он расчеты царя? Через много лет он так же рассчитал, поставив на опасное место мужа полюбившейся ему женщины, и тот был убит. Может быть, принимая нехорошее это решение, вспомнил он хитрость царя Саула? Злое семя дает ростки долгие.

Уклонился Давид:

— Кто я и какой род жизни моей и семейство отца, чтобы быть мне зятем царя?

Но младшая дочь царя Саулова, Мелхола, томилась любовью к Давиду и не могла скрыть этого от Саула. И подумал Саул: будет она ловушкой и поможет навести на Давида руку филистимлян.

И приказал слугам своим влиять на Давида и посоветовать ему породниться с царем. Но Давид отвечал слугам:

— Я человек небогатый и незнатный. Как могу я вступить в родство с царем?

Потому что тогда полагалось, чтобы жених делал брачный подарок за невесту.

Тогда велел Саул: «Объявите ему, что царь не желает другого подарка, кроме ста трупов филистимских». Так сказал Саул, потому что рассчитывал, что убьют Давида филистимляне.

Когда донесли Давиду о решении Саул, встал Давид и убил двести человек филистимлян. Тогда отдал ему Саул Мелхолу, дочь свою, в супружество.

И, видя счастье Мелхолы и беззаветную любовь ее к Давиду, который стал для нее дороже отца и царя ее, узнал Саул, что Господь с Давидом и что одолеть его, может быть, не будет у него сил.

А Давид, как зять царский, приобрел большие права, и имя его прославилось по всей стране.

Мучился Саул и решил открыть сыну своему Ионафану и слугам своим, что нужно убить Давида.

Но не мог умолчать об этом Ионафан. Любовь его к Давиду заставила его идти против отца, и он открыл все Давиду:

— Ищет Саул, отец мой, убить тебя. Удались в тайное место и скройся.

Пошел против отца Ионафан. Выдал отца, выдал его черную тайну. Через какую муку должен был он пройти, чтобы так поступить! Любовь повела его через эту муку.

— Я выйду и встану подле отца моего на поле, — шептал Ионафан Давиду, — на поле, на котором ты будешь, и буду говорить за тебя отцу, и когда узнаю, что будет, сообщу тебе.

Так и сделал Ионафан. Дрожал и плакал, умолял отца не грешить против раба своего Давида. Напомнил отцу, как Давид рисковал жизнью своей, выйдя на вызов Голиафа, и теперь верно служит царю своему. Зачем же убивать его напрасно?

Послушался Саул голоса Ионафана и поклялся:

— Жив Господь. Он не будет убит.

Тогда пошел Ионафан к Давиду и пересказал ему слова и клятву отца.

И снова было сражение с филистимлянами, и снова одержал победу Давид. И снова напал злой дух на Саула, и позвали Давида с гуслями петь перед царем.

Держал Саул копье и слушал Давида, но и на этот раз не вызвала музыка черных змей из души Сауловой, и снова нашло на него исступление, и он бросил в Давида копье. Но увернулся Давид, и копье вонзилось в стену. И бежал Давид и скрылся.

Когда взывал Ионафан к разуму отца своего и доказывал, что предан ему Давид, что не щадил жизни своей, что шел на подвиги ради славы Сауловой, — понимал Саул, что не прав он, ища смерти Давида. И когда вспо-

минал Саул прекрасного отрока, чаровавшего душу своим благословенным даром, врачевавшего черную тоску его, то чувствовал, что любит он Давида. Но было нечто вне сознания его, было то, чего он не знал, но что терзало его в Давиде неизбежно. Это нечто незнание был дар Духа Святого, священное помазание, отметившее Давида.

— С ним Господь, — говорили про него.

То, что было отнято от Саула, было даровано Давиду. Никому не открыл Давид тайну помазания своего, даже названный брат его Ионафан не знал об этом, иначе не удивлялся бы так искренне ненависти отца к Давиду. Не знал об этом и Саул. Саул, как ночная птица, которая смотрит на солнце слепыми глазами и не видит его, но чувствует что-то могучее, чему имени не знает, и боится, и мучается.

Внешне могла быть у него зависть к военным удачам Давида. Но ведь бывали у царей хорошие полководцы, и цари бывали довольны, и хвалили, и отличали их. Саулу следовало бы отличать Давида и радоваться удачам его.

— Не хватает ему только царства, — с горечью говорил он.

А царство уже было отдано.

И это общее преклонение перед Давидом тоже было ему странно, и удивляло, и мучило Саула. Ионафана тоже все любили, но любовь к Ионафану была умиленная, ласковая и дружеская. Любовь же к Давиду была поэтическая и страстная, как влюбленность. Дочь Саула Мелхола страстно любила Давида. Ионафан любил его «любовью, превыше любви женской» — то есть такой же поэтической и страстной, но и «превыше», то есть мучительнее и жертвеннее.

Очарование Давидово действовало и на Саула. Не возторг ли перед красотой и талантом отрока-поэта смягчал тоску и душевную муку Саулову? Тоска эта, этот «злой дух от Бога» овладел им прежде, чем зависть к успехам Давида или злоба на него. Значит, не в зависти была причина тоски его, черной болезни его души. Унижен он был Богом через Самуила, обижен, отвержен, и вот Давид, на мгновение озаривший лучом красоты ночь Саулову, увел и отнял от него все, что еще оставалось: признание и

благодарность народа, сердце дочери, любовь и покорность сына.

— Не хватает ему только царства.

Но этого последнего не отдаст ему Саул.

Не мог Саул отогнать злого духа и послал нарочных в дом Давидов стеречь его, чтобы, когда утром выйдет, убить. Но узнала об этом Мелхола, жена Давидова, дочь царская, и спустила его Мелхола из окна, и он спасся. А Мелхола взяла домашнего кумира, положила на постель и, подсунув козьей шерсти под его голову, покрыла одеждой. Когда же пришли от Саула слуги, чтобы взять Давида, ответила она, что он болен. И увидели посланные, что на постели кумир, и донесли Саулу.

— Зачем ты так обманула меня? — упрекнул ее Саул. — Ты отпустила врага моего.

И понял он, что все против него, что измена у него в доме во всех сердцах, от родного сына до последнего слуги, что одинок он и брошен в черной муке своей.

Давид же, спасшись бегством, вспомнил о великом своем покровителе, помазавшем его на царство, и пошел к Самуилу.

Узнал об этом Саул и послал слуг схватить Давида. Но когда пришли слуги к Самуилу, то застали его среди учеников пророка. Учил их пророк, и они, подняв руки, прорицали. Когда увидели это слуги Сауловы, Дух Божий сошел на них, и они забыли, кем и зачем посланы, и, присоединившись к ученикам Самуиловым, стали пророчествовать.

Узнав об этом, послал Саул других послов, но и те не вернулись. Тогда отправился Саул сам. Но на пути сошел на него Дух Божий, и он увидел невидимое, и стал пророчествовать, и, придя к Самуилу, сорвал с себя одежды, и лежал, обнаженный, в ногах Самуила весь день и всю ночь.

А Давид скрылся и пошел к Ионафану узнать, что ждет его.

— Чем согрешил я пред отцом твоим? За что ищет он убить меня?

— Нет, — отвечал ему Ионафан, — ты не умрешь. Отец мой ничего не скрывает от меня и не делает ни одного дела, важного или не важного, которого не открыл бы мне.

Но Давид ответил:

— Отец твой знает, как ты любишь меня, и потому думает: пусть не знает Ионафан, чтобы ему не было прискорбно. Но поистине между мною и смертью не более шага.

Тогда сказал Ионафан Давиду:

— Что скажет душа твоя, то я и сделаю для тебя.

Тогда сказал Давид Ионафану:

— Завтра новомесячие, когда мне следует сидеть у царя за обедом. Отпусти меня, чтобы я мог скрыться на три дня. Если спросит царь, где я, то скажи, что я упросил тебя отпустить меня в Вифлеем, так как там годовое жертвоприношение всего моего семейства. И если он разгневается, значит, уже определил мне смерть.

И еще сказал Давид:

— Окажи эту милость, так как принял меня, раба твоего, в союз с тобой перед Господом. Если же считаешь меня виноватым, то умертви меня сам. Тогда незачем тебе приводить меня к отцу твоему.

Тогда обещал Ионафан вывести у отца, какая судьба ждет Давида. И просил у Давида милости к себе и своему семейству, когда сотрет Господь с лица земли всех врагов Давидовых. Не зная о помазании Давида, чувствовал Ионафан, что чудесная сила заключена в этом отроке и путь славы перед ним. Вот стоит Давид, безоружный, преследуемый, обреченный, а Ионафан просит у него покровительства для себя и семейства своего вовеки. Не значит ли это, что он глазами любви своей провидит путь Давидов? Потому что, говорит Писание, «любит его, как свою душу».

— Иди, скрывайся около скалы Азель. А я пущу три стрелы, как бы стреляя в цель. И скажу громко слуге: «Вот стрелы не доходя до тебя». Это будет значить: «Мир тебе». Если же скажу слуге: «Вот стрелы дальше тебя», то удались и помни, что в нашем союзе между мной и тобой только Господь вовеки.

И ушел Давид.

И все было, как условились они.

На второй день новомесячия обратил Саул внимание на то, что пусто место Давидово, и спросил о нем Ионафана.

Тогда рассказал ему Ионафан ту ложь, которую придумал он для спасения Давидова. И был он при этом, ве-



роятно, очень бледен и взволнован, потому что не поверил ему Саул и сильно разгневался.

— Сын упорной женщины! — закричал он. — Ужели я не знаю, что ты полюбил сына Иессеева, к стыду моему и посрамлению своей матери!

Словами этими он обличал Ионафана в его необычной любви к Давиду, «превыше любви женской».

— Пока жив сын Иессеев, не утвердишься ни ты, ни царство твое. Сейчас же приведи его ко мне. Он должен умереть.

Тогда восстал на отца Ионафан:

— За что убивать его? Что он сделал?

В ярости схватил Саул копье и в исступлении, не помня себя бросил копье в сына, в любимого сына, в первенца.

И кроткий Ионафан, дрожа от гнева, от негодования на отца своего, вскочил из-за стола и выбежал вон.

Не от страха перед отцом он вскочил и убежал, не от смерти, грозящей ему, а от гнева, от негодования, что так поносил Саул Давида, названного брата, которого поистине любил Ионафан, как душу свою. Ни отца, ни царства не нужно ему. Нужен только Давид.

Что чувствовал Саул, когда увидел кроткого сына своего дрожащим от гнева, осмелившимся судить отца, восставшим на отца, в благородном негодовании упрекающим в неправом деле? И все из-за Давида. И он, Саул, свершил самый ужасный поступок в жизни своей — бросил копье в сына. И все из-за Давида, прекрасного, ненавистного Давида.

А Мелхола, жена Давидова, тоже любившая его так, что не побоялась обмануть отца, восстать на отца? Мелхола присутствовала тут же, сидела за этой торжественной трапезой. Какое лицо было у нее, какими глазами, полными ужаса и ненависти, смотрела она на отца?

И даже отроки, прислуживавшие за столом, — не дрожали ли у них руки, не расплескивали ли они вино мимо чаши, не смотрели ли с упреком на исступленного яростью царя, бросившего копье в сына-первенца, любившего Давида, которого они все тоже любили?

Поистине достиг Саул предела злобного отчаяния своего.

На следующее утро в назначенное Давиду время позвал Ионафан слугу-отрока, взял лук и стрелы и пошел в поле. Там, притаившись, ждал Давида.

Стрекотали кузнечики в траве, звенели в воздухе жаворонки, плыли тихие облака в синем палестинском небе. Качались на легком ветерке цветы полевые, зыбились колосья. И земля, и небо были такие же тихие и благословенные, как в те дни, когда пас юный Давид овец отца своего. И так же и земля, и небо пели ему о красоте, о счастье, о Боге, но теперь он не поднимал вверх вдохновенные синие глаза свои, не прижимал к румяным устам певучую свирель. Как преступник, прятался он, прижавшись к скале, и ждал решения судьбы своей, бледный и скорбный.

Подожел Ионафан к назначенному месту и сказал слуге-отроку:

— Беги, ищи стрелы, которые я буду бросать.

Бросил Ионафан стрелу дальше его и закричал условные тревожные слова, возвещающие беду:

— Нет ли стрелы дальше, дальше от тебя?

И еще громче закричал:

— Скорей, **спеши**, не останавливайся.

И потом велел отроку отнести собранные стрелы домой. И тогда вышел Давид, и повергся лицом на землю, и поклонился трижды. И они целовали друг друга, и плакали оба, но Давид плакал больше. Он плакал больше потому, что понимал, какую страшную жертву приносит Ионафан, отдающий для него любовь отца, и царство, и, может быть, жизнь.

И отпустил Ионафан Давида:

— Иди с миром. Да будет Господь между мною и тобою, между потомством моим и потомством твоим вовеки.

Так всегда просил Ионафан у Давида **милости** к потомству своему. Чувствовал великую силу Давидову и что утвердится род его вовеки.

Так кончилось горестное счастье их любви.

Долго скитался Давид из страны в страну, бежа от гнева Саула. Ему было страшно. И призывал он Бога, умоляя: «Цепи яда окружили меня. В теснине моей призвал я Господа... и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась, всколебалась земля, и основания гор **дрогнули**, потому

что разгневался Он. Поднялся дым из ноздрей Его и огонь из уст Его пожирающий, угли возгорелись от него. И воссел на Херувима, и понесся, и полетел на крыльях ветра... От блистания пред Ним сквозь тучи Его сыпался град и горящие угли... Простирает Он с высоты руку, извлекает меня из вод великих, избавляет меня от врага моего... Потому что благоволит ко мне».

Ища защиты только у Бога, скитался Давид, и вот отчаявшись, голодный, выпросил он у священника Ахимилеха освященного хлеба. Удивился священник, что идет зять царский без почета, без слуги и один. И тогда обманул его Давид, сказав, что имеет тайное поручение от царя, о котором никто не должен знать. И спросил Давид у священника Ахимилеха, нет ли у него копья или меча, потому что он очень спешит исполнять поручение царя и не успел взять с собой оружие.

— Есть меч Голиафа, которым ты поразил его. Он лежит, завернутый в покрывало, за священными облачениями. Возьми его.

И Давид меч взял. Взял меч первой славы своей, меч, хранившийся как святыня среди священных облачений. У него было право на этот меч. И он взял его и скрылся, ушел к Анхусу, царю Гефскому, и там, чтобы не узнали его, притворился безумным. Но все же многие узнали его и говорили: «Не это ли Давид, о котором пели в хороводах: «Саул поразил тысячи, а Давид — тьмы?»»

И снова пришлось Давиду бежать.

«Я, как маслина, зеленеющая в доме Божиим, надеюсь на милость Божию во веки веков». Так пел он, отдаваясь под покров Божий.

И бежал он, и скрывался в пещере Адолламской. «Под тенью крыл твоих укрываюсь я», — говорил он Богу. И, одинокий, преследуемый, чувствовал он в себе свою великую несокрушимую силу и пел вдохновенно: «Утвердилось сердце мое: буду петь и бряцать. Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли! Пробужу я утреннюю зарю».

Когда узнали о месте его пребывания братья его и весь дом отца его, пришли все к нему. Затем собрались к нему все угнетенные, притесняемые, душевно огорченные, и собралось таких до четырехсот человек, и он стал начальником их. И ушел Давид с ними в лес Херет.

Дошло сведение о нем и о людях, что были с ним, до слуха Саулова. И вот однажды сидел Саул на горе под дождем, держа копье в руке своей, и все слуги вокруг него. Теперь уже не ходил он, как в первые годы царствования, за волами в поле. Теперь он утвердил себя царем и держал себя как повелитель народа, и окружал себя подобающей пышностью. Золотой зубчатый обруч венчал его голову. Царская мантия-багряница, золотые цепи и украшения были на нем, и женщины в доме его ходили в пурпуре и виссоне и звенели кольцами и запястьями. Так начало сбываться то, о чем мечтали девушки израильские, вздымая руки и крича: «Хотим царя!»

Вот сидел перед ними грозный царь, пышный, мрачный и страшный, и слуги в **трепете перед ним**, и скороходы, и лучники.

Обратился Саул к слугам и сказал:

— Послушайте, сыны Венямины. **Ужели всем вам даст Давид поля и виноградники? Ужели всех вас поставит тысяченачальниками** и сотниками? Все вы в заговоре против меня, и никто не сообщил мне, что мой сын вступил в союз с сыном Иессеевым, и никто из вас не имеет сострадания ко мне и не открыл мне, что сын мой возбудил раба моего злоумышлять против меня, как видно это теперь.

Тогда выступил один из слуг по имени Доик и рассказал все, что узнал о Давиде, — как дал ему священник Ахимилех хлеб и отдал меч Голиафов.

Тяжелый гнев обуял Саула, и велел он сейчас же привести к себе Ахимелеха, и всю **семью** его, и всех священников из того города. Сказал Саул Ахимелеху:

— Ты вступил в заговор против меня, ты дал Давиду хлеб и меч, чтобы он шел против меня.

Но Ахимелех отвечал:

— Кто из слуг твоих верен тебе, как Давид, зять царя, уважаемый в доме твоём? Как мог я решиться не исполнить просьбы его?

Так искренне отвечал священник, и смотрел прямо в глаза Саулу, и стоял перед ним в своей белой льняной одежде служителя Божия. Но слова его, напоминание о том, что невинен перед ним Давид, еще больше накалили **гнев Саула**.

— Ты должен умереть, — сказал он Ахимелеху. — Ты и все семейство отца твоего.

Потом повелел скороходам, стоящим около него:

— Пойдите и умертвите священников Господних, ибо и они заодно с Давидом и, зная, что он беглец, не уведомили меня.

Знал Саул, что невиновны священники, что скрыл от них Давид о бегстве своем, но притворился, что не верит Ахимелеху, чтобы насытить злобу свою. Но не посмели слуги его поднять руку на священников. Ужас охватил их. Грозен царь, но Господь сильнее его. И они не пошли.

Тогда велел царь Доику-доносчику. И пошел Доик, и убил в тот день восемьдесят пять служителей Господних, носивших льняные облачения. И семьи их, как мужчин, так и женщин, отроков, и грудных младенцев, и волов, и ослов, и ягнят — всех истребил острием меча. Спасся только сын Ахимелеха Авиафар. Он убежал к Давиду и рассказал, как Саул умертвил священников за него, за Давида.

Искал Саул Давида и, узнав, что находится Давид в городе Кеиле, созвал весь народ свой, чтобы осадить Кеиль. Но Давид, проведав о намерении Саула, вовремя покинул город, и Саул отменил поход.

Тогда скрылся Давид в пустыне в недоступных скалах. Туда тайно пробрался к нему Ионафан и сказал:

— Не бойся, не настигнет тебя рука Саула, отца моего. Ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. Даже и отец мой Саул хорошо знает это.

Что значили такие слова? Почему он сказал, что Саул знает о том, что царство перейдет к Давиду? Открыл ли ему кто, что помазан Давид Самуилом? Или сам Саул чувствовал силу Давидову и уже в полном отчаянии, не в состоянии сладить с гневом своим, преследовал его?

Но подкрепил Ионафан слова свои именем Божиим. Он знал, что говорил правду. И снова названные братья подтвердили союз свой перед Господом, и снова расстались.

И вот донесли местные жители Саулу о том, где скрывается Давид:

— Согласно сильному желанию души твоей, царь, иди туда, а наше дело предать — его в руки царя.

На это сказал Саул:

— Да благословит вас Господь за то, что вы оказали сострадание ко мне.

Второй раз говорил царь о сострадании к нему. Так сильно он мучился, что уже не казалось ему унижительным просить сострадания и благословлять за него.

И собрал Саул отборных воинов, и ринулся по следу. В самые неприступные места уходил от него Давид, забирался в непроходимые чащи, взбирался на вершины скал, где водятся только горные козы. И туда гнался за ним Саул, точно волк за серной, рыскал по скалам, пролезал через заросли, проползал по ущельям.

И вот раз в знойный день зашел Саул, измучившись, передохнуть в пещеру. Пещера была глубокая и темная, и там в глубине ее как раз скрывался тот, кого искал Саул. Скрывался Давид и с ним несколько человек из слуг его. Люди Давида шептали ему:

— Вот день, когда Господь предаст врага в руки твои.

Один взмах меча — и был бы Давид свободен, и царство принадлежало бы ему. Один взмах.

Но Давид, незаметно подойдя к Саулу, тихонько отрезал край одежды его.

И удержал людей своих и сказал:

— Не дай мне Господь, чтобы я поднял руку на помазанника Божия.

И когда Саул вышел из пещеры, окликнул его Давид:

— Государь мой!

Когда же Саул оглянулся, наклонился Давид и простерся на земле. И, встав, сказал Саулу:

— Зачем слушаешь ты слова людей, говорящих: «Вот, Давид ищет твоей гибели»? Видели теперь глаза твои, как сегодня предал тебя Господь в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы я убил тебя. Но я не поднял руку на государя моего, ибо он — помазанник Господа. Посмотри на край одежды твоей в руке моей. Из того, что я отрезал ее и не убил тебя, можешь видеть, что нет во мне ни злобы, ни измены, и я не виновен против тебя. И ты преследуешь меня. Да отмстит Господь тебе за меня, моя же рука не будет на тебе. И за кем гоняешься ты, царь Израилев? За мертвым псом?

Закончил Давид слова свои, и Саул ему отвечал:

— Твой ли это голос, сын мой Давид?

И заплакал Саул. Потом сказал он Давиду:

— Ты справедливее меня. Когда человек поймает своего врага — отпустит ли его добрым путем? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал сегодня. Теперь я знаю, что будешь ты царствовать. Поклянись же ты мне Господом, что не истребишь потомства моего после меня.

И Давид поклялся. Тогда Саул ушел в дом свой, а Давид и люди его поднялись в горы, где было укрепление их.

Что чувствовал Саул? Может быть, легче бы ему было вынести истинную измену Давидову, поражение от меча его, чем это унижение. Враг его, раб его Давид дарует жизнь ему, гордому царю Израильскому, милует его.

Этого торжествующего великолепного Давида, стоящего на скале к поднимающего вверх руку с куском одежды от платья царского, — разве забудет его переполненное мукой сердце Саула?

Он заплакал пред Давидом. Слишком сильно было потрясение, вызванное видом Давида и словами его.

— Я знаю, что будешь ты царствовать! — воскликнул он.

Воскликнул, вероятно, невольно. Потому что царственное великодушие проявил Давид. А он, Саул, когда-то лукаво послал его как зятя своего убить сто филистимлян, рассчитывая, что те убьют его. Низко поступил он с ним. Не по-царски. И вот перед ним этот ненавистный раб Давид во всем своем душевном великолепии. Убил его Давид не мечом, а силою духа.

И никогда до этого не слышал Израиль таких слов, не видел кротости и прощения. «Око за око, зуб за зуб» — так учили их, но «прощайте врагов ваших и любите ненавидящих вас», — этого они не знали. Точно золотой луч бросил Давид со скалы, из тьмы библейской туда, в века, в мир Нового Завета. «Когда человек поймает своего врага — отпустит ли его добрым путем?» — воскликнул Саул, потрясенный священным трепетом. Новый, непостижимый свет сверкнул перед ним.

— Теперь я знаю, что ты будешь царствовать! — воскликнул он и, громко плача, удалился.

Между тем умер Самуил. С великим горем погребли его израильтяне. Великого пророка и ходатая перед Господом лишились они.

Давид же со слугами и воинами своими остался в горах, жил там и взял себе двух жен, Ахиноаму и красивую Авигею. Первая жена его, дочь Саулова Мелхола, не могла следовать за ним. Она оставалась в доме отца своего. И отдал ее Саул в жены Фалтию из Галлима.

Нерадостным было это событие. Мелхола любила Давида, шла против отца для спасения его, всем жертвовала, не побоялась ярости страшного в гневе царя Саула. Что была смерть для нее? На все она шла для Давида. И вот отец отдал ее другому, нелюбимому, а Давид был далеко и не мог вернуться, потому что Саул хотя на словах и примирился с ним, но не позвал его в дом свой. Был Давид далеко, и взял себе жен, и не мог увести с собой Мелхолу, так его любившую. Увел ее новый муж, добрый и ласковый к ней. Все равно не было ей жизни в доме отца. Знал отец, что она любила Давида, и не мог ей простить обмана с идолом, когда она скрыла Давида и выпустила его тайком через окно.

Все мысли, вся душа Саулова были сосредоточены на Давиде. Сын его Ионафан оставался при Сауле, но он чувствовал в нем врага себе.

Когда отдавал он дочь свою Мелхолу Фалтию, наверное, злобно радовалось сердце его. Радовалось, что мстил дочери за измену, отнимая ее от Давида, и мстил Давиду, любившему Мелхолу. Все стало темно и злобно в жизни Саула, и злой дух уже не отходил от него. Слово свое, сказанное Давиду: «Господь да воздаст тебе за то, что ты сделал со мною», — слово это вырвал он из памяти своей. Помнил только торжество Давида над ним, над плачущим, несчастным, униженным царем, теряющим царство.

Высоко на скале над ним — прекрасный, торжествующий, проклятый, благословенный Давид, который «непременно будет царствовать». Рок, через который не переступить, но перед которым склониться гордая душа Саулова не может.

Если бы ввел он Давида снова в дом свой — какое было бы ликование! Улыбнулся бы бледный Ионафан, и Давид ответил бы ему улыбкой, и глаза их обменялись бы любовным лучом. Засмеялась бы обезумевшая от горя Мелхола. Зазвенели бы запястья на вздетых радостно женских руках. И слуги повернулись бы лицом к Давиду как к настоящему царю, любимому и прославленному. А



израильские девушки вышли бы в хороводах с тимпанами и кимвалами и воскликнули бы, как в тот ненавистный день. И еще большее восклицали бы они: «Саул не победил Давида, но Давид победил Саула. Вот опять Давид в доме царском, и царство будет ему».

Стонал Саул от черной тоски и не находил покоя.

— За кем гоняешься ты? — сказал ему Давид. — За мертвым псом.

Что означают слова эти? «За мертвым псом» — за тем, что не имеет ни силы, ни значения. Сам выдумал себе призрак, сам **надумал врага**, и преследует, и гонится без смысла, мучая и себя, и **его**.

Слышал это слово Саул и понимал, что прав Давид, но уже не мог отметить злого духа, задышался в черной тоске, метался и не видел выхода, кроме одного: убить Давида.

Нет жизни, пока жив Давид, торжествующий и великодушный, перед которым он, Саул, плакал. Смерть Давиду.

И снова пришли к Саулу доносчики:

— Знаете, где скрывается Давид? Скрывается он в пустыне.

Тогда встал Саул и спустился в пустыню, а с ним три тысячи отборных воинов. Пошли они и расположились станом, и Давид видел, как прошли они. Когда же Саул и воины его легли спать, позвал Давид одного из слуг своих и пробрался в стан Саулов. Ночь была темна, и никто не заметил их. И вот видит Давид: лежит Саул и спит в середине стана, и копье его воткнуто в землю подле изголовья его, и воины его, и Авенир, начальник войска, — все спят вокруг царя.

Тогда сказал Давиду слуга его:

— Предал сегодня Господь врага твоего в руки твои. Позволь, теперь я приколю его копьем к земле с одного удара.

Но Давид ответил ему:

— Не губи его, ибо кто может ненаказанно поднять руку на помазанника Господня?

И еще сказал Давид:

— Клянусь Господом, что лишь Господь его поразит или придет день его, и он умрет, или он пойдет на войну

и его не станет. Но не дай мне Господь, чтобы я поднял руку мою на помазанника Господня.

И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саулова, и шел со слугою своим, и никто их не видел, никто не заметил, никто не пробудился, но все спали. «Так как, — говорит Писание, — глубокий сон напал на них от Господа».

Тогда перешел Давид на другую сторону, стал вдали на вершину горы и громко закричал, зовя Авенира, начальника войска Саулова:

— Дашь ли ответ мне, Авенир?

Авенир отвечал:

— Кто ты такой, что кричишь при царе?

Тогда сказал Давид Авениру:

— Не знатный ли ты человек? Почему же ты не бережешь государя своего, царя? Ибо один из народа уже приходил, чтобы убить царя, государя твоего. Нехорошо, что ты так поступаешь. Жив Господь! Вы повинны смерти за то, что вы не охраняли государя своего, помазанника Господня. Посмотри теперь, где копье царя и сосуд с водою, которые были у изголовья его.

Тогда узнал Саул голос Давида и сказал:

— Не твой ли это голос, сын мой Давид?

И отвечал Давид:

— Мой голос, государь мой царь. За что государь мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое злодеяние?

Тогда Саул сказал:

— Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я больше не стану обижать тебя, так как ты подорожил ныне жизнью моею. А я поступал безумно и много ошибался.

А Давид отвечал:

— Вот копье царя. Пусть один из слуг придет и возьмет его. Сегодня предал тебя Господь в мои руки, но я не хотел поднять руку мою на помазанника Господня. Вот как дорога была сегодня жизнь твоя в глазах моих.

И сказал Саул Давиду:

— Благословен ты, сын мой Давид. Поистине ты делаешь свое дело и восторжествуешь.

Таковы были последние слова Сауловы Давиду, и каждый из них пошел своим путем.

Что мог бы сказать Саул Давиду? В чем упрекнуть? Никакой вины он не знал за ним. Служил ему Давид вер-

но, возложенное на него дело исполнял успешно и мудро, и все были довольны им. И вот второй раз дает судьба жизнь Саулову в руки Давиду, и тот, гонимый им, преследуемый по пятам, как серна злыми псами, все время в страхе, в обиде, в смертельной опасности, — тот не хочет воспользоваться такой необычайной возможностью и щадит своего врага. Второй раз получил Саул жизнь из рук Давидовых.

— Благословен ты, сын мой Давид! — сказал он. И прибавил: — Ты восторжествуешь.

Этим как бы наметил продолжение борьбы. Оружие не сложено. Не сказал: «ты восторжествовал», но «восторжествуешь». И Давид понял это и не сошел со скалы к Саулу, а велел подняться к нему слуге царскому, чтобы вручить ему копье.

И, расставшись с Саулом, думал Давид только о том, как бы замести следы свои и уйти в тихое место, где бы Саулу не пришлось в голову искать его. «Нет ничего лучше для меня, как уйти в землю филистимскую, чтобы Саул отказался искать меня в пределах израильских».

И он ушел к вечным врагам израильским, к филистимлянам, в их землю. И прожил там год и четыре месяца, и с ним жены его и слуги — всего шестьсот человек.

По прошествии же этого времени опять собрали филистимляне войска свои, чтобы сражаться с Израилем, и когда увидел Саул полчища их, то сильно устранился и встревожился. И спросил Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через первосвященника, ни через пророков. Волшебников же и знахарей Саул еще раньше уничтожил в земле своей и издал приказ: если где найдется заклинатель или прорицатель, предавать его смерти. Борьба с язычниками велась суровая, потому что постоянно колебалась непрочная вера народа, и даже в доме царском у дочери его Мелхолы был домашний кумир. И кумир этот был не маленький какой-нибудь амулет, который легко можно было бы спрятать от посторонних глаз. Кумир этот был в человеческий рост, потому Мелхола и положила его на постель как бы больного мужа своего. И мы не увидели гнева царского на то, что идолопоклонничество не уничтожено в семье его. Очевидно, такой домашний кумир, покровитель семьи и очага, еще

был делом обычным. Но к ворожеям и прорицателям отношение было более суровое, и по приказу царя истребили их по всей стране.

И вот, когда не ответил Господь Саулу, решил он обратиться к волшебникам и велел слугам найти женщину, владеющую духом прорицания. Найти такую женщину было трудно, потому что истребили их всех, а если где-нибудь и уцелели, то прятались, боясь неминуемой гибели.

Но вот сказал слуга Саулу, что есть в Аэндоре женщина, владеющая духом провидения, и царь ночью, надев на себя другие одежды, отправился сам и два человека с ним, и пришли к этой женщине. Как шли они? Как это могло быть? Как выполнили они это предпоследнее действие Сауловой трагедии?

Шли они втроем. Впереди должен был идти слуга, указывавший путь, тот самый слуга, который открыл Саулу о пещере аэндорской волшебницы. За ним — Саул. Огромный, «от плеч и до верха выше всего народа», в черной мантии, скрывающий лицо свое темным плащом, наброшенным на голову. Весь черный, весь страшный, почти безумный в своем отчаянии, Богом отвергнутый царь. Он идет ночью, прячется от людей, он идет на грех, на тот грех, который сам преследует смертью. Вот уже сутки — день и ночь, — как он ничего не ел и не пил.

Идут они по скалам, по горным тропам — волшебница прячется, значит, живет в глухом месте. Живет в пещере, значит, в горах, потому что в долине пещер не бывает. По диким тропам пробираются они. Один слуга впереди, за ним царь. Последним идет раб, охраняющий царя, поддерживающий его. Темно. Камни осыпаются под ногами. Если они кого-нибудь встретят, то убьют, потому что никто не должен проведать о грехе царя, а узнать его, этого огромного, «выше всего народа», было бы нетрудно.

Так пришли они к пещере аэндорской. Чуткая, настороженная, вышла к ним волшебница. Три темные тени стояли перед ней. Две обыкновенные, одна — страшная. Не смерть ли, по указу царскому, принесли они ей?

Но вот сказал Саул:

— Открой мне духом прорицания, что будет, и вызови мне того, кого я назову тебе.

И она ответила:

— Ты знаешь, что сделал Саул, как он истребил в этой земле прорицателей и знахарей. Для чего ты хочешь уловить душу мою, чтобы погубить меня?

Но Саул поклялся Господом, сказав:

— Жив Господь! Не постигнет тебя наказание за это дело.

Тогда женщина спросила:

— Кого вызвать тебе?

Он сказал:

— Самуила вызови мне.

Тогда женщина стала вызывать тень.

Как делали это волшебники? Они разводили огонь, и бросали в него травы, и читали заклинания. И в клубах дыма видели тень. Так должна была сделать и она. И увидела женщина Самуила, и вскрикнула громким голосом, и сказала:

— Зачем обманул ты меня? Ведь ты Саул.

Она была волшебница и духовидица и увидела не только вызванную ею тень Самуила, но и душу закрывшего лицо свое Саула.

И сказал ей царь:

— Не бойся. Так что ты увидела?

И отвечала женщина Саулу:

— Я увидела нечто божественное, восходящее из земли.

Он спросил ее:

— Какой он видом?

Она отвечала:

— Какой-то старец восходит, и он одет в мантию.

Тогда узнал Саул, что это Самуил, и, наклонив лицо к земле, поклонился.

Тогда сказал Самуил Саулу:

— Для чего ты потревожил меня, заставив меня выйти?

Саул отвечал:

— Тяжко мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог меня оставил и не дает ответа ни через пророков, ни в сновидениях. И я воззвал к тебе, чтобы ты поставил меня, что мне делать.

И сказал Самуил:

— Для чего же ты вопрошаешь меня, когда Господь оставил тебя и стал за соперника твоего? Исполнит Господь

для него то, что Он говорил через меня. Ибо отнимет от тебя Господь царство и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушался гласа Господня и не исполнил пламенного гнева Его на Амалика, то исполняет Господь ныне над тобою это определение. И предаст Господь вместе с тобою даже Израиль в руки филистимлян. И завтра ты и сыновья твои будете со мною. Даже и ополчение израильское предаст Господь в руки филистимлян.

Так сказал пророк. Упал Саул всем телом на землю. Точно за этим последним ударом он и пришел сюда. «Завтра ты и сыновья твои будете убиты».

Словно острое копье, пронзили слова эти Саула и прибили его к земле. «Отдаст царство ближнему твоему Давиду. Давиду царство и жизнь». Столько времени он мучился, страдал смертельно, метался в тоске и отчаянии, душа истекала кровью. И вот теперь грозный пророк добил его.

Силы оставили Саула. Весь день и всю ночь перед этим он не ел и не пил. Полумертвый, лежал он. И вот волшебница и слуги царские подошли к Саулу, и ласково заговорила с ним женщина:

— Раба твоя послушалась голоса твоего, — сказала она, — послушалась и подвергла жизнь свою опасности. Теперь, прошу тебя, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я положу перед тобою кусок хлеба, поешь, чтобы тебе иметь силу, когда отправишься в путь.

Но он отказался. Тогда настойчиво стали просить его и она, и слуги его, и он послушался слов их, встал с земли и сел на постель. А женщина заколола теленка, испекла лепешки и накормила Саула и слуг его.

Видел ли Саул, что и у нее, и у слуг его уже было то страдание, о котором столько раз просил он? В этой темной, дымной пещере, освещенной, вероятно, только тлеющими углями очага, на которых догорали пряные травы заклинания, сидели люди, как тени, и уже не было около полумертвого царя, этого беспредельно несчастного человека, не было около него ни преступной рабыни-волшебницы, ни трепещущих перед гневом его слуг — были только люди и жалость человеческая.

И он смиренно ел вместе со слугами и, когда поел, встав, ушел в ту же ночь.

А дальше все пошло быстро, сжато, как послесловие. Филистимляне окружили израильтян, и бежали израильтяне, и падали, убитые, на горе Гелвуде.

И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили Ионафана и прочих сыновей его. И лучшие стрелки направили на Саула стрелы, и был он тяжело ранен.

Тогда сказал Саул оруженосцу своему:

— Обнажи меч свой и заколи меня им, чтобы не пришли враги заколоть меня и издеваться надо мною.

Но оруженосец не захотел. Страшно ему было поднять руку на царя своего. Тогда Саул пал на свой меч. Когда же оруженосец увидел это, то, думая, что Саул уже умер, сам тоже пал на свой меч.

Но не умер Саул. Один из воинов его стана взбежал на гору Гелвуйскую и увидел, как пал Саул на меч свой, и уже колесницы и всадники вражеские поднимались к нему. Тогда, оглянувшись, увидел Саул этого воина израильского и позвал его.

— Вот я, — сказал воин.

И просил Саул:

— Умертви меня, ибо смертельные страдания постигли меня, а душа все еще во мне.

И воин пожалел его. В последнюю минуту жизни своей встретил Саул сострадание, то, которого так искал. Сострадание, прекратившее наконец неизбывные муки его. Воин пожалел его и добил. Потом снял с Саула царский венец и запястье и отнес их Давиду.

— Я принес их государю моему, — сказал он.

И пеплом была посыпана глава его, и одежда на нем разодрана. Он рассказал Давиду, как нашел он Саула, павшего на меч свой, как исполнил его просьбу и добил его.

Услышав это, разодрал Давид одежды на себе, а бывшие с ним люди плакали и постились до вечера.

И спросил Давид воина, принесшего ему весть о гибели Сауловой:

— Как же ты не устранился поднять руку на помазанника Господня?

И велел одному из служителей:

— Пойди и убей его.

И тот убил.

А Давид оплакал Саула и Ионафана, сына его, песнью плача: «Горы Гелвуйские! Да не будет на вас ни росы, ни дождя, ни полей плодоносных, ибо там опозорен щит доблестных, щит Саула. Дочери израильские! Плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с драгоценностями... Скорблю о тебе, брат мой Ионафан! Любовь твоя ко мне была превыше любви женской».

До сих пор бывало так, что торжествовали враги над телом побежденного, издевались, терзали его, плясали над ним и попирали ногами. И вот Давид, как некий предвозвестник нового светлого мира, оплакивает гибель врага.

И если бы знал при жизни своей Саул, что плачем Давида закончится его путь земной, может быть, было бы это наигорчайшим унижением для него. Не хотел он от Давида ни любви, ни слез.

А филистимляне, найдя Саула мертвым, отрубили ему голову и, сняв с него доспехи, прибили его тело на позор к стенам своего города.





# Мои современники

*Ее тонкий, нежный и острый, ее прелестный талант воспринимается радостно и легко, без критической указки, без ярлыков и меток... Воспринимается непринужденно, как должное и необходимое, как одно из скромных чудес природы.*

*Александр КУПРИН*







## Аркадий Аверченко

**Н**ачалось это приблизительно

в 1909 году. Точно не помню. Я годы различаю не по номерам (год номер тысяча девятьсот такой-то), а по событиям.

Время тогда было строгое. Смех не имел права на существование. Допускался только так называемый «смех сквозь незримые миру слезы», пронизанный гражданской скорбью и тоской о несовершенстве человечества.

Как раздражали эти «незримые слезы» Достоевского! «Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, чем про эти «незримые слезы».

А ведь как ценил Достоевский Гоголя! Как жил Гоголь в его подсознательном! Не, знаю, заметил ли кто-нибудь, что мать Раскольниковы звали Пульхерия Ивановна и что в письме своем к сыну упоминала она о купце Афанасии Ивановиче, с которым вела дела. Ведь эти два имени-отчества теперь уже стали нарицательными, дать их Достоевский нарочно никак не мог. Они выскочили оба вместе из его подсознательного, из той потайной душевной кельи, где любовно запечатлелись.

А вот этих «незримых слез» он вынести не мог. Но в русской литературе требование на них укоренилось надолго.

Да, ирония, сатира на нравы — это извольте, но свободный смех, о котором Спиноза сказал, что он «есть радость, а потому сам по себе благо», — это было неприемлемо. Очаровательные юмористические рассказы Антоши Чехонте были прощены автору, только когда он прославился художественной грустью своего таланта.

Где-то на задворках чуть дышали «Стрекоза» и «Осколки». Грубый лейкинский юмор мало кого веселил. В газетах на последней странице уныло хихикал очередной анекдот и острые намеки на «отцов города питающихся от общественного пирога». При этом были и картинки. У действующих лиц изо рта вылезал пузырь, а на пузыре выписывались слова, которые это лицо произносит. Юмористические журналы протодергивали тещу, эту неистощимую тему, свободную от цензурного карандаша.

Не могу указать точно, когда это началось, но в то время, о котором сейчас идет речь, газеты по понедельникам не выходили. И вот один предприимчивый журналист — Василевский Не-Буква (этот странный псевдоним произошел оттого, что брат журналиста писал под именем «Василевский Буква») — задумал выпускать по понедельникам литературную газету. Газета имела успех. Я тоже принимала в ней участие, помещая мои первые рассказы. Тогда впервые появились остроумные фельетоны, подписанные именем Аверченко.

Мы спрашивали у Не-Буквы, кто это такой.

— А это один остряк из провинции. Он даже собирается сюда приехать.

И вот как-то горничная докладывает:

— Пришел Стрекоза.

Стрекоза оказался брюнетом небольшого роста. Сказал, что ему в наследство досталась «Стрекоза», которую он хочет усовершенствовать, сделать литературным журналом, интересным и популярным, и просит меня сотрудничать.

Я наши юмористические журналы не любила и отвечала ни то ни се:

— Мерси. С удовольствием, хотя, в общем, вряд ли смогу и, должно быть, сотрудничать не буду.

Так на этом и порешили.

Недели через две опять горничная докладывает:

— Стрекоза пришел.

На этот раз Стрекозой оказался высокий блондин. Но я, зная свою рассеянность и плохую память на лица, ничуть не удивилась и очень светским тоном сказала:

— Очень приятно, мы уж с вами говорили насчет вашего журнала.

— Когда? — удивился он.

— Да недели две тому назад. Ведь вы же у меня были.

— Нет, это был Корнфельд.

— Неужели? А я думала, что это тот же самый.

— Вы, значит, находите, что мы очень похожи?

— В том-то и дело, что нет, но раз мне сказали, что вы тоже Стрекоза, то я и решила, что я просто не разглядела. Значит, вы не Корнфельд?

— Нет, я Аверченко. Я буду редактором, и журнал будет называться «Сатирикон».

Затем последовало изложение всех тех необычайных перспектив, о которых мне уже говорил Корнфельд.

Так произошло знакомство с Аверченко.

Встречались мы не часто. Я на редакционные собрания не ходила, потому что уже тогда не любила никакую редакционную кухню. Что они там стряпали, о чем толковали, что именно выбирали и что браковали, меня не интересовало.

Сам Аверченко производил очень приятное впечатление. В начале своей петербургской карьеры был он немножко провинциален — завивался барашком. Как все настоящие остряки, был всегда серьезен. Говорил особенно, как-то скандируя слова, будто кого-то передразнивал. Вокруг него скоро образовалась целая свита. Все поддельвались под его манеру говорить и все не переставая остряли.

Приехал Аверченко из какого-то захолустья Харьковской губернии, если я не путаю, со станции Алмазной, где служил в конторе каких-то рудников помощником бухгалтера. Еще там затеял он какой-то юмористический журнальчик и стал посылать свои рассказы в «Понедельник». И наконец решил попытать счастья в Петербурге. Решил очень удачно. Через два-три месяца по приезде был уже редактором им же придуманного «Сатирикона», привлек хороших сотрудников. Иллюстраторами были только что окончивший академию Саша Яковлев, Ремизов, Радаков, Анненков, изящная Мисс. Журнал сразу обратил на себя внимание. Впоследствии его статьи цитировались даже в Государственной Думе.

Года через два встретился он как-то случайно в поезде со своим бывшим начальником, бухгалтером. Тот был от

литературы далек и очень укорял Аверченко за легкомысленный уход со службы:

— Вы могли бы получать уже тысячи полторы в год, а теперь воображаю, на каких грошах вы сидите.

— Нет, все-таки больше, — скромно отвечал Аверченко.

— Ну, неужто до двух тысяч выгоняете? Быть не может! Я сам зарабатываю не больше.

— Нет, я около двух тысяч, только в месяц, а не в год.

Бухгалтер только махнул рукой. Он, конечно, не поверил. Ну да Аверченко известный шутник.

\*\*\*

Аверченко любил свою работу и любил петербургскую утарную жизнь, ресторан «Вена», веселые компании, интересных актрис. В каждом большом ресторане на стене около телефонного аппарата можно было увидеть нацарапанный номер его телефона. Это записывали на всякий случай его друзья, которым часто приходило в голову вызвать его, если подбиралась подходящая компания.

Аверченко был молодой красивый и приятный и, конечно, немало времени отдавал жизни сердца. Он долго дружил с милой актрисой Z, но, конечно, не был суров и по отношению к другим поклонницам своего таланта. Среди них оказалась очень видная представительница петербургского демимонда, прозванная «Дочерью фараона», потому что отец ее был городовым, а у нас тогда городовые носили кличку фараонов. Эта «Дочь фараона» часто бывала за границей, много читала и выровнялась в элегантную светскую даму.

Как-то Аверченко сговорился с ней позавтракать. Сказал своей актрисе, что у него очень важный деловой завтрак. И вот как раз, когда он под ручку с «Дочерью фараона» входил в ресторан, мимо проезжала на извозчике та самая актриса и увидела их.

— Вы говорили, что у вас деловое свидание? Так вот, я видела, с каким деловым человеком вы пошли в ресторан! — укоряла его Z.

— Видели? — невинно спросил Аверченко. — Чего же тут удивительного. Эта дама и есть тот деловой человек, с которым мне очень важно было поговорить. Она ведь...

очень известная... это самое... она антрепренерша нескольких театров на юге... то есть в Харькове, в Ростове... и вообще. Уговорил ее поставить мои пьесы.

— Антрепренерша? — оживилась актриса. — Ради бога, познакомьте меня с ней. Я мечтаю поиграть один сезон в Харькове.

— Ну конечно, с удовольствием. Только она сегодня утром уже уехала.

Актриса очень жалела. Месяца через три были именины Аверченко, которые он всегда многолюдно праздновал в ресторане «Вена».

Дирекция «Вены» всегда подносила ему огромный торт с надписью шоколадными буквами «Аркадию Сатириконскому». Среди гостей оказалась и «Дочь фараона». Она поднесла имениннику золотой портсигар с бриллиантовой мухой — ну как же можно было не пригласить такую «поклонницу таланта».

Но тут произошел неожиданный пассаж. Как только вошла в кабинет актриса, так тотчас же и узнала знаменитую антрепренершу всех южных театров. Сейчас же подседа к ней и начала очаровывать. Как выкрутился из этой истории Аверченко, он мне не рассказывал, но, очевидно, «выврался» благополучно, или выручил кто-нибудь из друзей.

Аверченко был очень спокойный человек. Его трудно было чем-нибудь расстроить.

— Я кисель. Никакой бритвой меня не разрежешь.

\*\*\*

«Сатирикон» раскрепостил русский юмор. Снял с него оковы незримых слез. Россия начала смеяться. Стали устраивать вечера юмора: «НАШИ ЮМОРИСТЫ: ГОГОЛЬ, ЧЕХОВ, АВЕРЧЕНКО, ОСИП ДЫМОВ, О.Л.Д'ОР, ТЭФФИ...»

Стали печатать книги юмористических рассказов. Спрос был большой, предложений мало. Оказалось, что во всей огромной России не нашлось ни одного остроумного незнакомца. Кроме маленькой группы «Сатирикона». Постоянное ядро «Сатирикона» составляли талантливый поэт-сатирик Саша Черный, Осип Дымов, Сергей Горный, Аркадий Бухов. Очень редко присылал кто-нибудь случайную вещь, которую можно было напечатать. Я была ско-

рее гастролершей, чем постоянной сотрудницей. И очень скоро бросила «торговать смехом». Я очень люблю писателей с юмором, но специалистов-юмористов, старающихся непременно смешить, совсем не люблю.

Помню одно газетное начинание, само по себе анекдотическое. Редактор-издатель «Биржевых ведомостей» покорный духу времени, решил оживить свою газету юмором.

— Я сам напишу.

И — напечатал внизу перед покойниками:

МАЛЕНЬКАЯ УМОРИСТИКА.

— Где вы берете ваших, папирос?

— Это вы берете. Я покупаю.

Вот и все.

Сотрудники очень повеселились.

\*\*\*

Все воспоминания, связанные с Аверченко, всегда веселые и забавные.

Одна молодая дама рассказывала, как он не успел проводить ее из театра и представил ей почтенного господина, инспектора какого-то училища:

— Вот это мой друг Алексеев, он вас проводит.

Инспектор всю дорогу говорил ей самые приятные вещи, а когда уже подъезжали к дому, вдруг схватил ее за плечи и поцеловал. Она успела только наскоро шлепнуть его по лицу, распахнула дверцу автомобиля и выскочила. Виновный прислал ей на другой день целую корзину мимоз с запиской «От виновного и не заслуживающего снисхождения».

Дама тем не менее очень обиделась и сразу же позвонила Аверченко:

— Как вы смели представить мне такого хама!

— А что?

— Да он меня в автомобиле поцеловал!

— Да неужели? — ахал Аверченко. — Быть не может!

Ну как мог я подумать... что он такой молодчина. Вот молодчина.

\*\*\*

*«Милостивый государь господин Аверченко. Обращаюсь к Вам как ученик жизни к учителю жизни. Помогите мне*



разобраться в сложном психическом процессе души моей жены. Положение безвыходное. Вы один как учитель жизни можете направить и спасти. С вашего разрешения позвоню Вам сегодня по телефону. Благодарный заранее.

А.Б.

*P.S.* Мне сорок шесть лет, но положение требует немедленного облегчения.

А.Б.»

— Вот, — сказал Аверченко, дочитав письмо. — Все, наверное, воображают, что только к Толстому да к Достоевскому шли читатели обнажать душу и спрашивать указаний. Вот это уже не первое письмо в таком роде.

— Что же вы — примете этого А.Б.?

— Придется принять. Посоветую ему что-нибудь.

— Что же, например?

— А это зависит от случая. Может быть, просто — дать денег на «Сатирикон».

— Все-таки следовало бы отнестись серьезнее к этому делу, — сказал один из тяжелодумов, которые водятся даже в редакциях юмористических журналов. — Человек идет к вам душу выворачивать, так высмеивать его грех.

— С чего вы взяли, что я буду его высмеивать? — с достоинством ответил Аверченко. — Я намерен именно отнестись вполне серьезно.

— Вот это было бы интересно послушать, — сказала я.

— Отлично. Приходите в редакцию к четырем часам. Будете присутствовать при разговоре и потом можете засвидетельствовать мое серьезное отношение к делу.

— Да ведь он, пожалуй, не согласится открывать при мне свою душу.

— А уж это я берусь уладить.

На другой день ровно в четыре часа в редакторский кабинет всунул голову рассыльный и доложил:

— Господин пришел.

Я сидела в углу за столом и была «погружена в чтение рукописей». Аверченко сидел в кресле у другого стола.

— Пусть войдет.

Вошел пожилой человек с рыжеватой бородкой, в руках форменная фуражка с кантиками — кажется, акцизного ведомства.

— Я вам писал, — начал он плаксивым тоном.

— Да-да, — отвечал Аверченко. — Я готов вас выслушать.

— Но я... я хочу наедине.

— Можете не стесняться, — перебил его Аверченко. — Эта дама — моя секретарша.

— Я не могу, у меня дело личное.

— Ах, чудак вы эдакий! Да ведь она глухонемая. Разве вы не видите? Ну-с, приступим к делу. На что вы жалуетесь? — спросил он тоном врача по внутренним болезням.

— Я жалуюсь, увы, на жену! Это остро психологический случай. Женат я два года на младшей дочери протоиерея. И вот особа эта, забыв сан своего отца, ведет себя крайне легкомысленно. С утра поет, приплясывает и даже, видите ли, свистит.

— С утра? — мрачно сдвинул брови Аверченко.

— С утра. С утра до вечера. Бегаёт в кинематограф, в оперетку, и все с мальчишками, все с мальчишками. Треплет, одним словом, мое имя.

— А как ваше имя? — деловито осведомился Аверченко.

— Баллострадов.

— Гм... Действительно, это не годится его трепать.

— Я человек занятой, у меня служба. Я просил племянника, студента, присмотреть за ней. А она его потащила на каток, да оба и пропали до вечера! Укажите мне, где здесь справедливость и где здесь выход?

— Так вы говорите — потащила племянника на каток? — переспросил Аверченко и покачал головой. — Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Куда мы идем! Ведь эдак недолго расшатать окончательно семейные устои, на которых зиждется государство. Это все ужасно. А скажите, она хорошенькая, ваша жена? Или, чтоб вам было понятнее, — обладает ли она внешней красотой?

— Д-да! — горестно выдавил из себя чиновник. — Этим делом она вполне обладает.

— Брюнетка? — очень строго спросил Аверченко.

— Д-да!

— Скольких лет?

— Двадцати двух.

— Это уж форменное безобразие! Ну и что же вы намерены делать?

— Вся надежда на вас, господин Аверченко. Вы учитель жизни, вы читаете в душах, вы все можете.

— Пожалуй, я действительно кое-что смог бы. Вот что, дорогой мой, пришлите-ка вы ее ко мне. Я ее хорошенько проберу. В самом деле — что же это такое! Куда мы идем! Какой пример! Действительно, тяжелая картина! Непременно пришлите ее ко мне. Может быть, еще не поздно.

Балюстрадов восторженно привскочил.

— Я знал, что в вас я не ошибусь! — воскликнул он. — Завтра же виновница торжества — впрочем, какое уж тут торжество! — завтра же она будет у вас. Я ее заставлю. Спасибо, спасибо, вечное спасибо! Низко кланяюсь. Объясните вашей глухонемой, чтоб она никому ничего.

Через несколько дней встречаю Аверченко:

— Ну что, прислал вам этот чужак свою жену?

Он сначала притворился, будто не понимает, о ком я говорю. Потом ответил неохотно:

— Да, да. Вполне порядочная женщина. И очень серьезная. Мне удалось на нее повлиять, и она обещала, что больше с мальчишками на каток бегать не станет.

— Чудеса! Значит, муж ее оклеветал?

— То есть это все было, но теперь она изменилась.

— Муж доволен?

— Гм... он, чужак, почему-то уверен, что она по-прежнему не сидит дома. Вообще, это очень тяжелый случай и придется еще немало поработать.

— Хорошенькая?

— Недурна. И главное, вполне почтенная женщина. Очень такая любящая, привязчивая, постоянная. Может каждый день за завтраком есть баранью котлетку. Нет, вы не смейтесь, это тоже своего рода признак устойчивой натуры. Вообще достойна всякого уважения.

Недели через полторы, как-то в один из вторников — день, когда я принимала своих друзей, — явилась ко мне какая-то робкая, но пламенная «почитательница таланта».

Это была маленькая франтиха, довольно хорошенькая, но с чересчур большими густо-розовыми щеками.

Она поднесла мне букет фиалок, пролепетала что-то лестное, потом долго сидела молча и только облизывалась, как кот. В руках она держала большую горностаевую муфту, из которой все время что-то сыпалось — фла-

кончики, коробочки, платок, кошелек, карандашик. И она каждый раз всплескивала руками и бросалась подбирать. Вообще дамочка, видимо, нервничала. Смотрела на часы, вертелась, отвечала невпопад.

«Чего она засела?» — удивлялась я. Никого из моих гостей она не знала, в общем разговоре участия принять не могла, а меж тем сидит и сидит. Что бы это могло значить?

Гости стали расходиться. Остались двое-трое близких друзей. Наконец прощаются и они. А та все сидит. Как ее выкурить?

Я вышла в переднюю проводить последних гостей.

— Что это за особа? — спрашивают они.

— Не знаю. Какая-то читательница.

— Чего ж она не уходит?

— Не знаю.

— Да гоните ее вон!

— Да как?

— А вот как, — придумала моя приятельница. — Иди в гостиную, а я тебя позову.

Я пошла в гостиную, и тотчас моя приятельница появилась в дверях и громко крикнула:

— Так переодевайся же скорее, мы будем ждать тебя у Контана. Пожалуйста, поторопись.

— Хорошо, хорошо, — ответила я

Тогда наконец поднялась моя бедная упорная гостья.

— До свиданья, — растерянno пролепетала она.

— Ах, я очень жалею, что должна торопиться, — светским тоном ответила я. — Надеюсь, когда-нибудь вы еще доставите мне удовольствие, мадам... мадам...

— Балюстрадава, — подсказала дама и облизнулась как кот.

И в тот же миг влетел в комнату запыхавшийся журналист «Петербургской газеты»:

— Ради бога, умоляю! Всего два слова для нашей газеты. Я был уже два раза и все не заставлял! Клянусь, только два слова.

Пока он суетился, Балюстрадава успела уйти. Беседу с журналистом прервала горничная, передав мне огромную коробку и письмо, принесенные посыльным.

И то и другое оказалось от Аверченко. В коробке — ливонские вишни от Иванова, в письме — загадка: «В отча-

янье, что так и не успел забежать к вам сегодня — задержали в типографии».

Это вступление очень удивило меня. Аверченко никогда не бывал на таких вторниках и я совсем его и не ждала.

Читаю дальше:

«Целую ваши ручки и по-товарищески очень прошу передать тем, кто у вас сидит, что я целую их ручки и умоляю их сказать мне поскорее по телефону, как они к этому отнеслись».

«Эге! — думаю. — Это, значит, было условленное свидание с обращенной на путь истины Балюстрадовой. Ну так подожди же».

— Это письмо от Аверченко, — сказала я репортеру. — И, признаюсь, очень странное письмо. Наверное, оно и вас удивит. Аверченко просит меня передать вам, что он целует ваши ручки и умоляет, чтобы вы поскорее сказали ему по телефону, как вы к этому относитесь.

— Это... это... — растерялся репортер. — Это форменное декадентство. Боже мой! Боже мой! Что же мне теперь делать?

— А уж это ваше дело, — холодно сказала я.

И с чувством исполненного долга принялась за конфеты. Ведь он же не назвал Балюстрадову, а написал: «тем, кто у вас сидит».

А сидел репортер.

Не знаю, чем это дело кончилось, но до сих пор считаю, что поступила правильно и по-товарищески.





## У Леонида Андреева

была в Финляндии собственная дача — «Белая Ночь». Он там и жил со своей многочисленной семьей.

Я не любила эти загородные поездки. Всегда было холодно, всегда скучно.

Леонид Андреев вставал в 8 часов вечера. Ходил по своему длинному темному кабинету, увешанному собственными произведениями, — он был недурной художник-любитель. Картины эти были всегда завешаны темными занавесками, которые он отдергивал только перед избранными.

Он много и хорошо рассказывал. Шагал по своему темному кабинету и рассказывал.

Произведения свои он диктовал переписчице по нотам.

Шагал по темному кабинету — маленькая лампочка горела только около пишущей машинки. Все располагало к глубокой неврастении.

Он обожал свою старушку мать. Подшучивал над нею. Привязывал к ее ночным туфлям длинные нитки и подсматривал в щелку двери. Только что старуха наладится надеть туфли, он дернет нитки — и туфли побегут вон из комнаты. Или соберет в передней все калоши и повесит их на верхнюю вешалку, предназначенную для шляп, а потом сам и спросит:

— Куда это калоши делись?

Старушка побежит искать.

— Да ты посмотри, что тут делается! — кричит он. — Подыми голову!

Та, конечно, ахает, удивляется, пугается — может быть, просто в угоду ему. Они трогательно любили друг друга.

Он очень тяжело переживал войну. С нетерпением ждал газет. У него было плохое сердце, и эти волнения доконали его. Когда он умер, старушка мать ходила на могилу с газетами и читала ему вслух. Потом рассказывали, будто она повесилась. Не знаю.

Во время нашего знакомства он был уже в зените славы, а с такими захваленными людьми общаться трудно.

Но в славе его было много горького.

Русская слава далеко не похожа на славу европейскую. В Европе народ любит своих героев. Россия их не любила. Она любила только глазеть на них в театрах, на собраниях. Такое глаzenie и вызвало знаменитый вопль Горького:

— Чего вы на меня смотрите? Я не балерина и не утопленник.

Окружали и смотрели беззастенчиво, невежливо, тупо. Кажется, даже обменивались вслух замечаниями. Это раздражало. Герой делал вид, что не замечает, но невольно жесты его делались неестественными, голос — фальшивым. И получалось впечатление, что он кривляется.

Но только в этом и выражалось поклонение толпы. Зато с какой радостью подхватывались слухи, что он любит выпить, или играет в карты, или изменяет жене: «Э, не лучше нас, грешных, а туда же, лезет в знаменитости».

Письма герой получает большей частью ругательные или, в лучшем случае, назидательные, так сказать, направляющие на правильный путь...

— Я уж от него почту прячу, — говорила мать Леонида Андреева. — У него сердце больное, а они все бранятся и бранятся — и чего только им нужно?

Он и сам жаловался:

— Господи! И как им всем не стыдно, и как им всем не лень! Ни одной почты без ругательного письма не обходится.

— Ничего, голубчик, радуйтесь, это и есть популярность. Бездарности писем не получают.

Да, ничего не поделаешь. Недаром Пушкин предупреждал:

Поэт! не дорожи любовью народной.  
Восторженных похвал пройдет минутный шум;  
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной...

Но письма пишут, именно когда герой находится в зените славы. Вероятно, чтобы не зазнавался.

\*\*\*

Как-то повел меня Леонид Андреев в свою ложу на премьеру своей пьесы, называлась она, кажется, «Великие тени». Она недолго продержалась в репертуаре, но была интересна. Навеяна Достоевским, его типами, и рассказывала почти его жизнь.

Автор сидел рядом со мной и держался на редкость спокойно. Мне это понравилось.

\*\*\*

До сих пор не могу понять, почему вся эта группа знаменитых писателей так странно одевалась. Я понимаю еще уайльдовцев, которые носили байроновские воротники. Это было романтично, и хотя глупо, но красиво. А эти косоворотки, суконные блузы, ременные кушаки. Некрасиво и крайней необходимостью не вызвано. Блузу носил Горький, носил Скиталец, Андреев, Арцыбашев. Мелкая сошка не носила. Не смела. (Куда лезешь!)

Немудрено поэтому, что публика собиралась и глазела.

Иногда между ругательными письмами прославленные писатели получали дамские истерики: «Хочу иметь от вас гениального сына, не откладывайте».

Леонида Андреева Россия любила. Слава пришла к нему бурным потоком, поэтому и письма хлынули дождем.

Между прочим, вполне в натуре русского человека от восторга выругаться:

— Ах, черт его распронадери, до чего он, однако, талантлив!

Но письма диктовались все-таки не восторгом, а откровенной злостью:

— Возомнил себя гением. А вот мне и не нравится.

От писателя требовали не только таланта, но еще и высокой нравственной жизни. Писатель должен быть



мудрым учителем. Даже к веселому Аверченко приходили люди решать сложные проблемы бытия:

— Как жить? Научите!

А если учитель не на высоте, ему не сдобровать:

— Написал рассказ про бедного ребеночка, а сам, говорят, жену бросил.

«...Ты царь. Живи один...»

Трудно.





## К Бальмонту у нас

особое чувство. Бальмонт был наш поэт, поэт нашего поколения. Он — наша эпоха. К нему перешли мы после классиков, со школьной скамьи. Он удивил и восхитил нас своим «перезвоном хрустальных созвучий», которые влились в душу с первым весенним счастьем.

Теперь некоторым начинает казаться, что не так уж велик был вклад бальмонтовского дара в русскую литературу. Но так всегда и бывает. Когда рассеется угар влюбленности, человек с удивлением спрашивает себя: «Ну чего я так бесновался?» А Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все, от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии, знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки:

Открой мне счастье,  
Закрой глаза...

Либеральный оратор вставлял в свою речь:  
— Сегодня сердце отдам лучу...

А ответная рифма звучала на полустанке Жмеринка-товарная, где телеграфист говорил барышне в мордовском костюме:

— Я буду дерзок — я так хочу.

У старой писательницы Зои Яковлевой, собиравшей у себя литературный кружок, еще находились недовольные декаденты, не желающие признавать Бальмонта замечательным поэтом. Тогда хозяйка просила молодого драматурга Н. Евреинова прочесть что-нибудь. И Еврей-

нов, не называя автора, декламировал бальмонтовские «Камыши».

Камыш-ш-ши шуршат...  
Зачем огоньки между ними горят...

Декламировал красиво, с позами, с жестами. Слушатели в восторге кричали: «Чье это? Чье это?»

— Это стихотворение Бальмонта, — торжественно объявляла Яковлева.

И все соглашались, что Бальмонт прекрасный поэт. Потом пошла эпоха мелодекламации.

В моем саду сверкают розы белые,  
Сверкают розы белые и красные,  
В моей душе дрожат мечты несмелые,  
Стыдливые, но страстные.

Декламировала Ведринская. Выступали Ходотов и Вильбушевич.

Ходотов пламенно безумствовал, старательно пряча рифмы. Актерам всегда кажется, что стихотворение много выиграет, если его примут за прозу. Вильбушевич разделявал тремоло и изображал море хроматическими гаммами. Зал гудел восторгом.

Я тоже отдала свою дань. В 1916 году в Московском Малом театре шла моя пьеса «Шарманка Сатаны». Первый акт этой пьесы я закончила стихотворением Бальмонта. Второй акт начала продолжением того же стихотворения. «Золотая рыбка». Уж очень оно мне понравилось. Оно мне нравится и сейчас.

В замке был веселый бал,  
Музыканты пели.  
Ветерок в саду качал  
Легкие качели.  
И кружились под луной,  
Словно вырезные,  
Опьяненные весной  
Бабочки ночные.  
Пруд качал в себе звезду,

Пнулись травы зыбко,  
И мелькала там в пруду  
Золотая рыбка.  
Хоть не видели ее  
Музыканты бала,  
Но от рыбки, от нее  
Музыка звучала... И т. д.

Пьеса была погружена в темное царство провинциального быта, тупого и злого. И эта сказка о рыбке такой милой, легкой, душистой струей освежала ее, что не могла не радовать зрителей и не подчеркивать душевной атмосферы изображаемой среды.

Бывают стихи хорошие, отличные стихи, но проходят мимо, умирают бесследно. И бывают стихи как будто банальные, но есть в них некая радиоактивность, особая магия. Эти стихи живут. Таковы были некоторые стихи Бальмонта.

Я помню, приходил ко мне один большевик — это было еще до революции. Большевик стихов вообще не признавал. А тем более декадентских (Бальмонт был декадентом). Из всех русских стихов знал только Некрасовское:

От ликующих, праздно болтающих,  
Обагряющих руки в крови,  
Уведи меня в стан погибающих...

Прочел, будто чихнул четыре раза.

Взял у меня с полки книжку Бальмонта, раскрыл, читает:

Ландыши, лютики, ласки любовные,  
Миг невозможного, счастья миг.

— Что за вздор, — говорит. — Раз невозможно, так его и не может быть. Иначе оно делается возможным. Прежде всего надо, чтобы был смысл.

— Ну, так вот слушайте, — сказала я. И стала читать:

Я дам тебе звездную грамоту,  
 Подножием сделаю радугу,  
 Над пропастью дней многогромную  
 Твой терем высоко взнесу...

— Как? — спросил он. — Можно еще раз?  
 Я повторила.  
 — А дальше?  
 Я прочитала вторую строфу и потом конец:

Мы будем в сиянии и пении  
 Мы будем в последнем мгновении  
 С лицом, обращенным на юг.

— Можно еще раз? — попросил он. — Знаете, это удивительно! Собственно говоря, смысла уловить нельзя. Я, по крайней мере, не улавливаю. Но какие-то образы возникают. Интересно — может, это дойдет до народного сознания? Я бы хотел, чтобы вы мне записали эти стихи.

Впоследствии, во время революции, мой большевик выдвинулся, стал значительной персоной и много покровительствовал братьям-писателям. Это действовала на него магия той звездной грамоты, которую понять нельзя.

\*\*\*

Бальмонта часто сравнивали с Брюсовым. И всегда приходили к выводу, что Бальмонт истинный вдохновенный поэт, а Брюсов стихи свои высиживает, вымучивает. Бальмонт творит, Брюсов работает. Не думаю, чтобы такое мнение было безупречно верно. Но дело в том, что Бальмонта любили, а к Брюсову относились холодно.

Помню поставили у Комиссаржевской «Пелеаса и Мелисанду» в переводе Брюсова. Брюсов приехал на премьеру и во время антрактов стоял у рампы лицом к публике, скрестив руки, в позе своего портрета работы Врубеля. Поза, напыщенная, неестественная и для театра совсем уж неуместная, привлекала внимание публики, не знавшей Брюсова в лицо. Пересмеиваясь, спрашивали друг друга: «Что означает этот курносый господин?»

Ожидавший оваций Брюсов был на Петербург обижен.

## Как встретила я с Бальмонтом

Прежде всего встретила я с его стихами. Первое стихотворение, посвященное мне, было стихотворение Бальмонта.

Тебя я хочу, мое счастье,  
Моя неземная краса.  
Ты солнце во мраке ненастья,  
Ты жгучему сердцу роса.

Посвятил мне это стихотворение не сам Бальмонт, а кадет Коля Никольский, и было мне тогда четырнадцать лет. Но на разлинованной бумажке, на которой старательно было переписано это стихотворение, значилось «посвящается Наде Лохвицкой». И упало оно, перелетев через окно, к моим ногам, привязанное к букетику полуувядших ландышей, явно выкраденных из вазы Колиной тетки. И все это было чудесно. Весна, ландыши, моя неземная краса (с двумя косичками и веснушками на носу).

Так вошел в мою жизнь поэт Бальмонт.

Потом, уже лет пять спустя, я познакомилась с ним у моей старшей сестры Маши (поэтессы Мирры Лохвицкой). Его имя уже гремело по всей Руси. От Архангельска до Астрахани, от Риги до Владивостока, вдоль и поперек читали, декламировали, пели и выли его стихи.

— Si blonde, si gale, si femme, — приветствовал он меня.

— А вы si monsieur, — сказала сестра.

Знакомство было кратковременным. Бальмонт, вероятно, неожиданно для самого себя, написал стихотворение, подрывающее монархические основы страны, и спешно выехал за границу.

Следующая встреча была уже во время войны, в подвале «Бродячей Собаки». Его приезд был настоящая сенсация. Как все радовались!

— Приехал! Приехал! — ликовала Анна Ахматова. — Я видела его, я ему читала стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух поэтесс — Сафо и Мир-

ру Лохвицкую. Теперь он узнал третью — меня, Анну Ахматову.

Его ждали, готовились к встрече, и он пришел.

Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес золотой венец славы. Шея его была дважды обернута черным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные рыжеватые волосы.

За ним — его верная тень, его Елена, существо маленькое, худенькое, темнолицое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту.

Его встретили, его окружили, его усадили, ему читали стихи. Сейчас образовался истерический круг почитательниц — «жен мироносиц».

— Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь, — повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама.

Обезумев от любви к поэту, она забыла, что «Бродячая Собака» находится в подвале и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти, и то с трудом и без всякой опасности для жизни.

Бальмонт отвечал презрительно:

— Не стоит того. Здесь недостаточно высоко.

Он, по-видимому, тоже не сознавал, что сидит в подвале.

\*\*\*

Бальмонт любил позу. Да это и понятно. Постоянно окруженный поклонением, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови.

Но его выдавал его смех. Смех его был добродушный, детский и какой-то беззащитный. Этот детский смех его объяснял многие нелепые его поступки. Он, как ребенок, отдавался настроению момента, мог забыть данное обещание, поступить необдуманно, отречься от истинного. Так, например, во время войны 14-го года, когда в Москву и Петербург нахлынуло много польских беженцев, он на каком-то собрании в своей речи выразил негодование, почему мы все не заговорили по-польски.

— Они среди нас уже почти полгода, за это время можно было успеть научиться даже китайскому языку.

Когда он уже после войны ездил в Варшаву, его встретила на вокзале группа русских студентов и, конечно, приветствовала его по-русски. Он выразил неприятное удивление:

— Мы, однако, в Польше. Почему же вы не говорите со мной по-польски?

Студенты (они потом мне об этом рассказывали) были очень расстроены:

— Мы русские, приветствуем русского писателя, вполне естественно, что мы говорим по-русски.

Когда узнали его ближе, конечно, простили ему все. Для Бальмонта было естественным в Польше проникнуться всем польским. В Японии он чувствовал себя японцем, в Мексике — мексиканцем, ясно, что в Варшаве он был поляком.

Случилось мне как-то завтракать с ним и с профессором Е. Ляцким. Оба хорохорились друг перед другом, хвастаясь своей эрудицией и, главное, знанием языков.

Индивидуальность у Бальмонта была сильнее, и Ляцкий быстро подпал под его влияние, стал манерничать и тянуть слова.

— Я слышал, что вы свободно говорите на всех языках, — спрашивал он.

— М-м-да, — тянул Бальмонт. — Я не успел изучить только язык зулю (очевидно, зулусов). Но и вы тоже, кажется, полиглот?

— М-м-да, я тоже плохо знаю язык зулю, но другие языки уже не представляют для меня трудности.

Тут я решила, что мне пора вмешаться в разговор.

— Скажите, — спросила я деловито, — как по-фински «четырнадцать»?

Последовало неловкое молчание.

— Оригинальный вопрос, — обиженно пробормотал Ляцкий.

— Только Тэффи может придумать такую неожиданность, — деланно засмеялся Бальмонт.

Но ни тот ни другой на вопрос не ответили. Хотя финское «четырнадцать» и не принадлежало к зулю.

Последние годы жизни Бальмонт много занимался переводами.



Переводил ассирийские псалмы (вероятно, с немецкого). Я когда-то изучала религии Древнего Востока и нашла в работах Бальмонта очень точную передачу подлинника, переложенного в стихотворную форму.

Переводил он почему-то и малостоящего чешского поэта Верхлицкого. Может быть, просто по знакомству.

— Кошка, кошка, куда ты идешь?

— Я иду в колодезь.

— Кошка, кошка, зачем ты идешь в колодезь?

— Пить молоко.

Когда он читал вслух, кошка всегда отвечала жеманно-обиженным тоном. Пожалуй, можно было бы и не переводить.

Переводы Бальмонта были вообще превосходны. Нельзя не упомянуть его Оскара Уайльда или Эдгара По.

\*\*\*

В эмиграции Бальмонты поселились в маленькой меблированной квартире. Окно в столовой было всегда завешано толстой бурой портьерой, потому что поэт разбил стекло. Вставить новое стекло не имело никакого смысла — оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно.

— Ужасная квартира, — говорили они. — Нет стекла и дует.

В «ужасной квартире» жила с ними их молоденькая дочка Мирра (названная так в память Мирры Лохвицкой, одной из трех признаваемых поэтесс), существо очень оригинальное, часто удивлявшее своими странностями. Как-то в детстве разделась она голая и залезла под стол, и никакими уговорами нельзя было ее оттуда вытащить. Родители решили, что это, вероятно, какая-то болезнь, и позвали доктора.

Доктор, внимательно посмотрев на Елену, спросил:

— Вы, очевидно, ее мать?

— Да.

Еще внимательнее — на Бальмонта:

— А вы отец?

— М-м-м-да.

Доктор развел руками:

— Ну так чего же вы от нее хотите?

Еще жила вместе с ними Нюшенька, нежная, милая женщина с огромными восхищенно-удивленными серыми глазами. В дни молодости влюбилась она в Бальмонта и так до самой смерти и оставалась при нем, удивленная и восхищенная. Когда-то очень богатая, она была совсем нищей во время эмиграции и, чахоточная, больная, все что-то вышивала и раскрашивала, чтобы на вырученные деньги делать Бальмонтам подарки. Она умерла раньше них.

Как нимб, любовь, твое сиянье

Над каждым, кто погиб, любя.

Ни к какому поэту не подходило так стихотворение «Альбатрос», как к Бальмонту.

Величественная птица, роскошно раскинув могучие крылья, парит в воздухе. Весь корабль благоговейно любит ее божественной красотой. И вот ее поймали, подрезали крылья — и смешная, громоздкая, неуклюжая, шагает она по палубе под хохот и улюлюканье матросов.

Бальмонт был поэт. Всегда поэт. И поэтому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего гонорара, он называл «убийцей лебедей». Деньги называл «звнящие возможности».

— Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине, — говорил он своей Елене.

Как-то, рассказывая, как кто-то рано к ним пришел, он сказал:

— Елена была еще в своем ночном лике.

Звнящих возможностей было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой застиранной бумазейной кофтенке. И получилось смешно. Так шагал по палубе великолепный Альбатрос.

Но полюбившие его женщины подрезанных крыльев уже не видели. Им эти крылья казались всегда широко раскинутыми, и солнце благословенно сияет над ними.

Как мог бы говорить он, чародей-поэт, простым пошлым языком?

И близкие тоже говорили с ним и о нем превыспренне. Елена никогда не называла его мужем. Она говорила — «поэт».

Простая фраза «Муж хочет пить» на их языке произносилась как «Поэт желает утолиться влагой».

Мироносицы старались по мере сил и возможности выражаться так же. Можно себе представить, какой получался бедлам. Но все это было искренне и называлось самой глубокой и восторженной любовью. Так любящие матери говорят с ребенком на «его» языке. «Бо-бо» — вместо «больно», «баиньки» — вместо «спать», «бьяка» — вместо «плохой». Чего только не проделывает любовь с бедным человеческим сердцем.

\*\*\*

Ко мне он относился очень неровно. То почему-то дулся, словно ждал от меня какой-то обиды. То был чрезвычайно приветлив и ласков.

— Вы ездили в Виши?

— Да, ездила. Только что вернулась.

— Гоняетесь за уходящей молодостью? (Это, очевидно, «хочу быть дерзким!»)

— Ах, что вы. Как раз наоборот. Все время ищу благодатную старость.

И вдруг лицо Бальмонта делается беззащитно-детским, и он смеется.

То вдруг восхитился моим стихотворением «Черный корабль» и дал мне за него индульгенцию — отпущение грехов:

— За это стихотворение вы имеете право убить двух человек.

— Неужели двух? — обрадовалась я. — Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь.

\*\*\*

Бальмонт хорошо рассказывал, как ему поручил Московский Художественный театр вести переговоры с Метерлинком о постановке его «Синей Птицы».

— Он долго не пускал меня, и слуга бегал от меня к нему и пропадал где-то в глубине дома. Наконец слуга впустил меня в какую-то десятую комнату, совершенно пустую. На стуле сидела толстая собака. Рядом стоял Метерлинк. Я изложил предложение Художественного театра. Метерлинк молчал. Я повторил. Он продолжал молчать. Тогда собака залаяла, и я ушел.

\*\*\*

Последние годы своей жизни он сильно хворал. Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала.

Я декламировала его стихи и рассказала с эстрады, как когда-то магия этих стихов спасла меня.

Это было в разгар революции. Я ехала ночью в вагоне, битком набитом полуживыми людьми. Они сидели друг на друге, стояли, качаясь, как трупы, и лежали вповалку на полу. Они кричали, громко плакали во сне. Меня давил, наваливаясь мне на плечо, страшный старик с открытым ртом и закатившимися белками глаз. Было душно и смрадно, и сердце мое колотилось и останавливалось. Я чувствовала, что задохнусь, что до утра не дотяну, и закрыла глаза.

И вдруг запелось в душе стихотворение, милое, наивное, детское:

В замке был веселый бал,  
Музыканты пели...

Милый Бальмонт!

И вот нет смрадного хрипящего вагона. Звучит музыка, бабочки кружатся и мелькает в пруду волшебная рыбка.

И от рыбки, от нее  
Музыка звучала...

Прочту — и начинаю сначала. Как заклинание.  
Милый Бальмонт!

Под утро наш поезд остановился. Страшного старика вынесли, синего, неподвижного. Он, кажется, уже умер. А меня спасла магия стиха.

Я рассказывала об этом чуде и смотрела в тот уголок, где тихо плакала Елена.





## В Петербурге мы

с Зинаидой Гиппиус были мало знакомы. Встречались мельком на разных собраниях. Но вплотную и пренепрятно произошла наша встреча на страницах газеты «Речь».

Мне поручили написать отзыв о только что вышедшей книге стихов А.Белого. Кажется, она называлась «Пепел». Книга мне не понравилась.

Это была какая-то неожиданная некрасовщина, гражданская скорбь и гражданское негодование, столь Белому несвойственное, что некоторые места ее казались прямо пародией. Помню «ужасную» картину общественного неравенства: на вокзале полицейский уплетает отбивную котлету, а в окне на этот Валтасаров пир смотрит голодный человек. Рассказываю, как удержала память, а перечитывать эту книгу желания никогда не было.

Отзыв я о ней дала соответствующий впечатлению.

Через несколько дней звонят ко мне по телефону из «Речи».

З.Гиппиус прислала статью по поводу моего отзыва, очень мною недовольна. П.Н. Милюков\*\* предлагает прислать мне сейчас же эту статью, чтобы я могла на нее ответить в том же номере. Это была со стороны Милюкова исключительная ко мне любезность.

\* Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — поэтесса, прозаик, критик (писала под псевдонимом Антон Крайний). Жена Д.Мережковского. Автор многих сборников стихотворений, романов «Чертова кукла», «Роман-царевич», книги статей «Живые лица», книги «Петербургские дневники. 1914—1919» и др.

\*\* Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов. В 1917 году — министр иностранных дел Временного правительства. После 1917-го — в эмиграции.

Я поблагодарила, прочла статью Гиппиус и в том же номере ответила. Ответила так зло, как со мною редко бывало. Но столкновение это ни в ней, ни во мне обиды не оставило.

Близкое знакомство наше состоялось уже во время экзода в Биаррице.

Там мы встречались очень часто и много беседовали. Затем в Париже, после смерти Мережковского, завязалось у нас нечто вроде дружбы. Зинаида Николаевна писала мне: «Всегда ищу предлога прийти к вам». Иногда мы переписывались в стихах.

\*\*\*

Зинаида Гиппиус была когда-то хороша собой. Я этого времени уже не застала. Она была очень худая, почти бестелесна. Огромные, когда-то рыжие волосы были странно закручены и притянуты сеткой. Щеки накрашены в ярко-розовый цвет промокательной бумаги. Косые зеленые, плохо видящие глаза.

Одевалась она очень странно. В молодости оригинальничала: носила мужской костюм, вечернее платье с белыми крыльями, голову обвязывала лентой с брошкой на лбу. С годами это оригинальничанье перешло в какую-то ерунду. На шею натягивала розовую ленточку, за ухо перекидывала шнурок, на котором болтался у самой щеки монокль.

Зимой она носила какие-то душегрейки, пелеринки, несколько штук сразу, одна на другой. Когда ей предлагали папироску, из этой груды мохнатых оберток быстро, как язычок муравьеда, вытягивалась сухонькая ручка, цепко хватала ее и снова втягивалась.

\*\*\*

Когда нас выселили из «Мезон Баск», Мережковским повезло. Они нашли чудесную виллу с ванной, с центральным отоплением. А мне пришлось жить в квартире без всякого отопления. Зима была очень холодная. От мороза в моем умывальнике лопнули трубы, и я всю ночь собирала губкой ледяную воду, и вокруг меня плавали мои туфли, коробки, рукописи, и я громко плакала. А в дверях стояла французская дура и советовала всегда

жить в квартирах с отоплением. Я, конечно, простудилась и слегла. Зинаида Гиппиус навещала меня и всегда с остро-садическим удовольствием рассказывала, как она каждое утро берет горячую ванну, и как вся вилла их на солнце, и она, Зинаида Николаевна, переходит вместе с солнцем из одной комнаты в другую, так как у них есть и пустые комнаты.

В одном из своих стихотворений она говорит, что любит игру. Если в раю нет игры, то она не хочет рая. Вот эти некрасивые выходки, очевидно, и были ее «игрой».

Бывала у них в Биаррице пожилая глуповатая дама, довольно безобидная. Говорила, когда полагается, «мерси», когда полагается — «пардон». Когда читали стихи, всегда многозначительно отзывалась: «Это красиво». И вот З.Гиппиус принялась за эту несчастную:

— Скажите, какая ваша метафизика?

Та испуганно моргала.

— Вот я знаю, какая метафизика у Дмитрия Сергеевича и какая у Тэффи. А теперь скажите, какая у вас.

— Это... это... сразу трудно.

— Ну чего же здесь трудного? Скажите прямо.

Я поспешила отвлечь внимание З.Н. Когда уходили, дама вышла вместе со мной.

— Скажите, у вас есть Ларусс? — спросила она.

— Есть.

— Можно вас проводить?

— Пожалуйста.

Зашла ко мне.

— Можно заглянуть на минутку в ваш Ларусс?

Я уже давно поняла в чем дело:

— Вам букву «М»?

— Н-да. Можно и «М».

Бедняжка смотрела «метафизику». Но все же следующее воскресенье предпочла пропустить. А я за это время утомонила З.Н.

— Мучить Е.П. — все равно что рвать у мухи лапки.

З.Н. говорила с презрением:

— Ну, вы! Добренькая!

Человеку всегда обидно, когда его считают слабеньким, и я защищалась:



— Я бы поняла, если бы вы пошли на медведя с рога-тиной. Но когда лапки у мухи — меня тошнит. Это неэстетично.

Любопытно было отношение Мережковских ко всякой нежити. Привидения-оборотни — вся эта компания принималась ими безоговорочно.

Вспоминается по этому поводу одна наша беседа, короткая, но требующая длинного предисловия.

Был тихий туманный день. На пляже народу не было. Бродили только немецкие солдаты. Я хотела было выкупаться, но какая-то густая, черная, жирная грязь сразу облепила ноги. Никак нельзя было ее отмыть. И вдоль всего берега лежала она волнистой каймой, прибиваемая приливом. Солдаты тоже заметили ее и что-то между собой говорили.

— Что это такое? — спросила я.

— Ein Schiff ist kaputt!\* — отвечали они, переглянулись и замолчали.

И я знала, что они подумали то же, что и я. Да, это мазут с погибшего корабля. Взорванного. Если бы просто утонул, не вытек бы мазут. Чей? Свой? Чужой? Из какого далека принес океан эту черную весть, черную кровь корабля, разлив ее по всему берегу?

Вечером я пошла одна на пляж. Села на скамейку. Недалеко от меня сидели три немца. Разговаривали весело, судя по звуку голоса — слова до меня не долетали. Было почти темно. Звезд видно не было. Туманная мгла покрывала и небо, и море. Только там, где выступали из воды острые ребра подводных скал, металась, полоскалась белесым платком невысокая пена прибоя. И вот показалось мне, будто там, около дальней скалы, быстро взметнулись широко раскинутые руки. Точно выплеснуло кого-то из черной воды. Взметнулось и исчезло. И вот и у другого камня, левее, взметнулись такие же руки, широко раскинулись и исчезли. И снова на прежнем месте. И вот еще ближе к берегу. И все это так быстро, едва можно уловить движение, почти не улавливая формы.

И вдруг веселые солдаты замолчали. Сразу. Точно оборвали. И совсем затихли, не шевелятся. И чувствовалось,

---

\* Корабль какой-то погиб! (нем.)

что они тоже смотрят и тоже видят. И такая неизъяснимая жуткая тоска была в этой медленно спускающейся тусклой ночи и в этих испуганно замолкших людях, которым кажется — конечно, кажется, — что из моря посылают им какой-то отчаянный призыв. И всему этому есть название, уже весь день мучившее меня, то, которое я слышала утром, — «Ein Schiff ist kaput».

Вот это что: «Ein Schiff ist kaput». Немцы встали и молча быстро, все ускоряя шаги, ушли. Мы тогда еще жили в «Мезон Баск». Возвращаясь к себе, я проходила мимо комнаты Мережковских. Голос Дмитрия Сергеевича гудел на весь коридор:

— Зина, ты к ней стучалась три раза. Она просто не хочет тебя впустить. Куда же она могла уйти так поздно?

Я поняла, что речь идет обо мне, постучала и вошла.

Мережковский сидел с полицейским романом. Гиппиус расчесывала свои русалочьи волосы.

Я взволнованно рассказала о ночи, о море, о пене прибоя, как зовущие руки, о смолкших солдатах.

Мережковский на минуту оторвался от чтения:

— Чего же здесь удивительного? Это просто были мертвецы.

— Ну конечно, — спокойно подтвердила Зинаида Николаевна. — Ведь они же утонули. Это и были утопленники.

— Ее удивляет, что мертвецы протягивают руки!

Он с недоумением пожал плечами и уткнулся в полицейский роман.

\*\*\*

На своей красивой вилле Мережковские прожили всю зиму. Наконец владелец написал им, что денег с них не требует, но очень просит выехать, потому что у него появилась возможность выгодно виллу сдать. Пришлось переехать в пансион.

— Но ведь там очень дорого, — удивилась я.

Зинаида Николаевна махнула рукой:

— Хозяйка говорит, что сразу денег требовать не будет. Ну а потом...

И она снова махнула рукой.

Их денежные дела были очень плохи. Из Парижа шли вести, что их квартиру хотят описывать за неплатеж. Вот

уж действительно, никто не посмеет сказать, что Мережковские «продались» немцам. Как сидели без гроша в Биаррице, так и вернулись без гроша в Париж. Снисходительность Мережковского к немцам можно было бы объяснить только одним — «Хоть с чертом, да против большевиков». Прозрение в Гитлере Наполеона затуманило Мережковского еще до расправы с евреями. Юдофобом Мережковский никогда не был. Я помню, как-то сидел у него один старый приятель и очень снисходительно отзывался о гитлеровских зверствах. Мережковский возмутился:

— Вы дружите с Ф. Вы, значит, были бы довольны, если бы его как еврея арестовали и сослали в лагерь?

— Если это признают необходимым, то я протестовать не стану.

Мережковский молча встал и вышел из комнаты. Когда его пошли звать к чаю, он ответил:

— Пока этот мерзавец сидит в столовой, я туда не пойду.

После смерти Мережковского этот самый гитлерофил просил разрешения у З.Гиппиус прийти к ней выразить свое сочувствие. Она ответила:

— Это совершенно лишнее,

\*\*\*

В Биаррице была хорошая русская церковь, но Мережковские в нее не ходили. Они ходили в католическую. Раз я уговорила их пойти на пасхальную заутреню. Мережковскому очень понравилось, как батюшка служит:

— Он так пластично танцевал перед алтарем.

Я уже жалела, что повела его.

Он был очень доволен этой фразой и часто ее повторял. И я всегда думала: «Господи, хоть бы он перестал!»

Они любили католическую святую маленькую Терезу из Лизье. В парижский квартире у них стояла ее статуэтка, и они приносили ей цветы.

\*\*\*

После смерти Дмитрия Сергеевича мы сошлись ближе с Зинаидой Николаевной. Мне всегда было с ней интересно. И лучше всего — когда мы оставались с ней вдвоем или втроем. Третьим был очаровательный И.Г. Лорис-Меликов, старый дипломат, человек блестяще, всесто-

ронне образованный. Он великолепно знал мировую классическую литературу, старых и новых философов и учил З.Гиппиус мольеровскому стихосложению.

Я ценила нашу дружбу. У Зинаиды Николаевны народ собирался по воскресеньям, но тесный кружок — тайно по средам. К ней можно было прийти, без всяких светских предисловий сказать то, что сейчас интересует, и начать длинный, интересный разговор.

Иногда приходил на «тайные» сборища и ее друг, поэт Мамченко. Он был очень нервный, и споры с З.Н. происходили у них пылкие и иногда очень занятные. Она совсем плохо слышала, и Мамченко горячился и надрывался, а она спокойно и упрямо настаивала на своем, не слушая, вернее, не слыша его.

— Зинаида Николаевна, вы притворяетесь!.. Вы отлично слышите! Боже мой! Это не Кьеркегор, это философское воскрешение мертвых Федорова... вы нарочно!

— Никогда ничего подобного Розанов не писал, — спокойно цедила Гиппиус.

— Господи! Да при чем тут Розанов? — надрывался Мамченко. — Вы все это нарочно!.. Вы отлично меня слышите.

— Никогда Розанов этого не писал.

— Господи! Это в вас злая воля! Вы просто не хотите слышать.

— Никогда Розанов...

Как знать, может быть, и правда слышала и только устраивала свою «игру» Белой Дьяволицы.

Они очень дружили.

— Это мой друг номер первый, — говорила она.

И он был предан ей до конца последних дней ее жизни.

\*\*\*

Как-то зашел у нас разговор об одной общей знакомой, очень религиозной и чрезвычайно боящейся Страшного суда.

— А вы? — спросила я З.Н. — Вы боитесь Страшного суда?

— Я?!!

Она выразила и лицом, и жестами исключительное возмущение.

— Я? Вот еще! Скажите пожалуйста! Очень нужно!

Подобного презрения к загробной жизни я еще никогда не встречала.

Загробная жизнь ею не отрицалась, но чтобы Господь Бог взял на себя смелость судить Зинаиду Гиппиус, она же Антон Крайний, — это даже допустить было нелепо.

Где подход к этой душе? В каждом свидании ищу, ищу...

Кто-то прислал мне открытку. На ней мордочка милого котенка, умилительно детская, наивная, доверчивая... Показала Зинаиде Николаевне. И вдруг лицо у нее просветлело, совсем как при чтении хороших стихов. Она цепко схватила открытку:

— Я возьму себе.

— Хорошо, — согласилась я. — Но не навсегда, а только на просмотрение. Мне такая мордочка самой нужна.

Она унесла и долго не хотела возвращать.

«Вот, — подумала я. — Здесь некий ключ. Поищем дальше».

Как-то в одном моем стихотворении ее остановили слова о приснившемся мне тигренке, когда я была еще маленькой девочкой. Он помогал мне плести косичку.

И так заботился мило,  
Пушистый, тепленький зверь...

Вот это «пушистое и тепленькое» заставило ее улыбаться. И потом отметила я строки ее собственного стихотворения:

Хочу недостижимого,  
Чего, быть может, нет.  
Дитя мое любимое,  
Единственный мой свет.  
Твое дыхание нежное  
Я чувствую во сне,  
И покрывало снежное  
Легко и сладко мне.

Может быть, это ключ. «Дитя мое любимое, единственный мой свет...» Та нежность, которой для нее нет на

свете и о которой и говорить стыдится она, в своем пышном облике Белой Дьяволицы, со мной, с «добренькой» своей собеседницей. И всегда с тех пор замечала — все простое, милое, нежное, тепленькое всегда волновало ее, и волнение это она застенчиво прятала.

Мы много говорили о литературе. И, странно, почти всегда были согласны друг с другом. Как-то, рассуждая о современных писателях — кто из них талантлив, — в результате нашли, что, собственно говоря, все талантливы. Но, зайдя ко мне на следующий день, она радостно воскликнула:

— Нашла! Нашла!

— Кого? Что?

— Нашла бездарность. Неоспоримую.

И назвала имя. Действительно, спорить было нельзя.

— Вы странный поэт, — говорила я ей. — У вас нет ни одного любовного стихотворения.

— Нет есть.

— Какое же?

Единый раз вскипает пена  
И разбивается волна.  
Не может сердце жить изменой.  
Любовь одна...

— Это рассуждение о любви, а не любовное стихотворение. Сказали ли вы когда-нибудь в своих стихах «я люблю»?

Она промолчала и задумалась. Такого стихотворения у нее не было.

Мы часто и много говорили о поэтах. Одинаково признали лучшим поэтом эмиграции Георгия Иванова. Говорили о магии стихов, которую я называла радиоактивностью. Откуда она? В чем ее сила?

— Вот, — приводила я для примера известное стихотворение «Весна, выставляется первая рама...». Оно кончается словами:

Где, шествуя, сыплет цветами весна.

И именно эта фраза бесспорно радиоактивна. Почему? Может быть, потому, что все стихотворение простое, гово-

рит о простых вещах — о колесе, об оконной раме. И потом вдруг торжественное слово — «шествуя», и потом — «цветами», это ударение на широком «А» переключает все в мир восторга. Но ведь научиться этому нельзя и нарочно придумать невозможно. Это и есть «магия», дар.

Разбирая стихи, мы всегда были душевно вместе, и я думала: вот это то существо, та часть души З.Гиппиус, с которой я хочу общаться. Привыкнув ко мне, она перестала играть и фокусничать, была собеседницей умной, чуткой и всегда интересной. Она даже бросила свой прежний, всегда раздражающий тон, которым она давала понять, что у них с Дмитрием Сергеевичем давно все вопросы решены, все предусмотрено и даже предсказано. Надо заметить, что предсказания эти большей частью делались и записывались задним числом. Ну да это простительно.

\*\*\*

Как-то заговорили об эпохе Белой Дьяволицы.

— Мы с моей маленькой сестрой были потрясены вашим стихотворением:

Но люблю я себя, как Бога.  
Любовь мою душу спасет.

Ужасно это нам понравилось. Прямо пронзило. Потом-то уж вы нас ничем не удивляли.

— Это тогда вы носили мужской костюм и повязку с брошкой на лбу?

— Ну да. Я тогда любила эти фокусы.

— Да, это бывает, — вздохнула я. — А я в свое время носила часы на ноге и вместо лорнета — плоский аметист.

— Нерон носил изумруд.

— Аметист лучше. Это камень духовной чистоты. Он среди древних двенадцати камней первосвященника, а Папа благословляет каноников перстнем с аметистом.

Мудрых схимников лампада,  
Бледных девственниц услада,  
Радость тех, кто сердцем чист.  
Камень аметист.

Если смотреть через этот камень, то самая пошлая физиономия несколько преображается.

— А может быть, и нет, — вставила Белая Дьяволица.

В.Мамченко подарил Зинаиде Николаевне кошку. Кошка была безобразная, с длинным голым хвостом, дикая и злая. Культурным увещаниям не поддавалась. Мы называли ее просто «Кошшшка», с тремя «ш». Она всегда сидела па коленях у З.Н. и при виде гостей быстро шмыгала вон из комнаты. З.Н. привыкла к ней и, умирая, уже не открывая глаз, в полусознании, все искала рукой, тут ли ее Кошшшка.

Какие-то немцы, большей частью выходцы из России, писали ей почтительные письма. Как-то она прочла мне: «Представляю себе, как вы склоняете над фолиантами свой седой череп». Этот «седой череп» долго нас веселил.

Последние месяцы своей жизни З.Н. много работала, и все по ночам.

Она писала о Мережковском. Своим чудесным бисерным почерком исписывала она целые тетради, готовила большую книгу. К этой работе она относилась как к долгу перед памятью «Великого Человека», бывшего спутником ее жизни. Человека этого она ценила необычайно высоко, что было даже странно в писательнице такого острого, холодного ума и такого иронического отношения к людям. Должно быть, она действительно очень любила его. Конечно, эта ночная работа утомляла ее. Когда она чувствовала себя плохо, она никого к себе не допускала, никого не хотела.

Я очень жалела ее, но часто приходить не могла. Она почти совсем оглохла, И надо было очень кричать, что для меня было очень трудно.

Одно время она почувствовала себя лучше и даже сделала попытку собирать у себя кружок поэтов. Но это оказалось слишком утомительным, да и глухота мешала общению с гостями.

Как-то, после долгого отсутствия, зашла я к ней и узнала, что она решилась пойти к парикмахеру сделать «индефризабль», что очень плохо отразилось на ее здоровье. У нее отнялась правая рука.

— Это оттого, что Дмитрий Сергеевич, гуляя, всегда опирался на мою руку, — говорила она.



И мне казалось, что эта мысль ей приятна потому, что она давала желанный смысл и как бы освящала ее страдания.

Последние дни она лежала молча, лицом к стене, и никого не хотела видеть. Дикая кошка лежала рядом с ней.

В.А. Злобин говорил, что настроение у нее было очень тяжелое.

Вспоминалось ее чудесное стихотворение, написанное давно-давно. Она говорила о своей душе:

...И если боль ее земная мучит,  
Она должна молчать.  
Ее заря вечерняя научит,  
Как надо умирать.

О, если бы так! Не научили нас вечерние зори никогда ничему...

В последний раз увидела я ее лежащей среди цветов.

Ей покорно сложили тихие руки, причесали обычной ее прической. Чуть-чуть подкрасили щеки. Все как прежде. Но лоб ее, где когда-то красовалась декадентская повязка с брошкой, смиренно и мудро обвивал белый венчик с последней земной молитвой.

— Недолгий друг мой, — шептала я, — не были вы тепленькой. Вы хотели быть злой. Это ярче, не правда ли? А ту милую нежность, которую тайно любила ваша душа, вы стыдливо от чужих глаз прятали. Я помню ваше стихотворение об электрических проводах: в них да и нет.

Соединяясь, они сольются...  
И смерть их будет Свет.

Что мы знаем, недолгий друг мой? Может быть, за вашими холодными закрытыми глазами уже сияет этот тихий свет примирения с вечным...

Я нагнулась и поцеловала сухую мертвую ручку.



**В**се люди, наделенные талантом —

писатели, художники, поэты, композиторы, — отмечены в жизни особым знаком. Все они, по примеру Господа Бога творящие мир из ничего (ибо всякое творчество есть создание фантазии, то есть именно творение из ничего), непременно отличаются от людей обычного типа. И жизнь их если не внешне, то хотя бы внутренне всегда сложная, вся в срывах, взлетах, в запутанных петлях и для постороннего наблюдателя непонятна и неприемлема.

Многое, как и в жизни каждого человека, конечно, скрыто от чужого глаза, но биографы, принимающиеся изучать заинтересовавшего их талантливую человека, открывают иногда совершенно удивительные и странные черты, поступки и настроения. Все они, эти носители таланта (не в обиду будь им сказано, а в вознесение), все они с сумасшедшинкой.

Нельзя брать на себя безнаказанно миссию Господа Бога. За это накладывается на человека печать. Он должен платить. Поэтому и мерка, применяемая к нему, должна быть особая. Находя в нем то, что в обычном человеке считается пороком, надо понимать и принимать это как знак «плачу за избрание».

Многие писатели кончили настоящим сумасшествием: Стриндберг, Бальмонт, Мопассан, Гаршин, Ницше... Но и нормальные почти все были со странностями, которые удивляли бы в простом смертном, но в человеке талантливом особого внимания не привлекали.

— Чудит! Все они такие!

Творческая работа разбивает и измучивает человека до последнего предела. Один здоровенный молодой писатель-юморист жаловался, что даже он, закончив рассказ, весь дрожит и долго не может успокоиться.

Нервное напряжение во время работы у многих напоминает какое-то припадочное состояние, транс, при котором проявляются разные причуды. Один не может писать, если в комнате открыта дверь, другой — если в квартире никого нет. Третий может писать только в кафе на террасе, и чтобы мимо ходили люди. Леонид Андреев работал только ночью, шагал по большому темному кабинету и диктовал переписчице, сидевшей у крошечной лампочки. Достоевский диктовал лежа в постели, повернувшись лицом к стене. Эдгар По ставил ноги в холодную воду. Алексей Толстой клал на голову мокрую тряпку. Впрочем, легче перечислить писателей без причуд, чем с причудами.

Кое-кто из писателей рассказывал, что во время работы если ты, что называется вдохновением или фантазией, разгорается слишком сильно, то им овладевает такое чувство, будто он не может справиться с той волной, которая накатила на него. Именно «накатила», как на хлыстов во время радения. И тогда приходится бросать работу и немножко отходить. Хлынувшая на него волна как бы не им создана, а посылается неведомой силой, чтобы выявить себя, чтобы через него войти в мир. И не всегда может избранный с этой силой справиться.

Писателям любят давать добрые советы:

— Вот работайте здесь, на балкончике. Такой чудесный вид — море, горы. Подумайте, сколько это вам даст вдохновения.

Не понимают, что во время работы писатель не видит ни моря, ни гор, ни помойной ямы — ни-че-го. Он видит только то, куда его увело. И иногда из этого мира не сразу может вернуться в мир реальный.

Один писатель как-то растерянно спросил:

— Господи, да с каким же это я дураком весь день сегодня разговариваю?

И вдруг вспомнил:

— Ах да! Это я его утром в новом рассказе выдумал. Вот и ходит теперь за мной, и не отвязаться. Выдумал его на свою голову. Ну, что теперь? Надоел он мне!.. Напиться, что ли...

Ну и, конечно, напился. Не валерьянку же принимать. Уж очень было бы по-стародевически.

Люди, с писательской работой не знакомые, думают, что можно очень удачно сочинять, если хорошо выспался, погулял, подышал свежим воздухом, сел у окна и любуешься пейзажем. На это большинство писателей ответят воплем: «Ничего не сочинишь!»

Компилятивную работу, описание чужой жизни и трудов — это возможно. Но напряженную, творческую, вдохновенную — никогда.

Это, конечно, странно, но бессонная ночь, беспутная жизнь, суматоха, неразбериха, когда человеку мешают сесть за письменный стол, какие-нибудь полотеры грохочут в соседней комнате, — неожиданно разгорается фантазия, и человек ждет только момента, когда сможет устроиться и записать то, что «накатило». Устроится соответственно своим причудам и будет работать.

Трудная работа — писательское «святое ремесло». Частое, может быть, даже подвиг.

Поэтому судить их и человеческую жизнь их надо судом особым. Надо понимать.

И до того не похожа жизнь писателя на жизнь мирного обывателя, что вспоминается такая история: как-то в обществе приятный господин с круглой физиономией и веселыми глазами молодой собаки сказал:

— А мне ровно столько же лет, сколько Блоку.

И кто-то в ответ возмущенно буркнул:

— Что за вздор!

— Почему вздор? — удивился ровесник Блока. — Я родился в том же году, в том же месяце и того же числа.

— Да, но все-таки это совсем не то, — не сдавался буркнувший.

Ему до такой степени казалось невозможным, чтобы у этого господина было что-то общее с Блоком, что даже одинакового возраста душа его не принимала.

— Как так — не то?

— Не те годы прожиты. Счетом те, качеством не те. И говорить об этом смешно. Раз не понимаете этого, не объяснишь.

На том разговор и кончился.

Давно, когда еще не были опубликованы ни дневники, ни письма Льва Толстого, считали его богатым, сытым баринком, окруженным многочисленным семейством, па-

триархально проживающим в своем имении, спокойно и много работающим.

Оказалось, что жизнь спокойного барина — сплошная истерика, черная, тяжелая, жуткая. Навалился на человека кошмар, и душил, и задушил.

За ним вспоминаются исступленный эпилептик Достоевский, безумный Гоголь, беспокойный Державин, истерик Тургенев, неврастеник Григорович. Даже толстый дядя Гончаров и тот страдал манией преследования и видел призраков.

Современников наших мы сами знаем.

\*\*\*

Как-то раз в тесном писательском кругу затеяли мы определять, к типам какого писателя можно отнести данного человека. Прежде всего занялись, конечно, литераторами.

Вот, например, Гоголя со всей его странной судьбой и характером, Гоголя, сжегшего конец «Мертвых душ», мог бы написать Толстой. Очень ясно поддается определению Чехов. Он мог быть героем романа, написанного Тургеневым. Точнее говоря — Чехов, вся его личность и вся история его жизни могли бы быть написаны Тургеневым.

Льва Толстого, с его бесконечными исканиями, с душевными сдвигами и уходом, мог бы написать Достоевский. И как это ни странно — его мог бы написать, грозно его осуждая, сам Лев Толстой.

Так вот, применяя этот метод к Куприну, можно сказать, что Куприн был написан Кнудом Гамсуном в сотрудничестве с Джеком Лондоном.

Это — сочетание скрытой душевной нежности с безудержным разгулом и порою даже жестокостью, — это все мог бы выдумать или Гамсун, или Джек Лондон.

Надо мною посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность. Это, говорят, как в рассказе Бориса Пантелеймонова «Каждый кому-то не Иван, а Ванечка». Я отшучивалась:

— Да, да, и Каин был для мамыши Евы Каинушечка.

Но тем не менее в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко, на самом дне, чувствуется мне присушенная, приглашенная искорка. И хочется по-

дышать на нее, раздуть в уголек и показать людям — не все здесь тлен и пепел.

\*\*\*

Много рассказывать о безудержных купринских кутежах, злых забавах, как травил он в пьяной компании кошку собаками, как видел в одесском ресторане попугая в клетке и кто-то сказал, что если попугая накормить укропом, то он погибнет в страшных мучениях. И будто бы, услышав это, Куприн всю ночь ездил по городу, искал укропа, чтоб накормить попугая и посмотреть, что из этого будет. Но была зима. и свежего укропа он не достал.

Часто приходилось видеть в литературном ресторане «Вена» как бушует в своей компании Куприн, как летят на пол бутылки, грохают об пол стулья, гремит крепкая ругань со словами из «народной анатомии», как ведут кого-то под руки мириться и оробевшие мирные люди спешат от греха подальше убраться по домам.

Бесшабашный кутила, пьяный буян, но и во внешней жизни своей целиком не укладывался он в эту скверную рамку. Было в нем многое, о чем следует рассказать.

Он, конечно, не был добряком, как думают некоторые на основании его рассказов. Но в нем было благородство, в нем было доброжелательство. Он не хватал и не прятал от друзей каких-нибудь выгодных возможностей, как это, к сожалению, часто бывает. Он всегда с готовностью рекомендовал издателям товарищей по перу. говорил о них с переводчиками. Помню такой довольно показательный случай.

Я завтракала у Куприных и уже собиралась идти домой, но он усиленно удерживал меня:

— Посидите немножко. Сейчас должна прийти одна голландская переводчица. Я непременно хочу вас с ней познакомить, она может вам пригодиться.

Но переводчица не пришла.

И в тот же день я пошла к писателю, с которым была в самых дружеских отношениях. Когда меня впустили, его домашние плотно закрыли дверь в его комнату.

— Он болен? — спросила я.

— Нет. У него голландская переводчица.

Я поняла. Боялись, что она заинтересуется моими рассказами. Вспомнился Куприн, уговаривавший меня познакомиться с ней.

Куприн искренне радовался чужому успеху, как художественному, так и материальному. Он не был завистлив и у многих оставил о себе хорошую память. Занимая одно из первых мест в нашей литературной семье, он был необычайно скромен и доступен. К нему приходили маленькие писатели, и всех он принимал радушно и добродушно. Только про одного, тоже маленького, но очень высоко державшего собственное знамя, как-то сказал:

— Мне с ним трудно. Уж очень он знаменит.

\*\*\*

Читатели Куприна любили. И многие, не знавшие его лично, даже как-то умилялись над ним, считали добряком, простым, милым человеком. Может быть, оттого, что писал он просто, без вывертов, которые так ненавистны широкой публике. Честно писал, не красуясь и не презирая читателя (я, мол, пишу как хочу, а если тебе не нравится, значит, ты дурак!).

— Этот офицер хорошо пишет, — сказал Толстой о начинающем Куприне.

Куприн был настоящий, коренной русский писатель, от старого корня. Когда писал — работал, а не забавлялся и не фиглярничал. И та сторона его души, которая являлась в творчестве, была ясна и проста, и компас его чувств указывал стрелкой на добро.

Но человек — Александр Иванович Куприн был вовсе не простачок и не рыхлый добряк. Он был очень сложный.

Жизнь, в которую его втиснула судьба, была для него неподходящая. Ему нужно было бы плавать на каком-нибудь парусном судне, лучше всего с пиратами. Для него хорошо было бы охотиться в джунглях на тигров или в компании бродяг-золотоискателей, по пояс в снегу, спасать погибающий караван. Товарищами его должны быть добрые морские волки или даже прямые разбойники, но романтические, с суровыми понятиями о долге и чести, с круговой порукой, с особой пьяной мудростью и честной любовью к человеку. Он всегда

чувствовал на себе кепку, пропитанную морской солью, и щурил глаза, ища на горизонте зловещее облако, грозящее бурей.

Как-то на банкете «Возрождения», говоря тост, он назвал сотрудников газеты «товарищи матросы нашего корабля». Это было именно то, что он чувствовал.

Зверски пьяный, он травил кошку собаками, но мог бы на пожаре кинуться в огонь, чтобы спасти котенка. Может быть — тоже в пьяном виде, но не в этом дело. Дело в том, что был способен на поступок, на который не всякий добряк решится.

\*\*\*

Внешность у Куприна была не совсем обычная. Был он среднего роста, крепкий, плотный, с короткой шеей и татарскими скулами, узкими глазами, перебитым монгольским носом. Ему пошла бы тубетейка, пошла бы трубка.

Было в нем звериное и было нежное.

Рассердится, и сразу зрачки по-звериному съезжаются, жестоко и радостно. Зверь ведь радуется, когда злобно поднимает для удара когтистую свою лапу.

Для Куприна, как для зверя, много значило обоняние, запах. Он нам говорил, что «принюхивается» к людям:

— Потяну носом — и знаю, что за человек.

Помню, как-то в обществе показала я ему красивую даму:

— Что скажете, Александр Иванович, правда, хороша?

Ответил отчетливо и громко:

— Дура собачья. У нее от морды редькой пахнет.

Любил духи «Роз Жакемино» до блаженной радости. Если надушить этими духами письмо, будет носить его в кармане без конца... Любил и понимал зверей.

Пока был здоров, бегал по утрам в Булонский лес смотреть на верховых лошадей. Интересовался не столько статьями породистых коней, сколько красотой, игрой мускулов, нарядным шагом, атласистым волосом. Любовался по-звериному. Как-то Алексей Толстой сказал:

— Совсем мы мохом обросли. Видел сегодня Куприна. Сидит, гладит рыжего кобеля и счастлив.



Был ли он уж так счастлив — не знаю, но что общение со зверями было всегда для него радостью, в это верю.

Последние годы, когда он хворал и редко выходил из дому, была у него кошка. Он с ней много разговаривал. Как-то зашедшие к нему друзья застали его очень расстроенным.

— Все сегодня с утра не клеится. Гонорар в газете сбавили, кошка чего-то на меня дуется, не понимаю отчего. Доктор запретил пить кальвадос и велел лежать. Все не клеится. Но чего кошка-то обиделась?

Кошка была для него очень близким существом. Последним представителем звериного мира, который он так любил. Уезжая в Россию, на парижском вокзале, усаживаясь в вагон, он больше всего заботился о кошке, волновался, не забыли ли захватить кошку. Он понимал, что жизнь его переломилась, что едет он на родину не жить, а умирать, и обеими руками держался за это последнее любимое, свое звериное:

— Где кошка? Дайте же мне кошку!

\*\*\*

С А. И. Куприным встретила я в самом начале моей литературной жизни, когда только что появился в газете «Новости» мой святочный рассказ. И вот у кого-то за ужином моим соседом оказался Куприн.

— Это не вы ли написали рассказ у Нотовича?

— Я. А что?

— Очень скверный рассказ, — убежденно сказал он. — Бросьте писать. Такая милая женщина, а писательница вы никакая. Плюньте на это дело.

Куприн был крепкий, сытый, с глазами веселого тигра. Посмотрела я на него и думаю — а ведь он, наверно, правду говорит. Как это ужасно. Значит, больше писать не буду.

Так бы и перестала, если бы не вмешалась в это дело моя любовь к красивым башмакам. А вмешалась она так.

Сидела я с друзьями в одном из литературных ресторанчиков, вероятно, в «Вене». И подсел к нам Петр Пильский.

— Отчего, — говорит, — вы больше не пишете?

— Не могу, — вздохнула я. — Таланта нет. Писательница я никакая.

— Что за вздор! Вот начинается новая газета. Будет выходить по понедельникам. Нужны маленькие рассказы. Попробуйте.

— Да не хочется. Раз нет способностей, так нечего лезть.

— А вы попробуйте. Заплатят двенадцать рублей. А за эти деньги можно купить у Вейса прелестные башмачки. Ведь вы любите красивые башмачки?

— Ну еще бы! Я-то? Да больше всего на свете!

— Ну так вот, не откладывайте, пишите рассказик и сразу бегите к Вейсу за башмаками. И торопитесь. Откладывать нельзя.

Раз дело шло о башмаках от Вейса, то, конечно, откладывать было нельзя. В ту же ночь рассказ был написан, а утром Василевский Не-Буква, редактор-издатель «Понедельника», заехал за ним.

Рассказ понравился, его напечатали, но мне было как-то беспокойно.

«Хвалят, — думаю, — просто из любезности. А способности-то ведь все-таки нет».

Но — деньги получены, башмаки у Вейса куплены, значит, и бездарностям есть на свете место.

Дней через десять встречаю Куприна. От страха вся съежилась и отвожу глаза, чтобы он меня не узнал. Сейчас начнет разделять меня под орех.

Но еще издали делает приветственные знаки и идет прямо ко мне.

— Милая! — кричит. — До чего хорошо написала! Голубчик мой, умница! Чего же до сих пор ничего не писала?

Смеется он надо мной, что ли?

— Да ведь вы же, — лепечу, — сами сказали, что писательница я никакая. Вы же мне запретили писать.

— Ну как же это я так! С чего же это я!

И так искренне радовался и всем кругом цитировал отрывки из этого самого рассказа, что не поверить ему я не могла, так же искренне, как и в тот раз, когда он говорил, что я «никакая». Поверила и стала писать. Но если бы не прельстил меня Пильский башмаками от Вейса, не пришлось бы Куприну на меня радоваться. В этих самых башмаках и зашагала я по своей литературной тропинке. А Куприн на всю жизнь остался самым дружеским ценителем моих произведений, а бывало так, что уже ста-

тья о моей новой книге напечатана, а он приходил в редакцию и говорил:

— А я хочу еще и от себя дать об этой книге отзыв.

И отзыв всегда бывал очень для меня лестный. Надо заметить, что такое доброжелательство — явление в писательском кругу чрезвычайно редкое. Почти небывалое. Повторяю — он был очень хорошим товарищем.

\*\*\*

Жил Куприн в эмиграции — он, его жена, Елизавета Маврикиевна, и молоденькая дочь — очень странно. Вечно в каких-то невероятных долгах:

— Должны десять тысяч в мясную.

Все удивлялись. Ну какой парижский мясник станет отпущать столько в долг русскому беженцу?

Для Куприна устраивались сборы. У него были преданные друзья, выручавшие его в трудную минуту. Елизавета Маврикиевна открыла маленькую библиотеку и писчебумажный магазин. Все шло скверно.

Одно время жили на юге. Там он сдружился с местными рыбаками, и те брали его с собой в море на рыбную ловлю.

Он, наверное, как мальчик, играл в настоящего рыбака, хмурил брови и надвигал на лоб мятую, «пропитанную морской солью» фуражку. Он писал рассказ про то, как надо готовить буайбез, какую следует выбирать рыбу — морского утря и, главное, колючую рыбку, без которой из буайбеза ничего не выйдет. Писал с любовью, со знанием дела. И чувствовалось, как дорог ему весь этот рыбацкий быт, как он радостно вживается в него, как чудесно «играет».

Пропадал на рыбной ловле по целым дням. Вечером Елизавета Маврикиевна бегала по всем береговым кабачкам, разыскивая его. Раз нашла в компании рыбаков с пьяной девицей, которая сидела у него на коленях.

— Папочка, иди же домой! — позвала она.

— Не понимаю тебя, — отвечал Куприн тоном джентльмена. — Ты же видишь, что на мне сидит дама. Не могу же я ее побеспокоить.

Но общими усилиями даму побеспокоили.

\*\*\*

Он всегда любил и искал простых людей, чистых сердцем и мужественных духом. Долгое время дружил с клоуном, любил циркачей за их опасную для жизни профессию.

Как-то, встретив у меня молодую, очень буржуазную даму, он вполне серьезно убеждал ее бросить все и поступить в наездницы.

— Вот родители не позаботились о вас, не дали вам настоящего воспитания. Вы где учились?

— В институте.

— Ну вот видите. Ну на что это годится? Раз родители вовремя не позаботились, попробуйте исправить их ошибку. Конечно, на трапеции работать вам было бы уже трудно. Поздно спохватились. Упустили время. Но наездница из вас может еще выйти вполне приличная. Только не теряйте времени, идите завтра же к директору цирка.

Стихов Куприн вообще не писал, но было у него одно стихотворение, которое он сам любил и напечатал несколько раз, уступая просьбам разных маленьких газет и журналов. В стихотворении этом говорилось о его нежной тайной любви, о желании счастья той, кого он так робко любит, о том, как бросится под копыта мчащихся лошадей и «она» будет думать, что вот случайно погиб славный и «почтительный» старик. Стихотворение было очень нежное, в стиле мопассановского «Fort comme la mort»\*, очевидно, этим романом и навеянное.

Вот оно, это стихотворение, и открывало тайный уголок романтической души Куприна.

Все знают его как кутилу, под конец жизни даже больного алкоголика, но ведь не все знают тайную нежность его души, его мечты о храбрых, сильных и справедливых людях, о красивой, никому не известной любви.

Никто не знает, что три года подряд 13 января, в канун русского Нового года, он уходил в маленькое бистро и там, сидя один за бутылкой вина, писал письмо, нежное, почтительно-любезное, все той же женщине, которую почти никогда не видел и которую, может быть, даже и не любил. Но он сам, Александр Иванович, был вы-

---

\*Сильна, как смерть (фр.).

думан Гамсуном и, подчиняясь воле своего создателя, должен был тайно и нежно и, главное — безнадежно любить и каждый раз под Новый год писать все той же женщине свое волшебное письмо.

\*\*\*

Конец беженской жизни Куприна был очень печальный. Совсем больной, он плохо видел, плохо понимал, что ему говорят. Жена водила его под руку.

Как-то раз я встретила их на улице:

— Здравствуйте, Александр Иванович.

Он смотрит как-то смущенно в сторону. Елизавета Маврикиевна сказала:

— Папочка, это Надежда Александровна. Поздоровайся, протяни руку.

Он подал мне руку.

— Ну вот, папочка, — сказала Елизавета Маврикиевна, — ты поздоровался. Теперь можешь опустить руку.

Грустная встреча.

\*\*\*

Елизавета Маврикиевна решила, что благоразумнее всего вернуться на родину. Пошла в консульство, хлопотала. Оттуда приехал служащий, посмотрел на Куприна, доложил послу все, что увидел, и Куприну разрешили вернуться. Они как-то очень быстро собрались и, ни с кем не попрощавшись, уехали. Потом мы читали в советских газетах о том, что он говорил какие-то толковые и даже трогательные речи. Но верилось в это с трудом. Может быть, как-нибудь особенно лечили его, что достигли таких необычайных результатов? Умер он довольно скоро.

\*\*\*

Вот какой странный жил между нами человек, грубый и нежный, фантазер и мечтатель, знаменитый русский писатель Александр Иванович Куприн.



## Знакомство мое с Сологубом

началось довольно занятно и дружбы не предвещало. Но впоследствии мы подружились.

Как-то давно, еще в самом начале моей литературной жизни, сочинила я, покорная духу времени, революционное стихотворение «Пчелки». Там было все, что полагалось для свержения царизма: и «красное знамя свободы», и «Мы ждем, не пробьет ли тревога, не стукнет ли жданный сигнал у порога...», и прочие молнии революционной грозы.

Кто-то послал это стихотворение в Женеву, и оно было напечатано в большевистском журнале.

Впоследствии, в дни «полусвобод», я читала его с эстрады, причем распорядители-студенты уводили присутствовавшего для порядка полицейского в буфет и поили его водкой, пока я колебалась устои. Тогда еще действовала цензура и вне разрешенной программы ничего нельзя было читать.

Вернувшийся в залу пристав, удивляясь чрезмерной возбужденности аудитории, спрашивал:

— Что она там такое читала?

— А вот только то, что в программе. «Моя любовь, как странный сон».

— Чего же они, чудаки, так волнуются? Ведь это же естественная любовь, а не ихняя.

Но в то время, с которого я начинаю свой рассказ, стихи эти я читала только в тесном писательском кружке.

И вот мне говорят странную вещь:

— Вы знаете, что Сологуб написал ваших «Пчелок»?

— Как так?

— Да так. Переделал по-своему и будет печатать.

Я Сологуба еще не знала, но раз где-то мне его показывали.

Это был человек, как я теперь понимаю, лет сорока, но тогда, вероятно, потому что я сама была очень молодая, он мне показался старым. Даже не старым, а каким-то древним. Лицо у него было бледное, длинное, безбровое, около носа большая бородавка, жиденькая рыжеватая бородка словно оттягивала вниз худые щеки, тусклые, полузакрытые глаза. Всегда усталое, всегда скучающее лицо. Помню, в одном своем стихотворении он говорит:

Сам я и беден, и мал,  
Сам я смертельно устал...

Вот эту смертельную усталость и выражало всегда его лицо. Иногда где-нибудь в гостях за столом он закрывал глаза и так, словно забыв их открыть, оставался несколько минут. Он никогда не смеялся.

Такова была внешность Сологуба.

Я попросила, чтобы нас познакомили.

— Федор Кузьмич, вы, говорят, переделали на свой лад мои стихи.

— Какие стихи?

— «Пчелки».

— Это ваши стихи?

— Мои. Почему вы их забрали себе?

— Да, я помню, какая-то дама читала эти стихи, мне понравилось, я и переделал их по-своему.

— Эта дама — я. Слушайте, ведь это же нехорошо так — забрать себе чужую вещь.

— Нехорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет.

Я засмеялась:

— Во всяком случае, мне очень лестно, что мои стихи вам понравились.

— Ну вот видите. Значит, мы оба довольны.

На этом дело и кончилось.

Через несколько дней получила я от Сологуба приглашение непременно прийти к нему в субботу. Будут братья-писатели.

Жил Сологуб на Васильевском острове в казенной квартирке городского училища, где был преподавателем и инспектором. Жил он с сестрой, плоскогрудой, чахо-

точной старой девой. Тихая она была и робкая, брата обожала и побаивалась, говорила о нем шепотом.

Он рассказывал в своих стихах:

Мы были праздничные дети,  
Сестра и я...

Они были очень бедные, эти праздничные дети, мечтавшие, чтоб дали им «хоть пестрых ракушек из ручья». Печально и тускло протянули они трудные дни своей молодости. Чахоточная сестра, не получившая своей доли пестрых ракушек, уже догорала. Он сам изнывал от скучной учительской работы, писал урывками по ночам, всегда усталый от мальчишеского шума своих учеников.

Печатался он у Нотовича в «Новостях», причем Нотович сурово правил его волшебные и мудрые сказочки:

— Опять принес декадентскую ерунду.

Платил гроши. Считал себя благодетелем:

— Ну кто его вообще будет печатать? И кто будет читать!

В сказочках говорилось о красоте и смерти.

Очаровательна была сказочка о полевой лилии, которую потом без конца читали с эстрады. Сам Соломон во всей славе своей не превосходил ее пышностью. (Пересказываю, как помню.) Но капуста ее осуждала. Что это? Стоит голая! Вот я так оделась: сначала рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку одежду, на одежду застежку, потом рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку покрывало, не видать кочерыжку, тепло и прилично.

О смерти рассказывается, как послал Бог ангела Своего Степаниду Курносую отнять у матери ребенка. Мать плакала и не могла утешиться. Тогда ангел Божий Степанида Курносая стала ее утешать:

— Ты не плачь.

А мать ответила:

— Ты свое дело сделала, отняла у меня ребенка. Теперь не мешай мне мое дело делать — плакать о нем.

О смерти говорит и маленькая сказочка о волшебной палочке. Кому очень тяжело на свете, тот должен только прижать ее к виску, и все горе сразу уйдет.



Так жил Сологуб в маленькой казенной квартирке с лампадками, угощал мятными пряниками, румяными булочками, пастилой и медовыми лепешками, за которыми сестра его ездила куда-то через реку на конке. Рассказывала нам по секрету:

— Хотелось мне как-нибудь проехаться на конке на империале, да «мой» не позволяет. Это, говорит, для дамы неприлично.

Хозяином Сологуб был приветливым, ходил вокруг стола и потчевал гостей:

— Вот это яблочко коробовка, а вот там анисовка, а вот то антоновка. А это ~~пестика~~ рябиновая.

В маленьком темном его кабинете на простом столе лежали грудой рукописи и смотрело из темной рамки женское лицо, красивое и умное, — портрет Зинаиды Гиппиус.

Вечера в казенной квартирке, когда собирались близкие литературные друзья, бывали очень интересны. Там слышали мы «Мелкого беса» и начало «Навях чар». Последняя вещь совсем сумбурная, и в ней он как-то запутался. Там как раз появились «тихие мальчики», над которыми многие посмеивались, подозревая в них что-то сексуально неблагочестивое, хотя сам автор определенно говорил, что мальчики эти были тихие, потому что были полуживые-полумертвые. Ему вообще приятен был образ ребенка, полуотошедшего от жизни. В одном из первых рассказов был у него такой мальчик, ненавидевший жизнь и мечтавший о звездах, где живут мудрые звери и никто никогда не смеется.

В «Новых чарах» он предполагал вывести Христа, который должен был явиться как светский господин, даже с визитной карточкой «Осип Осипович Давидов». Но до этого в романе дело не дошло.

Должно быть, одумался или не справился.

\*\*\*

Когда мы познакомились ближе и как бы подружались (насколько возможна была дружба с этим странным человеком), я все искала к нему ключа, хотела до конца понять его — и не могла. Чувствовалась в нем затаенная нежность, которой он стыдился и которую не хотел пока-

зывать. Вот, например, прорвалось у него как-то о школьников, его учениках: «Поднимают лапки, замазанные чернилами». Значит, любил он этих детей, если так ласково сказал. Но это проскользнуло случайно.

Вспоминала его стихи, где даже смех благословляется, потому что он детский:

Я верю в творящего Бога,  
В святые заветы небес,  
Я верю, что явлено много  
Бездумному миру чудес.  
Но высшее чудо на свете,  
Великий источник утех —  
Блаженно-невинные дети,  
Их тихий и радостный смех.

Да, нежность души своей он прятал. Он хотел быть демоничным.

\*\*\*

И вот начались вечера с уклоном эстето-эротическим. Писались, читались и обсуждались вещи изощренно эротические. Помню один рассказ Сологуба — не знаю, был ли он напечатан, — где старый король приводит к своей молодой жене юного пажа и смотрит на их ласки. Когда у королевы родился сын, и король, и народ ликовали.

— Это мой сын, — заявлял король. — Я принимал участие в его зарождении.

Ребенка объявили наследником, а паж повесили на воротах города, как собаку.

Все слушатели, конечно, согласились, что этот ребенок сын короля, а паж тут абсолютно ни при чем. Паж — собака, и кончено. Кто-то, однако робко заметил: а вдруг ребенок вышел как две капли воды похожим на пажа?

Все замахали руками:

— Не все ли равно. Мало ли какое бывает случайное сходство.

И участники вечеров старались превзойти друг друга эстето-эротизмом. Часто выходило совсем неладно, хотя и подано было искусными стихами.



Но вот умерла тихая сестра Сологуба. Он сообщил мне об этом очень милым и нежным письмом:

«...Пишу вам об этом, потому что она очень Вас любила и велела Вам жить подольше. А мое начальство заботится, чтобы я не слишком горевал: гонит меня с квартиры...»

И тут начался перелом.

Он бросил службу, женился на переводчице Анастасии Чеботаревской, которая перекроила его быт по-новому, по-ненужному. Была взята большая квартира, куплены золоченые стулики. На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников.

— Не кабинет, а ледник, — сострил кто-то.

Тихие беседы сменились шумными сборищами с танцами, с масками. Сологуб сбрил усы и бороду, и все стали говорить, что он похож на римлянина времен упадка. Он ходил, как гость, по новым комнатам, надменно сжимал бритые губы, шурил глаза, искал гаснущие сны.

Жена его, Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную. Ей все казалось, что к Сологубу относятся недостаточно почтительно, всюду чудились ей обиды, намеки, невнимание. Она пачками писала письма в редакцию, совершенно для Сологуба ненужные и даже вредные, защищая его от воображаемых нападков, ссорилась и ссорила. Сологуб поддавался ее влиянию, так как по природе был очень мнителен и обидчив. Обиду чувствовал и за других. Поэтому очень бережно обходился с молодыми начинающими поэтами, слушал их порою прескверные стихи внимательно и серьезно и строгими глазами обводил присутствовавших, чтобы никто не смел улыбаться. Но авторов слишком самонадеянных любил ставить на место.

Приехал как-то из Москвы плотный выхоленный господин, печатавшийся там в каких-то сборниках, на которые давал деньги. Был он, между прочим, присяжным поверенным. И весь вечер Сологуб называл его именно присяжным поверенным.

— Ну, а теперь московский присяжный поверенный прочтет нам свои стихи.

Или:

— Вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные.

Выходило как-то очень обидно, и всем было неловко, что хозяин дома так измывается над гостем.

Зато когда привел к нему кто-то испуганного, от подбострастия заикающегося юношу, Сологуб весь вечер называл его без всякой усмешки «молодой поэт» и очень внимательно слушал его стихи, которые тот бормотал, сбиваясь и шепелявя.

\*\*\*

Маленькие литературные сборища у Сологуба обыкновенно протекали так: все садились в кружок. Сологуб обращался к кому-нибудь и говорил:

— Ну, вот начнете вы.

Ответ всегда был смущенный:

— Почему же именно я? У меня нет ничего нового.

— Поищите в кармане. Найдется.

Испытуемый вынимает записную книжку, долго перелистывает:

— Да у меня правда ничего нового нет.

— Читайте старые.

— Старые не интересно.

— Все равно.

Испытуемый снова перелистывает книжку:

— Ну вот одно новое. Только оно, пожалуй, слишком длинно.

— Все равно.

Начинается чтение. Кончается при гробовом молчании, потому что выражать какое-нибудь мнение или одобрение было не принято.

— Следующее, — говорит Сологуб и закрывает глаза.

— Да, собственно говоря... — мечется испытуемый. — Впрочем, вот еще одно. Только оно, пожалуй, слишком коротенькое.

— Все равно.

Читает. Молчание.

— Третье стихотворение.

Испытуемый уже не защищается. Видно, как спешит скорее покончить. Читает. Молчание.

Вот так, наверно, Федор Кузьмич, учитель городского училища, в холодном жестоком спокойствии терзал своих мальчишек.

— Теперь ваша очередь, — обращается мертвым голосом Сологуб к соседу выпотрошенного поэта. И тот тоже отнекивается, и мечется, и шарит по карманам под змеиным взглядом хозяина, и тоже читает три стихотворения. И так в тоскливой муке смыкался круг стихов.

Раз как-то я долго уверяла, что у меня нет третьего стихотворения, и когда Сологуб все-таки его требовал, сказала:

— Ну если так, так хорошо же.

И прочла Пушкина «Заклинание».

По лицам присутствующих поняла, что никто из них не слушает. Только Бальмонт при словах «Я жду Лейлы» чуть-чуть шевельнул бровями. Но уже после ужина, когда я уходила домой, Сологуб, прощаясь со мной, промямлил:

— Да, да. Пушкин писал хорошие стихи.

На этих вечерах Сологуб и сам читал какой-нибудь отрывок из своего нового романа. Чаще переводы Верлена, Рембо. Переводил он неудачно, тяжело, неуклюже. Читал вяло, сонно, и всем хотелось спать.

Профессор Аничков, очень быстро засыпавший и знавший за собой эту слабость, обыкновенно слушал стоя, прислонясь к стене или к печке, но и это не помогало. Он засыпал стоя, как лошадь. Изредка, очнувшись, чтобы показать, что он слушает, начинал совершенно некстати громко хохотать. Тогда Сологуб на минуту прерывал чтение и медленно поворачивал к виновному свои мертвые глаза. И тот стихал и сжимался, как кролик под взглядом удава. Писал Сологуб всегда очень много.

— Я всех писателей разделяю на графоманов и дилетантов. Я графоман, а вы дилетантка.

Издатели набросились на него. Перепечатали его старые произведения, прошедшие когда-то незаметно. Он закончил свой роман «Навыи чары». Конец, написанный после перелома, то есть когда судьба вознесла его, не оправдал обещанного. И то, что намечал он в тихой комнате с лампадкой, осталось невыполненным. Я помнила, как он рассказывал о дальнейшем ходе романа, и этого в напечатанной книге не нашла. Дух отлетел от

него. И только в стихах своих был он прежним — одиноким, усталым, боялся жизни, «бабищи румяной и де-белой», и любил ту, чье имя писал с большой буквы — Смерть.

— Смертерадостный, — называли его.

— Рыцарь Смерти, — называла я.

Но и в стихах своих принялся он фокусничать, играть пустяками.

Белей лилей, алее лала

Была бела ты и ала.

Я ему говорила, что это похоже на скороговорку: «Сшит колпак, да не по-колпаковски», и заставляла одного косноязычного поэта, не выговаривавшего букву «л», декламировать эти стихи. У него выходило:

Бевей вивей, авее вава

Быва бева ты и ава.

А о Смерти еще находил прежние слова и говорил о ней нежно.

Она приходила и просила под окном, чтобы брат ее Сон открыл ей двери. Она устала. «Я косила целый день...»

Она хотела накормить голодных своих смертенных...

\*\*\*

Настоящая фамилия Сологуба была Тетерников, но, как мне рассказывали, в редакции, куда он отнес первые свои произведения, посоветовали ему придумать псевдоним:

— Неудобно Музе увенчать лаврами голову Тетерникова.

Кто-то вступился, сказал, что знал почтенного полковника с такой фамилией, и тот ничуть не огорчился.

— А почему вы знаете? Может быть, и полковнику приятнее было бы более поэтическое имя, только вот в армии нельзя служить под псевдонимом.

И тут же придумали Тетерникову псевдоним — Федор Сологуб.

С одним «л», чтобы не путали с автором «Тарантаса». И мы знаем, что Муза этот псевдоним почтила своим вниманием.

Венец славы своей нес Сологуб спокойно и как бы презрительно. С журналистами и интервьюерами обращался надменно.

Помню, как шли мы вместе по фойе театра и к нему подбежал какой-то газетный сотрудник и почтительно спрашивал его мнение о новой пьесе. Сологуб шел, не замедляя шага, не поворачивая головы, лениво цедя слова сквозь зубы, а журналист забегал, как собачонка, то справа, то слева, переспрашивал и не всегда получал ответ. Так мстил (вероятно, бессознательно) Сологуб за измывательства над его первыми, лучшими и самыми вдохновенными вещами.

Сологуба считали колдуном и садистом. В своих стихах он и бичевал, и казнил, и колдовал. Черная сила играла в них:

Когда я в бурном море плавал  
И мой корабль пошел ко дну,  
Я возопил: «Отец мой, Дьявол,  
Спаси меня, ведь я тону!»

Признав отцом своим дьявола, он принял от него и все черное его наследство: злобную тоску, душевное одиночество, холод сердца, отвращение от земной радости и презрение к человеку. Как сон, вспоминались его грустные, нежные стихи:

В поле не видно ни зги...  
Кто-то зовет: «Помоги!»  
Как помогу?  
Сам я и беден и мал,  
Сам я смертельно устал —  
Что я могу?  
Голос зовет в тишине:  
«Брат мой, приблизься ко мне,  
Легче вдвоем.  
Если не сможем идти,  
Вместе умрем на пути,  
Вместе умрем».

Теперь пошла эротика, нагие флагелянты, мертвые люди, живые мертвецы, колдовство, комплекс Эдипа, воющие собаки, оборотни. Было:

Я верю в творящего Бога,  
В святые заветы небес...

Стало:

Собираю ночью травы  
И варю из них отравы...

\*\*\*

Что за человек Сологуб, понять было трудно. Его отношения ко мне я тоже не понимала. Казалось бы, совершенно безразличное. Но вот неожиданно узнаю, что мою пьесу «Царица Шамурамат» (я тогда увлекалась Древним Востоком) он старался устроить в Театр Комиссаржевской.

Раз как-то пришел он ко мне с Георгием Чулковым. Я была в самой лютой неврастении. Чулков ничего не заметил, а Сологуб странно пристально присматривался ко мне и все приговаривал:

— Так-так. Так-так.

Вечером пришел снова и настаивал, чтобы я пошла с ним в ресторан обедать, и оттуда повел по набережной:

— Не надо вам домой торопиться. Дома будет хуже.

Была белая ночь, нервная и тоскливая, как раз бы Рыцарю Смерти поговорить о своей Даме. Но он был неестественно весел, болтал и шутил, и я поняла, что он жалеет меня и хочет развлечь. Потом выяснилось, что так это и было. Его мертвые глаза видели многое, живым глазам недоступное и ненужное.

Он ненавидел шаржи, карикатуры и пародии.

В каком-то журнале появилась пародия на него Сергея Городецкого под случайным псевдонимом. Сологуб почему-то решил, что сочинила ее я, и остро обиделся. Вечером у себя за ужином он подошел ко мне и сказал:

— Вы, кажется, огорчены, что я узнал про вашу проделку?



— Какую проделку?

— Да ваш пасквиль на меня.

— Я знаю, о чем вы говорите. Это не я сочинила. Все свои произведения, как бы плохи они ни были, я всегда подписываю своим именем.

Он отошел, но в конце ужина подошел снова.

— Вы не расстраивайтесь, — сказал он. — Мне все это совершенно безразлично.

— Вот это меня и расстраивает, — отвечала я. — Вы думаете, что я вас высмеяла, и говорите, что вам это безразлично. Вот именно это меня и расстраивает.

Он задумался и потом весь вечер был со мной необычайно ласков.

Несмотря на свою надменную мрачность, он иногда охотно втягивался в какую-нибудь забавную чепуху.

Как-то вспомнили школьную забаву:

— Почему говорят гимн-Азия, а не гимн-Африка? Почему чер-Нила, а не чер-Волги?

С этого и пошло. Решили писать роман по новому ладу. Начало было такое:

«На улицу вышел человек в синих панталонах».

По-новому писали так:

«На у-рожу ты-шел лоб-столение в ре-них хам-купонах».

Игра была из рук вон глупая, но страшно завлекательная, и многие из нашего писательского кружка охотно разделявали эту чепуху. И многие серьезные и даже мрачные, как и сам Сологуб, сначала недоуменно пожимали плечами, потом, словно нехотя, придумывали слова два-три, а там и пошло. Втягивались.

\*\*\*

Как-то занялись мы с ним определением метафизического возраста общих знакомых. Установили, что у каждого человека кроме его реального возраста есть еще другой, вечный, метафизический. Например, старику шлиссельбуржцу Морозову мы сразу согласно определили 18 лет.

— А мой метафизический возраст? — спросила я.

— Вы же сами знаете — тринадцать лет.

Я подумала. Вспомнила, как жила прошлым летом у друзей в имении. Вспомнила, как кучер принес с болота

какой-то страшно длинный рогатый тростник и велел непременно показать его мне. Вспомнила, как двенадцатилетний мальчишка требовал, чтобы я пошла с ним за три версты посмотреть на какой-то древесный нарост, под которым, видно, живет какой-то зверь, потому что даже шевелится. И я, конечно, пошла, и, конечно, ни нароста, ни зверя мы не нашли. Потом пастух принес с поля осиновый мед и опять решил, что именно мне это будет интересно. Показывал на грязной ладони какую-то бурую слякоть. И каждый раз в таких случаях вся прислуга выбегала посмотреть, как я буду ахать и удивляться. И мне действительно все это было интересно.

Да, мой метафизический возраст был тринадцать лет.

— А мой? — спросил Сологуб.

— Конечно, шестьсот, и задумываться не о чем.

Он вздохнул и промолчал. Очевидно, согласился.

\*\*\*

Колдун и ведун однажды позорно провалился.

Был доклад Мережковского «О России».

Большевики в ту пору еще не утвердились, и Мережковский с присущим ему пафосом говорил о том, что из могилы царизма поднялся упырь.

Упырь этот Ленин.

Вот тут Сологуб и изрек свое «вещное слово»:

— Никогда Ленину не быть диктатором. Пузатый и плешивый. Уж скорее мог бы Савинков.

Мы слушали с благоговением и не отрицали, что роскошная шевелюра и стройный стан суть необходимые атрибуты народного вождя. Мы тогда еще не видали ни Муссолини, ни Гитлера, этих грядущих Аполлонов. Нас можно простить.

В начале революции по инициативе Сологуба создавалось общество охранения художественных зданий и предметов искусства. Заседали мы в Академии художеств. Требовали охраны Эрмитажа и картинных галерей, чтобы там не устраивали ни засады, ни побоищ. Хлопотали, ходили к Луначарскому. Кто лучше него мог бы понять нашу святую тревогу? Ведь этот эстет, когда умер его ребенок, читал над гробиком «Литургию Красоты» Бальмонта. Но из хлопот наших ничего не вышло.

\*\*\*

Одно время Сологуб дружил с Блоком. Они часто выходили вместе и часто снимались. Он всегда приносил мне эти снимки. Чулков тоже бывал с ними. Потом, в период «Двенадцати», он уже к Блоку охладел.

Имя Сологуба гремело. Все так называемые друзья искусства, носившие в нашем тесном кругу скромное имя «фармацевтов» (хотя среди них были люди, достойные именно первого названия), говорили словами Сологуба об Альдонсе, Дульцинее и творимой легенде.

Актеры наперерыв были с эстрады:

Качает черт качели  
Вперед — назад, вперед — назад...

Фотографы снимали его у письменного стола и на копне сена с подписью: «Как проводит лето Федор Сологуб».

Сомов написал его портрет, затушевав бородавку. Семенов переложил его стихи на музыку.

Сологуба пели, читали, играли, декламировали и танцевали.

Явились переводчики и карикатуристы. Журналисты печатали беседы.

Приезжали на поклон московские люди — писатели, артисты, музыканты, меценаты.

И черт качал качели  
Вперед — назад, вперед — назад...

Качал вперед.

\*\*\*

Работал Сологуб по-прежнему много, но больше все переводил. Новые повести писал в сотрудничестве с Чеботаревской. Они были не совсем удачны, а иногда настолько неудачны и так не чувствовалось в них дажедыхания Сологуба, что многие, в том числе и я, решили, что пишет их одна Чеботаревская, даже без присмотра Сологуба. Впоследствии эта догадка оказалась верной.

Чем это объяснить? Творчество иссякло? Равнодушие к общественному мнению дошло до предела? «Прежде

нотовичи воротили нос от прекрасных моих творений, теперь что ни дай — все слопают». Чеботаревская хочет писать — пусть пишет. Ее печатать не станут — пусть подписывается Сологубом. Как-то в рижской газете «Сегодня» я прочла строки: «Немногие, вероятно, знают, как была талантлива Чеботаревская и что последние повести Сологуба принадлежат всецело ее перу».

Увы! Эти немногие отлично догадывались. Только не могли себе этого объяснить так отчетливо, как мы видим теперь. Теперь мы знаем его безграничное презрение к критикам, не ценившим его прежних вещей и поднимавшим шум и бум над новыми, небрежно набросанными пустяками. Вот тогда он и решил, что довольно с них и Чеботаревской.

Всем известная фраза его «Что мне еще придумать? Лысину позолотить, что ли?» вполне определяет наступившую для него душевную пустоту.

\*\*\*

Во время революции Сологубу жилось трудно. Он приглядывался, хотел понять и не понимал.

— Кажется, в их идеях есть что-то гуманное, — говорил он, вспоминая свою униженную юность и сознавая себя «сыном трудящегося народа». — Но нельзя жить с ними, все-таки нельзя!

Еще старался творить из «бабищи грубой», из нелепой жизни своей легенду. Но бабища ухватила цепко.

В одну из последних петербургских зим встречали мы вместе Новый год.

— Что вам пожелать? — спросила я.

— Чтобы все осталось как сейчас. Чтобы ничто не изменилось.

Оказывается, что этот странный человек был счастлив! Но тут же подумалось — боится и предчувствует злое.

Как хорошо, что реют пчелы,  
Что золот лук в руках у Феба...

Да, лук у Феба вечно золот, но...

Быстро мчатся кони Феба под уклон.

Загремели страшные годы. «Бабища румяная и дебая» измывалась над бледным Рыцарем Смерти. Судорожно цеплялась за жизнь Чеботаревская. Кричала всем, всем, всем: «SOS! Спасите!»

Она уже в самом начале революционных годов была совершенно нервнобольная. Помню, как на одном из заседаний в Академии художеств она вдруг без всякой видимой причины вскрикнула и затопала ногами.

\*\*\*

В 1920 году, когда я в Париже лежала больная, в тифу, передали мне записку. На обрывке бумаги, сложенном как гимназическая шпаргалка, спешными сокращенными словами было набросано:

«Умол. помочь похлопоч. визу погибаем. Будьте другом добр, как были всегда. Сол. Чебот.»

Записка, очевидно, привезенная кем-то в перчатке или зашитая в платье, была от Сологуба и Чеботаревской. Кто ее принес, не выяснилось.

Когда я поправилась, мне сказали, что виза Сологубу и его жене уже давно устроена. Но, как потом оказалось, большевики еще долго не выпускали их. То давали разрешение на выезд, то снова задерживали. Чеботаревская, не выдержав этой пытки, покончила с собой. Она утопилась. Рассказывают легенду, будто труп ее летом прибило к берегу, где на даче жил Сологуб.

После ее смерти началось умирание Сологуба. Он долго умирал, несколько лет. Судьба, дописав повесть его жизни, словно призадумалась перед тем, как поставить последнюю точку.

«День только к вечеру хорош...» — писал он когда-то.

Нет, вечер его жизни не был хорош.

О его душевном состоянии говорят кое-какие дошедшие до нас стихи.

Человек иль злобный бес  
В душу, как в карман, залез,  
Наплевал там и нагадил,  
Все испортил, все разладил  
И, хихикая, исчез.

— Дурачок, ты всем не верь, —  
Шепчет самый гнусный зверь, —  
Хоть блевотину на блюде  
Поднесут с поклоном люди,  
Ешь и зубы им не щерь.

Тяжело и озлобленно уходил он.

В мире ты живешь с людьми, —  
Словно в лесе, в темном лесе,  
Где написан бес на бесе, —  
Зверь с такими же зверьми.

Это, как он его воспринимал, Звериное Царство, он, Дон Кихот, не смог уже претворить в мечту, в прекрасную Дульцинею, как делал из жизни, «бабищи румяной и дебелой».

Тяжело и озлобленно уходил он. И умер он, в сущности, уже давно и только пребывал в полужизни, ни живой, ни мертвый, как его тихие мальчики в «Навях чарах»... «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Апокалипсис. Гл. 3. 1). И та его смерть, о которой дошла до нас весть в эмиграцию, является только как бы простой формальностью.

И может быть, смерть эта, для которой его Муза находила такие странные, необычно нежные слова — может быть, она, жданная и призываемая, пришла к своему Рыцарю тихая и увела его ласково.





## Вечер у старой писательницы

Зои Яковлевой.

Теперь, конечно, немногие помнят ее, но так как истоки некоторых моих воспоминаний находятся именно в ее салоне, то не мешает сказать о ней несколько слов.

Это была милая старая писательница, очень известная в литературных кругах не столько своими произведениями, сколько гостеприимством и добрым отношением к своим друзьям. Она всегда кому-то покровительствовала, кого-то знакомила с нужным человеком, помогала советами и протекцией. Кто-то сочинил о ней:

Доброе ль, злое —  
Все мы спешим  
К маленькой Зое  
С сердцем большим.

Писала она повести и рассказы, пьесы ее шли в частных театрах. Помню, как она жаловалась на редактора «Вестника Европы», который не принял ее рассказа:

— Он нашел, что у меня мало психологии. Однако в трех местах у меня отмечено, что помещик Арданов искренне побледнел. Разве это не психология? Я сказала, что могу прибавить еще.

Помню, как добрая Зоя вызвалась приложить руку к одному моему запутанному делу:

— Я познакомлю вас с одним чиновником, очень важной птицей. Говорить с ним буду я сама, а вы должны сделать вид, что ровно ничего не понимаете.

Сговорила с важной птицей, надушила меня своими духами и повезла. Птица оказалась больна, приняла в халате и в мягкой рубашке с гофрированным жабо. Угостила чаем и конфетами.

— Помните, что вы не должны ничего понимать, — шепнула мне моя покровительница и стала излагать мое дело.

Я так вошла в свою роль, что действительно ничего не понимала из того, что Зоя плела, и на правах дуры молча съела полкоробки конфет.

Несмотря на это, из хлопот Зои ничего, однако, не вышло.

\*\*\*

Итак, вернемся к вечеру у милой Зои.

Мои первые рассказы только что были напечатаны в «Биржевых ведомостях». Я смотрю с уважением на Минского, его жену поэтессу Вилькину, помощника редактора «Нивы» Эйзена и прочих великих людей.

Я немножко опоздала. Какая-то неизвестная дама успела прочесть свое произведение, что-то длинное, кажется, пьесу. Я сижу тихо в уголке, чтобы никто не спросил моего мнения. Нехорошо опаздывать.

Ко мне подсел рослый, плотный студент с какими-то знаками на плечах — политехник, что ли. Лицо добродушное, русский чуб на лбу.

— Вы что так тихо сидите? — спросил он.

— Да вот тут дама читала, а я и не слышала. Неловко.

— Я тоже не слышал. Это мне и дома надоело.

— Как так?

— Да эта дама как раз моя мать.

Слава богу, что я не успела сказать что-нибудь неладное про дам, читающих пьесы.

Студент поговорила ~~немножко~~ про свое ~~жизне-~~бытие. Оказалось, что он женат и у него сын.

— Толковый малый, — хвалил сына студент. — Я вчера днем заснул, а он взял палку да как треснет меня по лбу.

— Сколько же этому толковому лет?

— Три года.

Поговорили еще немножко, потом студент подсел к хорошенькой сестре графини Муравьевой.

Ко мне подошла хозяйка дома:



— Смотрите, как Алеша Толстой ухаживает! Да это и понятно. Она так похожа на его жену, но еще красивее. Значит, есть определенный тип, который он любит, — это хорошо.

Мне не показалось особенно хорошим, что человек любит не жену, а тип, но со старшими никогда не спорила. Может быть, у писателей так полагается — почему я знаю.

Через несколько дней услышала я снова о Толстом. Кто-то читал его стихотворение про какого-то лешего. Описывалась морда этого лешего очень хорошо: «весь в губу».

Говорили: «Он талантливый, этот молодой человек».

Потом попался мне его первый рассказ, из деревенской жизни, как били конокрада. Да, Алексей Толстой был действительно талантлив.

Его стали печатать, и он быстро сделал себе имя.

Герои его первых рассказов были почему-то всегда дурак и Сонечка. Я даже как-то спросила у него, почему это так.

— Разве так? — удивился он — Чего же это я так? А?

Встречались мы уже не у Зои. Ее салон кончился (кажется, она умерла, не помню), а у Сологуба.

Как-то был у Сологуба большой костюмированный вечер. Толстой пришел со своей новой женой Соней Дымшиц. Костюм на нем был незабываемый. Он был одет бабой в предбаннике. Бабы холщовая рубаха немного ниже колен, на босу ногу шлепанцы, в руках веник и шайка.

На этом же балу произошел знаменитый скандал с лисьим хвостом. Некто доктор Владыкин принес как раз перед балом А.Чеботаревской, жене Сологуба, показать лисьи шкурки. Толстые взяли одну шкурку и оторвали у нее хвост, который был нужен Ремизову для его бесовского маскарада. Оторвали и нацепили на Ремизова. Доктор Владыкин обиделся и написал сердитое письмо Чеботаревской. Та, в свою очередь, — сердитое письмо Толстому. Толстой ответил Чеботаревской гневно и гордо:

«Госпожа Чеботаревская!

Моя жена, графиня Толстая (которая, между прочим, была и не Толстая, и не графиня, а просто Дымшиц)...»

Письмо было подписано: «Граф Алексей Толстой».

За Чеботаревскую обиделся Сологуб, и возникла горячая и бестолковая переписка, в которую влипали совершенно посторонние люди и ссорились друг с другом. Меня хвост не задел. В это время, как говорят французы, *j'avais d'autres chats à fouetter\**.

Вскоре после этой истории Толстой переехал в Москву, разошелся с Дымшиц и задумал жениться на молодой балерине. Прослышал об этом браке один почтенный генерал и захотел непременно навестить новобрачных, так как балерину эту знал еще маленькой девочкой.

Пошел к Толстым. Объяснил свои почти отеческие чувства к его жене. И вот выходит Наташа, рожденная Крандиевская, по первому мужу Волькенштейн. Старик развел руками:

— Олечка, до чего ты изменилась за три года! Да тебя узнать нельзя! Куда девался твой рост, черные глаза? Куда ты спрятала свой нос, ведь он у тебя был длинный?

Еле разобрались, еле успокоили старика. Объяснили, что разошелся с сожительницей, чтобы сочетаться законным браком с балериной, а сочетался вот с поэтессой. И ничего в этом нет особенного.

\*\*\*

Дружба моя с Алексеем Толстым началась уже в эмиграции, куда он приехал с женой, милой, красивой и талантливой поэтессой. У них был уже трехлетний сын Никита.

Привезли они с собой и сына Наташи от первого брака, Фефу Волькенштейна. Целая семья. И нужно было Алексею разворачиваться, чтобы эту семью кормить. Вился, бедный, как птица над гнездом.

Жилось трудно.

— Чтобы не просыпаться ночью в холодном поту от ужаса, — говорил он, — надо зарабатывать не меньше трех тысяч в месяц.

В те времена это для нас была задача трудная. Приходилось придумывать разные комбинации. Он и надумал устроить литературный вечер в пользу Союза писателей и ученых с оплатой выступающих писателей. Все мы на этом вечере немножко заработали, и Союз тоже.

---

\*У меня были другие заботы (фр.).

Жена Алексея, Наташа, была талантливой поэтессой, но яркая индивидуальность Толстого совсем ее подавила.

Она начала было заниматься музыкой, композицией, сочиняла какую-то фугетту и бержеретку «Ручейки». Потом от безденежья принялась делать шляпки и шить платья.

Даже купила манекен, на который все натыкались в их крошечном салончике.

Мы все Толстого любили. Он был занятный собеседник, неплохой товарищ и, в общем, славный малый. В советской России такие типы определяются выражением «глубоко свой парень».

Его исключительный, сочный, целиком русский талант заполнял каждое его слово, каждый жест. Ходил он по Парижу, словно Иванушка из сказки по царским палатам, с разинутым ртом, и ни Париж ему, ни он Парижу ни с какой стороны не подходили. Французскому языку до конца дней своих не выучился, разыскал с помощью художника Шухаева русскую баню и мятные пряники и так, целым, нетронутым монолитом, и отбыл на родину.

Недостатки его были такие ясно определенные, что не видеть их было невозможно. И «Алешку» принимали таким, каков он был. Многое не совсем ладное ему прощалось.

Даже такой редкий джентльмен, как М.Алданов (недаром прозвала я его «Принц, путешествующий инкогнито»), дружил с ним и часто встречался. И когда Толстой уехал из Парижа, нам очень его не хватало. Жизнь потускнела, вытрясли из нее соль и перец.

Литературным нашим центром была в то время Мария Самойловна Цетлин. У нее мы часто встречались, собирались, читали свои новые произведения. Жизнь была хотя и безденежная, но бурная и интересная.

Мы, литературные эмигранты, были новыми, занятыми для парижан гостями. Всюду нас приглашали, угощали, развлекали и чествовали. Показывали нам Париж.

К нашему кругу примыкало много интересных людей — В.Вырубов, кн. Львов, Стахович, Балавинский, художники Гончарова, Ларионов, Саша Яковлев, Шухаев. Вскоре приехали Бунины.

С Толстым я очень дружила и даже была на «ты».

Мне особенно нравился его смех. Если сказать что-нибудь остроумное, он сначала словно опешит. Выпучит глаза, разинет рот и вдруг закрикает густым утиным басом: кхра-кхра-кхра.

— Понял! — кричу я. — Дошло! Дошло!

Да, товарищ он был неплохой, но любил друзей поддразнить. Набьет портфель старыми газетами и пойдет к кому-нибудь из приятелей, кто позавистливей.

— Вот, — скажет, похлопывая по портфелю, — получил из Америки контракт. Завтра буду подписывать. Аванс небольшой, всего десять тысяч. Да ты чего хмуришься? Сам знаю, что это не много, ну да ведь я не жадный. Тем более что ведь это только аванс, а потом как начнут печатать, так уж пойдут настоящие деньги. Да и слава на весь мир. Там ведь сразу все газеты подхватывают. Да ты чего надулся-то? Или, может быть, тебе тоже контракт прислали, да ты не хочешь признать, чтоб не завидовали? Эка ты какой! Нехорошо от своих скрывать. Стыдно! Ей-богу, стыдно. А? Ну сознайся, ведь подписал? А?

Доведет приятеля до белого каления и потом рот разинет и из самого нутра:

— Кхра-кхра-кхра.

Утиный смех. Кряква.

\*\*\*

Забавную историю проделал он с моими духами.

Собрались у меня тесной компанией Бунины, Толстые, еще кое-кто. Сначала, как водится, поругали издателей, потом Наташа спела свои «Ручейки». Алеша подсел ко мне, потянул носом.

— У тебя, — говорит, — хорошие духи.

— Да, — говорю, — это мои любимые «Митцуко» Герлена.

— Герлен? Да ведь он страшно дорогой!

— Ну что ж, вот, подарили дорогие.

Потом опять разговор стал общим. Но вот, вижу, Алексей встает и идет ко мне в спальню. Что-то там шарит, позвякивает, а лампы не зажигает. Кто-то позвал:

— Алеша!

Вышел. Все так и ахнули:

— Что такое?! Что за ужас?

Весь от плеча до колен залит чернилами.

Оглядел себя, развел руками и вдруг накиннулся на меня.

— Что, — кричит, — за идиотство ставить чернила на туалетный стол!

— Так это ты, стало быть, решил вылить на себя весь флакон моих духов? Ловко.

— Ну да, — негодовал он. — Хотел надушиться. Теперь из-за тебя пропал костюм! Форменное свинство с твоей стороны!

Ужасно сердился.

\*\*\*

Толстой был человек практический.

Как-то на каком-то чаю, где я сидела рядом с ним, подошла к нам известная общественная деятельница Альма Полякова, чрезвычайно любезно с нами разговаривала и пригласила непременно прийти к ней пить чай. Мы обещали. Но через полчаса подошел ко мне Толстой и деловито сказал:

— Нет, мы к ней не пойдем. Не видали мы ее чая. Я навел справки. Она теперь не у дел и нам ни к чему.

Как-то пригласил он меня совершенно неожиданно позавтракать с ним в ресторане.

— Что с тобой, голубчик? — удивилась я. — Аль ты купца зарезал?

— Не твое дело. Завтра в двенадцать я за тобой зайду. Действительно, в двенадцать зашел.

— Где же мы будем завтракать? — спросила я.

Уж очень все это было необычайно.

— В том пансионе, где живет Алданов.

— Почему? В пансионатах всегда все невкусно.

— Молчи. Вот увидишь, все будет отлично.

Приезжаем в пансион. Толстой спрашивает Алданова.

— Absent\*. Сегодня завтракать не будет.

Толстой растерялся:

— Вот так штука! И куда же это его унесло? Да ты не волнуйся. Мы его разыщем. Я знаю рестораник, где он бывает.

---

\*Отсутствует (фр.).

Разыскали ресторанчик, но Алданова и там не оказалось.

Толстой окончательно расстроился:

— Где же мы его теперь найдем?

— Да зачем тебе непременно нужен Алданов? — удивлялась я. — Ведь ты же с ним не сговаривался. Позавтракаем вдвоем.

— Пустяки говоришь, — проворчал он. — У меня денег ни сантима.

— Значит, ты меня приглашал на алдановский счет?

Он выпучил глаза, разинул рот и вдруг закричал по-утиному самым добродушным нутряным смехом.

— А у тебя деньги есть? — спросил он.

Я раскрыла сумку:

— На двоих не хватит.

— Ну подожди. Давай посмотреть карту.

Стали смотреть по правой стороне, где цены. Я выбрала яйцо всмятку, он — какую-то странную штуку, вроде толстой жилы, очень дешевую, но разрезать ее не было никакой возможности. Он стал просто жевать один конец, а другой ерзал на тарелке. Старый лакей смотрел на него, пригорюнившись по-бабьи. В общем, завтрак прошел превесело, хотя Алексей очень бранил Алданова, что тот ни с того ни с сего дома не завтракает:

— Непорядок.

\*\*\*

Любил он на каком-нибудь званом чаю сказать тоном остряка:

— Наташа, попроси лист бумаги или коробку, нужно забрать бутербродов Фефе на завтрак в школу.

Хозяйке приходилось делать вид, что это забавная шутка, и упаковывать ему сэндвичи и пирожные. А Толстой помогал, выбирал и подкладывал.

— Алешка, — шепчу я ему, — утомонись! Ты ведь уже на четырех Феф набрал. Неловко.

— Кхра-кхра-кхра, — хохотал он.

\*\*\*

Занятная история произошла у Толстого с пишущей машинкой.

Машинку эту взял он у Марии Самойловны на две недели, да так и не вернул. Мария Самойловна, человек очень деликатный, прождала больше года, наконец решилась спросить:

— Не можете ли вы вернуть мне пишущую машинку? Она мне сейчас очень нужна.

Толстой деловито нахмурился:

— Какую такую машинку?

— Да ту, которую вы у меня взяли.

— Ничего не понимаю. Почему я должен вернуть вам машинку, на которой я пишу?

Мария Самойловна немножко растерялась:

— Дело в том, что она мне сейчас очень нужна. Это ведь моя машинка.

— Ваша? Почему она ваша? — строго спросил Толстой. — Потому что вы заплатили за нее деньги, так вы считаете, что она ваша? К сожалению, не могу уступить вашему капризу. Сейчас она мне самому нужна.

Повернулся и с достоинством вышел.

И никто не возмущался — уж очень история вышла забавная. Только Алешка и может такие штучки выкидывать.

Мережковские Толстого не любили:

— Пошляк. Хам.

Уж очень они были литературно несходны.

Персонажи Толстого были все телесные, жизненные.

У Мережковского не люди, а идеи. Не события, а алгебраические задачи. Развертывались скобки, проверялись вычисления, обличался антихрист.

Если бы Толстой писал про Савонаролу, он бы у него непременно ел бы какую-нибудь акулу с чесноком и пахнул бы прогорклым постным маслом. Чувствовалось бы живое тело. Человек.

У Мережковского:

Небо вверх, небо вниз,

Если поймешь — благо тебе.

У Толстого не найдешь неба ни вверх, ни вниз. Но через землю, поданную талантом автора, постигается многое, на что он, может быть, и сам не рассчитывал.

Ясно, что Мережковский и Толстой были друг другу полярно противоположны, а потому и неприятны.

Кто-то пустил про Толстого словцо: «Нотр хам де Пари», пародируя название романа Гюго. Мережковским это нравилось.

Толстой знал об их отношении к нему. Как-то встретив на улице Зинаиду Гиппиус, он подошел к ней, снял шляпу и почтительно сказал:

— Простите, что я существую.

Об этом эпизоде сама Зинаида Николаевна говорила:

— Я прямо не знала, что ему ответить. Пусть существует. Это же не от меня зависит.

Выходило так, что если бы от нее, то еще бабушка надвое бы сказала...

Жилось все труднее. Раздобывать деньги все сложнее.

— Туго живется, — говорил Алексей. — А выпишься, напьешься, нажрешься — и как будто опять ничего.

Писал он много и усердно. Но с издателями было трудно. С переводчиками еще трудней.

Как-то, зайдя к ним, застала я Наташу за работой: прилаживала какую-то кофту на манекене. В соседней комнате трещала знаменитая пишущая машинка.

— Работает? — спросила я.

— Работает, — вздохнула Наташа. — Не может кончить. Из редакции торопят, а у него конец не выходит.

И вдруг распахнулась дверь и появился Алеша.

Вид дикий. Голова обвязана мокрым полотенцем, лицо отекло, глаза запухли. Стоит в дверях и бормочет:

— Бабу нужно утопить, а она не топится. Эта дурища не топится.

Потом устался на манекен:

— Что та-ко-е?! Отчего без головы?

Схватил с постели подушку и запустил в манекен:

— К черрррту!

Хлопнул дверью и застрекотал машинкой.

Наташа подбирала работу и плакала злыми слезами:

— Совсем одурел. Он скоро петухом запоет. А они требуют скорее конец. Так жить нельзя.

— Действительно нельзя, — согласилась я. — Брось эту жизнь и пойдем пить шоколад.



Пока пили шоколад, Алеша утопил свою бабу. Повесть была сдана вовремя.

Бедный Алешка.

Раз как-то встретила я его на площади. Он шел почему-то с палкой и громко сам с собой разговаривал. Выражение лица свирепое. Ясно было, что он поглощен каким-то персонажем из будущего романа. Он ничего не видел и не слышал. Моторы ревели, шоферы ругались, а он остановился посреди площади и гневно грозил палкой, по-генеральски кого-то мысленно распекая. Уж не будущий ли Петр орудовал своей дубинкой? Чудо, что его все-таки не раздавили.

Когда я ему при встрече рассказала, как он шел по площади, он выпучил глаза:

— Это ты все врешь. Никогда со мной такого не бывало.

Последний год своего парижского бытия он сильно приуныл:

— Пора отсюда убираться. Поеду в Берлин.

Друзьям признавался честно:

— Здесь больше делать нечего. Ни с кого ни гроша не вытянешь. Одной литературой не проживешь. Зовут в Берлин. Попробую.

Последней забавной штукой перед отъездом была продажа чайника. Чудный, большой, толстый, белый фарфоровый чайник для кипятка.

— Вот, пользуйся случаем, — сказал он мне. — Продаю за десять франков. Себе стоил двадцать. Отдам, когда буду уезжать, пока еще самим нужен. А деньги плати сейчас, а то потом и ты забудешь, и я забуду.

Заплатила.

После отъезда Толстых оказалось, что желающих набралось больше двадцати человек и все заплатили деньги вперед. А чайник, конечно, укатил в Берлин.

Рассказывали, как на берлинском вокзале долго разгружали их беженский багаж, причем не могли разыскать швейную машинку, и Наташа в ужасе кричала: «Воист мейне швейне машине?»

В Берлине последовала неожиданная для всех «смена вех».

Мне тогда думалось, что, если бы не поднялась против него такая отчаянная газетная травля, он, пожалуй, в

Россию бы и не поехал. Но его так трепали, что оставаться в эмиграции было почти невозможно. Оставалось одно — ехать в Россию.

Не знавший о радикальной «смене» Алданов приехал в Берлин, зашел к Толстым. У них сидел какой-то неизвестный господин. И вдруг среди разговора выясняется, что господин этот самый настоящий большевик, да еще занимающий видное положение. Толстой потом рассказывал, будто Алданов вскочил и пустился бежать, забыв захватить шляпу. Толстой погнался за ним по улице, крича: «Марк! Шляпу возьми! Шляпу!» Но тот только припускал ходу.

Потом оказалось, что историю эту Толстой изрядно подоврал.

Я виделась с Толстыми в Берлине. Он приготовился было хорохориться и защищаться. Но я не нападала, и он сразу притих. Стал жаловаться, как его травил эмигрантская пресса:

— Кинулись рвать, как свора собак. Да и все равно лучше уехать. Ты понимаешь, что мне без России жить нельзя. Я иссяк. Мне писать не о чем. Мне нужны русские люди и русская земля. Я еще многое мог бы сделать, а здесь я пропал. Да и возврата мне нет.

А Наташа все покупала какие-то крепдешины, складывала их в сундук и говорила вздыхая:

— Еду сораспинаться в Россию.



# Тэффи глазами друзей

## Воспоминания

*О Тэффи будет жить легенда как об одной из остроумнейших женщин нашего времени, тогда когда забудутся ее словечки, очерки и фельетоны.*

*Андрей СЕДЫХ*







# Ирина Одоевцева\*

## О Тэффи

Тэффи, как и мы

с Георгием Ивановым, провела годы войны в Биаррице.

Весеннее утро 42-го года. Я только что встала.

Звонок. В столовую входит Тэффи. Ее появление в такой ранний час немного удивляет нас с Георгием Ивановым, но мы ее, как всегда, радостно встречаем.

— Простите, — говорит она взволнованно и торопливо, — врываюсь к вам в такую рань. Только мне совершенно необходимо.

Мы с недоумением переглядываемся. О чем это она? Что с ней?

— Если не у вас, так ни у кого здесь не найду, а мне до зарезу надо, — продолжает она так же торопливо и взволнованно. — Есть у вас Элифаса Леви?

— Нет, — отвечаем мы хором. — Никакого Элефанта Леви у нас не было и нет.

— И я даже о нем никогда не слыхала. Ни о нем, ни о его «L'Histoire de la magie», — поясню я.

— Так... — разочарованно и протяжно произносит Тэффи. — Значит, я напрасно поднялась с петухами и даже кофе не успела выпить.

— Кофе мы с вами выпьем сейчас вместе, мы ведь тоже еще не пили. А Элефанта вам придется искать в другом месте. Элефанты и леонты у нас браков не учиняют.

Тэффи морщится:

— Не Элефанта, а Элифаса. Странно, что вы не слышали о такой знаменитой книге. — И с робкой надеждой в голосе: — А может быть, у вас все-таки найдется?

\*Одоевцева Ирина Владимировна (1901—1990) — поэтесса, прозаик, жена поэта Георгия Иванова. Автор известных мемуарных книг — «На берегах Невы» и «На берегах Сены».

Георгий Иванов качает головой:

— Не найдется.

— И вообще ничего о магии? Завалящегося?

— Ни-че-го. — отчеканивает Георгий Иванов. — Этого товара в доме не держим.

— Вот, если хотите, по хиромантии или графологии, — предлагаю я. — Или по астрологии. Этого у меня немало. Но по магии...

Тэффи сокрушенно вздыхает:

— Придется из Парижа выписать. Только надо неделю ждать, а мне приспичило. Вчера вечером вспомнила об этой книге — и не могла спать, все о ней думала. Еле утра дождалась, чтобы прийти к вам. Я в такую полосу попала. Накатывает на меня. Так торопилась, что даже красоту на фасад не успела навести. Не смотрите на меня, пожалуйста.

Да, она действительно «красоты не навела». А ведь обыкновенно она никому не показывается «в натуральном виде» — ненапудренная, с неподкрашенными губами и неподведенными глазами или когда у нее «неавантажный вид». («Хочу нравиться всем, всегда», — откровенно сознается она.) И одета она сейчас не так тщательно, как обыкновенно. Бархатный берет, обычно кокетливо скошенный на левый глаз, строго и прямо надвинут на лоб до самых бровей, скрывая затейливые завитки на висках. От этого черты ее лица как будто заострились и приняли строгое, серьезное выражение. Клетчатый шарф, обычно не без лихости и кокетства закинутый вокруг шеи, распластан на плечах.

Я смотрю на нее, соображая, кого, собственно, она мне напоминает? Где я видела такой бархатный берет, надвинутый на лоб, такой клетчатый плед и такое умное, строгое, старое лицо? И вспоминаю: на портрете моего прадеда, гейдельбергского профессора начала XIX века, висевшем когда-то в кабинете моего отца. До чего она сейчас похожа на него!

— Надежда Александровна, — начинаю я и на минуту останавливаюсь: а вдруг она обидится? — У вас сейчас такой серьезный, умный, ученый вид! Ну прямо ни дать ни взять немецкий профессор.

— Разве?

Она подходит к большому-зеркалу на стене и внимательно рассматривает себя в нем.

— А ведь правда! Ни дать ни взять старый профессор. И, конечно немецкий, не то Вагнер, не то сам доктор Фауст. А то и сам Кант. Впрочем, я его портрета никогда не видела.

Она продолжает себя разглядывать:

— Я сейчас открытие сделала. Никогда не знала, что старуха может походить на старика. Старики — тех часто легко можно принять за старух.

Еще позавчера художник М. сидит у меня. весь крутится и вьется, как угорь на сковородке, и все напрашивается на комплименты:

«Вы не находите, Надежда Александровна, что у меня сегодня какой-то странный вид?»

А я ему чистосердечно брякнула:

«Ничего странного. Обыкновенный старик, похожий на старуху».

Он, бедный, сразу скис. Огорчила я его. Ушел обиженный. А вот чтобы старуха на старика походила, вижу впервые...

Георгий Иванов прерывает ее:

— Ну какая же вы, Надежда Александровна, старуха? Помилуйте! Вы ведь моложе всех молодых! Сознаться, что это вы только для красного словца.

Она кивает:

— Ну конечно для красного словца. Старухой я никогда не буду. Даже в день смерти. А на старого профессора все же похожа сейчас. На доктора Фауста, до пакта с Мефистофелем.

Она снова возвращается к так страстно интересующим ее отношениям с темными силами.

О них у меня смутные познания, не то что у Тэффи.

— Откуда вы все это знаете. Надежда Александровна?

— Я много читала об этом, — говорит она. — Я вообще много, слишком много читаю. Я не пью, не курю. Чтение, «*Se vice impuni*»\*, как его определяет Валери Ларбо — единственный мой порок. Чтение — мой грех, мой безгрешный грех. Вот у вас столько книг, я вам за-

\* Это порок ненаказуемый (фр.).

видую, что вам удалось перевезти сюда вашу библиотеку. Я на вашем месте читала бы ночами напролет. Жаль только, что о магии...

— Постойте. — перебиваю я ее, — у нас, кажется, все-таки найдется кое-что интересное для вас. Магические рассказы Нодье. Читали? И Шамиссо — «Человек, потерявший свою тень».

— Нет. Не читала. Но конечно, слыхала давно о них и очень хотела прочесть. Как чудесно, что вы мне их одолжите. Не бойтесь, верну. Чужого мужа могу украсть, со-знаюсь. Книгу — никогда.

Я приношу ей обе книги. Она перелистывает их.

— Значит, я не напрасно притащилась к вам. Это, кажется, действительно страшно интересно, судя по иллюстрациям. А знаете, какая разница между феерией и фантастикой? — спрашивает она.

— По-моему, одно и то же, — неуверенно отвечаю я.

— Ничего подобного, — отрезает Тэффи. — А вы, Георгий Владимирович, конечно, знаете?

Он качает головой:

— Нет. не знаю, представьте себе.

Тэффи торжествует и, захлопнув Нодье, поучает нас, как профессор с кафедры:

— Феерия — добро. Стремление к счастью. Жизнь. Фантастика — зло. Смерть. Феерия — светлый сон. Фантастика — кошмар. Семнадцатый век — помесь фантастики с феерией — похож на наш двадцатый век. Особенно на годы, которые нам теперь приходится переживать. Фантастика и феерия диаметрально противоположны, «феерия» происходит от «феи», в ней все светло, она стремится к счастью, в ней действуют добрые силы. В магии — темные силы. Она стремится к смерти, к разрушению жизни. Магия и феерия — как две стороны одной и той же чудесной монеты. Одна сторона темная — смерть. Другая светлая — жизнь. Сказки фееричны. Они ведь всегда хорошо кончаются.

Она произносит все это с жаром. Она довольна, что ей удалось блеснуть ученостью перед понимающей, квалифицированной аудиторией.

Она улыбается и вдруг, совершенно преобразившись:



— Вот и мой сегодняшний приход к вам фееричен, раз мне удалось раздобыть такие интересные книги. Подождите минутку.

Она открывает сумочку, достает зеркальце, подкрашивает губы:

— А то, когда у меня ненамазанные губы, у меня голос звучит глухо и ничего веселого я сказать не могу. Теперь только попудриться.

Она ловким привычным движением придает своему бархатному берету заливчатый уклон, высвобождает из-под него завитки волос на висках, сбрасывает клетчатый шарф и пальто и с явным удовольствием любуется собой в зеркале.

— От Негг Professor'a и следа не осталось. Снова Тэффи, похожая на Тэффи, — победоносно заявляет она. — На себя, и ни на кого другого. А теперь, если угостите, не прочь кофе выпить. И даже основательно закусить — зверски проголодалась.

И она весело садится за накрытый стол.

\*\*\*

— Мне было бы не так грустно и скучно в этом противном Биаррице, если бы у меня была кошка, — мечтательно говорит Тэффи, снова сидя со мной на террасе кафе. — С кошкой мне было бы легче. Только чем бы я стала ее кормить? Ведь я и сама живу впроголодь. А кошка ужасная привередница — той дряни, которой я питаюсь, я ей давать не посмела бы. Да она бы только фыркнула презрительно — станет она рютабагу есть! Замякала бы, требуя печенки или рыбы. Но где их взять? Нет, лучше уж одной мучиться. Что бы я стала делать, если бы моя кошка от голода кричала?

Да, Тэффи любит кошек. Так же, как Колетт. Обе они о кошках много писали.

— Я просто не понимаю, как можно не любить кошек, — продолжает Тэффи. — Для меня человек, не любящий кошек, всегда подозрителен, с изъясном, наверно. Неполноценный. Вот даже Вера Николаевна Бунина — на что уж, кажется, она добра и мила, а что она не переносит кошек, боится их, — как стена между ней и мной. Близости, дружбы между нами настоящей быть не может. Всегда

чувствую отчужденность. Симпатизирую ей сдержанно, признаю все ее бесспорные качества. Но кошек ей простить не могу. Люди для меня делятся на тех, кто любит кошек, и кто их не любит. Человек, не любящий кошек, никогда не станет моим другом. И наоборот, если он кошек любит, я ему многое за это прощаю и закрываю глаза на его недостатки. Вот, например. Ходасевич. Он любил кошек и даже написал стихи о своем коте Муре...

— А вы, Надежда Александровна, — спрашиваю я, — вы тоже писали стихи о кошках?

— А еще бы! И очень много. У меня кошачьих стихов набралось бы на целый том. Но они слишком интимны, чтобы их обнародовать, предавать гласности. Хотите, прочту какое-нибудь из них?

Я, конечно, хочу. И она начинает:

Белолепка-серокошка  
Раз уселась на окошко,  
А по улице идет  
Очень важный тигрокот.  
Скок! И сразу хватъ в охапку  
Серокошку-белолепку,  
Под себя ее подмял.  
Тигрокот, ну и нахал!

Нравится вам? Хорошо?

По звуку ее голоса, по выражению ее лица мне ясно, что она с волнением и тревогой робко ждет моего одобрения.

— Очень нравится! Прелесть! — совершенно искренне говорю я. — Как выразительно, сколько динамики!

Она, совсем как начинающая карьеру молодая писательница, вся вспыхивает от радости.

— Действительно нравится? — переспрашивает она. — Я боялась, что и это вы осудите. Ведь вы знаете, мне со стихами не везет. Настоящие поэты-мэтры меня даже презирают. Мне это очень обидно.

— Прочтите, пожалуйста, еще какое-нибудь «кошачье», — прошу я, желая избежать разговора о ее «серьезных стихах». — Или нет, раньше повторите еще про Тигрокота, чтобы я его хорошенько запомнила. Он просто восхитителен.

Она охотно соглашается. Она, как, впрочем, и большинство поэтов, готова читать свои стихи «сколько угодно и еще немного — с полчасика».

— У меня целый кошачий эпос. — объясняет она. — Тигрокот и белолопка — его главные герои. Они кошачьи Тристан и Изольда или Ромео и Джульетта. Но и других вымышленных кошек и котов у меня много. Они меня постоянно навещают. В особенности когда я больна. Такие добрые, чуткие — сейчас же тут как тут. Развлекают и утешают меня. Это я о них:

Все коты пришли гулять  
На зеленую кровать  
И пошли домой потом  
Кошка с кошкой, кот с котом.

Вас, наверно, удивляет «на зеленую кровать» — будто на зеленый луг. А это просто оттого, что у меня зеленая покрывка на кровати.

Она так улыбается и так смотрит вдаль, будто действительно видит перед собой процессию котов и кошек, чинно шествующих попарно.

— Они удивительно умные, — продолжает она оживленно. — Я как-то сочинила о них целую поэму. И представьте себе, они сразу же стали исполнять ее хором, на разные голоса. И что уже совершенно невероятно — прибавлять к ней разные ими самими сочиненные строфы, особенно когда у меня жар. Да так ловко, так находчиво. Я просто диву даюсь. Куда мне! Гораздо лучше меня. Да, пожалуй, и всех наших поэтов. Беда только в том, что я их запомнить не могу никак, хоть и стараюсь. Но проснусь: нет, ни слова не помню! До слез досадно. Совсем как у Гейне, про его сон с «ципрессами». Вы, может быть, помните?

— Да, я помню:

Ich wache auf der kranzist wech  
Das Wort habe ich vergessen.

— Вот-вот, — радостно кивает Тэффи. — Это самое. Конечно, немецких поэтов сейчас цитировать неприлично. Всех, даже Гете. Но ведь Гейне — еврей. Его гитлеров-

цы из своих антологий исключили. Он не немецкий, он просто поэт. Его можно.

— А кошачья поэма? — напоминаю я.

Тэффи поправляет съехавший в сторону берет и проводит пуховкой по покрасневшему от вдохновения и волнения лицу и начинает читать с нескрываемым удовольствием:

Тридцать три и два кота  
И четыре кошки...

Поэма очень длинная. Я запомнила из нее только эти две строчки. А жаль — в ней было много остроумных находок и прелести.

\*\*\*

Тэффи все же, как и полагается юмористке, была неврастенична, и даже очень неврастенична, хотя и старалась скрыть это. О себе и своих переживаниях она говорила редко и, по ее словам, «терпеть не могла интимничать», ловко парируя шутками все неудачные попытки «залезть к ней в душу в калошах».

— Почему — в калошах? — удивленно спрашиваю я.

— Без калош не обойтись, — объясняет она. — Ведь душа-то моя насквозь промокла от невыплаканных слез, они все в ней остаются. Снаружи у меня смех, «великая сушь», как было написано на старых барометрах, а внутри сплошное болото, не душа, а сплошное болото.

Я смеюсь. Но Тэффи даже не улыбается. Она шагает рядом со мной и, подняв голову, сосредоточенно оглядывает дома по обе стороны улицы.

Она, должно быть, устала. Мы возвращаемся с прогулки. Со слишком большой прогулки для нее. Я забыла, я не подумала, что такой «спортивный пробег» в семь километров ей не по силам.

— Надежда Александровна, вы устали? — спрашиваю я.

Она качает головой:

— Нет, не то. Или все-таки устала. Но не от прогулки только, а оттого, что на этой несносной улице столько домов, и все высокие. А я должна сосчитать, сколько окон в каждом этаже. Утомительно!

Я удивлена:

— Почему вы должны считать окна?

Она пожимает плечами:

— Разве я знаю почему и зачем? Должна, и все. Иногда не могу на улицу выйти — сейчас же обязана считать окна — четное или нечетное число их. Нечетное — да. Четное — нет. Четное приносит мне несчастье. Я и номера автомобилей считаю. Но теперь, слава богу, автомобилей почти нет. А в Париже просто беда. Идешь и головой крутишь, то на окна, то на автомобильные номера смотришь, легко самой под автомобиль угодить. Не каждый день это со мной. Но последнее время все чаще. Очень тяжело это и неприятно. И мучительно.

Я знаю, что считать номера автомобилей и окна домов — один из признаков неврастения. Но я говорю:

— Я и сама суеверна. А Жорж — тот суеверен до смешного.

Она морщится:

— Чет-нечет не суеверие. Хотя я, конечно, тоже суеверна. Но окна — другое. Из области чтения наоборот. Ведь я читаю во второй раз справа налево каждую строку книги, письма и даже то, что сама пишу. Это изводит меня. И ничего не могу с собой поделать. Будто кто-то приказывает мне. Если не послушаюсь — знаю, плохо будет. И слушаюсь.

Мы выходим на набережную.

— Давайте посидим в «нашем» кафе, — предлагает она. — Вы меня действительно слегка загоняли. Отдохнем. Может быть, настроение улучшится. Хотя вряд ли.

Мы устраиваемся на террасе.

Она достает из сумочки зеркальце, смотрится в него, соорудив гримасу.

— До чего противна физиономия, — она засовывает зеркальце обратно в сумку и звонко щелкает запором. — Смотреть на себя тошно, да и на других тоже. — И, спохватившись: — К вам это не относится, ведь о присутствующих...

— ...не говорят, — кончаю я, — Не говорят, а думают. Все же. Надежда Александровна, скажите мне что-нибудь очень лестное, какой-нибудь комплимент, вроде как в одном из ваших рассказов, помните:

Твои глаза порой похожи  
На снившийся во сне топаз.  
Ни на одной знакомой роже  
Я не видал подобных глаз.

Я смеюсь. Она поднимает брови в недоумении:

— Разве смешно? По мне, просто глупо. Хотя я это не выдумала, не сочинила. Это один прапорщик написал барышне в альбом; он был в нее влюблен, а она требовала от него мадригалов. Был у него еще и такой:

Вижу, вижу деву рыжу,  
Да и ту я ненавижу.

Бедный! Ничего придумать не мог. Она была рыжая. Обиделась. Прогнала его. А через месяц его на войне убили. И это скорее грустно, чем смешно. Как жестока жизнь, как несчастен человек. Каждый мой смешной рассказ, в сущности, маленькая трагедия, юмористически повернутая.

Она проводит несколько раз перед глазами рукой, будто отгоняет муху или комара. Но ни комара, ни мухи нет. Я не решаюсь спросить, что означает ее жест.

— Иногда я чувствую себя странно. И отвратительно. Как сейчас вот. Мне кажется, что я когда-нибудь сойду с ума.

Я смотрю на нее испуганно. Голос ее звучит глухо, и в глазах несвойственное выражение тоски.

— Надежда Александровна, — робко советую я, — вы бы к доктору сходили.

— К доктору? — спрашивает она насмешливо. — Вздор! Пробовала. И не раз. Ни к чему не привело. Нет доктора, способного понять, что со мной делается.

— К специалисту по нервным болезням, — продолжаю я советовать.

Она прищуривается:

— Ну, конечно, нервами все объяснить можно. Все от нервов, как уверяла моя нянька, все — и куриная слепота, и понос, и пожар, и сап у лошадей. Только нервы здесь, как при сапе или пожаре, вряд ли виноваты. Вот я ломаюсь, как свинья на веревочке. Грожу

сойти с ума. Да только, как правильно говорит Мережковский, умные с ума не сходят. А в том, что я, Тэффи, умна, никто ведь сомневаться не может. Не так ли? — лукаво спрашивает она. — Все от безделья, от скуки. Печататься негде. впрок я писать не умею, вот глупые мысли и расплодись в мозгу, как тараканы. Шуршат, бегают, усиками шевелят. А мне от них коломятно и тошно. До того, что иногда просто хочется головой о стенку.

Она замолкает на минуту, отодвигает нетронутую чашку кофе и решительно встает.

— Ну, довольно с меня! До свидания. А таскать меня в такую даль на Côte Basque вам не следовало. «Не такое нонче время, мой товарищ дорогой», чтобы на голодный желудок километры отмахивать. Пойду к себе — отлежаться.

— Вы сердитесь. Надежда Александровна? Простите, — растерянно говорю я. — Мне казалось, что это не далеко. И ведь так красиво.

— Ну и что, что красиво? — перебивает она. — «Красота спасет мир»? Успокоит и накормит? А вышло наоборот. Я действительно обозлилась. Нет, не на вас. На себя. За это дурацкое хождение по мукам. У меня ноги болят, распухли. Каждый шаг мука. А я из гордости скрываю. И зачем, спрашивается, я перед вами расквакалась. Стыд и срам!

Она сердито надвигает берет на лоб, протягивает мне руку и вдруг неожиданно заливается своим милым, легким смехом:

— Ну, ну, ну! Не вздумайте огорчаться. Какая вы, право, забавная! Нельзя так за других расстраиваться в наши жестокие дни. Рано еще плакать надо мной. И совсем мне уже не так плохо! Даже совсем неплохо! Бросьте! Бегите себе весело домой. Благо у вас дома тепло и уютно, и обед вкусный, и любящий муж. А обо мне не думайте. Пользуйтесь жизнью, пока судьба к вам благосклонна. Ведь колесо фортуны вертится. Кто знает, может быть, и вы тоже когда-нибудь окажетесь под ним. Так старайтесь быть как можно счастливее теперь, чтобы потом было бы о чем вспомнить. Впрочем, не слушайте мои глупые советы. И воспоминания ни к чему, когда на душе

мерзко. Все это вздор. Кланяйтесь Георгию Владимировичу.

И она, кивнув мне на прощание, быстро уходит.

Я смотрю ей вслед. Обыкновенно она, пройдя несколько шагов, оборачивается и машет мне рукой.

Но сейчас она идет по набережной опустив голову и даже не обращает внимания на пылающий над океаном закат, который она так любит.

Значит, ей действительно очень тяжело и очень плохо.

\*\*\*

Как-то, еще до войны, в Париже, Тэффи пришла к нам сильно хромая.

— Ух, еле добралась, — и она тяжело опустилась в кресло, вытянув ноги вперед.

Все бросились к ней с расспросами. С минуту она, ни с кем не здороваясь, сидела молча с закрытыми глазами, потом вдруг встрепенулась, как птица, готовая к полету, оглядела всех присутствующих по очереди и рассмеялась:

— Что, напугала я вас? А теперь вам кажется, что я для забавы свою хромоножку по Достоевскому разыграть хотела — «ведь эта Надежда Александровна всегда что-нибудь уморительное придумает!» А вот и ошиблись! Я сейчас, вместо того чтобы блистать на этом пышном приеме, могла бы лежать с переломленной спиной на больничной койке в госпитале, а то и вовсе, пожелав вам всем долго жить, отдать богу душу. — И, сделав паузу и полюбовавшись эффектом, вызванным ее словами, продолжала: — Вылезаю из метро на станции Пасси, взбираюсь по лестнице. А передо мной какой-то шустрый мальчишка лет восьми удивительно ловко скачет, на каждой ступеньке замысловатый прыжок проделывает. Очень мне понравилось и самой захотелось. Дай-ка, думаю, попробую. И попробовала! Хорошо еще, что за перила уцепилась, а то бы покатилась вниз — и поминай как звали! Ведь лестница высоченнейшая, а я уже почти до верха добралась. Видно, мой час еще не настал. Мне еще рано умирать. А теперь, пожалуйста, пейте за мое здоровье, провозглашайте тосты, говорите речи! Люблю почет и уважение. И сознаю, что сегодня вполне заслу-



жила — чувствую себя героиней. Нога-то здорово болит, а я все-таки притащилась, чтобы не огорчить вас моим отсутствием. Так начинайте же воспевать и превозносить меня!

В этот вечер Тэффи была необычайно — даже для себя — весела и остроумна. Трудно было поверить, что она так умеет скрывать боль. Но на следующее утро она вызвала доктора, и ей пришлось пролежать в постели несколько дней.

И тогда я поняла, насколько она стойка и мужественна.





Не могу сказать,

чтобы я была особенно близка с Надеждой Александровной Тэффи, более тридцати лет разницы в возрасте нас разделяло, но я бывала у нее, случалось — помогала ей в устройстве ее лекций в Бельгии, а главное — всегда считала ее прекрасной писательницей и очень интересным человеком и радовалась каждой нашей встрече.

Тэффи, в сущности, была единственной «дамой» литературного Парижа — не «литературной дамой», а очаровательной, хорошо воспитанной и «столичной» дамой. Может быть, несколько суховатая и чрезвычайно умная, Тэффи, мне кажется, не интересовалась политикой или мировыми вопросами. Интересовали ее человеческие типы, дети и животные, но трагическую участь всего живущего она не только понимала, но и чувствовала ее на своем собственном, прежде всего, опыте.

Сатирики и юмористы (за исключением Мятлева\*\*) почти все ипохондрики, от Гоголя до Дон Аминадо и Зоценко.

Как все они, Тэффи смеялась «горьким смехом», без злобы, но с предельной зоркостью отмечая, и для наглядности их увеличивая, нелепости быта и людские слабости.

Когда я ее знала, ее здоровье уже требовало болеутоляющих средств, а иногда и возбуждающих, и мне при-

\* Шаховская Зинаида Александровна (р. 1906) — поэтесса и прозаик. С начала 1920-х годов живет в Брюсселе. Печаталась в русских эмигрантских журналах, опубликовала несколько книг по-французски, в том числе четыре романа (под именем Жак Круазе). Воспоминания о Тэффи вошли в мемуарную книгу З.Шаховской «Отражения», впервые вышедшей в Париже в 1975 году.

\*\* Мятлев Иван Петрович (1796—1944) — поэт. В свое время был широко известен как автор шутильной поэмы «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею...», а также юмористических стихотворений, эпиграмм и каламбуров.

ходило ее видеть то блестящей и остроумной, то совершенно потухшей, преодолевающей себя и жизнь. И вдруг, оттого что кто-то находился рядом с ней, таившаяся в ней искра вспыхивала снова, и фейерверком рассыпались меткие замечания, остроумные рассказы, живые воспоминания.

Очень любила Н.А. балы и выходы, следила за своей внешностью, одевалась, как могла, элегантно, я никогда не видела ее непричесанной и неподтянутой.

Помню наш с ней анекдотический выход в какой-то русско-цыганский кабачок. Был в Париже (и где он не был!) милейший антрепренер Рогнедов (звучное имя взял он себе в России в молодости, влюбившись в актрису, которая играла Рогнеду). Что-то было в нем от персонажей Семена Юшкевича и, наряду с антрепренерской внешностью, какая-то приятная детскость. Между прочим, возил он по всему свету и труппу русских лилипутов Григория Ратова. Как-то, когда я сидела у Тэффи, явился Рогнедов и решил нас повеселить шампанским и цыганщиной. Деньги у него иногда были, иногда их не было, в общем — пригласил. Н.А. приоделась, и мы отправились. Народу в «Мон Таборе» было не много, и, пока нас подводили к столику, был слышен шепот задержавшегося позади Рогнедова: «Я вам привел саму Тэффи, да еще и Шаховскую, ну явно княгиню!» На этот раз безденежному Рогнедову мы были предложением для дарового угощения. Не знаю, написала ли об этом Тэффи, но, когда подвижной Рогнедов сорвался со стула и помчался кому-то что-то сказать, Н.А., чуть-чуть улыбаясь, промолвила: «Ну вот и хорошо, что и нам удалось развлечь нашего приятеля, да и лестно, значит, и мы чего-то стоим».

Почему-то у меня сохранилась только одна книга Тэффи — «Ведьма», и вот не так давно пришел из Москвы первый изданный в СССР\* сборник ее рассказов, тщательно подобранных О.Михайловым и с его вводной статьей (блещущей исключительно своими передержками).

Из-за отсутствия материала не помню, были ли напечатаны рассказы, о которых я слышала от самой Тэффи

\*Сборник Н.Тэффи «Рассказы (М., 1971), составленный О.Михайловым, не был первым, изданным в СССР. До него был сборник «Танго смерти» (М.-Л., 1927), однако Э.Шаховская могла и не знать о нем.

на авеню де Версай в тридцатых годах. Какая она была рассказчица, как умела она мимикой оживить рассказ, взять нужный акцент, воплощая то актрису, то девочку, то бабу, то шофера такси, говоря и за умного, и за глупого, и за бедного, и за богатого.

Вот, например, о шапке-невидимке.

Едет старуха деревенская в поезде, и подходит к ней кондуктор: «Давай, бабушка, твой билет», а она сидит, зажмурив глаза и нахлобучив засаленную шапку на брови. «Давай билет, слышишь?» Глаз приоткрывается: «Аль ты меня видишь?» — «Ясно, вижу!» — «Вот ведь сволочь парень-то был! Как входила я на станцию, так подвернулся мне такой, говорит: ты, бабка, куда едешь? Я и говорю — в Сызрань. — Да билет-то ведь дорого стоит. — И то, батюшка, дорого. — Так я помогу тебе, вишь, за полцены ушанку уступлю, а она у меня шапка-невидимка. Сядешь и доедешь невидимкой до самой Сызрани. Обожди, хороший человек, может, я ее не так повернула, погодь маменько, я ее задом наперед, так перед тобой и скроюсь».

Или еще о городской нянюшке, никогда не имевшей дела с животными и вышедшей прогулять хозяйскую собачку. Возвращается и говорит умиленно: «Но уж такая собачка, барыня, такая собачка! Как подошла к фонарю, так, верите ли, ножку подняла, а ведь и то ученая, ножку-то подняла».

Или как Тэффи и зашедшая к ней, кажется, Рощина-Инсарова собирались чайку попить и что из этого вышло из-за их рассеянности... Но как своими словами передать не только слова Тэффи, но ее серые острые глаза, в которых отражаются персонажи, ее выразительный голос, слышанный мною сорок лет тому назад? Не было тогда этих магических кассет, теперь всюду распространённых, и боюсь, что не записана речь Тэффи никем и никогда — и это большая потеря.

Хотя Тэффи, видимо, очень дорожила своими стихами — может быть, бывшими «отдушинами» в ее «юмористических» писаниях и выдававшими ее, в юморе многим незаметный, пессимизм, — поэтического дара у нее не было, и в стихах обнаруживались иногда ошибки вкуса, чуждые ее рассказам. Проза же ее на высоком уровне, и никак нельзя назвать ее «дамской», подразумевая под

дамской то, чем грешат иногда и мужчины: излишним пафосом и «поэтичностью». Чего стоит одно описание пляски на посиделках в хате юго-западного края!

«Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпичные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню. Вдруг девки замолчали сразу, точно подавились, и у самых дверей заскрипела простуженным петухом скрипка, и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен...»

Лучше всех пляшет совсем не «долговязый парень, да две девки плоскогрудые, с выпяченными животами», а старая бабка — «вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделит лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровиночка переливается».

Да, большой мастер слова была Тэффи и горький знаток человека — зоркость редко дар радости, и спасибо ей за то, что, описывая соотечественников, она им же самым позволяла улыбнуться над собой, а не топила их суровым обличением. Случалось, учила она нас и мудрости, об этом не заботясь. Где-то был напечатан ее рассказ о том, как в константинопольском подвале играли в винт или бридж бывший генерал, бывший губернатор, сама рассказчица и кто-то еще и в перерыве вдруг начали вспоминать горьковских босяков. Ужасались бедности персонажей «На дне» — и вдруг кто-то, оглянувшись, заметил с изумлением: «Да ведь и мы как будто на дне». Если вдуматься в эту вещь Тэффи, то ведь совсем не беспросветна она, раз человек «на дне» — в смысле бедности и бесправия — может этого не замечать.

Если и смешон несколько русский генерал, обращающийся с площади Согласия с вопросом миру: «Ке фер, фер-то ке?»\* — то только очень злой человек не почувствует, что значит для него потеря всего, чем он жил.

Все же оказался юмор Тэффи не таким уж долговечным. Перечитывая в семидесятых годах ее книги, улыбаешься редко, хотя все еще стоит особый городок, обыватели которого живут «как собаки на Сене» — но, вид-

\* Что делать, делать-то что? (фр.)

но, фольклор первых десятилетий эмиграции уже изжит. Тонкая грустная насмешливость Тэффи над русско-парижским бытом показалась советским критикам обличением «буржуазной» эмиграции, и поэтому выпустили они в 1971 году книгу, старательно подобрав рассказы, показывающие безвыходность ее положения. В предисловии своем О.Михайлов подчеркивает тяжелую участь Тэффи — она все же была намного легче, скажем, участи Зощенко. Ни репрессировать ее, ни реабилитировать никому не пришлось.





# Книги Н.А. Тэффи

(прижизненные издания)

СЕМЬ ОГНЕЙ. Стихи (СПб., 1910)  
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. Книга первая (СПб., 1910)  
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. Книга вторая (СПб., 1911)  
ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (СПб., 1911)  
И СТАЛО ТАК. Юмористические рассказы (СПб., 1912)  
КАРУСЕЛЬ (СПб., 1913)  
ВОСЕМЬ МИНИАТЮР. Пьесы (СПб., 1913)  
ДЫМ БЕЗ ОГНЯ (СПб., 1914)  
МИНИАТЮРЫ И МОНОЛОГИ. Пьесы (СПб., 1915).  
НИЧЕГО ПОДОБНОГО (СПб., 1915)  
ЗАРЕВО БИТВЫ (Пг., 1915)  
НЕЖИВОЙ ЗВЕРЬ (Пг., 1916)  
ШАРМАНКА САТАНЫ. Пьесы (Пг., 1916)  
ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ (Пг., 1916)  
ВЧЕРА (Пг., 1918)  
ТИХАЯ ЗАВОДЬ (Париж, 1921)  
ТАК ЖИЛИ (Стокгольм, 1922)  
ЧЕРНЫЙ ИРИС (Стокгольм, 1922).  
PASSIFLORA (Париж, 1923)  
СТАМБУЛ И СОЛНЦЕ (Берлин (?), 1923)  
РЫСЬ (Берлин, 1923)  
ВЕЧЕРНИЙ ДЕНЬ (Прага, 1924)  
ГОРОДОК. Новые рассказы (Париж, 1927)  
КНИГА ИЮНЬ (Белград, 1931)  
ВОСПОМИНАНИЯ (Париж, 1931)  
АВАНТЮРНЫЙ РОМАН (Париж, 1931)  
ШАМРАМ. Песни Востока (Берлин, 1933)  
ПЬЕСЫ (Берлин, 1934)  
ВЕДЬМА (Берлин, 1936)  
О НЕЖНОСТИ (Париж, 1938)  
ЗИГЗАГ (Париж, 1939)  
ВСЕ О ЛЮБВИ (Париж, Б.г. 1946(?))  
ЗЕМНАЯ РАДУГА (Нью-Йорк, 1952)

Литературно-художественное издание

**Тэффи**

# **АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА**

**Том двенадцатый**

Автор серийного оформления

*Евгений Поликашин*

Редактор-корректор *Е. Остроумова*

Корректор *С. Цыганова*

Компьютерная верстка *А. Филиппов*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор  
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.03.2001.  
Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,56 + вкл.  
**Тираж 7000 экз. Заказ 6961.**

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.  
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

**Интернет/Home page — [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)**

Электронная почта (E-mail) — [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

**Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»**

101000, Москва, а/я 333. E-mail: [bookclub@eksmo.ru](mailto:bookclub@eksmo.ru)

Дистрибьютор в США и Канаде — Дом книги «Санкт-Петербург»  
Тел.: (718) 368-41-28. **Internet: [www.st-p.com](http://www.st-p.com)**



Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК»  
представляет самый широкий ассортимент книг  
издательства «ЭКСМО».

Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.



## **Оптовая торговля:**

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2  
Тел./факс. (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16  
E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

ООО «Медиа группа «ЛОГОС». 103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2  
Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: [mgl@logosgroup.ru](mailto:mgl@logosgroup.ru)  
[contact@logosgroup.ru](mailto:contact@logosgroup.ru)

## **Мелкооптовая торговля:**

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1.  
Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Унитрон индустри». Книжная ярмарка в СК «Олимпийский».  
г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, метро «Проспект Мира».  
Тел.: 785-10-30. E-mail: [bookclub@cityline.ru](mailto:bookclub@cityline.ru)

**ISBN 5-04-007474-3**



**9 785040 074747 >**

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»  
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.





Надсуд  
Александров  
Бумажная фабрика  
на Голубинской  
Школьной

26.

Александр  
~~1875~~ 1875.  
С. Петербург

Из журналов "Свердлов"  
в 1901 году  
Окончена Липецкого  
университета, Ксения Толку  
П. Липец.

Н. А. Тихонова  
18 февраля 1906 г.

Менс  
Оресто  
Граммис  
Медвостан

Менс  
сироты  
род  
сироты } Восточник.

Народно императ. Ордена.

Телевизионная станция на фронте.

Модуль  
Менс, мост, род, мост.

Надежда  
Александровна  
Бухарская <sup>записки</sup>  
восточноведческая.  
Москва

26.

Авраам  
~~1875~~ 1875.  
С. Петербург.

Из журналов "Современник"  
в 1901 году  
Оканчен Липецкий со  
мнением, Клеменс Талер  
П. Липецкий.

Н. А. Тиберска  
18 февраля 1906 г.

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Тэффи

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Если юмор Гоголя — «смех  
сквозь слезы», юмор Достоевско-  
го — смех сквозь отчаяние,  
юмор Салтыкова — смех сквозь  
презрение, юмор Ремизова —  
смех сквозь лихорадочный бред,  
то юмор Тэффи, как и юмор Че-  
хова, — смех сквозь грустный  
вздых: «Ах, люди, люди!» Человек  
человеку, в представлении Тэф-  
фи, отнюдь не волк, но, что де-  
лать, изрядный таки дурак!

Александр АМФИТЕАТРОВ

России XX века

России XX века

России XX века

а России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века